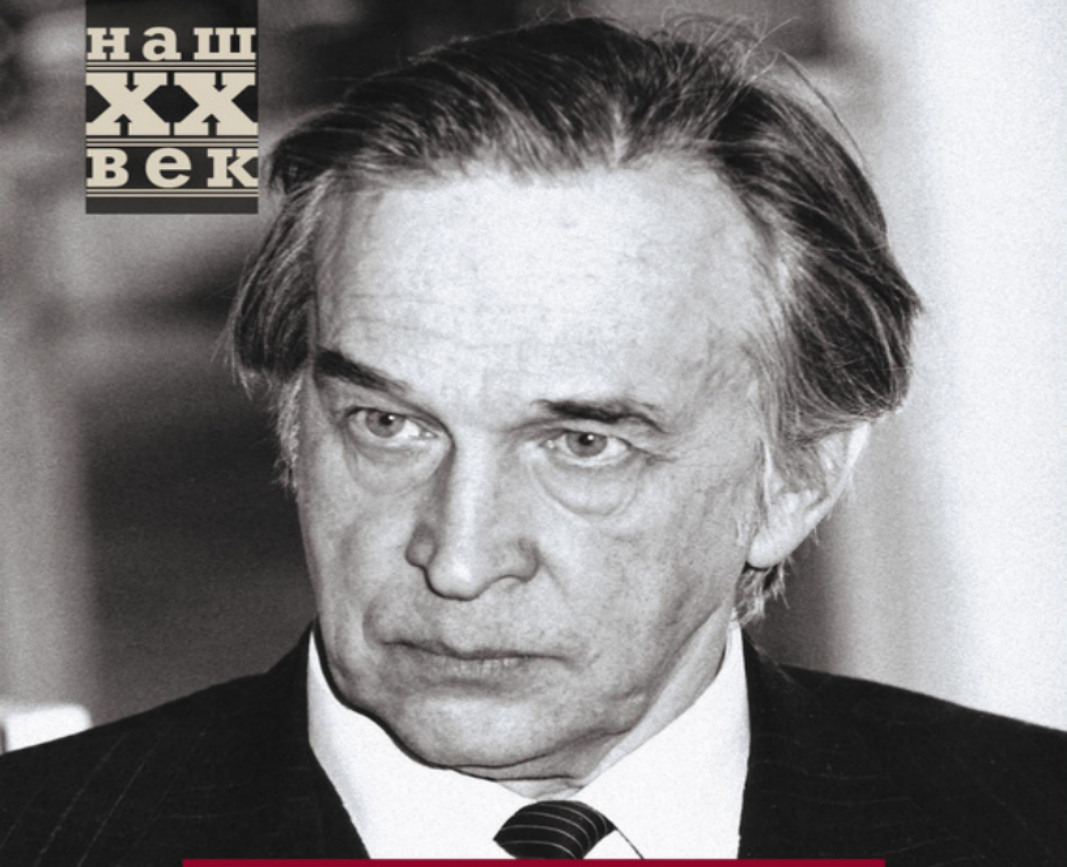
наш XX век



ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

ФАЛИН

БЕЗ СКИДОК НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Центральное место в воспоминаниях В. М. Фалина отводится острейшей борьбе, которая шла вокруг одной из самых сложных послевоенных проблем – германского вопроса. Автор рассказывает также о принятии руководителями Советского государства решений по таким затрагивающим судьбы всеобщего мира вопросам, как войны в Корее и в Афганистане, урегулирование кубинского и ближневосточных кризисов, события в Чехословакии в 1968 г., и многим другим, впервые открывая завесу секретных маневров ведущих советских и зарубежных деятелей.

- Валентин Фалин
  -
  -
  - От автора
  -
  - Вместо предисловия
  - О себе и про себя
  - Берлин и далее с остановками и пересадками
  - Семь лет в Семигорье
  - Мытарства ратификации
  - Как на бесснежье снежный ком накатывают
  - Мои коллеги-журналисты
  - «Мгновение есть вечность»[6]
  - Как самому себе подставить ножку
  - Москва на рубеже десятилетий. Служба на олимпе
  - Перестройка: замысел, осуществление, итог
  - Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

Валентин Фалин
Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания

© В. М. Фалин, 2016
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

* * *

Посвящается Нине, моей жене.
Ей я обязан жизнью, читатель –
появлением этой книги

От автора

Предлагаемая вашему вниманию, уважаемый читатель, книга была написана по настоянию моих немецких друзей. Их интересовала в первую очередь подоплека развития германской политики СССР. Это предопределило структуру и соотношение различных частей изложения. Весьма скупо оказались освещенными американское и китайское направления советских интересов, отношения с Англией, Францией, Италией, с рядом авторитетных стран «третьего мира», с Кубой и нашими бывшими союзниками по Варшавскому договору.

Незаслуженно опущены имена многих достойных людей, особенно из области науки, искусства и культуры, с которыми меня связывали и связывают десятилетия тесных дружеских отношений и симпатий. Это ни в коем случае не должно восприниматься за признак отчуждения или забвения, может быть, самых светлых страниц из собственного прошлого.

Еще одно замечание во избежание недоразумений. Часть диалогов передается в книге в форме прямой речи. Естественно, это не стенографическое, а смысловое воспроизведение имевшихся разговоров. Перед изданием немецкого варианта книги автор во избежание неточностей отдавал соответствующие разделы рукописи на просмотр своим партнерам из ФРГ. В ответ были высказаны пожелания семантического свойства, не менявшие сути. Это укрепляет меня во мнении, что позиция остальных персоналий также не претерпела под моим пером искажений, по крайней мере намеренных.

На мой взгляд, было бы неверно готовить специально русскую версию «Воспоминаний». Тем более что автор не склонен гнуть шею либо вертеться флюгером, согласуясь с новейшими поветриями. Малевать прошлое в один цвет – любой, не только черный – удобно, ибо освобождает от сомнений в настоящем и раздумий о будущем. Стоит ли принимать удобство за позицию – это особый вопрос.

Округа одинаковая, но каждый тем не менее живет в своем мире, подметил умный философ. Значит, чему быть – того не миновать.

Тебе следовало идти путем человечества, а не касты. Сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее.

Из дневника А. В. Никитенко – литератора и цензора, выпускавшего в свет первое посмертное Собрание сочинений А. С. Пушкина. Запись датирована днем кончины поэта

Вместо предисловия

«Как было – не напишешь, как не было – писать не стоит труда» – так на протяжении доброй дюжины лет отнекивался я в ответ на обращения друзей и издателей, многократно побуждавших меня взяться за перо и повести читателя за кулису событий, свидетелем и участником которых мне выпало стать. Это было твердо сложившееся мнение не вверять бумаге чувства и мысли, а чтобы соблазны не искушали, дал себе зарок дневниковых записей не вести, копии служебных документов не снимать, не подбирать вырезок из журналов, газет, кои зачастую и складываются в мемуары. Численник – вот единственное исключение, которое я себе позволил, чтобы не заблудиться в тысячах дат и имен, скапливавшихся с годами. Если возникнет вопрос: «Когда что-то случилось и кто при сем был?» – ответ должен был быть под рукой.

Почему созрело решение отозвать данный самому себе обет молчания? Формально ведь и прежде мне не вешали замок на уста, а сам я в дискуссиях не на публику, при встречах с коллегами по науке или прессе отнюдь не цеплялся за спасительное – чем короче язык, тем целее зубы. Причем не только в пору вседозволенности, прозванной для благозвучия гласностью, но также ранее, в долгую полярную ночь воздержания, когда языки усекались вместе с головой.

Причин и резонов не подражать иным образцам, не доводить, как выражались наши острословы, моду до крика имелось много. И разных. Мои партнеры и собеседники, домашние и иностранные, исходили из того, что я не злоупотреблю их искренностью и доверием, не стану по отношению к ним потребителем.

Почти сорок лет провел я сначала у подножия, затем на разных этажах советского Олимпа. На бумагу, что исписал, сочиняя без счета аналитические записки и ноты, проекты договоров и деклараций, послания и телеграммы плюс речи, интервью, статьи, фрагменты книг, и все под псевдонимами от Н. С. Хрущева до М. С. Горбачева, от официозного А. Александрова до инкогнито В. Капралова, загублен был, наверное, не один гектар леса. Сочинял без лести, преданный интересам Отечества, и без подобострастия к генеральным секретарям, премьерам, министрам.

На вкус некоторых, держался я слишком высокомерно, не по чину независимо. Соответственно меня воспитывали, тщась задеть самолюбие по мелочам, а то и по-крупному.

Представили к высшему ордену. Секретарь ЦК партии М. А. Суслов и другой «старец наверху» замечали: «Непедагогично сразу награду такого достоинства; еще успеет заслужить, ему ведь сорока нет». В 1966 г. мою кандидатуру примеривали на пост посла в Великобритании. Отставили – «склонен к своеволию и нужнее в Центре». Замыслили «обкатать» на должности заместителя министра иностранных дел. Шелестят формуляры, доискиваются, не состоял ли я в родстве с карбонариями или с занесенными в списки безвестно пропавших в войну. Подумали и передумали. Формальный повод: «Не имеет опыта самостоятельной работы».

Чудаки! Им и в голову не приходило, что мое равнодушие к карьере и знакам отличия – не поза. Ни разу я не просил предоставить мне ту или иную должность в государственном или партийном аппарате. Это меня приглашали выполнять определенную работу на приемлемых или называвшихся мною условиях, решающее из которых неизменно гласило – право иметь собственное мнение. Предоставляя мне слово, начальство знало наперед, что услышит не заказную мелодию, ласкающую слух, но, может быть, неудобное, подчас колючее суждение. Постепенно уверовали, что не столкнутся со мной на ярмарке тщеславия, и принимали это как данность, как неудобство.

Невидимые миру слезы, сказал бы Н. В. Гоголь. Они сегодня как прошлогодний снег, заметит циник. Спору нет, но я стараюсь достоверно объяснить, чему обязан относительным политическим долголетием, как удалось во всех передрягах уберечь собственное кредо и не растерять главное свое богатство – расположение друзей, сделать понятным, наконец, почему непросто мне преодолевать звуковой барьер. Даже теперь, когда все рушится, когда сплошь переиначиваются опознавательные знаки, флаги, шкала ценностей и происходят перемены на микро– и макроуровне, требую от каждого занять четкую позицию – без обиняков.

На дворе инфляция, гиперинфляция идеалов. Бывший Советский Союз – сплошное торжище. В политике за жалкие сребреники или вовсе по нулевому тарифу сбываются достоинство и честь, распинаются убеждения. Такие понятия, как уважение к наследию народа и благодарность отцам, вызывают гомерический хохот. История в очередной раз деградирует в королевство кривых зеркал, в прислужку текущей корысти. И чем скуднее знания, тем хлеще набор фраз. Чем безграничнее власть, тем раскаленнее клеймо.

Глядя на рвущихся поплясать на руинах Отечества, невольно ловишь себя на мысли, сколько, оказывается, у нас было

потенциальных героев и еще, сверх того, провидцев, отсиживавшихся до поры в кустах. А прилипал, коим быть лишь бы вблизи кормил и кормушек, без разбора, – им несть числа, их – тьма.

Ладно бы молодежь – ей от века положено стоять чуть левее (или правее) здравого смысла, посягать на лежачий камень, под который без ее фрондерства вода не потечет. Но перезрелые мужи и молодящиеся старцы в роли болтающихся между полями притяжения маятников? Постыдное зрелище. О них писал поэт: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошлого, пресмыкаясь перед одним настоящим».

Неужто мы все те же язычники, что и в канун возникновения российской государственности? Так же при прощании несем на костры живых и несметные сокровища. Прежде – во славу, ныне – в отместку, раньше – за упокой души человека, теперь – системы. Вот, пожалуй, и вся разница. Зреть подобное и смолчать?

История состоялась. Не по идейному ранжиру и не по графику, вычерченному кабинетными политологами. В нашем столетии она выказала запредельно крутой нрав. Пороки так долго и упрямо теснили добродетели, что от восторгов, которыми привечали рождение «золотого XX века», не осталось следа. И мы, перегруженные разочарованиями и тревогами, понуро плетемся в свой судный день, навстречу третьему тысячелетию.

Да, словно про каждого из нас и наших современников написал французский писатель XVII в. Жан де Лабрюйер[1]: «Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще печальней». И просится добавить – омрачить не финал лишь собственной биографии, а участь тех, кому придется разгребать напластования проблем, оставляемых нами после себя.

Все стало ныне более относительным и временным, чем когда-либо прежде. Сама жизнь берется взаймы под высокий процент. Уже жизнь не отдельного индивидуума, но наций, человечества в совокупности. А временщики, согласитесь, в любую эпоху и при всяком режиме – почти сплошь хищники, как бы они себя ни величали. Временщики особенно падки сводить дело к категориям чистогана, упрощать сложные проблемы так долго и усердно, покуда целостный мир для всех не сведется к замкнутому мирку для одного себя. Законченному эгоисту и в голову не придет, что его «сегодня» тоже вышло из «вчера» и что своим сиюминутным он не вправе истреблять чужое «завтра». Эгоисту удобнее не донимать себя мыслью, что не столько соседство, сколько связь времен делает нас цивилизацией.

Все стало относительным и лабильным, сказал я и осекся.

Неверно это. Не само по себе стало. Наши неразумение и прихоти сделали Землю менее приветливой для житья. Главной заботой ведущих правительств в XX столетии было приспособление планеты к запросам геополитики разных мастей и калибров, к горячим и холодным войнам, «ограниченным» и тотальным. И никто не сможет, не насилуя истину, утверждать, что на этом шабаше он являлся лишь созерцателем.

Говорят, время лечит. По прошествии ряда лет действительно можно более верно оценить масштабы случившегося. Но время не в состоянии отменить того, что свершилось или могло свершиться. Даже богам не дано сделать бывшее небывшим, предупреждали античные греки, призывая – так, наверное, надо их толковать – не совершать ничего, в чем пришлось бы позже раскаиваться.

Чтобы познать явление, надо понять его суть. Но чтобы понять, надо знать. Только знание освобождает от предрассудков, обладающих демонической силой. Запреты на знания, как и опасные для жизни недуги, удается порой одолевать. Хотя делать это не становится проще.

В век сплошного популизма вы лишаетесь права на личную, без соглядатаев жизнь, на неприкосновенность своей чести. Вызвать оскорбителя на дуэль невозможно и даже противозаконно. Извольте просить милости у суда, где вашу честь станут полоскать в параграфах, писанных чуждым почерком, утюжить до стандарта, да еще на виду у любителей таких зрелищ.

Что остается? Не в состоянии вызвать на дуэль – говори правду. Правдой можно сразить, но нельзя никого оскорбить, если она – подлинная правда, вся правда, и только правда. Убежден, что человек сохранит свое достоинство, если будет держаться правды.

Игнорирование фактов не отменяет порожденных ими обстоятельств, но усугубляет последствия. В этом смысле большинство нынешних проблем есть, по сути, плата за недоделанную вчера работу, за не распознанные вовремя императивы, за неумение или нежелание жить по совести. Тут заключен урок на будущее.

Если вспоминать, то очень не хотелось бы, чтобы боль за настоящее и тревога за будущее завели меня на тропу оппортунизма. Конечно, надо бы уберечь себя, читателей и от других крайностей. Воины Тутмоса I, что правил в Древнем Египте, вернувшись из похода, рассказывали о «перевернутой воде» (Евфрат), которая движется вниз, тогда как «истинный поток» должен, подобно Нилу, катить воды «вверх».

Воспоминания есть путешествие в прошлое – в область,

которая уже принадлежит всем вместе и никому в отдельности. В любом случае не принадлежит тебе исключительно и ты не вправе распоряжаться им в одиночку. В политике личных воспоминаний вообще не бывает. И для меня это – воспоминания о Родине, о трагедии моего народа и моего поколения, о канувшей в Лету тысячелетней российской истории.

Воспоминания, если заниматься ими всерьез, не придавая новейшим познаниям обратной силы, не выхватывая из прежнего лишь светлые и яркие полосы спектра, – жанр сложный и противоречивый. Заново все пережить, свести воедино то, что лежит на поверхности, и то, что быльем поросло. Предстоит воскрешать то, что терзало душу, приводило в отчаяние, что сам старался предать забвению, как дурной сон.

Воспоминание-раздумье или воспоминание-проклятие? Что на дворе – конец света или свет начала? Образумимся мы, поймем наконец, что из ненависти высеется ненависть, из зла – зло, из низвержения – низвержение? Терпение – основа всякой мудрости, терпимость – единственный путь к согласию. Хотя бы намек на терпимость и терпение, с ними пришла бы надежда. Где они?

Как наловчились мы рассуждать о естественных правах человека, ставя в нужном месте точку и выводя за скобку их же естественные пределы, позволяющие другим членам общества пользоваться одинаковыми свободами. Оглянитесь вокруг, почти никто с открытым забралом не бросается на политическую справедливость. Почему же ее как не было, так и нет? Хотя со времен Аристотеля известно, что она достижима. При некоторых предпосылках. Справедливость «возможна, – учил философ, – лишь между свободными и равными людьми, а гражданин – это тот, кто столько же властвует, сколько и подчиняется власти».

И последнее. Узелков для памяти я не вязал. А если бы попутала страсть стяжательства «будущих разоблачений» и свидетельств человеческих несовершенств, чужих понятно, то, скорее всего, эту гремучую смесь постигла бы та же судьба, что и мой численник. В нем отражались, повторюсь, даты встреч с иностранными деятелями и соотечественниками за последние тридцать лет. Имена и числа. Сотни и тысячи имен. Ничего больше. Численник пропал в августовские дни 1991 г. Мало что говорящий постороннему, он значил для меня не меньше, чем нотные знаки в партитуре для музыканта. Где он, этот численник, что с его использованием разыгрывается?

Крайне урезанными будут возможности воспроизвести тексты телеграмм, писем, докладных записок. Лично я не слишком высокого мнения о мемуарах, сшитых из документальных

лоскутков, которые тщательно отбираются по рисунку и цвету, нередко выворачиваются наизнанку в угоду насущному интересу. Но для перепроверки метаморфоз собственных оценок, которые, разумеется, не враз сложились в систему взглядов, они не были бы лишними.

Придется, стало быть, полагаться в основном на память. При всех несовершенствах этот инструмент обладает и некоторыми преимуществами – он более искренен, чем любая протокольная запись, спрессовывающая многочасовой диалог в пару сухих страниц и выпячивающая какую-то грань, которая представлялась утилитарно важной в момент самой беседы и сбрасывающей в небытие детали, возможно служившие прибежищем дьяволу или, напротив, дарившие уникальный, неповторимый шанс.

Как совместить величины несочетаемого порядка, не смешать краски в тусклое бесконтурное пятно, не поддаться искусу нарисовать политическую реплику «Черного квадрата» художника Казимира Малевича, только еще темнее? «Единственная форма, в которой мы можем выразить свое уважение к читателю, – вера в его ум и душевное благородство», – заметил однажды драматург Бертольт Брехт.

Попробуем в меру сил последовать этому доброму совету.

О себе и про себя

С чего начать повествование? Ведь так и подмывает позаимствовать у А. С. Пушкина – «…и с отвращением читая жизнь мою». На что истрачены безвозвратно силы и годы? Не все и не всегда зависело от тебя. Верно. Обстоятельства, в которые ты попадал или сам загонял себя, могли быть сильнее. Тоже факт. Но, положа руку на сердце, разве тебе наглухо была закрыта возможность учинить вселенский скандал системе, когда она попирала здравый смысл и мораль? Почему же ты довольствовался спорами с ее апостолами и полагал, что, не сдавая собственного мнения, исполняешь свой долг?

Толстовская триада «кто ты, что ты, зачем ты», сколько помню себя, не давала покоя. Политику не почитал за призвание свое и чаще тяготился ею. Будь мне дано прожить жизнь заново, держался бы я на почтительном расстоянии от племени, кичащегося присвоенным правом повелевать миллионами людей, вершить за других, знать, в чем должно заключаться их счастье и несчастье.

Вполне может быть, что в науке или искусстве, к которым тянулась моя душа, я затерялся бы среди многих равных. Зато вне политики несказанно проще оставаться в ладах с собственной совестью и в час заката не доискиваться оправданий, ради чего ты существовал на свете и кому-то умышленно или ненароком преступил дорогу.

Друзья подтвердят – эти мои мысли знакомы им издавна, они не рефлекс на события последних лет, круто повернувшие также и мою личную судьбу. Остается сожалеть, что сомнения и размышления не отлились ко времени в решимость подвести черту под одной жизнью, чтобы начать другую, а надежды, что, всем разочарованиям вопреки, общество социальной, национальной, человеческой справедливости достижимо, что гражданин не из-под палки, а по велению разума может стать добрым соседом, даже другом, не теряя при этом собственного лица, побуждали ко все новым и новым повторам официальных догм.

В свое извинение нам нередко говорят – один в поле не воин или одна ласточка весны не делает. Но позволительно взглянуть на это и иначе. Без ласточки весны тоже не бывает, и один воин способен решить исход целой кампании, стань его энергия и самоотверженность той каплей, что склонит чашу весов. Выжидать, пока кто-то другой попотеет и рискнет, и постараться не запоздать к сбору урожая с чужих мыслей и усилий? Обычай

распространенный. Он в арсенале и у тех, кто не упустит случая сослаться на И. Канта и его завет – каждый должен действовать так, как если бы он был в ответе за все человечество.

Перебора иллюзий не было у меня. Опыт жизни никак не способствовал тому, чтобы забылся горький сарказм русского юриста А. Ф. Кони: «…в Отечестве нашем, богатом возможностями и бедном действительностью…» Разве что в первичной фазе перестройки я изменил себе.

Моя мать на дух не переносила М. С. Горбачева, поэтому, видно, к ее телефонному аппарату, как выяснилось позже, пристроили прибор для подслушивания. Я пытался безуспешно переубедить родительницу, доказать ей, что новый лидер обладает задатками для возрождения страны. Жизнь матери оборвалась практически день в день с панихидой по Советскому Союзу. Она видела все и сопереживала, но не припомнила мне моего заблуждения. Скорее простила.

Никто из нас внутренне не свободен настолько, чтобы подняться над средой и тем более над собой. Истина в обыденном понимании – чаще всего то, во что хочется верить. Или что мы приучены почитать за истину. В политике это проявляется весьма контрастно. Жизнь каждого вступающего на политический паркет как бы расщепляется, обретает грани с различной конфигурацией и светопреломлением.

Настоящий политик, как и ученый, не может не быть человеком противоречий, то есть постоянно ищущим, опровергающим, не в последнюю очередь самого себя, допускающим и выдвигающим альтернативы. И в политике самые лучшие мысли – незаконнорожденные, не приседающие в тишайшем поклоне перед так называемыми «классиками», или, на британский манер, «авторитетами». Повторенная мысль может стать постепенно убеждением. Что и случилось в 70–80-х гг. Упустили, правда, позаботиться о предотвращении того, чтобы убеждения за отсутствием дел не выродились в слова.

«Мы обещаем соразмерно нашим расчетам и выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям». Это не продукт холодной войны, не шлак от противостояния Запад – Восток. Меткое наблюдение сделано в XVIII в. Наше время, однако, придало ему иное качественное измерение.

Люди ведут себя чаще как единоверцы, а не как единомышленники. Общность веры не предполагает обязательно единства действий. В противном случае конфликтов между сообществами одинаковой конфессии не должно было бы быть. Получается, что, провозглашая общие цели, выражая эту общность в совместных коммюнике и декларациях,

правительства, партии, политические деятели остаются каждый при своем мнении и интересе.

В 1964 г. мне довелось сопровождать министра иностранных дел А. А. Громыко в Италию. Заключительным аккордом встреч с итальянскими государственными, политическими деятелями, а также деловыми кругами непременно должно было стать двустороннее заявление. Для его составления понадобились затяжные – за полночь – сидения, с привлечением словарей, досье, хранивших формулировки, что применялись в подобных ситуациях на Западе и Востоке. Под свежим впечатлением сизифова труда я набросал эпиграмму: «Сколько сил истрачено, дабы текст отгранить, чтобы твердость звенела, как звенит гранит, чтобы нежность прозвучала искренне, чтобы ложь показалась истиной».

Их было в избытке, дипломатических опусов, подобных итальянскому, до и после. Исполненных пафоса, реже гнева, кратких или длиною с товарный поезд. Конечно, они накрепко забыты, как и положено творениям, обслуживающим преходящую потребность. Так и подмывает пропечатать: безвременье апеллирует к эпохе. Но не станем спешить с обобщениями.

Вспомним, что в 40–50-х гг. демилитаризация международных отношений наравне с нейтрализмом и неприсоединением слыла за нечто «аморальное» (госсекретарь США Дж. Ф. Даллес), за «происки Москвы». Встречи государственных деятелей Запада с восточными коллегами имели тогда главным своим назначением демонстрацию невозможности мирного сосуществования и, следовательно, необходимости продолжения и наращивания гонки вооружений. В такой атмосфере подтверждение – хотя бы словесное – объективной ценности мира и готовности признавать его за путеводную звезду было более чем осмысленным. Как, впрочем, и двадцатью – тридцатью годами позже.

«Разоружение и пацифизм сегодня на подъеме, и это могло бы оказать губительное воздействие на судьбу Запада». Бывший президент США Р. Никсон написал сие не по следам «кухонной склоки» с Н. С. Хрущевым или под гнетом Уотергейтского скандала, а в момент обозначившегося прорыва к договоренности по ракетам средней дальности («Чикаго трибюн», 20 марта 1988 г.). Подобных откровений по обе стороны Атлантики было пруд пруди.

Декарту принадлежит афоризм: «Мыслю – значит существую». В наше время его слагаемые поменялись местами: существую потому, что мыслю. Самое позднее завтра надо будет обязательно добавить: мыслю не вообще, а только категориями

взаимопонимания и согласия.

Я еще не объяснил, как меня занесло на орбиту, с которой сорок лет черпались кадры для внешней политики.

Вторая мировая война затронула каждого человека в Советском Союзе. Никому не было дано отгородиться от совершавшейся драмы. По моей семье нацистская агрессия прошлась, не скупясь на жестокости. Ее жертвами стали мать и сестра отца с пятью детьми, трое из четверых детей другой его сестры, их мужья, близкие и дальние родственники по линии моей матери, жившие в Ленинграде и его окрестностях. Если прибавить погибших в семье моей жены, то и получится, что среди 27 миллионов советских людей, чью жизнь оборвало гитлеровское нашествие, 27 человек – мои родственники или свойственники.

О чем должен был я думать, что чувствовать, когда замолкли орудия и разверзлась бездна утрат? Без малого семь десятилетий минуло с тех пор, но ком подступает к горлу, стоит мысленно перенестись в весну 1945 г., с на редкость буйным цветением на пропитанных кровью и потом просторах.

Непостижимо – нация, которую у нас привыкли почитать за образец организованности, порядка, культуры, народ великих философов и ученых, поэтов и композиторов породил океан зла и горя. Что же точнее передает его сокровенную суть – высокий дух или кованый сапог? Не хотелось и невозможно было поверить, что дьявольское наваждение нацизма свело опыт двух тысячелетий к всепожирающей жажде господства над миром, за полдюжину лет превратило немцев в гуннов.

«Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ, немецкое государство остаются» – эта высокая политика, продиктованная соображениями державного масштаба, меня в 1945 г. мало трогала. Обещая что-то на будущее, она не отвечала на навязчивый вопрос: кто есть в действительности эти немцы? Оборотни или сами жертвы? Если жертвы, то жертвы кого и чего?

Войн больше не должно быть, никаких: ни малых, ни больших. Ни атомных, ни обычных. Это однозначно. Но желаемое само собой не превратится в действительное. Что нужно застолбить на примере германского агрессора, чтобы никому неповадно было хвататься за меч? Ответ коренился в прошлом. Докопаться до истоков. Иначе останется безвестным палач моего двоюродного не полных пяти лет от роду брата и бабки, которой было уже под семьдесят.

Несчастья, обрушившиеся на семью, понудили меня всерьез заняться германской проблемой в ее самых разнообразных проявлениях. В моей альма-матер, Институте международных

отношений, выбран немецкий язык и германистика как профилирующее направление. С одержимостью я набросился на библиотеку, в которую перепало кое-что из трофейного фонда книг по культуре, политике, экономике, истории Германии XVIII–XX вв.

Элемент случайности и тут играл свою роль. Но по закону больших чисел или в силу каких-то других закономерностей почти каждая книга и любая неформально выполненная исследовательская работа, к примеру по буроугольной промышленности Германии, чем-то обогащала. Обогащала хотя бы дополнительными неясностями, сомнениями в том, что кто-то все заранее за нас мог передумать и оставить в подарок толстенный том патентованных решений на все случаи жизни и на все времена.

Студенты склонны к сокрушению святынь. Свежее, неизленившееся и еще не растленное сознание, стремление, присущее каждому или большинству вступающих в жизнь, искать свою идейную высоту, а не обязательно стойло с гарантированным рационом удобств не было изничтожено, несмотря на все старания властей уподобить советскую высшую школу неким прототипам из Средневековья.

О мировоззренческой «чистоте» пеклись не одни дядьки – начальники курсов. В 1946–1948 гг. МГИМО попал в полосу репрессий. Слухи ползли самые разные – кто-то при поступлении на учебу скрыл, что якшался с «врагами народа». Других вроде бы разоблачили в связях с реальным врагом в годы войны. Третьих, как А. Тарасова, моего однокурсника, якобы уличили в принадлежности к «тайной группе», изучавшей по ночам книги Л. Троцкого, Н. Бухарина и других ниспровергателей сталинизма.

Как бы то ни было, вы не могли быть уверены в том, что, придя утром в институт, не обнаружите пустующим стул соседа, вполне приличного, по вашему личному впечатлению, молодого человека. А еще через неделю-две окольными путями становилось известно, что такой-то исключен из партии или комсомола. Далее следовала отшлифованная на тысячах и тысячах жертв формулировка – «за действия, не совместимые с членством в ее (его) рядах».

Мы были не в состоянии пренебречь происходившим, абстрагироваться от реалий. И все же. Даже в удушливой атмосфере подозрительности и доносительства можно было не расстилаться перед оболванивателями, не строить из себя мини-вождей или прихвостней идиотизма с его кампаниями против «формализма в искусстве», «космополитизма», «вейсманизма-морганизма».

Больше того, сходило с рук, когда, скажем, на семинарах по политэкономии и марксизму-ленинизму – к ужасу соответственно доцента Тяпкина и старшего преподавателя Макашова – мой друг Р. Белоусов и я с невинным видом просили разъяснить, как наличие денег совмещается с отсутствием в Советском Союзе рынка или как понимать тезис в «Истории ВКП(б). Краткий курс», что российский рабочий жил в нищете, если несколькими страницами ниже утверждается, что он зарабатывал около рубля в день, по реальному соотношению намного больше советского рабочего.

В 1950 г. я вовсе впал в ересь, выступив с критикой модного тогда фильма «Падение Берлина». Мне, по-видимому, повезло. Так или иначе, слова «фильм вредный и антиисторичный, ибо сопрягает все будущее страны с жизнью и деятельностью товарища Сталина», остались без видимых последствий. Слова неосторожные, сорвавшиеся с языка, потому что кто-то вызвал меня на полемику.

Не исключаю, что благополучным финалом я обязан вдумчивому сотруднику службы безопасности, решившему разобраться, что за фрукт этот студент, который по 12–14 часов на дню корпит над книгами, не посетил за годы учебы ни одной вечеринки, все летние и зимние каникулы провел в библиотеках, живет на стипендию, а когда денег совсем нет, ходит в институт пешком и питается хлебом единым. Сегодня подобный аскетизм мне самому вряд ли оказался бы по плечу. Но в первые послевоенные годы у нас были заниженные представления о насущных потребностях и в чем-то другой взгляд на собственные обязанности.

Июнь 1950 г. Директор Института международных отношений вручает мне диплом с отличием. «Юрист-международник, референт-переводчик по странам Восточной Европы» – так определена в дипломе моя специальность. Что дальше? Есть предложение продолжить учебу в институтской аспирантуре. Заманчиво – не надо менять привычный ритм и образ жизни. Невозможно – болен отец, пора помогать родителям. Последнее, наряду с некоторыми другими личными переживаниями, склоняет в пользу командировки в Берлин, где я должен трудиться в аппарате Советской контрольной комиссии для Германии, пришедшей после образования ГДР на смену нашей военной администрации.

В самой комиссии меня определили в подразделение, занимавшееся сбором и анализом данных по Западной Германии. Это предопределило участие – буквально с места в карьер – в различных мероприятиях, касавшихся проблематики отношений

между ГДР и ФРГ, связей между партиями, общественностью, деловыми кругами двух республик, во встречах с видными представителями Запада и Востока, в подготовке предложений и информации, докладывавшихся Сталину.

Летом 1951 г. по возвращении в Союз меня сразила болезнь. Осень и зиму провалялся в госпиталях, а когда врачи благословили на продолжение «под наблюдением невропатолога и терапевта» профессиональной деятельности, опять встал перед ребусом, куда податься. Отец готов поддержать план с учебой в аспирантуре. Уже выбрана научная область. В политэкономии видится ключ к пониманию перипетий бытия. Сданы экзамены. Определились научный руководитель и тема диссертации. И тут выявляется – абитуриент должен пройти «собеседование» в райкоме ВКП(б). Политэкономия отнесена к сфере особо опекаемых партией научных дисциплин. У райкома партии, однако, другие заботы – он, как и все остальные партзвенья, занят подготовкой к XIX съезду. Предложено ждать.

Сколько? Месяц миновал, второй, третий. На исходе пятого и терпение, и мои финансовые возможности требуют прекратить научный эксперимент. Я принимаю предложение руководства Комитета информации при МИД СССР стать его сотрудником. Словно в насмешку буквально через пару дней РК КПСС (так теперь именуется партия) уведомляет о согласии «допустить» меня в политэкономию. Это реально теперь лишь в заочном варианте.

Комитет информации (КИ) вышел из недр аналитической службы объединенной внешней разведки, как она возникла по окончании войны на базе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба и Первого главного управления (ПГУ) Министерства госбезопасности. Разноплановые интересы вскоре возобладали над идеей координации и централизации. От «большого комитета», устроившегося – кому-то пришла в голову фантазия – в зданиях бывшего Исполкома Коммунистического интернационала и возглавлявшегося первоначально В. М. Молотовым, отпали оперативные разведывательные подразделения, естественно, с соответствующими документами и штатами. КИ досталось в общей сложности примерно 150 должностей и право получать (до середины 50-х гг. оно уважалось) не только дипломатическую почту, но и «специальные» донесения, имевшие политическую ценность.

В момент моего поступления в комитет им фактически руководил рассудительный и незашоренный И. И. Тугаринов, а принадлежность к МИД СССР была более или менее формальной. Продукция КИ отправлялась непосредственно на имя Сталина в

его секретариат, копии размечались членам политбюро ЦК КПСС и отдельным министрам по спискам, согласовывавшимся опять-таки с помощниками Сталина («малая» и «большая» разметки). Темы информации, если они не задавались свыше, определялись тенденциями развития и значимостью поступавших по различным каналам данных. И вот что заслуживает быть отмеченным – особый спрос предъявлялся к достоверности сообщаемых или кладущихся в основу выводов сведений. Под личную ответственность исполнителей и руководителя, своей подписью санкционировавшего выпуск материала из стен КИ.

Комитет информации не обладал монополией на разработку проблем и анализ дипломатических и прочих документов. Несколько структур, не имевших доступа к произведениям друг друга, параллельно занимались исследованиями, оставляя доверенным диктатора сопоставлять и делать свои оценки.

Со смертью Сталина постановка информационно-аналитической работы претерпела значительную эволюцию. Не обязательно в лучшую сторону. Постепенно из надведомственного учреждения КИ превратился в подразделение МИД СССР, что сделало его занозой в глазах службы безопасности и Министерства обороны. В начале 1958 г. с подачи И. Серова комитет упразднили.

Вместе с двумя коллегами по КИ мы обратились в ЦК КПСС с аргументированными возражениями против ликвидации в стране центра независимой информации. Они получили отклик. В результате появился Отдел информации ЦК КПСС во главе с Г. М. Пушкиным. Отделу вменялось оценивать политические донесения разведслужб, в частности на предмет выявления в них дезинформации, подготавливать инициативные соображения по всему спектру внешнеполитических интересов страны, информационно обслуживать заседания политбюро.

Г. М. Пушкин пригласил меня перейти в аппарат ЦК. Так началась моя партийная карьера, впрочем, быстро закончившаяся после проявленной нами недогадливости или, хуже того, бестактности, поставившей выводы из фактов выше мнения, рожденного безграничной властью.

Почему довольно пространно рассказываю о Комитете информации и отделе Г. М. Пушкина в ЦК? Я приоткрываю дверь неведомых большинству лабораторий, где шла интенсивная и преимущественно честная работа не с химерами, а с первичными данными, из которых складывается информация – хлеб политики и залог ее качества.

Замечу не в скобках: если бы сильные мира сего чаще прислушивались к суждениям специалистов, естественно, не

однобокой, как флюс, апологетической школы, и меньше полагались на наитие, на собственный утробный голос, то цивилизация была бы избавлена от части потрясений, которые ей уже пришлось и еще предстоит претерпеть. Именно в наше время вера и знания могут выступать как противоположно заряженные полюса, и только знание, соотнесенное с нравственными принципами, способно дать человечеству якорь спасения. Односторонность, подчеркивал еще А. С. Пушкин, – пагуба мысли. Односторонность – пагуба морали, справедливости, права. В конечном счете она отрицание гуманности и свободы.

Опыт пребывания в информационно-аналитических учреждениях был исключительно ценным для меня лично. Он привил навыки обращения с фактами, утвердил готовность защищать правду, когда ее хотят согнуть в бараний рог, позволил заложить основательный фундамент знаний, приносивших пользу в течение десятилетий.

В феврале 1959 г. Отдел информации ЦК КПСС был расформирован. Я собрался было в Академию общественных наук. Заместитель заведующего отделом Т. К. Куприков все уладил, чтобы в «порядке исключения» меня зачислили слушателем АОН в середине учебного года. Это не было слишком серьезным отступлением от регламента: к 1957 г. я сдал все положенные по закону экзамены, оставалось обобщить в основном собранный материал, а дальше – защита диссертации на ученом совете.

Не тут-то было. А. А. Громыко, ставший к этому моменту министром иностранных дел СССР, воспылал желанием перековать меня в дипломаты. Л. Орлов, заведующий Отделом загранкадров ЦК, метивший к министру в заместители, счел нужным показать прыть. Трижды меня вызывали «на ковер». Последний раз в присутствии целой комиссии пугали карами, заявляли, что закажут мне дорогу в науку и откроют – на целину. Мой ответ был «нет».

Домой мне звонит Г. М. Пушкин:

– Ну зачем тебе скандал, а он назревает. В моем добром отношении, надеюсь, не сомневаешься. Именно я порекомендовал тебя Громыко и сегодня на его недоуменный вопрос – не отказаться ли МИДу от Фалина – подтвердил свою аттестацию. Давай условимся так: ты своей позиции не пересматриваешь, но будешь согласен с решением, которое я по-дружески предложу.

Умный и деликатный Георгий Максимович. Он умер совсем молодым. Перегрузки выискали слабое место – сердце. Оно не выдержало, открытое человеческому сочувствию, неравнодушное ко всему, что совершалось вокруг него.

Определили меня в 3-й Европейский отдел МИДа. В

наказание за строптивость – на самую низкую должность и с минимальным дипломатическим званием по сравнению с другими сотрудниками бывшего Отдела информации, перекочевавшими со Старой площади на Смоленскую-Сенную. Л. Орлов долго еще будет помнить мой с ним турнир и куражиться. Под конец, что называется, себе дороже. Но в дипломаты меня все-таки сосватали на целых два десятилетия.

В конце 50-х – начале 60-х гг. германская проблема заняла центральное место в европейской политике СССР, в международных отношениях вообще. В качестве эксперта я сопровождал А. А. Громыко летом 1959 г. на совещание министров иностранных дел в Женеве. Тогда и на протяжении 1960 г. частенько попадался министру на глаза, а после того, как несколько моих материалов снискали похвалы «наверху», задания по написанию текстов публичных выступлений и проектов нот не успевал проглатывать.

Дебют в МИДе постепенно забылся, обстоятельствами я был введен во внутренний круг седьмого этажа высотного здания, где размещались служебные кабинеты Громыко и его заместителей. Особых удобств от принадлежности к этому кругу мне не выпало познать. Ни разу не наведался в принадлежавшие МИДу дома отдыха. О том, что министерство имеет охотничью базу, услышал, вернувшись из Бонна. И другие материальные стимулы текли как-то мимо меня. Надо было суетиться, умасливать и заискивать, чему я не научился ни тогда, ни позже.

Зато в чем не знал недостатка, так это в работе. Министр держался правила – работать узким составом. Трудно привыкая к новым лицам, он предпочитал навьючивать на, как считалось, своих «любимцев», пока те не спотыкались от изнурения. В 1961 г. мне «повезло» сверх всякой меры. После венской встречи Н. С. Хрущева с Дж. Кеннеди я был прикреплен к первому секретарю ЦК КПСС и председателю Совета министров СССР в качестве эксперта по германским делам и сочинителя проектов его речей. Если учесть, как часто Хрущев выступал, а позже вел интенсивную переписку по германской проблеме, встречался с иностранными лидерами, где Германия тоже не оставалась в тени, легко себе представить, насколько затягивался мой рабочий день. Чаще всего он заканчивался далеко за полночь, а наутро в 9.00 надо было снова занимать свое служебное место.

Но именно тогда я приобщился к тому, что слывет за «большую политику» или что Н. С. Хрущев называл стрельбой из «орудий крупного калибра». Глава правительства не принадлежал к почитателям Громыко и руководства МИДа в целом. Замминистра В. С. Семенова называл «нашим опасным

человеком», памятуя его доклады о ситуации в ГДР накануне и после событий июня 1953 г. Насчет министра отзывался так:

– Всегда есть уверенность в том, что Громыко (при мне Хрущев ни разу за глаза не назвал его по имени) буквально выполнит данные ему инструкции, постарается выжать из собеседника максимум, не дойдя сам до края дозволенных встречных уступок. Не ждите, однако, от Громыко инициатив и решений под собственную ответственность. Типичный чиновник.

В мидовских сферах держался упорный слух, что в ходе одного из своих визитов в США Хрущев предлагал послу А. Ф. Добрынину сменить Громыко на посту министра. Посол сумел уклониться от этой царской милости, что, с одной стороны, определило к нему благоволение министра и, с другой, прописало его в Вашингтоне на четверть века.

Громыко боялся Хрущева до неприличия. Когда последний повышал тон, у министра пропадал дар речи. В ответ на тирады главы правительства слышалось дробное «да-да-да», «понял», «будет исполнено». Даже если разговор велся по телефону, лоб министра покрывался испариной, а положив трубку на рычаг, он еще минуту-другую сидел недвижимо. Глаза устремлены в какую-то точку, неизбывная тоска и потерянность во всем облике.

К осени 1964 г. Хрущев просто-напросто третировал министра. Подозреваю, что в это время предвзятое отношение к А. А. Громыко было уже не только рефлексом на несхожесть темпераментов и менталитета, но вынашивавшегося намерения продвинуть своего зятя в руководители дипломатического ведомства. Останься Хрущев самодержцем на несколько месяцев дольше, пост министра иностранных дел достался бы А. И. Аджубею, а его предшественника отправили бы послом, хочу думать, в одну из крупных стран.

Люди есть люди. Сотрудникам МИДа приходилось принимать на себя функцию громоотвода, когда уязвленный Громыко искал выход своему раздражению. Разряды, естественно, чаще били по тем, кто рядом. Резко, наотмашь, несправедливо. В результате министр потерял А. М. Александрова-Агентова, затем А. И. Блатова, ряд других достойных людей. Рикошетом доставалось и мне, что весной 1962 г. дало повод для крупного мужского объяснения.

Выполняя очередное поручение Н. С. Хрущева, я допустил огрех – в несчетных редактурах и перепечатках проекта послания президенту Дж. Кеннеди пропал абзац, а с ним существенное, слов нет, соображение, содержавшееся в диктовке председателя. Его помощник О. А. Трояновский засек пробел. Еще до доклада своему шефу он позвонил Громыко и поинтересовался:

– Как понимать, МИД не согласен с мыслью Никиты Сергеевича или?..

Министр сетует на нерадивых сотрудников, благодарит Трояновского за бдительность и вызывает меня к себе для экзекуции почему-то вместе с А. П. Бондаренко.

Не буду передавать подробностей того, чего мы наслушались. Чести министру его риторика не делала. Окончив монолог, сопровождавшийся выразительными жестами, Громыко опустился в кресло. Наступила тягостная пауза.

– По существу случившегося готов принять критику и с ней кару. Если встанет вопрос о моем отстранении от советско-американского диалога (который велся в высоком темпе), сочту это адекватной реакцией.

Произношу это сухим тоном, без всяких интонаций.

Видано ли подобное – не чувствуется раскаяния, недостает самобичевания. И каток начальственного гнева принимается утюжить нас во второй заход.

Прошу Громыко освободить Бондаренко от тягостного сеанса порки, ибо он ни в чем не виноват. Кроме того, мне есть что сказать министру с глазу на глаз.

Кивком министр позволяет Бондаренко удалиться и, как только за ним закрывается дверь, цедит: «Что там еще у вас?»

Произношу медленно, почти по слогам:

– Приношу извинения за то, что подвел вас. Но я категорически отвергаю избранную вами форму объяснения. Никому и никогда не позволял оскорблять себя и не потерплю этого впредь. В МИД, как известно, я не нанимался. Если министерство в моих услугах не нуждается, то я в приемной оставляю заявление об уходе.

Громыко смотрит перед собой. Непроницаемое, суровое выражение лица. Губы сложены в несмываемую кривую улыбку. Мы шутили в своем кругу: «Громыко улыбается, как Мона Лиза». Пальцы правой руки отстукивают одному министру известную гамму на ручке кресла. И обычным голосом произносятся две фразы:

– Вы свободны. Идите и продолжайте работать.

Не знаю, какие чувства и мысли посетили министра в эту неприятную минуту. Должен, однако, констатировать, что во все последующие шестнадцать лет он не повышал на меня голос, не то что кричал, хотя ситуаций, провоцировавших его на проявление начальственного нрава, случалось предостаточно. Позволю себе даже констатацию, что после необычного для МИДа объяснения в Громыко затеплилось человеческое ко мне расположение.

Проявлялось это чаще всего в специфическом для него виде. Поручения сыпались словно из рога изобилия. Не соблюдалось никаких географических, страноведческих и политических условностей. Европа, Америка, Ближний и Дальний Восток, военно-политические союзы, «третий мир», соцсодружество. Вас оснащают несколькими папками телеграмм, документальными досье и ставят сроки, нисколько не интересуясь, остались ли у вас силы после завершения работы над заданием, законченным накануне.

В январе 1965 г. мне вверяется руководство «группой советников при министре». Я обязан пропускать через себя всю информацию, поступающую в МИД, и дважды на дню делать доклад лично и только А. А. Громыко. Министр мог дать указание ознакомить (устно) с тем или иным документом своих заместителей, но это случалось нечасто. И совсем редко в особо секретные данные посвящались заведующие отделами.

Вскоре стало очевидным, что при любом усердии немыслимо даже бегло прочитать более тысячи страниц текста, которые в течение дня ложились на мой письменный стол. Качество докладов выиграет, если в нашей группе произвести известное разделение труда с правом выхода на А. А. Громыко моих сотрудников. Р. А. Сергеев и А. С. Каплин (будущие послы) торят тропу в министерский кабинет. За мной утренний обзор и общая координация. Экстренные случаи, понятно, не в счет.

Увы, «группе советников» доставалось не больше трети моего служебного времени. Остальное поглощали поручения самого министра, а также задания через министра из Кремля и со Старой площади. Не слишком приятной и весьма трудоемкой оказалась экспертиза проектов, готовившихся в отделах и заместителями министра перед тем, как за них брался Громыко. Неприятной потому, что против желания я попадал в положение цензора или экзаменатора. Трудоемкой – в силу того, что замечания, выраженные письменно или устно, министр тебе же и поручал реализовывать.

И возражать было трудно: проекты следует привести в соответствие с большей суммой первичных данных, ими отделы и заместители министра не располагали. От этого, однако, мое положение не облегчалось. Лишь в одном министр пошел навстречу – мое участие в доводке чужих проектов не должно афишироваться. Будь заранее известно о создании промежуточного корректировочного звена, качество проектов проиграет.

Но самой неблагодарной обязанностью оставалось участие в подготовке текстов выступлений самого министра и некоторых

членов политического руководства. Иногда впору было лезть на стену. Представьте себе, речь А. А. Громыко на XXIII съезде КПСС писалась в 17 вариантах. Министр метался – каким темам и мыслям отдать предпочтение? Чувствуя трагикомичность положения, когда счет проектов перевалил за дюжину, он спрашивал: под каким номером внести очередную редакцию в реестр? В тон вопросу я отвечал: мы превзошли Льва Толстого в его работе над «Анной Карениной», но еще отстаем от числа авторских вариантов при создании «Воскресения». В конце Громыко вернулся к четвертой редакции.

Незначительный эпизод, который, однако, как нельзя лучше иллюстрирует, сколько сил и времени уходило на бумагомарание, на суету, в чем-то, возможно, полезную, если принять в расчет, что речи, интервью, статьи стали методом развития теории и введения прецедентов в практику. И все-таки несоразмерную с издержками. В долгий ящик попадали реальные дела. На них уже недоставало ни времени, ни энергии. О готовности критически и системно осмысливать совершенное и совершаемое можно было говорить лишь в порядке исключения.

Бурная жизнь то и дело подбрасывает взрывной материал. После доклада совершенно секретного донесения, касавшегося высказываний нашего посла в Алжире по поводу свержения Бен Беллы, министр заметил: «Больше эту тему не поднимайте». Спустя день поступают дополнительные настораживающие сведения – посол Н. М. Пегов впадает в оппозицию к новому режиму. Обращаю внимание Громыко на опасность осложнений в советско-алжирских отношениях.

Министр снимает очки и строго спрашивает:

– Вам что, устного указания мало? Пегова не трогать. Странный вы человек. Мое слово для всех в МИДе – приказ, а вы…

Моя реакция его озадачивает:

– Пока вы на коне, большинство норовит вам поддакивать. Не дай бог очутиться вам в немилости, и тогда, возможно, я буду среди немногих, кто не бросит в вас камень.

Громыко чуть слышно произносит:

– Любопытно.

В тот же или на следующий день передо мной материал, требующий незамедлительной реакции. Направляюсь в кабинет министра. Мне дано право доступа к нему в любое время, если только он не занят приемом иностранцев или не ведет телефонного разговора. Обращаясь к Громыко, констатирую:

– Вы запретили комментировать данный вопрос. Я оставляю вам материал, который, на мой взгляд, необходимо как минимум

принять к сведению.

Громыко пробегает текст и отрывисто бросает:

– Я посоветуюсь с членами политбюро.

Несколькими часами позже министр возвращает материал и извещает, что решено переместить Н. М. Пегова из Алжира в Индию. Послу предложено немедленно сдать дела в Алжире и вылететь в Москву.

Вы уже, вероятно, приметили, что по части внутренней дипломатии больших высот я не взял. Признаюсь, не ведал, что Н. М. Пегов был свояком М. А. Суслову, человеку номер два в партийной иерархии и ключевой фигуре при выдвижениях и возвышениях.

Летом 1968 г. министр отдыхал в «Соснах». Санаторий «Барвиха», его традиционное прибежище, был на капитальном ремонте. Раз в неделю я посещал Громыко для обзора наиболее существенных событий и проблем. В этот день Громыко не расстался со мной, как было заведено, у себя в номере, а пошел проводить меня до машины.

По пути спрашивает:

– Как бы вы отнеслись к предложению взять на себя обязанности первого заместителя начальника Управления внешнеполитического планирования? Одновременно вы были бы введены в состав коллегии министерства. Я не жду от вас ответа сию минуту. Если вы сочтете предложение неинтересным, то можете ограничиться «нет» без раскрытия мотивов.

Соблюдая приличия, благодарю Громыко за доверие. Исключено – я не стану работать под начальством А. А. Солдатова, главы управления. Дипломат старой выучки, он обладал обостренным чутьем касательно «высокого мнения» и готовностью в любой момент подстроиться под него. Сотрудничать с ним было для меня мукой. Подчиняться? Не может быть и речи. Министр, возможно, перепроверяет, насколько я устойчив перед карьерными соблазнами, – ведь мне дается шанс стать самым молодым членом коллегии МИДа.

Ждать новой встречи с Громыко не пришлось. Министр приглашает нас с послом А. Г. Ковалевым обсудить концепцию своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После разговора втроем Громыко отводит меня в сторону и дает поручение ознакомить с некоторыми из докладывавшихся ему материалов замминистра В. В. Кузнецова. Удобный момент сказать о моем отношении к переходу в Управление планирования. Не успеваю произнести до конца домашнюю заготовку, министр перебивает меня:

– Мы условились, что вы говорите «да» или «нет», не вдаваясь

в детали. Сосредоточьтесь на проекте для ООН, это сейчас важнее.

По дороге в Москву рассказываю Ковалеву об инициативе министра и моем отклике на нее. Проницательный и умудренный в дворцовых перипетиях, мой давний товарищ вычисляет:

– Министр созрел для того, чтобы ты расправил крылья. Он предпочел бы видеть тебя в Управлении планирования, которое задумано как большой совет при министре. Но раз этот вариант не прошел, вскоре он предложит тебе альтернативный.

Так и случилось. Через неделю я с рутинным докладом в «Соснах». Министр в хорошем настроении. По внешнему виду – отдых идет ему во благо. Меня удивляла способность Громыко быстро восстанавливаться после колоссальных нагрузок, которые он принимал на себя, частично вследствие чрезмерной централизации ответственности внутри аппарата. В завершение собеседования вопрос министра:

– Как бы вы посмотрели на то, чтобы возглавить 2-й Европейский отдел? Лаврова мы отправим за рубеж. МИД войдет в установленном порядке с инициативой о назначении вас членом коллегии. Этим мы дадим понять Англии, Канаде, Австралии и другим странам, что развитие отношений с ними получает приоритет.

Министр ждет, что «нет» не будет сказано. Он предлагает подумать и сообщить мое мнение, заранее обещая выделить в помощь опытных дипломатов, если в этом будет необходимость.

Сомнения в целесообразности смены жанра есть, и скрывать их не в моих правилах. Серьезными знаниями по Британскому Содружеству я не обладаю. Английский язык стал более чем пассивным. Руководить сотрудниками, которые взросли на ниве классической английской дипломатии, будет неловко.

– Вот и прекрасно, – замечает министр с юмором, присущим ему в минуты внутренней уравновешенности, – вы отдаете себе отчет в ваших слабостях. Это предпосылка к их успешному преодолению.

Неисповедимы пути Твои, Господи. Не думал, не гадал, как оказался в море необычных для меня забот, новых персоналий, обширного свода условностей, которыми не всегда можно пренебречь. Прощайте мечты о научной деятельности, о возможности зарыться в книги и архивы.

И без ответа остался для меня вопрос: почему А. А. Громыко отказывался от моих услуг руководителя его тайной канцелярии? В ком-то заронилась тревога, что я стал слишком осведомлен? Не похоже. Сам я поводов для подозрительности не давал. Или имело под собой основание утверждение, что министр не без

ревности реагировал на реплики, приписывавшие мне чрезмерное влияние на формирование позиции МИДа и стилистику документов, выходивших из стен министерства?

Надо признать, что в 1964–1967 гг. от четверти до трети серьезных документов МИДа писались или основательно редактировались с моим участием. Не каждому это приходилось по вкусу, хотя меньше всех каторжный труд нравился мне самому.

С перемещением во 2-й Европейский отдел разгрузки от «отхожих промыслов» не наступило. Разве что на первые три-четыре месяца. А потом – до полудня в отделе, затем непонятно где.

С мая 1967 г. стало вообще неясно, где мое рабочее место. Громыко превратил меня в уполномоченного по ближневосточным делам. Об этом опыте стоит рассказать чуть позже, ибо он раскрыл мне глаза на многое и многих, так же как и события следующего, 1968 г., развернувшиеся вокруг Чехословакии. Рассказать в деталях как очевидцу, ничего не убавляя и не примысливая.

В августе 1968 г. снова перемена в моей биографии. Громыко настаивает, чтобы я принял 3-й Европейский отдел МИДа, осиротевший с уходом А. И. Блатова в аппарат ЦК КПСС. Склонность к перемене мест не моя черта. Я не обманывался – радикального обновления британского газона совершить мне не удалось. Подсеяли, местами подстригли, сорняк выпололи. На большее недостало времени и веры сотрудников отдела в собственные силы.

Может быть, 3-я Европа избавит от иррегулярных обязанностей и повинностей? В разговоре с министром ставлю вопрос так: если германское направление будет главным и единственным в моей работе, то предложение принимаю. Совместительство на данном участке делу совершенно противопоказано.

Громыко не связывает себя твердыми обещаниями.

– Будем стремиться входить в положение заведующего, насколько это возможно.

До первых чисел декабря 1968 г. включительно меня не отпускали чехословацкие сюжеты. В канун Нового года удалось в несколько приемов сосредоточиться на критическом осмыслении дальнейшей линии в германских делах. Открывался при всей чересполосице, наверное, самый плодотворный период моей дипломатической деятельности.

При пересказе своей одиссеи я буду придерживаться канвы реальных событий и отношений между их действующими лицами. Внешне многое покажется увлекательным и занимательным. Но

по прошествии стольких лет и мне тогдашние подсидки и страсти представляются мелочными, не заслуживающими переживаний и дурного настроения. Но когда-то все воспринималось иначе. Часто с зарубежными партнерами было легче, чем с чиновниками МИД СССР и других ведомств. Вместо координации действий вы наталкивались на обструкцию, на глухое недоброжелательство.

Ю. В. Андропов однажды заметил в разговоре со мной:

– Читая твои телеграммы (из Бонна), живо ощущаю, как ты кипишь. Мне это знакомо. Будучи послом, я тоже пытался прошибить лбом бюрократические стены. Шишки набил, стены не своротил.

В сентябре 1978 г. Л. И. Брежнев, как и обещал, отозвал меня в Москву. Практически он же определил и место моей дальнейшей работы – Отдел международной информации ЦК КПСС. Далеко не Эрмитаж, солнышком ясным взошедший было на горизонте, даже не Институт АН СССР, но поодаль от МИДа – уже хорошо.

Получилось ли из отдела задуманное? И да и нет. Нашел я себя в аппарате ЦК? Покой мне только снился. Л. М. Замятин в функции непосредственного начальника напоминал уравнение с тремя неизвестными. В конце 1982 г. из его интриганства высекся мой конфликт с Ю. В. Андроповым, поднявшимся к тому времени на пост генерального секретаря ЦК партии.

Не сразу получаю место политического обозревателя в газете «Известия». Прежде надо было выстоять перед массированным давлением секретарей ЦК, старавшихся исполнить волю Андропова, уже назначившего меня первым заместителем к С. Г. Лапину, председателю Комитета по телевидению и радиовещанию. Зато впервые за тридцать с лишним лет я овладел правом распоряжаться своим временем, выступать под своим именем с собственным мнением, возможностью читать, читать и читать все, что меня интересовало, а не требовала служба.

За неполных три с половиной года в «Известиях» написаны кандидатская и докторская диссертации. Завершено наконец дело, начатое в 1952 г. Правда, не совсем по теме, облюбованной когда-то («Внешние сферы приложения западногерманского капитала»), и с перепрофилированием из политэкономов в историки. С карандашом проштудированы монографии, документальные сборники, позволившие глубже вникнуть в технологию выработки военно-политических решений Вашингтона, а также Лондона перед, в ходе и после Второй мировой войны. В 1985 г. работу в газете я совмещал с научной деятельностью в Институте США и Канады АН СССР. Планировал сделать затем институтскую часть работы основной, и, честно

говоря, постфактум весьма сожалею, что вернулся в политику.

Случилось это так. В начале декабря 1985 г. был завершен труд над текстом докторской, который надлежало представить в ученый совет Института США и Канады (ИСКАН). Четыреста с лишним листов, что отстучала на машинке моя жена, сложились, перечитанные и выправленные, в аккуратные четыре стопки. Часы показывали второй час ночи. Наутро сдаем манускрипт ученому секретарю ИСКАНа Г. М. Пуговкиной и сразу в дом отдыха, что очень кстати, ибо диссертация забрала все силы.

Решаем для себя – максимум времени на воздухе, никакой политики, какие бы маститые собеседники ни втягивали нас в воспоминания или обсуждение текущих проблем. В библиотеке отбираем только художественную литературу в дополнение к захваченным из дома непрочитанным выпускам «Нового мира», «Знамени» и «Октября». Фильмы смотрим с большим разбором, шумные, как и заунывные, не про нас.

Неожиданный телефонный звонок из Москвы. Мужской голос, удостоверившись, что разговаривает со мной, представляется и сразу к сути – министр иностранных дел хотел бы встретиться со мной в ближайшие день-два. Признаюсь, моя спонтанная реакция была щетинистой:

– У меня нет вопросов к Шеварднадзе. Кроме того, я только что вырвался в отпуск и не имею в виду его прерывать.

На другом конце провода – молчание. Там ожидали явно иного отклика. Работник секретариата повторяет, что Эдуард Амвросиевич приглашает меня на личную встречу, у него имеются некоторые вопросы ко мне и соображения. Время встречи министр оставляет на мое усмотрение.

Жена удерживает меня от дальнейших резкостей:

– Зачем ты так, Шеварднадзе не сделал тебе ничего плохого.

Уступаю ей.

– Если пришлете машину, готов прибыть в МИД утром завтра или послезавтра.

Самое скверное – неведение. Все равно, пока не узнаю, что к чему, буду не в своей тарелке. Задуманное отвлечение от каждодневных треволнений сорвалось. Надо спасать то, что поддавалось спасению, из трехнедельного отпуска.

В назначенное время я у Шеварднадзе. Он неплохо вписался в знакомый мне интерьер, а бархатная манера говорить придает беседе некую доверительность.

Суть вводного монолога нового хозяина кабинета сводилась к следующему. Положение страны наисложнейшее. На карту поставлена судьба социализма. Успех дальнейшего хода дел зависит от того, удастся ли собрать на платформе новой

политики людей, способных и готовых к действию.

– Я давно и с интересом наблюдал за вами и очень сожалел, что в какой-то момент в вашей деятельности произошел перелом. Могу сообщить, что две комиссии по поручению политбюро специально проверяли сигналы (уточняет, о чем шла речь), которые вроде бы поколебали доверие к вам Андропова. Комиссии установили, что претензии были надуманными. Для недоверия оснований не имелось. Дипломатическая служба и я в качестве ее руководителя приветствовали бы, если бы вы вернулись к внешнеполитической работе. Конкретно вам предлагается возглавить управление планирования министерства с самыми широкими творческими полномочиями.

Шеварднадзе просит принести чай. Интересуется моим здоровьем, как идет отпуск, извиняется, что нарушил его течение. Словом – подчеркнутая предупредительность.

– Все, что стряслось в 1982 году, пережито. После вашего сообщения, что претензий ко мне нет, могу умирать спокойно. Вместе с тем, выслушав вас, склонен заключить, что подоплека вашей размолвки с Андроповым в поле зрения комиссий не попала.

Далее отмечаю, что работа в «Известиях» меня вполне устраивает. Она оставляет мне время для науки и для семьи. Снова впрячься в государственные обязанности значило бы (в который раз!) бросить незавершенным труд над диссертацией, теперь уже навсегда.

– По поводу управления планирования могу сказать то, что приготовил для Громыко в ответ на его аналогичное предложение двадцать лет назад. В своем нынешнем виде управление недееспособно и не нужно. Это не рабочий орган, а отстойник, в коем заслуженные и незаслуженные дипломаты пережидают паузу перед очередным выездом за рубеж. Вместо него стоило бы создать подразделение в составе 12–15 специалистов, обладающих глубокими знаниями, а главное – собственным мнением и желанием отстаивать его в диспутах на любом уровне. Сложно сколотить подобную группу. У меня нет ни времени, ни сил, ни особой тяги заниматься этим.

Шеварднадзе перебивает меня – он лично был бы за то, чтобы предложить мне пост заместителя министра. Но ряд членов политбюро относятся к этому «с резервом».

– Вот видите, – подхватываю аргумент собеседника. – Не стоит разочаровывать руководителей-скептиков, а также давать повод для очередных спекуляций обывателям. В конце концов должность политобозревателя в «Известиях» ничуть не хуже и в чем-то заметнее невидимых плодов корпения в МИДе.

Министр вводит в оборот козырной довод:

– Вы, очевидно, догадываетесь, что наша беседа происходит с ведома и по поручению Горбачева. Что я могу доложить ему?

– Доложите, что я искренне желаю генеральному секретарю успеха в реформировании системы. Состояние общества незавидное. Жаль, что признание фактов приходит поздно. За то, что вспомнили обо мне, спасибо. Должности меня не интересовали и не интересуют. С точки зрения интеллектуального самоощущения сегодняшние занятия дают мне больше, чем все, что я делал до сих пор, и потребности к переменам у меня нет.

Шеварднадзе почти не скрывает своего разочарования. Он спрашивает, когда примерно ожидается защита докторской диссертации. Предлагает точек над «і» не ставить. Несколько дней на раздумье, и, как только решение окончательно созреет, переговорим опять.

Раз собеседнику так удобнее, не тактично ему отказать. Обещаю не задержать со звонком. Шеварднадзе уловил, что я намерен отделаться телефонным контактом, и фиксирует, что ждет продолжения беседы у себя в кабинете.

Встреча состоялась меньше чем через неделю. Как только позволил рабочий календарь Шеварднадзе. В течение часа собеседники повторяли в основном ранее сказанное. Когда, однако, из уст министра я услышал о своей «реабилитации», то сказал:

– Как пропасть не перескакивают в два прыжка, так и честь не восстанавливают по частям. Если у ваших коллег по политбюро сохраняются сомнения, то следует повременить, пока они рассеются. Меня политика не влечет.

Расстались прохладно:

– Если вы измените свое мнение насчет возвращения в систему МИДа, просьба сообщить. Мое приглашение остается в силе, но теперь инициатива за вами.

А. Н. Яковлев передавал мне, что министр доложил М. С. Горбачеву о наших встречах так: «Обида засела в Фалине слишком крепко, он не готов к мировой».

От мыслей и переживаний, разбуженных Шеварднадзе, не отгородишься. Они вольно-невольно твои спутники. Достаточно было увидеть среди отдыхающих посла Л. И. Менделевича, моего коллегу еще по Комитету информации, или помощника генсекретаря А. С. Черняева, и вы опять с вопросами без ответов. Пора в редакцию «Известий». За делом легче обретешь душевное равновесие.

Не вышло по-моему. Сразу после Нового года со мной

созванивается А. Н. Яковлев и просит подъехать в Волынское. Там в особняках Управления делами ЦК квартировали бригады, формировавшиеся для подготовки материалов к совещаниям, пленумам, съездам.

– Есть потребность посоветоваться, – поясняет Яковлев цель своего обращения.

Особняк номер три. На втором этаже временный рабочий кабинет Яковлева. Рядом конференц-зал, наполовину занятый длинным столом.

– Не утомился отдыхать? Постоял у причальной стойки в тихой гавани, и будет.

И затем всерьез:

– У меня к тебе личная просьба: поучаствуй в подготовке доклада Михаила Сергеевича на XXVII съезде. Кое-какие наброски к внешнеполитическому разделу имеются. Ряд моментов как будто вырисовывается. Но по содержанию и по форме до нужных кондиций на концепцию нового политического мышления не тянет.

Не буду занимать место и время пересказом нашего словесного фехтования. Сошлись на следующем. Мне даются первичные материалы, я делаю вариант с добавлением всего, что сочту нужным. После обмена мнениями с А. Н. Яковлевым готовлю текст для представления заказчику. При условии, что перепечатка будет вестись в Волынском или в секретариате отдела пропаганды на Новой площади, работать над проектом мне дозволено в «Известиях».

Под занавес технические неудобства заставили меня осесть на пару дней в особняке номер три. Там меня ждало открытие – к написанию внешнеполитического раздела был приглашен также академик Г. А. Арбатов и к доводке его стилистики заместитель министра иностранных дел и поэт А. Г. Ковалев.

Сдаю свой вариант Яковлеву. Он нашел, что основа добротная. Ряд положений неплохо бы развить, а если появятся дополнительные идеи, это будет только приветствоваться.

Миновала еще неделя. Яковлев немного торжествует, доверительно сообщает, что Горбачев принял плоды наших трудов. Проекты других разделов доклада генеральный забраковал и возвратил на капитальную переделку. По нашему материалу у докладчика два пожелания: подужать объем и подсушить язык, чтобы не выпадать из общего контекста. И вдруг огорошивает:

– Я намерен назвать твою кандидатуру на пост председателя правления АПН, как ты на это взглянешь?

– Отрицательно. Куча административных обязанностей при

минимуме возможностей для творческой работы.

Напоминаю, что только что отклонил приглашение Э. А. Шеварднадзе вернуться в МИД. Один из доводов – не буду, выйдя на финишную прямую, прерывать работу над диссертацией. Нелогично и неоправданно, если бы моя точка зрения изменилась применительно к АПН.

Яковлев не отступает:

– В МИД, на твоем месте, я бы тоже не пошел, даже на роль заместителя министра. В заместителях и подчиненных ты уже насиделся. Попробуй реализовать себя на большой самостоятельной работе, где за тобой распределение обязанностей и формирование собственного графика. Форсируй диссертацию, и думаем дальше.

– Ваши аргументы меня не разубедили. Помимо всего прочего, поздновато в шестьдесят лет менять экипаж и свое кресло в нем.

На этом мы расходимся по своим комнатам, чтобы погрузиться в доводку доклада.

Лукавить не хочу – участие в написании внешнеполитического раздела доклада генсекретаря принесло удовлетворение. Удалось реализовать с разной степенью выпуклости некоторые из давно вызревших оценок. В свете прорисовывавшихся заделов надежды на конструктивный поворот в международной сфере не казались иллюзорными. Много значила для меня открытость Яковлева свежим веяниям и идеям, видение происходящего в реальном масштабе времени. Тогда еще без заносов и самоедства.

Вместе взятое, это и предопределило мое конечное согласие на переход в АПН. Интуиция предостерегала: ты вступаешь на тонкий лед. Что под ним? Бездна? Или рифы? О них при погрешности в курсе корабль, одряхлевший и неповоротливый, может разбиться. Эйфория, по-иному – массовый психоз, захватила.

На три с половиной года моим рабочим адресом стало агентство печати «Новости». Яковлев же сосватал меня затем на заведование Международным отделом ЦК КПСС. Опять-таки с его подачи – дабы обеспечить «преемственность» – Горбачев рекомендует избрать меня в состав секретариата ЦК партии.

«Присматривать» от политбюро за отделом, то бишь за мной, назначили Г. И. Янаева. Это дало пищу для недоумений и спекуляций, а мне повод подтвердить генеральному секретарю желание подвести черту под политической карьерой не позднее 1991 г., когда исполнится полвека моей трудовой деятельности. Горбачев откликнулся своим обычным «хорошо, хорошо, доживем

– увидим». Не дожили.

Достойное уважения начинание деградировало, как и его отцы. На глазах угасала великая держава, разваливалась ее экономика, развенчивались идеи, которые совсем недавно вдохновляли целые нации.

Случившееся имеет свои закономерности. Главная из них может быть охарактеризована предельно кратко словами И. В. Гёте: «Беспринципность рано или поздно кончается банкротством». Нельзя быть одновременно демократом и бояться демократии. Невозможно присягать кряду свободе мышления и стать нетерпимым к чужому мнению. Немыслимо одной рукой демонтировать тоталитаризм, а другой – защищать собственный авторитарный стиль правления. Нельзя, наконец, без счета плодить обещания, не удосуживаясь вплотную заняться делом.

Мне не подобает облачаться в мантию судьи. Пусть за себя говорят факты. Из них каждый волен сделать выводы, которые подскажут здравый смысл, опыт, совесть. Одного надо бы избежать – искать соринки в чужом глазу, не замечая бревна в собственном.

Нагородят прописных и приписных истин. А дальше что? Сменят каждый знак минус на плюс и наоборот, полагая, что итог сойдется. Снежный ком можно, конечно, накатать и на бесснежье. Легко начисто разучиться думать, когда можно говорить все, а свободу соперничества групп и фракций за власть, за кусок пирога приравнивать к гражданским свободам.

Нет, подавляющее большинство политиков – явно не саперы. Саперам дано ошибаться только раз. Политики экспериментируют на других. Их не снимают с дистанции даже после полудюжины фальстартов. Они претендуют на вседозволенность, на утверждения, которые, по выражению видного американского государственного деятеля, не требуют «юридического основания». Кажется, и все тут. А мерещится тем чаще, чем более зыбка почва под ногами или чем сильнее желание и предрассудки подминают здравый смысл.

Не будем обманывать себя и забывать, что палитра предрассудков много богаче «измов» идеологического происхождения. Противостояние Запад – Восток слишком долго выступало как ось коловращения. Ныне оно отпало. Обрел ли мир новое состояние, в котором почти сами собой реализуются посулы всех помазать миром? Всегда не хватает минимума, чтобы достичь максимума, подсказывают остряки.

Исторический недород, поразивший Россию, которая семьдесят четыре года называлась советской, будет иметь долгие последствия. Народ талантами не обойден, в терпении поспорит с

кем угодно. Труднее ответить на вопрос: не вычерпали ли правители это терпение ниже критической отметки? Инертность, безразличие, неверие ни во что – это даже хуже, чем отчаяние. Остается уповать на знаменитое русское «авось». Пронесет, должно пронести.

Жил когда-то на наших просторах великий народ скифы. Без малого тысячу лет прожил. И исчез, оставив в память по себе курганы. Царские, огромные, и ростом поменьше, временем стертые до нераспознаваемости. Почему так случилось, куда целый народ запропастился, где его потомки? Одни этнографы хотят видеть наследников скифов в аланах, другие тянут нить к осетинам, третьим чутье подсказывает искать следы в калмыцких степях.

Повторения скифского чуда или трагедии не будет. Для этого надо было бы перестараться, превратить русских в диаспору без национального очага и, прежде всего, без самосознания и самоощущения. Такой угрозы вроде бы пока нет. Судя по опросам, почти 70 процентов русских хотели бы родиться именно в России и, несмотря ни на какие трудности, не склонны менять свое Отечество ни на какое иное. Так долго, как долго существует Отечество. Рано сочинять ему реквием, хотя для оптимистов ныне не лучшая пора.

Из последующего рассказа вы, читатель, сможете убедиться, что трудности и препятствия не побуждали меня отступать или менять свои представления в угоду личностям. С упрямством, возможно достойным лучшего применения, я тянул лямку, веря в прозрение.

Мудрый араб изрек: все, что должно сбыться, сбудется, даже если сбудется не так. Назовите это оптимистическим фатализмом. Без него трудно было бы выстоять, не раствориться во мраке, который, между прочим, распространяется тоже со скоростью света.

Берлин и далее с остановками и пересадками

После окончания института, летом 1950 г., я ехал в Берлин, к месту своего назначения, в аппарат Советской контрольной комиссии для Германии, тридцать шесть часов поездом через Смоленщину, Белоруссию, Польшу, которые еще не воспрянули от потрясений войны. Вот и Франкфурт-на-Одере. Молча, пустыми глазницами окон он взирает на приезжающих и проезжающих. У него свои боли и горести. Еще полтора часа – и Берлин. О чем можно думать, глядя на него, тогда четвертованного? Отвоевались? Все: и побежденные, и победители, или?..

В Берлин я приехал с набором сомнений в себе и в других. В детстве они выражаются обычно любознательными «почему». В более зрелом возрасте любознательность трансформируется в обостренную реакцию на несуразности, несправедливости, противоречия. Им не виделось предела.

Безумия насилия не должно больше быть. Никогда. А что делать, если война не кончилась, а лишь сменила обличье? В середине 1950 г. холодная и вовсе переросла в жестокую корейскую бойню. Кто и почему ее развязал? Насколько велика опасность превращения неядерного конфликта в ядерный? Никакой уверенности в завтрашнем дне. Официальные и официозные версии, распространявшиеся на обеих сторонах, убеждали чаще в обратном. Особенно когда имелась возможность смахнуть пропагандистскую пену и прикоснуться к реалиям.

Первый выстрел прозвучал с Севера. Отчего же его жаждал, так на него напрашивался Юг? С чего бы события так «удачно» вписывались в наметки западных стратегов, продвигавших планы обустройства сразу нескольких театров военных действий, не в последнюю очередь европейского? Когда случайностей и совпадений перебор – это уже тенденция, если не закономерность.

Не верилось, что Сталин мог снова так крупно просчитаться. Не должен был, имея первоклассную разведывательную информацию. Она позволяла вычислить, как в действительности зовется распутье.

Подобные вопросы укладывались при «правильной постановке» в понятие идейной чистоты. Ни о каком предмете, ни о какой истине нельзя высказаться полно, не произнося о них два противоположных суждения. К. Маркс пошел даже дальше Гегеля, оставив своим последователям завет – «все подвергать

сомнению». В наши времена негласно уточнялось: все, кроме слов «хозяина».

Но вот сотрудник Института современной истории извещает меня – он находился в одном концлагере вместе с сыном Сталина, знает подробности пребывания в заключении Якова Джугашвили, может точно указать место его гибели. Докладываю руководству с советом проинформировать Центр. Телеграмма ушла по назначению. Отсутствие реакции побудило ее повторить с намеком на то, что здоровье у свидетеля некрепкое. Нам дали понять – ответа не будет.

Это вызвало чувство протеста. Как может человек, неспособный быть отцом собственному сыну, претендовать на роль отца народов? Все не так. Слишком много противоестественного в нем самом и вокруг него.

Сталинское сусло кончало во мне бродить. Надобно основательнее разбираться. Беру тайм-аут с оформлением членства в партии. Во второй раз. В войну, работая на заводе токарем, воздержался без раздумий откликнуться на призыв настрочить заявление о приеме в партию. Кривить душой не хотелось, а пришлось бы.

Сказать, что все без разбору мне нравилось, не мог, а уточнять, что не нравится, не должен был. Или вас обязательно спросят, как по части «врагов народа» в семье. Двоюродный брат отца был уведен из деревенского дома и пропал бесследно. Неизвестно даже, в чем его обвинили. Мужа сестры матери, начальника строительства большого оборонного объекта под Хабаровском, приговорили «к десяти годам заключения без права переписки». За «шпионаж в пользу Японии». Лишь в 1956 г. нам стало известно, что дядька тогда же, в 1937 г., был казнен.

В 1937–1938 гг. мы с родителями поджидали в тревоге каждую близившуюся ночь – не раздастся ли в нашу дверь стук карающей руки. А днем я помогал отцу относить в котельную дома собрания сочинений Н. Бухарина, Л. Троцкого и других опальных, чтобы предать книги из его библиотеки огню.

Так как мне надлежало бы отвечать насчет «врагов народа»? Проклясть их и предать себя? Встать на защиту, не зная, в чем состоит вина? Ныне проще некуда. Особенно для вчерашних сверхортодоксов, листающих архивы. Они решают проблемы и угрызения способом «экономного мышления» Авенариуса или Маха, оставаясь все теми же ортодоксами, только наоборот.

Я не обладаю способностями по звону бокала определить, кто и какое вино пил из него десятилетие назад. Требовались опыт и знания. Их предстояло накопить. До обобщений было еще далеко.

Из партнеров моего берлинского заезда выделю В. Штофа, он

был заведующим Экономическим отделом ЦК СЕПГ, П. Вернера, К. Ширдевана, Ф. Далема, О. Нушке. С ними встречался чаще других и позволял себе вести менее формальные разговоры. В обстановке всеобщей подозрительности и провокаций ростки доверия пробивались трудно и часто, не окрепнув, погибали. Бургомистр Фриденбург, по-моему, это был он, отчаявшись найти нормальный язык с нашими представителями, заявил: русским нужны рабы, а не друзья.

Некоторым, и не обязательно русским, – возможно. Но не всем и вовсе не большинству. Меня лично рабская преданность не привлекала, а психология подобострастия отталкивала. Именно тогда я крепко-накрепко усвоил мудрость откровения: если хочешь иметь друга, будь им.

На Унтер-ден-Линден, в центре улицы напротив Оперы, большой фанерный щит с портретом популярного в 40-х гг. советского писателя. Надпись: «Да здравствует Илья Эренбург, лучший друг немецкого народа!» Яснее ясного – перед вами образец ядовитого берлинского юмора. Естественно, «лучшего друга» не сыскать, чем человека, все годы войны звавшего: «Где встретишь немца, там его и убей!» Любого немца, без разбора.

Странно, никого это не колышет. Усердие превозмогает даже инстинкт. Обращаюсь в политотдел, что состоял при маршале В. И. Чуйкове:

– Неужели не понятен издевательский или саркастический смысл здравицы Илье Эренбургу? Это даже хуже, чем преподнесение Пику в честь партийного события гинекологического кресла.

– И более умные люди проезжали мимо щита с портретом, и ни у кого не возникало замечаний, – ответствует мне полковник весом пудов десяти.

Именно такие ревнители «дружбы» норовили в каждом восточногерманском городе иметь улицу Сталина и переулок Маяковского, а оперным театрам пришить имя М. Горького или кого-нибудь в этом роде. На месте городских парков, как в Магдебурге, появлялись «кладбища для советских граждан» и т. п. Умри, Денис, хуже не придумаешь. Так и рвалось сказать, переиначивая знаменитое восклицание.

На следующий, 1951 г. я с треском провалился с другой своей затеей. Восточный Берлин готовился принять гостей Всемирного молодежного фестиваля. Надо же мне было вылезти с предложением перестать сотрясать воздух заклинаниями в вечной дружбе, а вместо этого принять участие вместе с немцами в паре-другой воскресников на строительстве спортивных и прочих сооружений. Наши молодые сотрудники застоялись без полезного

физического труда, солдаты были рады вырваться за ограду казарм, познакомиться с немецкими парнями и девушками.

– Вы отдаете себе отчет, куда тянете? У нас и без того голова болит за моральное здоровье коллективов. Это вам мало контактов с местным населением, по мне – их слишком много.

Полковник потребовал от меня удостоверение. Наверняка брал на заметку как подозрительный и ненадежный элемент. Где мне было знать, что политсократы готовили проект уникального приказа, который В. И. Чуйков вскоре и подмахнул, «О введении режима оккупации среди советских граждан». Ни до, ни после мировое правоведение ничего похожего не знало.

Пора, однако, обратиться к моим прямым служебным делам.

Ранней осенью 1950 г. в Люкенвальде собрались левые со всей Германии. Помимо коммунистов и узников нацизма здесь профсоюзные и молодежные лидеры. В президиуме политическое руководство ГДР во главе с В. Пиком, О. Гротеволем, В. Ульбрихтом. Присутствующих свело вместе решение о ремилитаризации ФРГ, неподдельная тревога за будущее немцев, которых сбивали на тропу войны.

Такие конференции, митинги, собрания проходили без числа на западе и востоке Германии. В каждой семье велись ожесточенные дебаты вокруг «немец, что дальше?». Из разрозненных протестов, озабоченностей, сомнений составится потом массовое движение «Без нас», которое доставило много треволнений в Бонне и Вашингтоне. Совещание в Люкенвальде не заслуживало бы отдельного упоминания, если бы…

Едва мы возвратились в Карлсхорст, нашу группу вызвал к себе политсоветник В. С. Семенов.

– Почему не докладываете о ЧП, которое произошло на встрече в Люкенвальде? По-вашему, я должен узнавать об этом через Москву?

– О каком чрезвычайном происшествии речь?

– Час от часу не легче! Пик призвал к свержению антинационального режима Аденауэра, а представители Советской контрольной комиссии, делегированные на встречу, и ухом не повели. До Сталина весть об этом докатилась, он встревожен, а вас только пушки проймут.

– Выступление Пика содержало тезис о необходимости сорвать во что бы то ни стало ремилитаризацию, втягивание Германии в войну, не останавливаясь, если не останется выбора, перед свержением правительства Аденауэра. Но присутствующие, мы тому свидетели, не восприняли эти слова как призыв к действию, тем более к немедленному.

В. С. Семенов требует, чтобы каждый из нас троих

воспроизвел мысль В. Пика по своим записям. Заметки в двух блокнотах совпали почти текстуально, и это несколько остудило деланый или настоящий его гнев. Никогда нельзя было быть в ту пору уверенным, рисуется самоуверенный тридцатидевятилетний политический представитель Москвы или он серьезен.

– Садитесь и немедля пишите телеграмму товарищу Сталину. Изложите идею Пика, как вы только что доложили. И на будущее зарубите: товарищ Сталин должен узнавать все новое об эволюциях в позиции руководителей ГДР от нас, а не стороной. Хватит нам передряг на Дальнем Востоке.

Осложнения с Федеративной Республикой ни к чему. Конфликты из-за ФРГ с Западом не нужны. У Сталина продолжали теплиться надежды, мечты, иллюзии, как угодно, что немцы не захотят никому прислуживать и сумеют сами распорядиться своим будущим. Надежды, по ряду признаков, не оставлявшие диктатора до смерти.

Позднее, когда различия в нашем служебном положении снивелировались, а на почве искусства возникла даже личная привязанность, мы с Семеновым редко возвращались в 1950–1951 гг. Если и возвращались, то очень избирательно, обходя неприятные или нелестные для начальственной стороны моменты. И как-то получилось, что корейская война в этих разговорах тоже не фигурировала. Поэтому я не могу судить, в какой мере Семенову была известна ее подноготная.

По достоверным данным, Сталин долго колебался, санкционировать Ким Ир Сену план упреждающего удара или нет. Решающей каплей явилось донесение военной разведки, приписавшее администрации США намерение оказать Ли Сын Мыну в случае войны широкую поддержку оружием, советниками, ударами с воздуха и с моря, но не втягиваться в сухопутные операции. Нацеленная дезинформация? Всякое бывало. Когда течение событий приняло нерасчетный оборот, Сталин отправил начальника ГРУ на Дальний Восток – «поближе к району конфликта ему будет виднее».

Писание политических телеграмм для Сталина представляло собой особый жанр. Второй проект вслед за первым бракуется. Чтобы времени не терять и преподать нам, неучам, предметный урок, Семенов берет бланк и привычно бегло выводит: «Собравшиеся горячо приветствовали слова В. Пика о братской дружбе с Советским Союзом… Бурными аплодисментами встречалось каждое упоминание имени товарища Сталина…»

Нектара недоставало в нашем тексте! Не имело ни малейшего значения, несли ли пчелы этот нектар и в чей улей. Будь адресат пресыщен медоточивыми речами, он нашел бы

повод умерить восторги. Возможно, тогда Семенов не вставал бы с кресла, когда разговаривал по телефону со Сталиным. Хорошо, что не сгибал нас в почтительном поклоне, хотя порой и выставлял из своего кабинета, чтобы не отвлекали.

Примерно в это же время меня приобщили к подготовке соображений Советской контрольной комиссии (СКК) к совещанию министров иностранных дел восточноевропейских стран в Праге. Оно созывалось, чтобы дать ответ на нью-йоркское решение трех держав от 19 сентября 1950 г., освещавшее то, что давно делалось американцами и англичанами украдкой, – формальный отказ от Потсдамских и других предписаний о демилитаризации Западной Германии. Даже при прочтении с расстояния сорока лет не устаешь поражаться двусмысленностям, коими было переполнено «коммюнике о Германии», выпущенное тремя державами. «Защита свободы Европы». Всей или части континента? Если части, то какой? Свобода – чья и от чего?

В некоторых правительственных документах США той поры внутренние изменения в европейских странах, даже не являвшиеся результатом советского вмешательства или поддержки, но объективно отвечавшие интересам Советского Союза, велись как «неприемлемая угроза», а приобретение СССР технической способности к отражению американского нападения и вовсе выдавалось за «агрессию». В общем, если наступление – лучшая оборона, то ссылки на нужды обороны – лучшее прикрытие для подготовки к собственной агрессии.

Трем державам не пришла также более счастливая мысль, чем впрячь в одну упряжку перевооружение ФРГ и легализацию ее претензий выступать на международной арене «за Германию» в качестве представителя всего немецкого народа. Если толковать коммюнике из него самого, а не «интерпретационного замечания», доведенного до сведения К. Аденауэра, то в борьбе за «свободу Германии» не возбранялись никакие средства и методы. Кроме… «нейтральных».

Соображения СКК к совещанию в Праге были приняты во внимание, а предложенные нами формулировки к Пражскому заявлению (21 октября 1950 г.) отразились в его тексте[2]. Это прибавило мне всевозможных заданий.

В самом конце октября или, может быть, в первой половине ноября 1950 г. мне было доверено участвовать во встрече с доктором Г. Хайнеманном. Незадолго перед этим он вышел из состава правительства К. Аденауэра в знак протеста против перевооружения, которым перечеркивался «шанс на мирное решение для Германии». Центр крайне интересовало, что же реально творится в Бонне, какова диспозиция сил в самом

правительстве, в бундестаге, во внепарламентских кругах, что может быть сделано для предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе.

Известный церковный деятель Пробст Грубер взялся помочь войти в контакт с Г. Хайнеманном. Превзойдя свои обещания, он привез бывшего министра в Карлсхорст, где в одном из особняков, расположенном вне советского городка, и состоялась памятная мне встреча.

Нас, советских, было на ней двое – майор В. Кратин, до войны научный работник в Ленинграде, и я. Должен заметить, что примерно половину сотрудников нашего подразделения СКК составляли офицеры, на старших должностях они были в большинстве. Недели три-четыре спустя В. Кратина спешно отправили в Союз, как утверждали, «в интересах его же собственной безопасности». В чем майор провинился или где подставился, не знаю. Возможно, вообще ничего и не случилось. Двух других офицеров из отдела информации откомандировали, например, за то, что через книжный магазин в Западном Берлине они заказали у швейцарского издательства несколько книг по истории Второй мировой войны.

Что он включил в беловую запись беседы, В. Кратин мне не показывал. В первичном наброске было порядочно отсебятины, на что я не преминул обратить внимание. Попробую обрисовать встречу, какой она запечатлелась в памяти.

Г. Хайнеманн держался просто. Ничто не свидетельствовало: перед вами сановник, вчерашний влиятельный министр государства, которое вносило свою лепту в политическую карту Европы. Протест против ремилитаризации выражен, и демонстративно, но будущее Федеративной Республики теряется в неопределенности, собственное политическое завтра не поддается расчету. В отличие от иных собеседников, прячущих неуверенность и отсутствие идей в многословии, Г. Хайнеманн скуп на комментарии к произошедшему и неохотно пускается в прогнозы.

Да, интерес США к включению западногерманского потенциала в военные усилия НАТО был решающим при создании Федеративной Республики. Затянись блокада Западного Берлина чуть дольше, ремилитаризация началась бы в день рождения нового государства, причем под лозунгом «самозащиты немцев». Не вышло. Это не значит, что сорвалось. Требовался предлог. «Вы дали его в Корее». Не будь корейской войны, возможно, удалось бы переиграть приверженцев перевооружения. Если бы предпосылок для этого не имелось, он, Г. Хайнеманн, не вошел бы изначально в состав правительства К. Аденауэра.

Нет, он не считает, что кто-нибудь из министров последует его примеру. Для этого нужна в любом случае реалистическая альтернатива решению трех держав в Нью-Йорке. За Советский Союз никто не ответит, готов ли он к этому. Бундестаг на данном этапе больших неприятностей К. Аденауэру не доставит, хотя во всех фракциях есть депутаты, отдающие себе отчет в важности происходящего.

Он, Г. Хайнеманн, подал сигнал тревоги. Тот, кто способен слышать, услышит. Сделать соответствующие выводы перед лицом фактов должен каждый сам. Это вопрос как политических убеждений, так и совести. Имея в виду последнюю, Г. Хайнеманн предполагает на ближайшее будущее посвятить себя деятельности в рамках евангелической церкви – единственном, что еще не поддалось расколу.

Попытки В. Кратина разговорить Г. Хайнеманна, выудить из него детали прохождения решения о перевооружении в переговорах между тремя державами и Бонном, а также в кабинете К. Аденауэра успеха не имели. Г. Хайнеманн, в свою очередь, поинтересовался планами СССР и ГДР в новой обстановке. Поняв, что у нас ничего примечательного за душой нет, гость взглянул на часы и констатировал, что полтора часа, о которых условливались, истекли и ему пора прощаться.

Сыграла ли наша беседа с Г. Хайнеманном какую-то роль в появлении письма О. Гротеволя федеральному правительству, в определении его содержания и тональности? Полагаю, что не помешала. К. Аденауэр фактически втянулся в обсуждение условий включения самих немцев в решение занимавших их проблем. После того как глава правительства ГДР выразил принципиальную готовность рассмотреть требования, выдвинутые Бонном, канцлер впал в агрессивную риторику.

Президент бундестага Г. Элерс дал понять, что не одобряет линии К. Аденауэра, и выступил за продолжение диалога через «железный занавес». Широкие слои немцев на Востоке и Западе, отметил Г. Элерс, не удовлетворены боннской реакцией на обращение О. Гротеволя.

Можно без натяжки говорить о том, что в конце 1950 г. большинство немцев на Востоке не испытывали радости от втягивания Германии в гонку вооружений и обструкции К. Аденауэра, что касается германо(ГДР) – германских(ФРГ) контактов. Результатом действий Бонна могло быть лишь углубление рва между ГДР и ФРГ до размеров пропасти. В этом смысле инициативы О. Гротеволя имели легитимацию независимо от оценок первых после создания Германской Демократической Республики выборов в Народную палату,

ландтаги, коммунальные органы власти.

Проводись голосование не по единым спискам Национального фронта, СЕПГ собрала бы в большинстве городов от 30 до 40 процентов голосов, на селе даже меньше и почти нигде не вытянула бы 50 процентов. Всегда глупые, даже когда условно верные, 99,7 процента раздражали, провоцировали несогласие и сопротивление там, где его могло не быть.

Выступление О. Гротеволя в Народной палате с заявкой на ведущую функцию СЕПГ в системе власти было сопряжено с видимостью победы на выборах 15 октября, с самообманом, неизбежно сопутствующим обману других. Как очевидец могу засвидетельствовать, что провозглашение СЕПГ государственной партией застало ее партнеров по Национальному фронту врасплох. Я ждал, что О. Нушке и другие как-то покажут возмущение, хотя бы недовольство. Дальше недоумения не пошло.

Вспомнились беседа с Г. Хайнеманном и его скепсис по поводу открытого сопротивления на верхних этажах власти политике К. Аденауэра. Дисциплина – вторая религия немцев. Государственная дисциплина и вовсе святыня.

СДПГ и прежде всего ее лидер К. Шумахер особых трудностей для официальной боннской политики не создавали. Терпя неудачу в организации оппозиционной фракции внутри СДПГ, руководство СЕПГ пыталось вызвать к жизни леводемократическое течение, которое, как считалось, могло перехватить у социал-демократов сочувствовавших, в особенности из числа интеллектуалов. Я был приглашен в Кириц на крестины одной из подобных групп, которая должна была называться «социал-демократическая» или «социалистическая акция». За главного от СЕПГ на учредительном собрании выступал Ф. Далем.

Это мероприятие напоминало любительский спектакль без малейших шансов утвердиться в политическом репертуаре. Не стоит останавливаться на том, что через «восточное бюро» СДПГ своевременно получала информацию о покушениях на свой домен и имела возможность их обезвреживать.

В известной степени неизбежно перед ГДР должен был встать вопрос не только о направленности политики, но и о самой природе восточногерманского государства. Направленность предопределялась выводившимися из Потсдамского соглашения требованиями выкорчевывания, бескомпромиссного и необратимого, нацизма и милитаризма, демократизации экономической и общественной жизни. Достаточно небольшой тавтологии, добавления к демократизму определения «народный» – и вы одной ногой в социализме.

Отставать ГДР от других или не отставать? Тема дискутировалась на научно-теоретической конференции сотрудников СКК. Различные точки зрения свел воедино и все сомнения разрешил заместитель политсоветника И. И. Ильичев. «В ГДР установился народно-демократический строй, – заявил он в заключительном слове. – Быть по сему». Куда как определенно, хотя не чрезмерно научно и теоретично.

Кто-то должен был, однако, выступить арбитром в спорах, ведшихся не в нашей среде, а в руководстве ГДР. Лучшего «теоретика» марксизма, чем Сталин, тогда не знали. Ведь он собственноручно вписал в макет книги, подготовленной И. Поспеловым и другими, «Сталин – это Ленин сегодня». Он твердо верил, что задача теории – обслуживать практику. А если практика перегружена противоречиями? Тогда и теория не может разыгрывать из себя монашку.

Ясно вам? Не очень. В. Пику тоже не было слишком ясно. Ну, бог с ним, с В. Пиком, одногодок К. Аденауэра угасал, и уже недалеко время, когда он будет выполнять только представительские обязанности во дворце Нидершёнхаузен. Неуютно чувствовал себя В. Ульбрихт – думать и непретенциозно изъясняться в идейной приверженности социализму не возбранялось, но никакого социального раскола Германии сверху, пока «теоретик» Сталин не сочтет, что пора. А может быть, и не придет к такому выводу?

Перспектива строительства социализма в ГДР в ответ на восстановление позиций олигархии в ФРГ и как реакция на перевооружение Западной Германии являлась для советского диктатора пугалом для воздействия на настроения широких слоев немцев и разменной монетой, или, правильнее сказать, золотым слитком в сложной борьбе, что велась с тремя державами. Нет, К. Аденауэр не на пустом месте вычислял, что на четырехсторонней конференции Советский Союз может предложить восстановление единства Германии в качестве демилитаризованного, фактически нейтрального государства. 10 февраля 1951 г. канцлер выступил категорически против такого варианта воссоединения, будто бы навлекавшего великие опасности на немецкий народ как в случае войны (ни один из двух блоков, по его словам, не проявил бы уважение к нейтральному статусу Германии), так и мира (Германия была бы потеряна, попав в поле притяжения Советского Союза, а с ней была бы обречена и вся Европа).

К. Аденауэру верить даже наполовину не обязательно. Но принять к сведению это заявление, сделанное тоже почти на научном собрании – в большом зале Боннского университета, нелишне. Иначе останется неучтенной одна из причин бесплодия

предварительной конференции в Розовом дворце (Париж, 5 марта – 21 июня 1951 г.) и непонятой история со знаменитой советской нотой от 10 марта 1952 г.

Официальная западная легенда гласит, что заместители министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции разошлись ни с чем из-за требования обсудить на конференции министров вопрос об Атлантическом пакте и создании американских военных баз в Европе и на Ближнем Востоке. О советских войсках в Германии, заодно в Польше и Венгрии говорить соглашались. Но география размещения войск трех держав интересовать СССР не должна была, ибо эти войска не являлись, по западной версии, «оккупационными».

Министр иностранных дел Великобритании, нарушая традиции Туманного Альбиона, выразился 2 апреля 1951 г. предельно четко – дискуссия о правомерности и неправомерности отдельных решений и заявлений прошлого была бы неплодотворной; непрактично связывать немецкий народ и четыре державы ходом мысли, которого они придерживались в момент капитуляции; необходимо принять к сведению данности в Восточной и Западной Германии и в сотрудничестве с немецким народом положить начало строительству новой демократической Германии. Понятно, полагаю, – на условиях, которые практикуют Вашингтон, Лондон и Париж.

В июне 1951 г., по-моему, газета «Вельт» озаглавила один из своих комментариев «Даже Андрей не знал, что сказать». А содержание было таково: «Вчера состоялось самое короткое заседание в Розовом дворце. Оно продолжалось две-три минуты. Никто не взял слово. В том числе А. А. Громыко» (представлявший на предварительной конференции Советский Союз). И что скажешь, если, как жаловались наши крестьяне в Гражданскую войну, «и белые придуть – грабють, и красные тоже грабють».

Между тем идея изъятия Германии из противостояния Запад – Восток привлекала умы многих немцев. Ко мне попадала обширная документация о дискуссиях в руководящих звеньях свободно-демократической партии, частично в СДПГ, профсоюзах и влиятельных деловых кругах. Ф. Блюхер и его ближайшие коллеги взвешивали, не выйти ли либералам из правительственной коалиции с ХДС/ХСС, чтобы не брать на себя ответственность за курс на углубление и закрепление раскола страны. Судя по материалам, которые доводилось читать, Теодор Хойс развил энергичные усилия, чтобы удержать СвДП от «рискованных акций».

По мнению президента ФРГ Т. Хойса, немцы ставились перед

дилеммой – единство из рук Запада, но для этого ФРГ должна была предварительно обязаться за себя и фактически за объединенную Германию интегрироваться в военные структуры НАТО, а также экономические и политические структуры «Свободной Европы», или единство с согласия Советского Союза, которое может быть приобретено лишь ценой военной нейтрализации. Поскольку три державы отвергали немецкий нейтралитет, принятие советского варианта единства, мало что давая практически для преодоления раскола, программировало долговременные осложнения с США и их союзниками.

Оглядываясь назад, не устаешь удивляться капризам истории. Протестуя в 1948 г. против избрания Бонна в качестве временной столицы ФРГ, коммунисты требовали считать таковой… Берлин. Когда в конце 1949 – начале 1950 г. повеяло нейтральным духом как возможной развязкой, против нейтрализации Германии первым резко возразил В. Ульбрихт, ибо она «означала бы самопожертвование» немецкого народа и нации на потребу «монополистического капитала». Или К. Аденауэр в начале сентября 1949 г. в интервью «Манчестер гардиан» потребовал скорейшего заключения ФРГ мирного договора с западными державами, поскольку урегулирования с участием Советского Союза пришлось бы ждать долго. Сказал и осекся – слова «мирный договор» исчезли из его лексикона.

В ноябре 1951 г. США, Англия и Франция подкинули понятие «свободно согласованного (между Германией и ее бывшими противниками – из текста вытекало, что не обязательно со всеми) мирнодоговорного урегулирования». После успешного опыта с Сан-Францисским договором с Японией, от выработки которого СССР был отстранен, примеряли, не удастся ли нечто сходное в Европе. Впрочем, три державы эта идея тоже недолго занимала.

Наблюдать все это чрезвычайно интересно. Накладывая секретные документы на публичные речи и коммюнике, мы знали, что за каким словом прячется, чем вызваны кажущиеся алогизмы или нарочитые повторы. Прекращение США, Англией и Францией состояния войны с Германией на фоне решения о перевооружении ФРГ, а не заключения мирного договора. Общегерманские выборы не до, а после заключения мирного договора. Общегерманские выборы не до, а после раскола. Воспоминания о четырехсторонней ответственности за Германию после формального и фактического разрушения правового, политического и прочего базиса для реального сотрудничества. Конфронтации хотели, ее искали, она была задумана всерьез и надолго.

Вы, читатель, наверное, внутренне подготовились взглянуть,

по Гегелю, с противоположных направлений на советскую ноту от 10 марта 1952 г. Ее часто называют «нотой Сталина». Как-то подзабылось, что вручал ее дипломатическим представителям США, Англии и Франции в Москве А. А. Громыко.

Начало нотной переписки, длившейся, как известно, до 25 сентября, я успешно проболел. Из документов, а также бесед с непосредственными советскими разработчиками этой стратегической акции знаю ее основной замысел и примерные пределы допускавшегося Сталиным маневрирования.

Нота от 10 марта может читаться и пониматься только в контексте принципиального решения трех держав – вычленить Федеративную Республику из системы урегулирований 1943–1945 гг., которая концептировалась как основа послевоенного мирового устройства. Руководство СССР оказалось перед необходимостью из нескольких зол выбирать меньшее.

Интерес к использованию экономического потенциала Восточной Германии был весомым. От примитивного «побольше награбить», как Сталин выражался в марте 1945 г., он давно переключился на пользование плодами текущего производства и разделения труда. Но и этот интерес отступил бы перед приобретениями в области безопасности. Идефикс – добрососедство Германии и Советского Союза решает проблему безопасности для нашей страны с запада – побудила Сталина к сговору с Гитлером в 1939 г., а опыт войны лишь укрепил его в этом убеждении. Не были бы, кроме того, лишними некоторые компенсации за советское имущество в Восточной Германии и символические платежи из Западной Германии в окончательное урегулирование проблемы репараций.

Не упустим из виду сам момент выступления с инициативой. Угроза превентивного ядерного нападения США, с чем реально считались с начала 1946 г., несколько притупилась. Как конвенциальный противник США котировались невысоко, особенно если ратный труд в передовом эшелоне не выполнял кто-то другой. В Европе роль «царицы полей» американские штабные документы отводили немцам. Без них «Дропшот» не впечатлял.

СССР сам стал ядерной державой. Несколько десятков атомных бомб переданы вооруженным силам, успешно развертываются работы по изготовлению водородных взрывных устройств, а также межконтинентальных их носителей. Особо впечатляющих результатов достигло конструкторское бюро Мясищева. Для размещения тяжелых реактивных машин строились стратегические аэродромы, в частности на Чукотке. Когда-нибудь по документам мы, возможно, узнаем, насколько

далеко продвинулось создание теперь уже советского потенциала для упреждающего удара. На основании того, что через вторые руки доходило до меня, замечу лишь – диктатор усоп кстати.

Одно из главных сомнений в Москве при обмене мнениями вокруг ноты от 10 марта 1952 г. было связано с неопределенностью исхода общегерманских выборов. Влияние на общественные настроения боннского издания антисоветской и антикоммунистической пропаганды было очевидным.

Вести дело к воссоединению Германии, если на выборах парламентское большинство соберут консерваторы, а не социал-демократы и прочие центристы и левые? В беседе с П. Ненни, лидером итальянских социалистов, Сталин уверял, что объединение состоится, если будет выполнено ключевое условие: заключен мирный договор, определяющий приемлемый для СССР военный статус Германии. Это нам известно со слов П. Ненни. Мне не удалось получить записи данной беседы из личного архива Сталина. Помощник Горбачева В. И. Болдин уверял, что она не «нашлась», если таковая вообще существовала. Обнаружили телеграмму, в которой докладывалось, как П. Ненни подавал разговор со Сталиным, отвечая журналистам. На тексте диктатор проставил свои инициалы – читал. И все.

Записи Пика, Ульбрихта, Гротеволя и других руководителей КПГ/СЕПГ, обсуждавших эту проблематику в ходе ряда встреч со Сталиным, дают определенный ответ на вопрос, что было и что не было возможным. Еще до Потсдамской конференции, а именно 4 июня 1945 г., Сталин разъяснил, почему он будет выступать против расчленения Германии, и подтвердил эту свою точку зрения в январе 1946 г.: расчленение Германии вело бы к «безраздельному господству Америки» на мировом рынке; результатом были бы, как он считал, «эксплуатация, новый реваншизм и новая война». Он выступал за «создание антифашистского, демократического режима» западного образца, за «демократический путь» к социализму, поскольку в Германии «ситуация совершенно иная», чем существовала в России.

После решения западных держав расколоть Германию, принятого на совещании в Лондоне в 1947 г., Сталин заявил своим партнерам из СЕПГ: «В вопросе о единстве Германии мы должны шаг за шагом продвигаться вперед. Мы должны продвигаться вперед всем препонам вопреки. Только не следует предаваться иллюзии, что борьбу за единство удастся выиграть скоро. Она может длиться пять, шесть или семь лет. Германии нужно единство и мирный договор. Только в этом случае придет успех и в борьбе за прочный мир. А это главное».

Эта позиция лежала в основе ноты от 10 марта 1952 г. Она не

была сдана и по окончании нотной переписки. Стоит добавить, что советский руководитель не был противником американского присутствия в Германии, скорее сочувствовал ему, вернее всего, по мотивам перестраховки.

Результатом переговоров в 1952 г. могла быть, как минимум, конфедерация. В условиях относительно слабо развитых плановых структур в ГДР это неизбежно привело бы к формированию общегерманского рыночного, финансового, транспортного, технологического пространства, и стало бы только вопросом времени согласование правовых норм и административных правил, от которых полшага до государственного единства.

Имеется немало свидетельств, показывающих, что серьезность намерений, стоявших за нотой от 10 марта, понимали на Западе, и лучше всего в Бонне. К. Аденауэр попытался публично выдвинуть ряд предварительных требований к СССР, в зависимости от выполнения которых потом определялось бы, отвечать на ноту вообще или отмахнуться от нее.

Сто сказок у лисы на уме, и все про курочку. К. Аденауэр вел сказку про Одер – Нейсе. За кулисами канцлер развил завидную для его возраста активность, убеждая три державы ни при каких обстоятельствах не доводить дело до встречи представителей четырех держав, особенно до переговоров по предложенным Советским Союзом основам мирного договора. Если Запад позволит себе втянуться в переговоры, которые обозначат альтернативу интеграции Германии в Атлантическое сообщество, то, пугал К. Аденауэр, общественное мнение ФРГ может выйти из-под контроля[3].

Советский Союз не требовал нейтрализации Германии, и не случайно. Как пояснил тогдашний министр иностранных дел А. Я. Вышинский, созданное в результате свободных выборов общегерманское правительство было бы вправе вступать в отношения и союзы с другими странами, поскольку эти союзы не противоречат Уставу ООН. Таким образом, от объединенной Германии ожидалось даже меньше, чем военный нейтралитет типа Швейцарии или Швеции.

Как и с помощью каких аргументов К. Аденауэр воздействовал на позицию трех держав и почему последние «уступили» канцлеру, подробно и объективнее многих описал Р. Штайнингер в книге «Упущенный шанс. Нота Сталина от 10 марта 1952 года и воссоединение». В ней цитируются или упоминаются прежде секретные документы, которые говорят сами за себя и показывают, как «пеклись» К. Аденауэр или те же англичане о немецких национальных интересах и о европейском

мире. Не хочу, экономя место, воспроизводить их. Замечу лишь, что советское руководство имело доступ к большинству из упоминаемых Штайнингером материалов не годы, а дни спустя после их появления. Читая книгу «Нота Сталина», я то и дело наталкивался на давно мне знакомые факты, даты, сюжеты и порой сожалел, что автор кое-какие детали опустил.

Зашоренная позиция Аденауэра развела ХДС/ХСС с СДПГ. Предложение социал-демократов, чтобы правительство ФРГ подписывало только такие соглашения, которые позволяют самим немцам в любое время инициировать переговоры четырех держав о мирном воссоединении Германии, было отклонено коалиционным большинством в бундестаге. Э. Олленхауэр, который вскоре сменит К. Шумахера на посту председателя СДПГ, обвинил канцлера в том, что последний приносит единство в жертву своей высшей цели – быстрое и любой ценой включение ФРГ в ныне существующие на Западе структуры – и что он сделал ставку всецело на американскую политику силы.

23 сентября 1952 г. западные державы передали Москве четвертую ответную ноту. В ней откладывалось до морковкина заговенья заключение мирного договора и все сводилось, по существу, к нахождению методы присоединения ГДР к Федеративной Республике. На этой ноте переписка, открывавшаяся советской инициативой 10 марта, заглохла. Надежда на позитивный поворот в развитии была убита.

Двумя днями позже Э. Олленхауэр, теперь как председатель СДПГ, назвал неприемлемыми для социал-демократов три варианта решения германского вопроса: советизацию Германии, признание статус-кво, аншлюс советской зоны с распространением на нее общественных порядков, существовавших на тот момент в ФРГ. Политический и экономический строй объединенной Германии должен определить сформированный в результате свободных выборов общегерманский парламент. Лидер СДПГ выступал за незамедлительные переговоры четырех держав, отвергая политику совершившихся фактов К. Аденауэра, несовместимую с временным характером ФРГ. Можно считать, что с этого выступления Олленхауэра началась собственная восточная политика социал-демократов.

Совершившиеся факты продолжали создаваться и по ходу обмена нотами. 26 мая руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции – Ачесон, Иден, Шуман и Аденауэр – подписали в Бонне Германский договор. На следующий день в Париже министры иностранных дел Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и ФРГ поставили

подписи под договором о создании Европейского оборонительного сообщества. Это, если не присягать форме, и был ответ Запада на ноту Сталина от 10 марта и отклик на предупреждение, содержавшееся в третьей ноте советского правительства от 24 мая, о том, что включение Федеративной Республики в Европейское оборонительное сообщество влекло бы «неодолимые препятствия» для воссоединения Германии. Имелось в виду, конечно, мирное объединение.

Не хуже других представляя себе сокровенный мир диктатора, я далек от утверждений, что воссоединение пошло бы как по маслу, прими три державы советскую ноту от 10 марта за основу переговоров. Несомненно, Сталин постарался бы набрать максимум очков в свою пользу. Одним курением благовоний Запад не отделался бы.

Профилирующим и решающим, однако, для тогдашнего советского руководства оставался вопрос: сохранит ли СССР влияние на процессы, совершающиеся в Германии, с тем чтобы это государство или его территория не служили источником угроз советской безопасности, есть ли замена реликтам былого союзнического согласия, которое при всех недостатках и минусах как-то брало в расчет наши интересы?

О восстановлении контроля четырех над Германией не помышляли. Советский Союз готов был идти навстречу немецким пожеланиям в части суверенитета, равноправия и т. д. дальше, чем Франция и Англия. Полагаю, что советская сторона не возражала бы, если бы обязательство по неучастию в военных блоках определенной категории Германия взяла на себя за рамками мирного договора, односторонним добровольным актом. Как позднее Австрия при заключении государственного договора.

Но два требования оставались для Москвы недискутабельными: границы и неучастие Германии не в какой-то теоретической будущей войне против СССР, а в реально ведшейся и для успокоения именовавшейся «холодной».

Место Германии в системе мировых координат было главным также для трех держав (со времен войны). Себе они дали окончательный ответ весной 1947 г. и с тех пор прилагали неустанные усилия к тому, чтобы превратить его в ответ также для других.

Март 1947 г. Нельзя сослаться на берлинскую блокаду – до нее еще далеко. Контрольный совет в своих докладах констатирует, что в советской зоне демилитаризация, денацификация, земельная реформа проводятся, как этого требуют союзнические постановления, и несравненно успешнее, чем в трех западных. Что же стряслось? Изменилась политика

США и их друзей. Враги в политике не сами растут, как бурьян и сорняки. Их делают.

На ноту 23 сентября советское правительство отвечать не стало. Повторение в данном случае не было матерью учения. Не буду придумывать, не знаю, какие конкретные военно-политические решения были приняты в Москве после 26–27 мая 1952 г. Они состоялись, двух мнений быть не может. Однако возможность политического выхода в последнюю минуту не исключалась и интерес к нему сохранялся, это тоже несомненно.

В конце 1952 г., уже работая по возвращении из Берлина в Москву в Комитете информации при МИД СССР (КИ), я готовил для доклада Сталину аналитическую записку о настроениях в свободной демократической партии и «плане Мидельхауве». В ней обобщался обширный документальный материал о дискуссиях в либеральном лагере, в его различных течениях (Ф. Блюхер, Т. Делер, К.-Г. Пфляйдерер). Адресат подводился к выводу, что руководство ФРГ не монолитно, некоторые резервы для продолжения и развития мирной инициативы от 10 марта есть.

Мне было неведомо, попала ли эта записка, как, впрочем, и другие материалы Комитета информации (КИ), на глаза Сталину. Скорее всего, нет. Но факт проявления его секретариатом интереса к теме говорил за себя.

Сразу после смерти диктатора КИ получил задание подготовить записку о позиции СДПГ и ее шансах на предстоявших выборах в бундестаг. Социал-демократы школы К. Шумахера не пользовались в Москве симпатиями. Чтобы произнести нечто положительное о них, требовались услуги Эзопа. Мой анализ приглашал отложить в сторону идеологическую призму, сквозь которую обычно смотрелись подходы партий к важнейшим проблемам. Относительно перспектив на выборах давались завышенные оценки – никто не предвидел возможность июньских событий 1953 г.

Записка привлекла внимание. По мнению Л. П. Берии, ряд ее положений страдал двусмысленностью и «заставлял членов политбюро ломать голову». «Не умеете внятно писать – не пишите вообще», – выговаривал он И. И. Тугаринову.

Интерес Берии к такого рода материалам не был платоническим. Он готовил почву для продолжения дипломатического наступления, открытого нотой от 10 марта. Соответствующие распоряжения подчиненным ему службам Берия отдал в конце апреля 1953 г., то есть за несколько недель до июньских событий в ГДР.

В. М. Молотов нашел, что прошлые прегрешения социал-демократов в записке поданы щадяще скупо. Министр был

внимательным читателем. Он расписывал время от времени, как с тем или иным материалом поступить. Например, компрометирующая К. Шумахера информация, исходившая от его солагерников, направлялась для использования в прессу. Разведывательные данные 1945 г. из американских источников на В. Брандта («среди молодых социал-демократов выделяется своими способностями и имеет политическое будущее; следует обратить на него внимание») были лишь украшены молотовскими инициалами. В справках, которые он заказывал или ему докладывались, его глаза искали почему-то не новое и малоизвестное, а отсутствие чего-то до банальности знакомого.

В 1957 г. Молотов после столкновений с Хрущевым потерял свой пост министра иностранных дел. Громыко, его первый заместитель, сухо заметил: «Теперь будет работаться легче». Имелись в виду не только ставшие иносказательными молотовские упрямство и догматизм, но и его привычка восседать в нетопленых помещениях. Другие в министерстве враз излечились от заикания, сходного, как утверждали, с дефектами речи бывшего главы дипломатического ведомства. Так что, если присмотреться, кое-какие последствия уход Молотова имел.

Как гром с казавшегося ясным неба были восприняты события, потрясшие ГДР в июне 1953 г. Вполне возможно, что идею повышения норм выработки строителям в Берлине подсказали наши советники. Многих из «советских друзей» раздражало, что уровень жизни у «побежденных» вдвое-втрое выше, чем у «победителей». Подтянуть пояса так и просилось.

Труднее оказалось, однако, признать и проанализировать реальности – корни недовольства, их подлинный размах и истинные последствия. Схватились за самую удобную соломинку – происки врага, контрреволюционная вылазка, незрелое социальное сознание, воинственный национализм. Это – в пропаганде. Во внутренних, строго не для печати, дискуссиях шараханье из одной крайности в другую.

Маленков и Берия высказывали мнение, что советские позиции в ГДР не удержать, надо сдать республику на максимально выгодных условиях. Каких? Впоследствии меня даже в качестве секретаря ЦК отказались посвятить в эту тайну. По косвенным данным, предполагалось размягчить отдельные пункты мартовского (1952) плана Сталина.

Н. С. Хрущев боролся за лидерство в Советском Союзе и, естественно, искал поводов проявить «солидарность» по отношению к угрожаемым союзникам. Если контрагенты заявляют, что ГДР нельзя защитить, то надо обвинить паникеров в «предательстве завоеваний социализма». Раз

непоследовательность в строительстве социализма в ГДР, производная от стратегического маневрирования Сталина, мешала размежеванию, с ней должно было быть покончено. Кризис социализма превращали в пролог форсированного наступления социализма.

Объективность требует отметить, что после июня советская сторона отчасти признала особенности положения ГДР в социальном противоборстве с ФРГ. Было объявлено о прекращении взимания репараций с республики. Советский Союз отказался в пользу ГДР от большей части своего имущества, находившегося на ее территории, платежи на содержание советских войск в ГДР снижены до 5 процентов доходной части государственного бюджета республики.

Руководство самой ГДР вдруг вспомнило, что деятельность государства должна соизмеряться с потребностями человека. Оно провозгласило «новый политический курс», ставивший целью создание в ГДР таких экономических и культурных условий, которые отвечали бы интересам большинства также западногерманского населения. Если принять на веру делавшиеся одновременно предложения об общегерманских усилиях в расчете на проведение свободных выборов во всей Германии и скорейшее заключение мирного договора, то решения могли сойти за признак желания учиться уму-разуму.

В действительности же принялись выявлять и наказывать виноватых. Но где видано, чтобы высшие чины сами себя наказывали? Для этого, если без жертв не обойтись, существует второй и третий гарнитур, а также, понятно, либералы. К. Ширдеван стал бельмом на глазу. Еще бы, в отличие от В. Ульбрихта и некоторых других, он не струхнул 17 июня, не искал укрытия в расположении советских войск. Вскоре будут отжаты от эффективной власти практически все, кто был активным участником антигитлеровского сопротивления внутри Германии, и начнутся гонения на «перерожденцев» и «ликвидаторов» в идеологическом активе СЕПГ и среди интеллигенции.

Массовые протесты 16 июня и в последующие дни были серьезным предупреждением. Приняв не без нашей помощи не истинную, а привычно удобную, паллиативную линию, руководство ГДР превратило предупреждение в начало конца. Не спрашивай Бога о пути на небо – Он укажет самый трудный. Политики и не спрашивали. Особенно политики сталинской и послесталинской генерации.

Как и можно было ожидать, кризис в ГДР обусловил на Западе кучу реминисценций. Погасший было диспут, что раньше – курица или яйцо, – разгорелся с новой силой. Для реакционных

западногерманских правящих фракций события в ГДР были сравнимы по значению с поджогом Рейхстага. Таких слов, как «перст божий», избегали, но антикоммунистические волны по заряду энергии и высоте били все прежние рекорды. К. Аденауэр обращался (21 июня) к США, Англии и Франции с призывом «устранить невыносимые условия в советской зоне», «вернуть немецкому народу единство и свободу».

15 июля 1953 г. западные державы направляют советскому правительству ноты с предложением созвать конференцию, вернее – встречу министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции в сентябре для обсуждения: а) организации свободных выборов в ФРГ, «советской зоне» и Берлине и б) образования «свободного общегерманского правительства», наделенного «свободой действий» в решении проблем внутренней и внешней политики. Для «недогадливых» специально оговаривалось, что решение по этим вопросам должно предшествовать «дискуссиям» вокруг мирного договора.

Мы в Комитете информации, между прочим, высказывались за то, чтобы советская сторона научилась уважать самое себя и не принимала ни от кого дипломатических документов, в которых ГДР числилась «оккупационной зоной». Не знаю, ставил ли руководитель КИ И. И. Тугаринов этот вопрос перед В. М. Молотовым или нет, в любом случае нотная переписка возобновилась.

Советское правительство в сжатой и более пространных версиях повторило в августе соображения ноты от 10 марта 1952 г. Свежими моментами были предложения о созыве в ближайшие шесть месяцев мирной конференции при активном участии немецких представителей на всех ступенях ее подготовки; образование «временного» общегерманского правительства с задачей организации выборов во всей Германии; облегчение финансовых и экономических обременений для Германии, являющихся результатом войны.

С моей точки зрения, принципиально важным в этот момент являлось подтверждение, несмотря на кризис в ГДР и разногласия в самом советском руководстве, нашей принципиальной готовности к объединению Германии на условиях равного подхода четырех держав к правам и интересам друг друга. Минимум реалистичности требовался от Запада и добрая порция гибкости. Вместо этого им выдвигались претензии на все и сразу. Федеративную Республику можно было заподозрить в неумении по одежке протягивать ножки, но никак не Англию или Францию. Судя по поступавшей к нам информации, Париж и Лондон, делая вид, что высиживают яйца, были озабочены главным образом тем,

как превратить их в болтунов с отнесением вины на кого-то другого.

Знали ли на Западе о спорах в советском руководстве и о растерянности властей в ГДР? Несомненно. О намерении Берии «выдать ГДР» немало было сказано после ареста «советского Гиммлера» (так Сталин представил Берию западным участникам Ялтинской конференции). Почему же вяло разыгрывали выгодную карту? Мешал нейтралитет де-факто, который тот же Берия делал условием объединения Германии.

Загадки Москве задал У. Черчилль. Престарелый премьер-министр вдруг спросил: не перевешивают ли плюсы политической и экономической принадлежности всей Германии к Западу издержки наращивания военного противоборства в Европе с участием на разных сторонах ФРГ и ГДР? Если можно было спорить, пойдет ли Сталин на объединение по удовлетворении его условий в военных делах, то новые руководители СССР, согласно оценкам У. Черчилля, вряд ли уклонились бы от уравновешенной договоренности, особенно на фоне дестабилизации Восточной Германии.

Мне представлялось в то время существенным следующее: опытнейший У. Черчилль допускал возможность военной нейтрализации единой Германии с гарантиями, предполагавшими какое-то взаимопонимание четырех держав взамен Европейского оборонительного сообщества. В последнем Англия не участвовала и в восторг от него не приходила. Премьер хотел иметь более широкий обзор.

Корейская война расширила познания, касающиеся также эвентуального перерастания конвенциального конфликта в ядерный, и не следует недооценивать возникшего на том этапе желания Лондона усовершенствовать конструкцию взаимодействия с Вашингтоном. Желания, подкрепленного вступлением Англии в ядерный клуб. Американский язык – диалект английского. Это не так неудобно, как и когда британскую политику уподобляют диалекту американской. Если в 1956 г. К. Аденауэр заявлял, что интересы Европы и США не всегда и не во всем могут совпадать, то почему эта мысль не могла навестить искушенных политических деятелей на Темзе тремя годами раньше?

У. Черчилль был посрамлен собственным МИДом. «Ни в коем случае», – письменно засвидетельствовали британские дипломаты свою позицию. На повороте, предлагаемом премьером, предсказывали они, у «сердечного согласия» с союзниками случится инфаркт. Невключение ФРГ в систему НАТО свело бы на нет семилетние усилия по демонтажу идейного, правового и

политического наследия антигитлеровской коалиции. Кроме всего прочего, освобожденная от военных расходов Германия являла бы собой серьезную экономическую угрозу Англии. Короче, свет в окошке погас, едва зажегшись.

Нотная переписка 1953 г. завершилась договоренностью об открытии 25 января 1954 г. в Берлине конференции министров иностранных дел четырех держав. Тому, кто любит скрупулезную точность, – США, Англия и Франция приняли время и место, предложенные Советским Союзом, в первый день наступившего нового года.

Комитету информации было поручено подготовить свои соображения для Молотова. Не в первый и не в последний раз наши взгляды не совпали с мидовскими.

В подготовленном анализе я проводил мысль о том, что после июньских событий в ГДР у трех держав отпали последние опасения. Они твердо уверовали – общегерманские выборы принесут большинство сторонникам интеграции объединенной Германии в военно-политические структуры Запада. Следовательно, нам надлежало ориентироваться на активную, наступательную линию США, Англии и Франции на переговорах и возможность их более рискованной тактики в расчете на резонанс среди широкой общественности. Например, представлялись вероятными предложения, связывающие стороны обязательством принять любые результаты выборов, чем бы они ни завершились, а сами выборы проводить на условиях, близких к соображениям, высказывавшимся СССР.

3-й Европейский отдел МИДа и верховный комиссар СССР в Германии решительно воспротивились этому выводу. Никаких существенных изменений в поведении трех держав, по их мнению, не предвиделось. Попытка просчитать воздействие на западную позицию июньских событий отклонялась как «домысел», продукт «журнализма». Упор, который делался правительствами США, Англии, Франции и ФРГ на кризис в ГДР, назывался блефом. Позаботились о том, чтобы наша записка застряла у помощников В. М. Молотова.

За день-два до открытия Берлинской конференции к советской стороне попал внутренний документ одной из западных делегаций. Он решил спор между КИ и МИДом: в комитетском и западном материалах содержались сходные акценты, а что касается оценки июньских событий – совпадения в формулировках. Оставалось сожалеть, что советские подходы выстраивались не на базе рекомендаций «журналистов».

На конференции министров в Берлине состоялись крестины «плана Идена», сконцентрированного на теме выборов и лишь

формы ради упоминавшего мирный договор. Ему были противопоставлены советский проект мирного договора с Германией и предложения относительно референдума по вопросу: чему немцы отдают предпочтение – договорам, интегрирующим ФРГ в систему НАТО, или мирному договору, предусматривающему объединение Германии и вывод с ее территории иностранных войск?

Достаточно упомянуть содержавшееся в «плане Идена» требование замены правила единогласия четырех держав принятием решений по большинству голосов или советскую идею референдума, чтобы не осталось ни малейших сомнений – ни та ни другая сторона не держали соглашения на уме. Риторическая трескотня в ответ на любые идеи без разбору. Так, предложение о выводе из Германии всех оккупационных войск перекантовывали в намерение выдать Западную Германию «на произвол народной полиции» и одновременно нарушить всю систему западной обороны.

А при чем тут мирное урегулирование для Германии по итогам Второй мировой войны, спросите вы? Ни при чем. Если, конечно, не считать, что побежденным из войны вышел СССР и ему надлежит безоговорочно принять условия, дискриминировавшие советские национальные интересы.

Идея коллективной безопасности, за которую несколько неуклюже выступил советский министр, заслуживала, на взгляд западных держав, поношения. Ее обзывали «своего рода доктриной Монро для Европы», попыткой на полвека сохранить раскол Германии и разрушить НАТО. Как будто начисто выветрилось из сознания, во что обошлось небрежение потребностями коллективной безопасности в канун Второй мировой войны, забылись клятвы никогда не повторять ошибки.

Не забылось – не будем наивными. Шла новая война с ее видимыми и невидимыми фронтами. А на войне как на войне.

Неверно сказать, что Берлинская конференция ничего не принесла. Возможно, вы приметили, что три державы открыли существование «восточногерманского правительства» и ГДР реже называли «зоной». В их проектах восток и запад Германии оптически оказывались почти в одинаковой ипостаси. Подбирались к затяжной двухгосударственности, имевшей, особенно для Парижа и Лондона, свою привлекательность? Несмотря на все старания ее скомпрометировать, возникла альтернатива переустройства подмятой милитаризмом Европы в сообщество государств-партнеров, сообщество, включавшее в себя США. Впервые советская сторона проявила готовность признать возможность стыковки НАТО с общеевропейской системой

безопасности. Из намека родится готовность Советского Союза вступить в Атлантический альянс. Объявленная 31 марта 1954 г., она была, однако, выдана на Западе за первоапрельскую шутку.

Хуже, чем ничем, закончилось обсуждение в Берлине австрийского сюжета. Молотов привязал австрийский вопрос к германскому морским узлом, что, по моим впечатлениям, не было большой неожиданностью для Дж. Ф. Даллеса. Американские дипломаты воспользовались ужесточением советской позиции для возобновления диалога с Веной на предмет… раскола Австрии. Не ждать милостей с Востока, а конституировать «свободные» зоны оккупации в некое урезанное, но «суверенное» австрийское государство с его немедленным включением в НАТО (или ЕОС).

Комитет информации готовил для высшего руководства специальные анализы планов расчленения Австрии и реакции на них в австрийских правящих кругах. В отличие от западных немцев австрийцы отказывались подыгрывать инициативам, чреватым расколом. Ю. Рааб и другие не уступали массированному давлению. Сумеют ли они долго сопротивляться проатлантистам? Это оставалось неясным.

Можно ли назвать подобные анализы приглашением к раздумью о плюсах и минусах собственной политики? Не забудем, что КИ формально состоял при МИДе. Не впадая в преувеличения, замечу – наши доклады подтверждали, что у медали, вычеканенной Молотовым, есть оборотная сторона.

Осень 1954 г. дохнула дипломатическим жаром. Мы безвылазно корпели над новостями из разных столиц, выуживая оттенки и свежинки, хотя бы в словах, если не в подходах, после решения Национального собрания Франции, принятого в ночь с 30 на 31 августа, «отложить на неопределенное время» обсуждение договора о ЕОС.

К. Аденауэр потребовал немедленных новых переговоров с США и Англией для спасения планов военной интеграции. Э. Олленхауэр – за решение германского вопроса в рамках широкой системы европейской безопасности. Он предложил созвать с этой целью новое совещание четырех держав. Канцлер категорически против четырехстороннего совещания в момент «возникновения трещины во фронте свободных народов». Председатель СДПГ обвинил Аденауэра в пренебрежении задачей воссоединения, в несбалансированном уклоне в пользу включения Федеративной Республики в НАТО или в «обрубок» от ЕОС.

Лучшее время для продвижения советского предложения о проведении с участием США конференции по вопросам европейской безопасности. Оно сформулировано 24 июля 1954 г.

в ноте СССР трем западным державам. 4 августа советское правительство высказалось за то, чтобы четыре министра иностранных дел встретились в августе или сентябре и продолжили обсуждение также германского вопроса.

Понимания в Вашингтоне, Лондоне и Париже эти шаги не нашли. Вместо этого форсировалось включение ФРГ теперь уже прямиком в НАТО. Меняется статус войск трех держав в Западной Германии. Они здесь как бы «по приглашению». Советские предложения о выводе «оккупационных войск» их вроде бы не касаются.

28 сентября – 3 октября конференция «девяти» в Лондоне. В ее продолжение ряд конференций в Париже (19–23 октября). Главное решение – заключить договор, который создавал новую правовую базу для размещения иностранных войск в ФРГ и открывал дорогу Федеративной Республике в западноевропейский союз («брюссельский пакт») и в НАТО. Это не все. Три державы и ФРГ условились не вступать ни в какие новые переговоры с СССР по Германии до ратификации парижских договоренностей.

КИ даются поручения еще и еще раз просеять данные по позициям трех держав и ФРГ. Установка, исходившая от Н. С. Хрущева, нацеливала одновременно на придание советской линии тем большей гибкости, чем сильнее черствела линия Запада.

13 ноября советское правительство рассылает 23 европейским государствам, а также США ноту с предложением созвать 29 ноября в Москве или Париже конференцию для учреждения системы коллективной безопасности в Европе. Особо выделялось, что в части обсуждения германской проблематики эта конференция имеет смысл лишь до ратификации парижских договоренностей.

Ответ трех держав был негативным и поступил не раньше, не позже как 29 ноября. Перед этим глава французского правительства Мендес Франс запустил пробный шар – не к чему копья ломать, СССР волен создать на востоке свою оборонительную организацию (читай – с участием ГДР), а в мае 1955 г., после завершения процедур ратификации в западных странах, могла бы собраться и «большая четверка».

Больше головоломок доставляла реакция нейтральных и, как их позже стали величать, неприсоединившихся стран. Комитет отслеживал их реакцию. Наивысшее искусство упаковывания «нет» в нечто похожее на «да» показали финские мастера. При всем желании я не сумею, особенно по памяти, реконструировать их шедевр. В нем так медоточиво говорилось о достоинствах именно коллективной безопасности, что к концу накатывалась

слеза по «светлой памяти…». На вопрос со Смоленской-Сенной, как все же толковать – приедут представители Финляндии или нет, И. И. Тугаринов, исходя из буквы хельсинкской бумаги, заявил: если еще кто-либо из нейтралов решится совершить путешествие в Москву, могут прибыть и финны.

После Московской конференции, прошедшей в своем кругу и декларировавшей намерение в случае ратификации парижских договоренностей создать восточноевропейскую оборонительную организацию, Советский Союз развил сильное давление на три державы. Париж и Лондон были предупреждены, что Советский Союз, если парижские договоренности будут одобрены, денонсирует союзные договоры с Францией (от 10 декабря 1944 г.) и Англией (от 26 мая 1942 г.).

В этом контексте мне показался тогда неожиданным аккорд в виде заявления советского правительства 15 января 1955 г. с предложением без отлагательств провести переговоры четырех держав, в центр которых был бы поставлен вопрос об общегерманских выборах. Проведение выборов и восстановление единства Германии характеризовались как необходимые предпосылки для заключения мирного договора. Далее проводилась мысль о включении Германии в военный союз, не направленный ни против какого государства, каковым мог быть союз на основе коллективной безопасности. Советская сторона выражала готовность нормализовать отношения с ФРГ в интересах решения германского вопроса. Заявление предупреждало, что с принятием ФРГ в НАТО и ЗЕС переговоры об объединении Германии потеряют смысл.

Заявление несло в себе почерк Н. С. Хрущева. Подай мы свою позицию в этих словах и последовательности на конференции 1954 г. в Берлине, возможно, удалось бы не потерять год и выиграть приз в виде разрядки. Сегодня это кажется мне более сомнительным, чем в январе 1955 г. Но ни в то время, ни позже я не мог ответить себе: как поступит Хрущев, если три державы и Федеративная Республика не скажут «нет». Он шел на крайний риск, возможно, чтобы отметиться перед потомками: Советский Союз сделал все от него зависевшее; обструкция Запада сорвала согласие, которое было достижимо.

5 мая 1955 г. парижские договоренности вошли в силу. Федеративная Республика – член Западноевропейского союза и НАТО. Известный поэт Расул Гамзатов как-то в перерыве работы партсъезда отстучал телеграмму жене: «Сижу в президиуме, а счастья нет». Нечто схожее впору было признать и канцлеру. Добился К. Аденауэр, к чему тянулся, но счастлив ли от того, что на треть века продлил раскол страны?

Поставим ряд неудобных вопросов и себе: что выиграл Советский Союз, залив в железобетон в феврале 1954 г. австрийский вопрос? Начни Москва не зимой 1955 г., а годом раньше или, еще лучше, сразу после смерти Сталина переговоры с Веной, за советские инициативы агитировали бы дела – самое убедительное из аргументов. Системное мышление редко навещало нашу внешнюю политику. В австрийском вопросе Советский Союз образумился, будучи загнан в угол.

Субъективизм, импульсивность, любительство на внешнеполитическом направлении озадачивали и настораживали. Как-то пойдет все дальше? Не располагали к спокойствию слухи, что непоследовательность наших поступков есть производное от соперничества уже между Молотовым и Хрущевым. Не дискуссий, а перетягивания каната. Спор умных сближает, ссорит глупых. Как нам было решить, кто есть кто, если тайны коридоров власти охранялись тщательнее, чем водородные бомбы?

10 мая 1955 г. три державы пригласили Советский Союз к новым переговорам: сначала встреча глав правительств; они, так предполагалось, создадут основу для последующей конференции министров иностранных дел. В двух моментах мы отдавали Западу должное – речь шла о новом начале, и положить его было по плечу только руководителям правительств. Германская проблема в части объединения становилась заботой прежде всего двух суверенных германских государств, а в части безопасности – двух самых мощных военных блоков. Демаркационная линия, прошедшая через Германию, превратилась не просто в государственную границу, но во фронтовой рубеж ядерного противостояния.

До того как принять западное предложение, Советский Союз вместе с рядом восточноевропейских государств и ГДР созвал в Варшаве конференцию по безопасности, на которой 14 мая 1955 г. был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – ответ на введение в силу парижских договоренностей. Формализация восточного оборонительного сообщества произошла, что симптоматично для понимания развития германской проблемы, не после заключения брюссельского пакта о ЗЕС, не после учреждения Североатлантического союза и его распространения на Грецию и Турцию, но в связи с окончательным и полным разрывом США, Англией и Францией с наследием антигитлеровской коалиции, ее целями и принципами.

Немаловажным элементом в становлении новой ситуации явилось направление 7 июня 1955 г. через советское посольство в Париже тамошнему посольству ФРГ приглашения федеральному

канцлеру К. Аденауэру нанести визит в Москву «для обсуждения вопроса об установлении дипломатических и торговых отношений между Советским Союзом и Германской Федеративной Республикой и связанных с этим вопросов». О встрече на высшем уровне в Женеве (18–23 июля 1955 г.) стоит заметить следующее. Обсуждение на ней германской проблемы должно было, по мысли советской стороны, прояснить, обратимо ли решение о милитаризации Западной Германии и включении ее в НАТО. При отрицательном ответе рассмотрение моделей свободных выборов теряло всякий смысл.

Президент Д. Эйзенхауэр верно ухватил суть различий в подходах. Комментируя советские предложения, он отмечал: американская, как и советская сторона, исходит из наличия тесной взаимосвязи между воссоединением Германии и европейской безопасностью. «Единственное различие» состоит в том, что СССР настаивает на урегулировании проблемы безопасности до решения германского вопроса, а США, наоборот, находят воссоединение Германии предпосылкой для обеспечения европейской безопасности.

В итоге обсуждения была принята медузообразная директива, устанавливавшая, что «урегулирование германского вопроса и воссоединение Германии посредством свободных выборов должно проводиться в согласии с национальными интересами европейской безопасности». С миру по нотке, говорили про некоторых композиторов, с каждой короны по жемчужине, да и то погасшей. Все знали – исполняется реквием, но натягивали на лица оптимистические мины. Еще бы, в тот момент три державы и Советский Союз могли испытывать удовлетворение – они добились, каждая сторона в своей специфической калькуляции, желаемого. Проницательный У. Липпман откликнулся на это констатацией: Женевская конференция девальвировала германский вопрос и уменьшила гнет, понуждавший к его решению.

Комитету информации более не давалось заданий исследовать модели воссоединения Германии. Речь вели в лучшем случае лишь о способах сближения и формах объединения двух государств «с различным общественным и экономическим строем» и принадлежащих к противоборствующим военно-политическим блокам. Впервые во внутренних анализах и дискуссиях промелькнуло понятие «конфедерация». В обоих вариантах – как ступень к унитарному государству, так и этап в окончательном размежевании, если бы общая политика в деле безопасности оказалась недостижимой.

В 1954 г. Комитет информации оказался почти причастным к

афере О. Йона. Меня приглашает к себе И. И. Тугаринов:

– Вчера ночью в ГДР перешел руководитель западногерманской контрразведки (ведомства по охране конституции). Молотов приказал мне лететь в Берлин на встречу с ним. Есть ли у нас материалы, касающиеся этого ведомства и Отто Йона?

– По ведомству кое-что сыщется. Документов, проливающих свет на Йона, негусто, если не считать его участия в подготовке покушения на Гитлера.

– Что можно почерпнуть из этих документов полезного к предстоящей встрече?

Прошу согласия на то, что пролистаю досье и несколько книг из моей библиотеки и затем доложу соображения.

– Хорошо. Но на все не больше двух часов.

Мой доклад был сжатым. В биографии О. Йона хватало туманных листов. К кому он ближе стоял в июле 1944 г. – к англичанам или американцам? С нами в любом случае ни тогда, ни после контакта не искал.

Можно ли провести параллель с отставкой Г. Хайнеманна с поста министра внутренних дел? Тоже ведь случился сюрприз. Исключать ничего нельзя, но Йон, по материалам, имевшимся в распоряжении, не производил впечатления раздумчивого интеллектуала. Разумеется, О. Йон многое знает. Если он перешел в ГДР с намерением досадить Аденауэру, то худшего канцлеру и во сне не являлось. Но если это не переход, а лишь визит, то вряд ли следует строить воздушные замки. Человек с таким прошлым, как у О. Йона, плохо поддается приручению против его воли.

Тугаринов пробыл в Берлине несколько дней. Вернувшись, в присутствии Т. К. Куприкова, Л. И. Менделевича, А. Е. Ковалева и А. Е. Нестеренко (трое последних станут послами) поделился впечатлениями о беседе с О. Йоном.

– Как Йон оказался в ГДР – ребус. Скорее всего, случайно для себя. Мне не показалось, что его привел в Восточный Берлин конфликт дома. Да, он соглашается, что канцлер жертвует единством Германии в пользу перевооружения ФРГ, сознательно оставлял неиспользованными предоставлявшиеся нами и ГДР шансы на сближение позиций. Йон подтверждает, что линия Аденауэра и деспотичный стиль руководства вызывают массу недовольства даже в ХДС. Но заметьте – соглашался, подтверждал, не оспаривал. Сам почти ничего конкретного не сообщает и разговор вел в общих выражениях.

Ответив на наши вопросы, Тугаринов подытожил:

– Похоже, что Йон постарается не задержаться в ГДР, поэтому

мосты не сжигает. К сотрудничеству с Советским Союзом за пределами разговоров о седой старине он не расположен. К опекунам из ГДР теплоты не проявляет. Сомневаюсь, чтобы друзья смогли разбудить в нем антифашиста в нашем понимании. Это человек устоявшихся, причем консервативных, идей.

Говорилось ли это уже со знанием обстоятельств не перехода, а перевоза О. Йона из Западного Берлина в Восточный? Данные на сей счет поступили в КИ значительно позже, но, находясь в ГДР, наш вице-председатель мог кое-что и прознать.

Занятный эпизод – работа над совсем другим жизнеописанием. К приезду федерального канцлера в Москву нам поручается написать политическую биографию К. Аденауэра. Вот когда годы долгой и небеспроблемной чужой жизни ложатся на ваш горб. Одних заявлений у Аденауэра что сочинений Ф. Ницше. Потом статьи почитателей и недругов о нем самом. Булышев делает первичный макет. Мне выпадает «ополитизировать» текст, ужав объем. Потом отжимом мелочей займется Менделевич. Сто страниц – меньше не получается.

Столь пухлые опусы КИ высшему руководству еще не посылал. Поколебавшись, наше начальство кладет биографию Аденауэра членам политбюро на стол. Эффект превзошел ожидания. А. И. Микоян рассказывал мне, что материал о канцлере читался как роман. С его слов, коллеги по политбюро и члены правительства, знакомясь с биографией К. Аденауэра, перезванивались и держали совет, как целесообразнее построить предстоящие переговоры.

Само событие – первый визит главы правительства ФРГ в Москву (9–13 сентября 1955 г.) – подробно описано с обеих сторон. Поэтому лишь несколько штрихов.

Совершалось нечто неординарное. Это видели все. Соответственно имелись радовавшиеся и печалившиеся. Федеративная Республика обретала возможность общаться с Советским Союзом напрямую. Потребность в посредниках отпадала. Не лишенным значения представлялся тот факт, что Аденауэр не испрашивал за кордоном разрешения на установление дипломатических отношений с Москвой. Он ограничился информированием трех держав.

Это совсем не означало, что Аденауэр подновлял набор идей. Можно, наверное, засвидетельствовать нечто противоположное. Навязав в какой-то мере свое видение трем державам, канцлер был не прочь укатать и советского сивку. Нет, он не ведет переговоры за США, Англию и Францию; более того, Аденауэр отказывается вступать в двусторонний советско-германский диалог, ибо восстановление государственного единства Германии

является «обязанностью четырех». Ему вполне достаточно расставить вехи допустимого и неприемлемого.

Глубоко символичным оказался финал визита. Специально этот спектакль к заключительному вечеру пребывания Аденауэра в Москве не приурочивался. В Большом театре давали «Ромео и Джульетту». Отзвучала дивная музыка С. Прокофьева. Упал занавес. Через мгновение зал взорвется аплодисментами. А пока урок, поданный Монтекки и Капулетти, находит последователей в правительственной ложе. К. Аденауэр протягивает руку председателю правительства Н. А. Булганину. В знак пресечения бесплодной и опасной вражды? Наступит ли замирение и когда?

Послесловие к переговорам, которое учинил канцлер, обещало все что угодно, только не покой. То, что не сумел, не успел или не захотел при встречах с Булганиным и Хрущевым, Аденауэр столбит в одностороннем письме на имя председателя Совета министров СССР, а именно: установление дипломатических отношений не означает признания существующего территориального статуса, как и отказа ФРГ от претензий в международных делах выступать от лица всех немцев. Советская сторона отвергла эти претензии по существу, но письма автору не возвратила.

Установление дипломатических отношений – никто не обманывался – было лишь увертюрой к многочастному произведению, которое предстояло писать и писать. Общественное мнение ФРГ восприняло открытие новой главы в советско-западногерманских отношениях сдержанно. Генетическая специфика боннского государства пронизывала как его официальные, так и неофициальные структуры. Отчужденность, неприязнь, недоверие – с ними советские представители сталкивались на каждом шагу. Всех входивших в здание советского посольства или торгпредства брали на пленку или заметку. Не каждый немец рисковал приблизиться к советским дипломатам на расстояние слышимости даже на светских раутах.

Посол В. А. Зорин помыкался полгода. Финская сауна хоть чередует парилку с ледяными купелями. Ее боннская разновидность пользовала советского дипломата только прохладой. Решили, что высококаратному представителю, располагавшему доверием Хрущева, полезнее вернуться в Москву.

Новый посол А. А. Смирнов, по моему разумению, не уступал предшественнику, а собранностью и твердостью характера даже превосходил его. Смирнову приписывают несколько афоризмов. Он прибыл на Рейн, как известно, из столицы Австрии и, отвечая на вопрос о первых впечатлениях, будто бы заметил: «В чем

разница? Штраус в Вене – это вальс, Штраус в Бонне означает марш».

Так или иначе, вживался Смирнов в боннскую атмосферу трудно. Слова в наших отношениях с ФРГ долго, слишком долго обслуживали что угодно, только не здравый смысл. Они передавали, смаковали любые оттенки вражды и почти никогда не апеллировали к высоким чувствам. Кто больше был повинен в сих бесплодных упражнениях? Каждая из сторон по-своему. Итог закономерен. С установлением дипломатических отношений мы преуспевали главным образом во взаимных оскорблениях, зато действительно без посредников.

Наверное, надо было вволю выговориться, отторгнуть душевные шлаки, кожей прочувствовать, куда лихо может занести, прежде чем задать себе вопрос: как дальше, не пора ли менять саму шкуру? Перед глазами – австрийское решение и тут же венгерские события. Вроде бы ничья в Корее и развал колониального господства Франции в районе Индокитая, Англии – восточнее Суэца. Африка клокочет. Центральная и Латинская Америка не хотят оставаться чьим-то «подбрюшьем». Политика – занятие не для слабонервных.

В окружении К. Аденауэра неспокойно. Не менял общей картины тактический маневр канцлера, пригласившего СССР осенью 1956 г. вступить с Федеративной Республикой в «двусторонний обмен идеями» по проблеме объединения Германии ввиду бесплодия четырехсторонних переговоров. Пригласить-то пригласил, но прежних идей замешал даже погуще.

Маневр призван был не переубедить Советский Союз, а рассеять беспокойство и притушить недовольство дома. Не удалось. Ставка не просто на силу, но уже на атомную мощь заставляла пристальнее присматриваться к сути курса канцлера. Если он всерьез принимает тактическое ядерное оружие за «модификацию артиллерии», то дальше некуда.

Через некоторое время федеральный министр финансов Ф. Шеффер отправится в Восточный Берлин, чтобы встретиться с руководством ГДР для обсуждения германо-германских моделей урегулирования. Встреча на должном уровне сорвалась по вине ГДР, усомнившейся, что Ф. Шеффер явится самолично. Фиаско с О. Йоном давало себя знать. Шанс для фундаментального проговора проморгали.

В либеральной среде повеяло чем-то свежим. Э. Менде выдвигает план, который, по моему восприятию, мог стать важной отправной точкой: сначала согласие четырех о военном статусе объединенной Германии, затем практические шаги по

воссоединению. Т. Делер предлагает вынести вопрос о будущем военно-политическом статусе Германии на референдум.

Социал-демократы ФРГ решением своего съезда (июнь 1956 г.) закрепляются на позиции – воссоединение Германии недостижимо без отказа Запада и Востока от планов ее вовлечения в свои военные блоки. Э. Олленхауэр и другие лидеры СДПГ настойчиво проводили тезис о необходимости конструктивного рассмотрения предложений о коллективной безопасности в Европе. Подходы западногерманских социал-демократов находят массированную поддержку со стороны британских лейбористов, влиятельных американских политиков (сенатор Хэмфри) и дипломатов (бывший посол Дж. Кэннан), в определенной степени У. Черчилля.

Нас в Комитете информации озадачивал вместе с тем провал попыток СДПГ найти общий знаменатель с либералами. На вопрос, чем это объясняется, убедительного ответа я дать не мог. Казалось, после встречи Э. Менде, В. Шееля, В. Дёринга в Веймаре с членами правления ЛДП ГДР логика поведения свободных демократов должна была быть другой.

На новый, 1957 г. В. Ульбрихт выдвигает идею конфедерации как переходной ступени к воссоединению Германии посредством свободных выборов. Затем она будет конкретизирована в выступлении первого секретаря на пленуме ЦК СЕПГ, чтобы в конце июля 1957 г. превратиться в официальную программу правительства ГДР.

Мне было поручено собирать и анализировать все данные, поступавшие в КИ по закрытым и открытым каналам. Собственно родоначальником идеи конфедерации был Фриц Шеффер, подвигнутый на свой смелый шаг примером заключения австрийского государственного договора. Баварского политика сначала не засвечивали. Ему оставляли простор для маневрирования и привлечения на сторону этой модели друзей в правительственной коалиции и деловых кругах.

Не знаю, разочарование было тому причиной или стремление отвадить ходоков – честных приверженцев единства, но грубое «нет» Аденауэра на инициативу Ульбрихта послужило поводом для нарушения договоренности с Шеффером о конфиденциальности. Министр, между прочим, беседовал в Восточном Берлине одновременно с представителями ГДР и СССР. Следовательно, обязательство насчет конфиденциальности принималось также нашей стороной. Но аннулировалось оно без предварительного обговора с нами. По меньшей мере, иное мне неизвестно.

Единственным серьезным откликом с Рейна на идею

конфедерации стала инициатива Олленхауэра. Мы вели эти предложения, развитые Г. Венером, К. Шмидом, В. Брандтом, под названием «германский план СДПГ». Точки соприкосновения имелись, и немаловажные, но в общем и целом сей план был не дополнением, а противовесом идее Шеффера.

Память подсказывает: это было уже в 1958 г. – поступили сведения, что Дж. Ф. Даллес советовал Аденауэру добавить гибкости. Госсекретарь не отвергал конфедерацию в качестве полустанка. Перед притягательной силой Федеративной Республики в рамках конфедерации ГДР не устоит. Таков был его аргумент. Аденауэр не уступил – «конфедерация для восточных немцев – способ добиться признания ГДР».

Собеседники остались недовольны один другим. Упрямство канцлера ускорило отход США от ультимативного требования «свободные выборы – единственный путь к преодолению раскола Германии». В большой американской прессе появился комментарий, ставивший под сомнение практичность все сводить к свободным общегерманским выборам. Журналисты приписывали его авторство Р. Мэрфи, заместителю госсекретаря США. В следующем январе заговорили даже о «плане Мэрфи», привязанном к идее конфедерации с перенесением столицы ФРГ в Западный Берлин и установлением официальных отношений между двумя германскими государствами.

Насколько сгущены или даже смещены здесь тона, способны прояснить западные архивы. Неоспоримо, однако, заявление Дж. Ф. Даллеса (13 января 1959 г.) о том, что помимо свободных выборов имеются другие методы, относительно которых он не хотел бы пускаться в спекуляции.

Конфедерация – другой упущенный правительством Аденауэра шанс. Пользуясь приемом – доказательство от противного, могу сказать, что советское руководство не горело желанием втягиваться в обсуждение практических вариантов конфедерации, хотя время от времени ее для порядка поминали.

Еще коротко два сюжета из жизни в Комитете информации, для меня по-своему важные.

Вместе с Л. И. Менделевичем и М. В. Сениным мне довелось готовить записку по Югославии. Около ста страниц текста. Два раздела – политика и социально-экономическое устройство. Выводы. Главный из них – отлучение Югославии случилось не по причине ее перерождения, как официально утверждалось, а из-за того, что с подачи П. Ф. Юдина, распознавшего «уклоны» И. Тито, у нашего диктатора «крыша поехала».

Политбюро согласилось с оценками КИ. Были предприняты шаги к нормализации отношений с Югославией. О

восстановлении прежней дружбы, к сожалению, нельзя было и мечтать.

За себя и моих ближайших товарищей могу сказать, что разрыв с Югославией в конце 40-х гг. был тяжелым разочарованием. Я считал и считаю, что наша страна многим обязана народам Югославии. И не только потому, что партизаны И. Тито сковывали всю войну больше гитлеровских дивизий, чем до июня 1944 г. любые из союзных государств. В самом грозном 1941 г. мужественным сопротивлением агрессорам югославы, а также греки оттянули нападение на Советский Союз на шесть недель, возможно решавших исход битв той поры.

В 1957 г. партию и страну застигло известие: разоблачена и изгнана «антипартийная группировка» В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и Л. М. Кагановича. Подробностями не баловали. Примите на веру – оппозиционеры, причастные к преступлениям периода культа личности, хотели остановить десталинизацию. Партийным организациям вменялось осудить Молотова и других, поддержав соответствующее решение пленума ЦК КПСС.

На собрании в комитете беру слово. Говорю не об отношении к постановлению пленума. Ставлю в центр совсем иной аспект:

– В прошлом году партия узнала, каким в реальности был Сталин. Общество не успело прийти в себя, как ему сообщили – у Сталина имелись сообщники. Что уготовлено узнать нам завтра или послезавтра? Дело не выиграет от дозированного вхождения в правду. Из одного кризиса партия будет попадать в следующий. Может, поступить иначе? Немедленно разобраться, кто причастен к беззакониям, творившимся при Сталине, и еще до установления персональной вины каждого всех отстранить с партийных, общественных и государственных постов. Независимо от занимаемого положения.

Далее я говорил о необходимости регулярной сменяемости состава руководящих органов партии и прочую крамолу. Участники собрания встретили ее одобрительными аплодисментами. А на другой день меня пригласили в партком. И. о. секретаря майор Юдкин (часть сотрудников комитета, прибывших из Министерства обороны и ряда других ведомств, носили воинские звания) заявляет:

– Вы, вероятно, догадываетесь, как расценено ваше вчерашнее выступление, – де-ма-го-ги-я. Вы предлагаете чистку в партии. А требование «независимо от занимаемого положения» более чем двусмысленно. Исполняя поручение, рекомендую вам сделать выводы.

Выводы я пытался извлечь в 1958 г., когда Г. М. Пушкин пригласил к сотрудничеству с ним во вновь созданном Отделе

информации ЦК КПСС. Партийный аппарат для меня совершенно необозрим. Наихудшим вариантом могло быть: вас сватают на Старую площадь и в последнюю минуту «отказывают в доверии». С «недоверием» из такого высокого дома, каким являлся ЦК, даже места на приличном кладбище не сыскать, не то чтобы сколько-нибудь стоящую работу. А за мной числилась свеженькая антиначальственная «демагогия» на партсобрании.

Сам Г. М. Пушкин попал в аппарат ЦК при не совсем обычных обстоятельствах. После XX съезда КПСС с осуждением Сталина покатилась волна разоблачений также в европейских странах народной демократии. Где покруче, где поплоше. В. Ульбрихт в разговоре с послом Г. М. Пушкиным заявляет: в СЕПГ тоже был культ – культ личности В. Пика.

Председатель партии с некоторых пор пребывает вне времени и пространства. При фотографировании с избранными иностранными гостями выручает его улыбающееся фотогеничное лицо.

Наш посол выразил В. Ульбрихту свое непонимание и не скрыл прохладного отношения к затеянному в ГДР преследованию старой гвардии. Первый секретарь ЦК СЕПГ поставил перед Н. С. Хрущевым вопрос об отзыве Г. М. Пушкина домой «по-хорошему». Иначе… Советское руководство спорить не стало, но, назначив посла в центральный аппарат партии на должность, равную тогда положению министра, дало понять, что поведение Пушкина одобряет, а «материалам», посланным послу вдогонку, не верит.

Работу с Пушкиным вспоминаю по-доброму. Вам поведаю историю, ставшую для нас обоих Рубиконом.

В начале осени 1958 г. Н. С. Хрущева озарило – водим мы хороводы вокруг воссоединения Германии, уговариваем три державы и ФРГ, а те ломаются, набивают себе цену. Между тем в руки сам просится Западный Берлин. Не осталось ни буквы, ни запятой из прежних четырехсторонних соглашений, которые бы три державы, не спросив СССР, не отменили или не порушили. Но в отношении Западного Берлина они требуют, чтобы все урегулирования конца войны и послевоенного времени действовали без изъятий и даже с приращениями. Подобный дисбаланс нетерпим.

Объявляем Западный Берлин «свободным демилитаризованным городом». Оккупационный режим отменяется, оккупационные войска выводятся. СССР сдает свои полномочия в части обеспечения внешних связей Западного Берлина властям ГДР, на «территории которой город находится». Четыре державы, два германских государства или ООН

гарантируют новый статус Западного Берлина.

В сентябре – октябре 1958 г. нашему отделу поручено изучить проект провозглашения Западного Берлина вольным городом и доложить свое мнение. Г. М. Пушкин, зная, кто автор, не спешит с заключениями. Три державы идею не примут. Если бы мы задумали навязать ее, разразился бы острейший кризис. Попытки воспрепятствовать военным перевозкам в Западный Берлин или из него силой, а также непосредственно вмешаться во внутренние дела города вызовут вооруженный конфликт. Какими могут быть встречные предложения трех держав, как компромиссные, так и ультимативные?

По какой форме докладывать? Обычно наши материалы рассылались через Общий отдел без указания фамилий членов политбюро. Советуем Пушкину условиться с Хрущевым о встрече и, прокомментировав наиболее существенные положения, передать только ему из рук в руки выводы отдела. Заведующий – той же точки зрения.

Время аудиенции назначено. Мы с Т. К. Куприковым на своих рабочих местах поджидаем возвращения Пушкина. Он вернулся совсем скоро. Хрущев, услышав, что его идея не проходит, деталей слушать не захотел. Наш прогноз, что ломка сложившейся практики спровоцирует вооруженный конфликт, он назвал «ерундой».

– Руководители США не такие идиоты, чтобы ставить себя под удар из-за Западного Берлина, – уверенно заявил Хрущев. – Если бы мы даже силой выпроводили их из города, войны американцы не развязали бы.

Такой, в передаче Пушкина, оказалась реакция первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР. От заслушивания соображений по вариантам он отказался, сославшись на занятость.

Интерес и время для отдела были потеряны Хрущевым навсегда. Мы писали свои бумаги к заседаниям политбюро, выполняли поручения секретарей ЦК Мухитдинова, Кириченко и кого-то еще. В феврале 1959 г. Н. С. Хрущев спрашивает коллег по партруководству:

– А что, отдел Пушкина еще существует?

Ему дается справка – существует.

– Правильно ли, что он существует? Без него не обойдемся?

Кто будет возражать лидеру? Конечно, обойдемся. Принимается решение об «упразднении» отдела.

Почему Хрущев не разогнал наш отдел тотчас, когда выпроводил за дверь Пушкина? Выпятилась бы чрезмерно субъективная мотивировка.

Пребывал ли он в непримиримо задиристом настроении, в пресловутой решимости драться «до победного конца», в любом случае до чьего-то конца, мне неведомо. Фактом оставалось, что советская нота от 27 ноября 1958 г. с ультимативным требованием в течение шести месяцев превратить Западный Берлин в вольный город отражала начальную версию советского лидера. Но начиная с января она стала обрастать как рождественская елка игрушками и бенгальскими огнями.

Прибавили предложение о созыве конференции для выработки мирного договора, который был бы подписан ФРГ и ГДР, если к моменту его готовности не возникла бы «немецкая конфедерация». Наряду и параллельно с переговорами по мирному договору должны были бы вестись переговоры заинтересованных сторон по Западному Берлину. Тональность еще не кооперативная, но все же менее ультимативная. Полугодовой лимит не снимался, но каждому видно – он маркирует не конец маршрута, а начало движения по нему.

Капризная дама судьба. Не без моего участия возник Отдел информации ЦК, призванный заземлить политику на строго выверенные данные. Я же и поспособствовал его кончине. Вслед за тем мне, против желания приписанному к МИДу, еще выпало трудиться над тем, чтобы из лихого замаха Хрущева получилось нечто дельное.

В дипломатическом ведомстве (с 1959 г. я стал работать в его 3-м Европейском отделе) меня ждали открытия. Опыт прежней работы подсказывал – разведай броды до того, как вступишь в воду. В политике это означает прежде всего – подними документы.

Интересуюсь, где документация Европейской консультативной комиссии, Контрольного совета и его органов, имеющая отношение к разделению Германии на зоны оккупации и учреждению четырехстороннего механизма управления ею? Отдельные документы и материалы разбросаны по разнородным папкам и даже по различным отделам министерства. Отсутствует всякая система их учета. Каждый дипломат от атташе до советника волен вести досье так, как заблагорассудится. Правил передачи реферата от одного исполнителя к другому не существует. Хаос, да и только.

Где документы Контрольного совета начального периода его функционирования, в частности определявшие порядок координации действий зональных властей? Я их читал, работая в Берлине, а что-то держал в руках, посещая служебную библиотеку МИДа на последних курсах института и проводя исследования в Комитете информации. Никто не ведает. Возможно, слышу в

ответ, их в МИДе уже нет. Часть документации Контрольного совета попала в архивы Министерства обороны или в Центральное государственное архивохранилище. Есть в отделе несколько шкафов с бумагами, не разобранными после переезда (в 1952 г.) с Кузнецкого Моста на Смоленскую-Сенную площадь. Может быть, там.

Ладно. Что-нибудь МИД да писал – справки, обзоры документов и т. п. в канун выдвижения требования о превращении Западного Берлина в вольный город? Писал. Несколько вариантов нот, заявлений, памяток к беседам. И это все? В основном.

Картина удручающая. Неужели и во всех остальных случаях мы полагаемся на Провидение?

Западные дипломаты ломали себе голову, почему Москва не вводит в оборот те или иные неудобные для трех держав прецеденты, документы, доводы. В 1947 г., к примеру, в документах Контрольного совета была совершена запись: Берлин является местом пребывания четырехсторонних органов и одновременно столицей советской зоны. Весь Берлин. Инициаторами записи были англичане, задумавшие пропустить щупальца в восточную часть города и, если получится, в Восточную Германию. Имейся у трех держав нечто отдаленно похожее, оправдывавшее превращение Берлина в землю ФРГ, с Советским Союзом и говорить бы не стали. Пользовались же четыре с половиной десятилетия воздушными коридорами на основании рекомендаций административного департамента, хотя они не были утверждены, как положено, Контрольным советом.

Раскрою секрет. Ни в 1958-м, ни в 1959 г. про упомянутую запись в МИД СССР никто не слышал. В 1960-м или даже 1961 г., когда у меня зашел разговор с А. А. Громыко на данную тему, министр буркнул:

– Почему мне не показали этот документ до посылки нашей ноты 27 ноября 1958 года?

– Я работаю в МИДе с марта 1959 года.

Это дало тогда же повод для разговора с Громыко о необходимости создания в МИДе службы централизованного учета, систематизации и хранения официальных документов. Компьютерами, замечу, у нас еще в ту пору не пахло. Вместо капитального решения – были даны поручения генеральному секретариату министерства, историко-дипломатическому и договорно-правовому управлениям «улучшить», «заняться», «следить».

Или: специалистам не забылся затяжной спор о демаркации границы между ФРГ и ГДР в нижнем течении Эльбы. В 60-х гг.

я затребовал документы в подтверждение западной версии, что договоренность имелась. Их не оказалось ни в МИДе, ни в МО, ни в других местах. Кто-то припоминал, что по просьбе британского офицера волей его советского коллеги в звании не старше полковника разделительная линия на одном из участков была проведена не по фарватеру, а по правому берегу реки.

Как поступим? Решаем обратиться к британским дипломатам: возникла потребность в перепроверке имеющихся картографических материалов, определявших согласованную на местности линию прохождения границы между Западной и Восточной Германией; были бы признательны за копию карты, касающейся прохождения линии по Эльбе.

Два германских государства в прямой диалог о демаркации границы еще не вступали. Запрос не несет в себе и тени чрезвычайности. Но пока я пребывал в 3-м Европейском отделе, копией англичане нас не пожаловали и оригинала не показали.

Если мелочи вас не утомили, пример, который частично относится ко мне. Четырехсторонние переговоры. Эксперты уточняют советские претензии по имуществу в Западном Берлине. К ним относятся несколько земельных участков, принадлежавших до войны СССР. Представитель США переспрашивает нашего делегата, полный ли список этих участков отдан трем державам или будут дополнения. Полный.

Американцы, вероятно, полагали – какие советские дипломаты все же деликатные. Не хотят осложнять и без того непростой вопрос требованиями об имуществе в Западном Берлине, некогда принадлежавшем Литве, Латвии и Эстонии. Для США нож острый все, что связано с Прибалтикой.

Между тем причина сдержанности на нашей стороне – бескультурье в делопроизводстве, издержки работы зауженным составом в самом МИДе, отсутствие координации с республиканскими правительствами. Никто вовремя не вспомнил про прибалтийский сюжет. Может, и к лучшему, но соображения высшей политики были здесь явно ни при чем.

Мой дебют в МИД СССР пришелся на период подготовки и проведения конференции министров иностранных дел четырех держав в Женеве (11 мая – 20 июня, 13 июля – 5 августа 1959 г.). Впервые на политическом мероприятии такого ранга представлены ГДР (д-р Л. Больц) и ФРГ (д-р В. Греве). Я участвовал в первой фазе конференции.

Занятного увидел и услышал много, существенного по делу тоже. Действующие лица мировой политики, не исключая А. А. Громыко, обрели в представлении плоть, аргументы, сопряженные с конкретными личностями и манерой их подачи, – новое

звучание. Положительно никакие учебники и монографии не заменят живую жизнь, даже отгороженную массой условностей от жизни естественной. Ведь если одежда – прародитель стыда, то условность зачала обман.

Избавлю читателей от хронологии и перипетий происходившего в то женевское лето. Расскажу о том, что почти незнакомо и в чем-то расходится с обычно заниженными оценками этой конференции. Посмотрим на дискуссии в Женеве не с зауженной позиции – завершились они готовым к подписанию соглашением или нет, а под углом выявления эволюций в политике сторон. Отбросим за ненужностью и вредностью методу, вычисляющую, кто кому больше уступил. Поставим вопрос так: шло дело к сближению представлений или они расходились все дальше?

Ответ Громыко – в аккуратных выражениях министр излагал его в беседах один на один, изредка в присутствии также А. Г. Ковалева еще до смещения Н. С. Хрущева – был однозначным: к июлю 1959 г. вырисовывалась основа практической договоренности по Западному Берлину. Возможно, промежуточной, но готовившей почву для политического соглашения в обозримом будущем. Каждая из четырех держав руководствовалась своим прочтением перспектив, но стыковочные узлы наметились, и при уравновешенном ведении дальнейших переговоров Западный Берлин мог получить новый статус из рук четырех держав не без последствий для германского ландшафта в целом.

Неожиданно ворвавшийся личностный момент поставил женевские переговоры на холостой ход. Хрущев уловил – назревает благополучная развязка. Кому, как не ему, снять навар с грозного ультиматума и заодно стушевать его одиозность?

7 июля 1959 г. Хрущев приглашает президента Д. Эйзенхауэра в Москву. Ф. Р. Козлов, второй человек в партруководстве (и первый пьяница), отправляется за океан. Вице-президент Р. Никсон едет для открытия американской выставки в Москву.

В день закрытия Женевской конференции глава советского правительства фактически отзывает свой ультиматум – пока продолжаются переговоры, статус Берлина меняться не будет.

В сентябре 1959 г. происходит знаменательное открытие Хрущевым Америки и Америкой – Хрущева. Похоже, что торжествует принцип неприменения силы, – все международные проблемы должны решаться мирными средствами за столом переговоров. При берлинском урегулировании, в частности, необходимо «принимать во внимание интересы всех, кого это

затрагивает», не устанавливая для переговоров временных пределов, но и не затягивая переговоры искусственно. Путь к встрече в верхах расчищен, а с нею и к лавровому венку, который Хрущев уже видел водруженным на себя благодарными современниками.

Через два года я познакомлюсь с Хрущевым достаточно близко, чтобы ответственно сказать: это была незаурядная личность. Природа не поскупилась, давая ему пропуск в жизнь. Пройди он хорошую школу, которая, не убивая индивидуальность, привила бы ему строгие понятия о дисциплине и общей культуре, научила бы не путать желаемое и действительное, гляди, и оставил бы он после себя не просто яркий, но по качеству лучший след. При прочих равных условиях – обязательно надо оговориться. Человек более разборчивый в средствах едва ли выжил бы в пещерном климате сталинизма.

Силу политика Хрущева нельзя, наверное, отделить от его человеческих несовершенств. Особенно если мы учтем, в какое бесчеловечное время он действовал. Это ни в коей мере не извинение, а всего лишь объяснение. И когда я пишу о времени, то не замыкаю его на России или Германии. 40–60-е гг. снесли мораль на погост, отказали ей в праве голоса, по сути, в любом углу земного шара.

И все же. Крестьянская смекалка могла бы предостеречь Хрущева – дважды на одной мякине тертых западных политиков не проведешь. Для этого требовалось совсем ничего: немного критического отношения к себе самому. Именно сие немногое отсутствовало. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Это приложимо ко многим. К Хрущеву подходит, как по мерке скроенный сапог, коим он стучал по столу в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН.

Все пошло не так, как задумывалось в сентябре. Новые риторические заявления и угрозы с обеих сторон. Зачатки доверия терялись, едва возникнув. Не хватало искры. И она не заставила себя ждать.

1 мая 1960 г. в районе Свердловска, что на Урале, был сбит американский разведывательный самолет. Извинений Советскому Союзу не принесено. Больше того, Госдепартамент и президент Д. Эйзенхауэр обосновывали претензию на «право» разведывать советскую территорию и в будущем исходя из потребностей «национальной безопасности» США.

На подготовительной встрече к конференции «большой четверки» в Париже 18 мая Д. Эйзенхауэр, обещая, что полеты разведывательных самолетов США над Советским Союзом возобновляться не будут, предлагает отделить эту конфликтную

тему от предмета самой конференции. Его поддерживают де Голль и Макмиллан. Хрущев требует извинений и наказания виновных. Глава американской администрации отклоняет «ультиматум». Конференция сорвана.

Насмарку идут усилия почти десяти лет. Громыко, по моим наблюдениям, переживает случившееся. Он не может открыто усомниться в разумности «накручивания хвоста». Но в прикидках шагов на будущее министр против подыгрывания тем фракциям в американском руководстве, которые стоят за полетом Ф. Пауэрса. И почти не скрывается разочарование тем, что надежды на «большую» конференцию в Париже сгубили «малую» конференцию в Женеве. В середине 60-х гг. министр превратил суждение в обвинение:

– Жаждой прослыть первым дипломатом Хрущев деформировал развитие, сорвав Женевскую конференцию.

Мне представляется, что постфактум Хрущев не испытывал особой радости от раздрая с Д. Эйзенхауэром. Не вспомнил ко времени, что Париж стоит мессы, а цветущий в мае – даже двух. Поостыв, глава советского правительства обещал ничего не менять в существующем положении в Германии до начала следующего года. Потом предлагал новую конференцию в верхах. Требование об официальных извинениях было снято. Президенту США достаточно выразить «сожаление».

На примирительной ноте, однако, он долго не задержался. Опять угрозы заключить мирный договор с ГДР так, чтобы депутаты бундестага, которые отправятся в сентябре на свое заседание в Западный Берлин, получили разрешение ГДР на возвращение в Бонн. То же заседание на Шпрее парламентариев с Рейна дало повод для введения разрешительного порядка посещения западноберлинцами столицы ГДР. Западноберлинцам запрещено использование паспортов ФРГ при нахождении в ГДР или проезде через ее территорию. Внимательное око могло уловить контуры будущего оползня. Реакционной Федеративной Республике и прогрессивной ГДР не по пути. Размежевание – их рок, размежевание по идейному, политическому, социально-экономическому и блоковому признакам.

Выборы в США. Нового американского президента зовут Джон Ф. Кеннеди. Небезынтересен и его госсекретарь Дин Раск. Большой ясности насчет их планов нет. Бравада Хрущева в разговоре с послом Ф. Колером («Хотите, покажу, что вы пишете в Вашингтон?») обошлась советской стороне утратой исключительного канала информации.

Президентская избирательная кампания, однако, шла как турнир культуристов. Дж. Кеннеди надавал обещаний

материализовать американскую мощь в решительные действия в Европе, Юго-Восточной Азии, Центральной и Латинской Америке. Клекотать ястребом и на пробу снести первое яйцо голубиное? Не получалось.

Лично у меня сложилось неоднозначное впечатление от Дж. Кеннеди в Вене (3–4 июня 1961 г.). Молодой, энергичный, интеллигентный. Такие приемы Хрущева, как «я старше вас, надеюсь, вы не сочтете неуместным, если, исходя из своего жизненного опыта, дам совет…», как в вату. Дж. Кеннеди пропускает их мимо себя, переводя разговор для профилактики атмосферы в какую-нибудь нейтральную сферу:

– Есть ли объяснение, почему продуктивность животных в Советском Союзе так отстает от американских показателей?

– Да. Я объездил много стран и пришел к твердому заключению: коров надо кормить, – с улыбкой отвечает Хрущев.

Куда сложнее найти разумное толкование обстановки в центре Европы и, главное, добиться того, чтобы ее нормализация вобрала в себя законные интересы всех сторон. За 133 дня президентства Дж. Кеннеди вкусил не только пьянящее зелье власти, но успел и обжечься. Ведь этапом подготовки к венской встрече с Н. С. Хрущевым была высадка «бригады 2506» в заливе Свиней на Кубе.

Рассчитывал, похоже, запечатлеть новый стиль – сплав решимости и эффективности. И не где-нибудь, а на «главном направлении конфронтации с социализмом», в борьбе за «третий мир». Уже 28 января 1961 г. Куба и Вьетнам получили в табели приоритетов Дж. Кеннеди статус «заглавных проблем». А тут вместо «пришел, увидел, победил» – провал и скандал. Вместо козыря, которым собирались бить карты Хрущева, необходимость менять 1100 наемников, угодивших в плен к Ф. Кастро, на тракторы.

Кеннеди признал, беседуя с Хрущевым в Вене, что лично он отдавал приказ вторгнуться на Кубу. Создавалось впечатление, что, выкупавшись в заливе Свиней, США поумнели. Впечатление – да. Ни намеком президент не выдал, что вывод из провалившейся авантюры гласил – готовить новую авантюру. Чтобы на сей раз не сорвалось, было решено проводить ее соединениями сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил самих США. В ноябре 1961 г. готовившейся операции присвоили кодовое название «Монгуз».

Упоминаю это не для того, чтобы кого-то упрекать или другого оправдать. На мой взгляд, в июне 1961 г. Дж. Кеннеди был до крайности ограничен в поиске компромисса. Он мог бы, как говорилось советским представителям, принять к сведению

заключение Советским Союзом мирного договора с ГДР при условии, что фактически подтверждались бы права трех держав в Западном Берлине. Новый президент не молился на воссоединение Германии и, как мы вычисляли, был готов втихомолку перенести эту проблему во второй эшелон.

Хрущев ставился перед дилеммой – принять малое и в общем формальное за компромисс, который свяжет ему руки, или сориентироваться на напряженность, дающую возможность реализовать ряд военно-технологических планов и аргументы для односторонних «защитных мер» в интересах ОВД и союзной ГДР. Судя по всему, советский лидер прибыл в Вену с более или менее оформившимся решением: или договоренность, делающая предсказуемой и в основном приемлемой для СССР американскую политику по германской проблематике, или уравнение с тремя державами вправе отрицать чужие права и нарушать четырехсторонние урегулирования. Если не первое, то второе. В известном смысле ставка на «холодную зиму», которую предсказал Кеннеди, прощаясь с Хрущевым, тоже была компромиссом. По разным причинам напряженность устраивала тогда оба правительства.

Вена открыла шлюзы возведению в ночь с 12 на 13 августа Берлинской стены, устройству после 29 сентября разделительной полосы вдоль всей границы между ГДР и ФРГ, гигантской серии ядерных испытаний, увенчанной в СССР взрывом 57-мегатонного заряда над Новой Землей. Хотим мы или не хотим признать, это было совместное поражение восточной и западной политики.

Внешне 13 августа внесло какое-то движение в контакты великих держав по германской проблематике. Дж. Кеннеди принимает А. А. Громыко, советский министр встречается с премьером Англии Макмилланом. Условлено продолжать «зондирующий обмен мнениями». Во взаимосвязь с этими встречами можно поставить отказ Хрущева от требования, чтобы германский мирный договор в том или ином виде был заключен до 31 декабря 1961 г.

Но в какой контекст вписать действия американцев на секторальном переходе Фридрихштрассе, стартовавшие 22 октября 1961 г. и аргументированные намерением «продемонстрировать право на свободный доступ в Восточный Берлин»? Как очевидец происходившего утверждаю, что от великой беды всех тогда отделяли секунды и метры.

Срочный вызов в Кремль, где заседают делегаты XXII партийного съезда. Нас с Громыко и Ильичевым проводят в рабочую комнату Хрущева. Он уже там и беседует с маршалом И. С. Коневым. Присутствуют министр обороны Р. Я. Малиновский и

первый замначальника Генерального штаба С. П. Иванов.

Н. С. Хрущев повторяет для нас:

– Получены данные, что американцы затевают в Берлине пробу сил, они собрались пройтись танками, оснащенными бульдозерными ножами, по пограничным сооружениям ГДР. Вопрос стоит так: или мы дадим отпор, или утратим контроль над ситуацией. Решено командировать в ГДР Конева, чтобы он принял на себя командование советской группой войск. Маршал наделяется широкими полномочиями. Если американцы выведут на исходные позиции свои танки, наши выдвинутся навстречу в полной боевой готовности. Если американские машины начнут крушить погранзаслоны, приказываю стрелять по ним на поражение.

Обращаясь к Малиновскому и Коневу, спрашивает:

– Не упустил ли я чего? Вроде главное, что дипломатам надо знать, сказано (маршалы подтверждают). Скрывать, что Конев берет на себя оперативное командование, не станем. Напротив, широко объявим об этом. Характер Конева хорошо известен, и его появление в ГДР охладит не одну горячую голову. А вы, дипломаты, готовьтесь к обоим вариантам развития. Надо постараться разъяснить общественности, что мы не искали конфликта, его нам навязывают. Еще. Друзья должны быть уверены, что мы их не оставим один на один с США, и нервничать причин у них нет.

И. И. Ильичева, С. П. Иванова и меня отпускают выполнять данные поручения. Хрущев, Громыко и два маршала что-то обсуждают в узком составе. От Конева знаю, что речи о послаблениях не велось. В то же время отмечалась необходимость, прежде чем открывать военные действия с нашей стороны, убедиться, что США бросили нам перчатку. Громыко должен был найти способ довести по дипломатическим каналам до сведения американцев советскую решимость ответить на силу силой.

До битвы брони не дошло. Танки развели политики и дипломаты. Можно по-разному читать летописи. Для меня последняя декада октября 1961 г. – самое близкое прикосновение к горячей войне в Центральной Европе после 1945 г., которая почти автоматически могла бы перерасти в третью мировую. Двести метров и нервы отделяли Европу от непоправимого.

Отливы были и в это время. Не одни приливы.

В конце 1961 г. мне поручается подготовить записку для передачи ее в форме «нон-пейпер» канцлеру К. Аденауэру. Наставляя, министр говорит:

– Доверьте бумаге ваши сокровенные мысли. Порассуждайте

в ключе, который может показаться интересным правящим кругам ФРГ, о перспективах развития в Европе и о месте в будущей мирной Европе советско-западногерманских отношений. Не обязательно повторять то, что у нас кочует из ноты в ноту. Докладывать будем непосредственно Хрущеву. Это его задание.

Писал, как думалось тогда. «Нон-пейпер» получилась около 20 машинописных листов. Главная забота – выразительность логики рассуждения и нескованность самих мыслей. Не позиция судьи по отношению к Федеративной Республике, а обеспокоенность и добрая воля соседа, предлагающего себя в партнеры. Впервые в советском дипломатическом документе той поры появляется право каждого народа определять свой общественный строй, необходимость преследовать общие человеческие цели, заменить военное соперничество экономическим соревнованием двух систем, отказаться на взаимной основе от «оттеснения» как капитализма, так и социализма от применения силы.

Немало мест в «нон-пейпер» представляются сегодня наивными. Прогнозы жизнеспособности социалистических стран, потенций их экономики вызывают улыбку. Горькую или злорадствующую – в зависимости от мировоззренческих симпатий. Но ведь это писалось не для истории, а для конкретной ситуации, пропитанной напряженностью. До нового политического мышления в СССР было четверть века, а до речи Горбачева в ООН еще дальше.

Как ни странно, материал сначала с легкими царапинами миновал синий карандаш Громыко, потом не смутил Хрущева. Видно, логика, предназначавшаяся для Аденауэра, произвела известный эффект на мое руководство.

А 27 декабря 1961 г. И. И. Ильичев пригласил к себе посла ФРГ в Москве д-ра Х. Кролля. Как они объяснялись без переводчика, лишь Богу известно. Посол покинул кабинет нашего заведующего довольно скоро, всем своим видом олицетворяя необычность случившегося.

Д-р Х. Кролль был заметной фигурой в московском дипломатическом корпусе. Думаю, никого не обижу, сказав, что его следует отнести к самым интересным иностранным представителям. Хотя бы потому, что понимал он себя делегатом интересов не партий и коалиций, а нации, время от времени загадывая нам загадки.

Завтрак в резиденции Х. Кролля на улице Воровского. От нас приглашены замминистра В. С. Семенов, кто-то из замминистра внешней торговли, пара дипломатов, я в их числе.

Все как всегда. Повод для сбора – обмен мнениями в Москве

по торгово-экономическим вопросам – задает тематику разговорам за столом и даже анекдотам. Вдруг перед десертом посол произносит:

– Я никак не определюсь с отпуском в нынешнем году. Не отправиться ли мне в Локарно?

Присутствующие приняли это за намек на Рапалло. Я до сих пор не уверен, может быть, Х. Кролль и сказал «Рапалло». У западногерманских участников завтрака лица подвытянулись, советские гости молчат, как партизаны на допросе. Отпускной сюжет развития не находит.

В другой раз Х. Кролль решил пооткровенничать в разговоре сам с собой в помещении, в котором, как он допускал, глас вопиющего да услышан будет:

– Перевооружение окончательно стагнирует раскол. Не обменять ли нам ядерное оружие на единство? Каждая сторона получила бы свое.

«Вольности» посла улавливали также в Бонне. После того как его оппоненты продвинули в шпрингеровскую газету «Вельт» сообщение о попытках «часто упоминавшихся чиновников» выкупить благоволение Советского Союза, Х. Кролля зовут на Рейн для «внушения». В 1962 г. ФРГ представлена в Москве новым послом.

Вернемся к «нон-пейпер». К. Аденауэр не счел обязательным ставить в известность о ней три державы. Это сделали за него «информанты» союзников, сидевшие в ведомстве канцлера и МИД ФРГ. Поднялась шумиха. Она застала меня в поездке в Румынию и Болгарию, где по поручению Н. С. Хрущева я должен был заручиться «добром» тамошнего руководства на нашу дальнейшую линию в германских делах. Беседа с Г. Георгиу-Дежем (январь 1962 г.) знаменательна еще и тем, что он обнажил назревавший конфликт с Мао Цзэдуном и высказался за своевременное информирование о нем общественности дома и за рубежом.

С одной стороны, занятно было читать спекуляции, домыслы и вымыслы, с другой – сразу поселилась тревога. Задуманную как акт «тихой дипломатии» и приглашение к несуетливому самоанализу, «нон-пейпер» стилизовали почти во второе издание «письма Коминтерна»[4].

Западные державы намеренно делали вид, что не считают «исчерпывающей» информацию К. Аденауэра, требовали «секретных приложений». Поныне кое-кто допускает, что приложения имелись. Приложить могли лишь автора «нон-пейпер», и он под присягой подтвердил бы: каюсь, не догадался сочинить тайны.

Что оставалось делать Бонну? Погасить недовольство и деланые подозрения друзей на Западе легче всего раздуванием противоречий с недругами на Востоке. Подобно тому как тушат лесные или степные пожары, пал пускают против пала.

Памятная записка правительства ФРГ от 21 февраля 1962 г. в ответ на «нон-пейпер» разочаровала не столько своим содержанием. В конце концов не обязательно прибегать к высокому слогу, чтобы выразить оригинальную мысль. Виршами можно наговорить не меньше гадостей. Федеративная Республика не откликнулась на приглашение встретиться на мосту или на плоту, вместо того чтобы кричать через каньон или стремительно текущую воду. Не откликнулась, и это показательно, когда Вашингтон и Москва сами вступили в чрезвычайно интересный контакт. Н. С. Хрущев лишь пожал плечами, ознакомившись с боннской запиской. Хотят походить в коротких штанишках? Несмотря на холодную зиму? Кто что любит.

Советский Союз и США повели двусторонний обмен мнениями по германской проблематике на уровне глав правительств. Мне неизвестен непосредственный импульс, побудивший Кеннеди направить личное послание Хрущеву. Я соотносил обращение президента к эпистолярному жанру и избранную им неполемическую форму с благополучным исходом противостояния в Берлине.

Однажды в ноябре 1961 г. звонок из Кремля – в 11.00 быть у Хрущева. В кабинете председателя Совета министров В. В. Кузнецов, и. о. министра иностранных дел, помощники Хрущева В. С. Лебедев и О. А. Трояновский, его стенографистка Надя.

Хрущев делится впечатлениями от встреч с учеными-атомщиками, рассказывает, что они отговорили от испытания 100-мегатонного заряда. Излагает существо своего диспута с А. Д. Сахаровым. «Я ему посоветовал сосредоточиться на физике, политикой будем заниматься мы».

– Слово МИДу, – замечает председатель.

Кузнецов докладывает текущие дела:

– Албания обратилась с просьбой, несмотря на случившееся в наших отношениях и в Варшавском договоре, не отлучать ее от сотрудничества в СЭВ. Можно было бы пойти навстречу албанцам, я полагаю.

– Что-о?! – взрывается Хрущев. – Больше ничего не захотели? Гнать их поганой метлой, чтобы и духу не было. Вы поняли? Еще что-нибудь?

Дальше у Кузнецова была мелочевка. Или, учитывая настроение председателя, он от постановки крупных вопросов воздержался.

Оказалось, что настроение у Хрущева было даже хорошее. Он всего лишь спешил поскорее перейти к предмету, его занимавшему. В другой раз, возможно, и Албании больше повезло бы, а тут хлоп – и кончилось ее членство в СЭВе.

Выпит чай. Мы, как призвал хозяин кабинета, поудобнее усаживаемся в креслах. Хрущев надевает очки, берет из папки, лежавшей перед ним, какую-то бумагу и начинает читать вслух:

– Уважаемый господин председатель…

Со второго абзаца очевидно, что нас знакомят с посланием президента США. Хрущев, видно, не раз пропустил текст через себя, наиболее важные места он выделяет голосом или темпом.

По ходу чтения делаю пометки и под конец не очень представляю себе, на скольких листах Кеннеди уместил свои соображения. Кратким послание не было, содержательным было безусловно. Хрущев острым своим глазом верно схватил суть, послание может сигнализировать начало чего-то существенного.

Медленно снимаются очки. Хрущев собирает листы в папку. О чем-то размышляет. Потом говорит:

– Чувствуется, что сам руку приложил… Не то что его предшественник… Быстренько он с доставшимся наследством разделался.

О. А. Трояновский замечает:

– Да и вы тоже.

Пауза. Пристальный взгляд на помощника.

– Пожалуй.

Н. С. Хрущев все с теми же интервалами между фразами продолжает:

– Перед нами программа… Что за ней? Покажет время… Будем отвечать, и так, чтобы не ударить лицом в грязь… Я сейчас продиктую несколько соображений. То, что Надя отпечатает, не принимайте за Священное Писание… Лишнее отбросьте, все стоящее, умное добавьте.

Дня три-четыре я просидел за сочинением проекта ответного послания. В одном преуспел точно – в объеме. Громыко пропустил текст без значительных замечаний. Хрущев, увидев в руках Трояновского увесистое произведение, поинтересовался – сколько? Двадцать страниц. Вздохнул – многовато. Читай. Когда помощник дошел до заключительной формулы вежливости, глава правительства сказал:

– Длинновато. Но что-либо вычеркнуть жаль. Давай, Олег, подпишу.

Ответ на первое послание Дж. Кеннеди писался по странной, с любой нормальной точки зрения, методе. Хорошо, что догадался сделать заметки. Ведь ни перевода, ни тем паче

оригинала я в глаза не увидел. Громыко ссылался на то, что это не его документ, и обещал поинтересоваться у председателя. Идиотская конспирация. Отослав Трояновскому мой проект, делаю представление – в следующий раз без текста, на который надо отвечать, писать ничего не стану. Трояновский несказанно удивился:

– И всего-то надо было мне позвонить. Министру, между прочим, копия тоже посылалась.

Вам, конечно, интереснее узнать содержание переписки, продолжавшейся до лета 1962 г., чем читать про обстоятельства, ей сопутствовавшие. Частично я смогу удовлетворить этот интерес. Частично потому, что по прошествии тридцати лет затрудняюсь восстановить динамику развития позиций сторон, почти выведшей их, как казалось, на взаимопонимание.

Основные параметры и материальный подтекст были заданы стартовым посланием Дж. Кеннеди – не «обмен сада на яблоко», а баланс интересов; отталкиваясь от прежних союзнических урегулирований, признать и оформить практику, в частности по Западному Берлину. Наша реакция: из попыток за одними признать права, за другими обязанности – ничего не выйдет; к договоренности на равных советская сторона готова.

В центре обмена мнениями – Западный Берлин. В принципе нет возражений против отмены оккупационного режима, размещения в городе символических контингентов иностранных войск на основе нового соглашения и под флагом ООН. Вот только неясно, из кого иностранные контингенты будут состоять. США, понятно, за войска трех держав. Изменится правовая база поддержания связей Западного Берлина с внешним миром, но суть урегулирований не ухудшится. Не исключается превращение города в политически самостоятельную единицу.

Последнее представляется не совсем достоверным. Слишком контрастирует с позицией Аденауэра. Следует вопрос: как отнесутся к обсуждаемой модели на Рейне? Получение согласия Бонна – не ваша забота, слышится в ответ.

В конце лета спад интенсивности обмена мнениями как на уровне Дж. Кеннеди – Н. С. Хрущев, так и А. А. Громыко – Л. Томпсон, А. Ф. Добрынин – Д. Раск, Роберт Кеннеди – полковник Большаков. Мне ничего не было известно тогда о двух авантюрах – размещении советских ядерных РСД на Кубе и параллельно форсировавшихся приготовлениях США к сокрушительному военному удару по режиму Ф. Кастро, начатых за полгода до хрущевского решения о советском военном присутствии на острове и независимо от него.

Напоминаю – ноябрем 1961 г. датируется начало переписки

Кеннеди с Хрущевым и утверждение президентом операции «Монгуз». Случайное совпадение? Позвольте. На «Монгузе» были задействованы ближайшие советники президента – Банди, генералы Тэйлор, Лемницер, Макклоун, заместитель министра обороны Джонсон и, понятно, брат главы Белого дома Роберт. В одном ЦРУ новое нападение на Кубу готовили около 400 сотрудников.

Переписка – прикрытие «Монгуза»? Или часть задумки «разменять» Западный Берлин на Кубу? Ведал ли Н. С. Хрущев об антикубинских планах США? При мне никаких разговоров об этом не велось. Гадать не считаю уместным.

Советский руководитель вступал в обмен мнениями, чтобы побудить Кеннеди поверить в мирное сосуществование не только на принципе равенства, но и на равных принципах? Если принципы равны, то размещение американцами ракет в Италии, Англии и особенно в Турции оправдывало появление советских систем по соседству с США. Базы на Кубе – преимущественно военный или политический аргумент?

Вашингтон задолжал с ответом на эти вопросы. Послания по германской тематике, которыми обменялись главы двух правительств, до недавнего времени не были рассекречены. С чего бы такая сдержанность? Положим, наша многогрешная сторона. В разгар гласности М. С. Горбачев отрезал не внешний мир, а правительство и парламент страны, политбюро, секретариат ЦК партии (о науке и речи не могло быть) от стоящей информации. Но американцы, они же такие открытые! Или чем шире распахиваются ворота, тем уже в них проход?

Последнюю работу для Хрущева я выполнял в июне – июле 1963 г. Потом нервное переутомление больше чем на полгода вывело меня из строя. Эта работа касалась Кубы. Вместе с О. А. Трояновским нам поручалось написать объяснение-оправдание Хрущева, которое он собирался разослать членам политбюро. В краткой задиктовке с юга, где председатель отдыхал, ни малейшего намека на взаимосвязь кубинского предприятия с германскими делами не было. Симптоматичным являлось другое: трактовка единоличному акту давалась с отсрочкой в полгода после завершения тяжелейшего кризиса, а не за несколько месяцев до его начала.

Надеюсь, это сделает вам более понятным многое из непонятного, что происходило в Москве и совершалось «от имени и по поручению» партии, правительства и советского народа. И до «рождества» Хрущева, и после его «распятия», и в эпоху гласности. С точки зрения организации власти, не номинальной, а реальной, мало что менялось. «Коммунистическая диктатура»? Во-первых, сплава двух политических начал-антагонистов быть не может. Во-вторых, это была диктатура одной личности в отношении многомиллионной партии. Так же как диктатуру пролетариата переиначили в диктатуру над пролетариатом. Я изложу свои мысли и эмоции на сей счет, когда мы достигнем берега перестройки.

Пока ставлю точку на следующем: противоречивым, многоярусным и многозаходным двусторонним контактам, имевшим целью, согласно январской (1963) версии Госдепартамента, «изыскать базу для разумных переговоров по берлинскому вопросу», недостало на обеих сторонах дальновидности, доброй воли и доверия. Десять лет после мартовской ноты Сталина германские интересы снова оказались пленниками советско-американского противоборства. За рамки «зондирования» дело не вышло.

Вашингтон прощупывал с приходом к власти Дж. Кеннеди многое. Скажем, как прореагировала бы Москва на налет «ВВС националистического Китая» против ядерных объектов КНР? Был ли бы приведен в действие союзный договор с Пекином 1951 г.? Или как «в перспективе», с учетом деколонизации и пр., может выглядеть карта Земли, где американские зоны высокого давления и низкого давления советские или наоборот.

Задержавшись у кубинской грани Бермудского треугольника, Соединенные Штаты и Советский Союз протрезвели. Дж. Кеннеди держит речь в Вашингтонском университете: США не могут изменить на свой манер окружающий мир, они должны научиться жить в согласии с ним. Советскому Союзу обещаны пересмотр

обращения с его интересами и американской позиции в холодной войне, поправки к ультимативной политике США в целом, ставящей другую сторону перед дилеммой – унижение или атомная война. Наша оценка выступления президента, как она докладывалась Н. С. Хрущеву и А. А. Громыко, – расставание с догмами дорого достанется Дж. Кеннеди. Никто и в мыслях не держал далласовской трагедии. Хотя, возможно, прямой взаимозависимости и не было.

Договоренность о прекращении ядерных испытаний в трех средах (5 августа 1963 г.) – пожалуй, оптимальное на тот момент добро, которым было беременно худо. Остается глубоко сожалеть, что переговорщики престижную арифметику не подчинили политической математике. Дж. Кеннеди настаивал на 8-10 инспекциях на месте в год, Хрущев соглашался на 3–5. Сблизиться не успели, так как услужливые модераторы предложили данайский дар – не распространять запрет на подземные испытания. Будь иначе, вполне могло случиться, при условии, конечно, выполнения принятых обязательств, что проблема ядерного оружия стояла бы ныне по-другому.

Под германским углом зрения договор об испытаниях также знаменовал известный этап развития. ГДР без формального ее признания Западом вводилась в единое с великими мира сего правовое пространство. Не преувеличу, заметив, что «зондирующие контакты» 1962 г. подготовили почву для взятия этого перевала. Не слишком густой навар, но лучше, чем никакой.

Со стороны трудно себе представить, чем мне только не приходилось до этого заниматься. Вот МВД пересылает грубо сколоченный ящик с сопроводительным пакетом: «По принадлежности, в МИД СССР направляются зубные протезы служащих вермахта, осужденных за военные преступления…»

Эти служащие давным-давно вернулись в Германию. Кто-то не дожил до освобождения. Протезы в посылке россыпью без указания владельцев. Что прикажете делать вот с таким отзвуком бездумного исполнения жестокосердных инструкций? Возвращаю в МВД с рекомендацией действовать через Красный Крест. Чиновник в разговоре по телефону признается: забыли в 1955 г. про протезы; пять лет спустя случайно на них наткнулись; подумали, может быть, МИД заинтересуется.

Пробелы в памяти и рассеянность – явление очень даже человеческое. В 1961 г. первый секретарь посольства ФРГ просит его принять. В согласованное время он у меня. Едва поздоровавшись, строгий, подтянутый гость чуть театрализованным голосом выводит:

– Мне поручено вручить вам…

Его рука опускается в портфель, ворошит содержимое, но нужной бумаги нет как нет. Лицо первого секретаря розовеет. Он для чего-то протирает очки и чуть слышно произносит:

– Забыл… вербальную ноту забыл.

– О чем, простите, в ноте речь?

– Я должен был заявить вам протест…

– Протест заявить никогда не поздно. Если вам от этого полегчает, считайте, что протест вы заявили; я к нему отнесся с резервом. По поводу чего протест?

– С вашего согласия я пришлю вам его по почте.

Ни в записи беседы не стал расписывать конфузную историю, ни кому-то рассказывать о ней. Когда первый секретарь, выросший к тому времени до посла, давал прощальный прием, спрашиваю его:

– Не припоминаете нашу первую с вами встречу?

– Сколько лет прошло, но по сию пору меня в жар бросает, стоит вернуться в мыслях к тому вечеру. Я ведь долго старался избегать попадаться вам на глаза.

Мило посмеялись. С кем не случается.

Гораздо хуже, если забываются военные. Причем не на своей территории, а последствиями должны заниматься дипломаты.

Из множества нарушений американскими военными самолетами воздушного пространства ГДР два закончились трагически. После второго инцидента Вашингтон потребовал доказательств, что сбитый самолет действительно занимался разведывательной деятельностью (советское заявление), а не отклонился невзначай от курса в сложных метеоусловиях (версия США).

Через Генеральный штаб запрашиваю подробные данные. Сбитый самолет был оснащен для разведки. При падении фото – и радиометрическая аппаратура разрушилась. Подполковник, оставшийся в живых и помещенный в советский госпиталь, не отрицает, что экипаж выполнял задание командования, но, ссылаясь на устав, от любых уточнений уклоняется.

Прошу наших военных выполнить эксперимент – проявить пленку, которая считается засвеченной, и попытаться дешифровать ленты самописцев, любых имевшихся на самолете приборов. На следующий день в моем небольшом кабинете полно высших и старших офицеров. Эксперимент удался – у нас в руках широкоформатные кадры, зафиксировавшие электронные сигналы советских и гэдээровских постов наблюдения за воздушным пространством. На мой соответствующий вопрос дается справка: нет, из центрального или южного коридора, по которым осуществляется авиасообщение с Западным Берлином,

подобные данные снять нельзя.

– Что ж, придется делиться доказательствами с Вашингтоном. Какой из снимков, перейдя в руки другой стороны, нанесет нам наименьший ущерб?

– Ни в коем случае фотокадры не должны попасть к США. Любой из них стоит жизни пары летчиков, – заявляет генерал, старший группы.

– Это будет решать Хрущев, который держит вопрос на контроле. Пока не последовала команда отдать все, определитесь, где меньшее зло.

Представители США два или три кадра получили. Дж. Кеннеди на этом инцидент закрыл, воздав должное своим подчиненным, которые и его потчевали «отвлекающими заявлениями». Последовал приказ, если мы были правильно информированы, запрещавший самолетам ВВС США подлетать ближе чем на 30 миль к границе ГДР.

В январе 1965 г. я на три с половиной года распрощался с 3-й Европой. Стал руководить группой при министре, а затем заведовать 2-м Европейским отделом. От германской проблемы, в ее европейской и мировой проекции, никуда не укроешься, но повседневные немецкие заботы перешли к другим.

Кого будет недоставать, уйдя из 3-го Европейского отдела, так это собеседника типа советника Хартлиба. Необычайный был дипломат. Стоило ему перевоплотиться в оракула, и вы пробуете на вкус тонкости боннской политической кухни:

– Китай окрепнет и предъявит вам счет. Вашей основной тревогой станет Дальний Восток. Федеративная Республика терпеливо подождет, пока советско-китайское противоборство не накалится до крайности, и от нашего благоволения будет зависеть, в чью пользу склонится чаша весов. Тогда-то Бонн продиктует вам свои требования. Посмотрим, сможете ли вы их отвергнуть.

Советник посольства ФРГ, не вахтер это говорил. Не слушать его нельзя, даже если не всегда хотелось.

Опускаю не одни детали, но целые разделы работы руководителем «тайного совета» при министре и заведующим 2-м Европейским (британским) отделом МИДа. Польза от знакомства с классиками дипломатии была. Ведь все познается в сравнении. И не только, скажем, Федеративной Республики с Великобританией или Канадой. Немало говорило сопоставление наших политических деятелей, парламентариев, отраслевых министров с Г. Вильсоном, П. Трюдо, Дж. Брауном, лордом Чалфонтом, постоянным заместителем в Форин-офисе Гринхиллом. А возьмите московское созвездие послов из

британской гирлянды! Каждый второй – поэт.

Именно работе во 2-м Европейском отделе я был обязан знакомством с рядом выдающихся советских ученых – П. Л. Капицей, Н. Н. Семеновым, М. А. Лаврентьевым, М. В. Келдышем. У П. Л. Капицы бывал дома и в институте, наслышался от него всякой всячины о его передрягах со Сталиным, Берией и пр. Спорили с участием другого нобелевского лауреата Н. Н. Семенова – кончатся ли войны на бедолаге Земле, если удастся овладеть управляемым ядерным синтезом.

Несмотря на кратковременность работы на британском направлении, сделать можно было значительно больше, если бы а) не отвлечения на ближневосточные и чехословацкую проблемы и б) несчастливое соперничество и капризы в советском руководстве.

На Громыко его британский коллега Дж. Браун действовал как красная тряпка на быка. И не потому, что неотъемлемыми аксессуарами Дж. Брауна были красный галстук и красные носки. По-видимому, что-то засело у моего министра во время поездки с Хрущевым в Великобританию и его «разночтений» с тамошними лейбористами.

В свой первый визит в Москву Дж. Браун предпринял столь же бесхитростную, сколь и неловкую попытку установить с Громыко неформальные отношения. Приветствуя министра, прибывшего в резиденцию посла Великобритании на завтрак, он обращается к нему:

– Андрушка!

Гость холодным, словно из заморозки, тоном наставляет:

– Если вы хотите обратиться ко мне неофициально и одновременно вежливо, то надо говорить Андрей Андреевич.

Для неславянина легче выучить по-латыни что-нибудь из Виргилия. Дж. Браун схватывает вторую часть – «Андреич». Громыко больше его не поправляет. Кредо отлито в металле: Дж. Браун – нон-персона. Переговоры обрекались на срыв. Из его рук англичанин сухой корки не получит.

Поездка А. Н. Косыгина в Великобританию. Благодаря не в последнюю очередь сотрудничеству Дж. Брауна переговоры протекают весьма продуктивно. Косыгин конкретен, четок, деловит. Англичанам нравится отсутствие у него позерства. Главу правительства вызывает Москва:

– Алексей Николаевич, мы слушали твое выступление в парламенте. Получилось. Вообще визит удался. По причинам, которые объясню в Москве, важно вовремя остановиться.

Таким по смыслу был «стоп-сигнал» Л. И. Брежнева. А то возьмет председатель Совета министров и решит проблемы, на

которых, как в известной притче про французского нотариуса, кормятся поколения дипломатов. Не все помнят?

Прошедший медные трубы нотариус просит сына, начинающего нотариуса, представлять его в суде при рассмотрении давней имущественной тяжбы. Вечером осведомляется, как сложилось судебное заседание.

– Не понимаю, чего разводили волынку. Все уладили за час, – замечает сын.

– О боже! Мой отец кормился этим делом, отец моего отца довел на нем до расцвета нашу контору. Тебя я вырастил и твоих сестер с братьями на доходы от него. Что же ты натворил?!

Испортил тот звонок Косыгину настроение на всю оставшуюся поездку и годы вперед. Давалось понять: не ваше, премьер, дело – внешняя политика. Занимайтесь бухгалтерией, государственными похоронами и тушением пожаров. А внешняя политика, так сказать, фундаментального достоинства должна делаться генеральным секретарем. Можно вместе с министром иностранных дел.

Узнаю, что и мной недовольны. Разбирается кое в чем. Дж. Брауна в Чеккерсе усадил на ковер перед собой. Это не каждому удается. Настоящему дипломату, однако, два уха для чего даны? Чтобы по меньшей мере одним внимать, как там – на самом верху. Наивысшие отметки в бывшем Советском Союзе собрал дипломат, провозгласивший, что солнце восходит не на востоке, а на севере. Если глазеть на него с юга.

С мая 1967 г. меня и мое время располовинили. До обеда я принадлежу Британскому Содружеству, затем, как в песках нефть, из меня соки выкачивает Арабский Восток. Подступает война. Вместе с аналитиками Генерального штаба и КГБ, при участии востоковедов АН СССР пишем записку – если немедленно не сбросить давление в котле, вооруженный конфликт разразится. Начнись война, Израиль возьмет верх в течение недели-двух. Арабские армии по своей выучке и моральному состоянию к войне не готовы.

Записка послана политическому руководству. Но Л. И. Брежнев и другие убыли на военные маневры. Будут обратно в понедельник. Наша рекомендация немедленно связаться с Насером и убедить его разблокировать Акабский залив – зависла. В воскресенье она стала интересна для истории – Израиль массированным налетом авиации со стороны Средиземного моря нанес удар по боевым порядкам египтян.

Скоротечность событий предопределяла конвульсивность реакции советской стороны. Политические решения приняты: СССР встает на сторону жертвы агрессии и разрывает

дипломатические отношения с агрессором; необходимо максимально задействовать механизм ООН и попытаться наладить деловое сотрудничество с Соединенными Штатами, тем более что в первые часы войны американский постоянный представитель посол А. Гольдберг заявлял требования, в существе совпадавшие с нашими, – немедленное прекращение военных действий и возвращение войск сторон на исходные позиции.

Меня приглашают на основные сборы, которые созывает Л. И. Брежнев. Как правило, в обсуждениях участвуют А. Н. Косыгин, Н. В. Подгорный, А. А. Громыко. Если рассматриваются преимущественно военные дела, то появляются А. А. Гречко, министр обороны, с первым заместителем и начальником Генштаба М. В. Захаровым. В этом случае премьера и председателя Президиума Верховного Совета может и не быть.

На третий-четвертый день, не позднее, мольба из Каира: делайте что хотите, но спасайте. В телеграмме Насера предлагается установить союзные отношения, предоставить СССР военные базы в районе Александрии и Суэца или в любом другом месте по нашему усмотрению. Сквозная мысль – эффективная помощь нужна немедленно, завтра может быть поздно.

Что будем делать? Предложение о союзе и базах – это от отчаяния. Но воздушные мосты в Каир и Дамаск должны быть проложены. Один над проливами, другой через Иран, используя права по договору 1921 г.

Иранский маршрут едва не вызвал инцидент. Советский посол в Тегеране информировал шаха Резу Пехлеви в момент, когда наши военно-транспортные самолеты уже были в воздушном пространстве Ирана. Из своего кабинета Реза отдал распоряжение дать отбой средствам ПВО, если они засекли появление с северного направления ранее не объявленных летательных аппаратов, а нас предупредил, что права, во избежание недоразумений, не следует в будущем использовать явочным порядком.

Основные расчеты, однако, возлагаются на взаимодействие с Соединенными Штатами. Посол Гольдберг явно дрейфует. Контратаки сирийцев отбиты. Иордания как военный фактор выключена из игры. Успехи Израиля в поле впечатляют. Призыв к прекращению военных действий звучит все приглушеннее, слово «немедленно» добавляется реже, а требование возвращения на исходные позиции вообще опущено. Оппортунизм прямо-таки хрестоматийный. Все это регистрируется, но надежда и здесь умирает последней.

Новое обращение Насера – израильские бронетанковые части форсируют Суэцкий канал. Каир не прикрыт ни с земли, ни с

воздуха. Или СССР вмешивается в конфликт на стороне Египта, или конец.

Брежнев зовет к себе Косыгина, Подгорного, дипломатов и военных. Как поступим? Без всяких задержек перегоняем по воздуху предельно возможное количество боевой техники и противотанковых средств, а также ракет ПВО, одновременно доставляем в Каир египетских военных, которые обучались или проходили переподготовку в Советском Союзе. Все за, кроме Подгорного. Если один в триумвирате против, решение не принимается.

– Что ты предлагаешь, Николай? – спрашивает Брежнев.

– Подумать.

– Но времени нет. Ты же видишь.

– Утро вечера мудренее, – произносит Подгорный, собирает свои бумаги и удаляется.

Генеральный секретарь замечает ему вслед:

– Ну что можно при таком своенравии сделать?

Конкретных идей нет. «Подумать» – это не предложение. Поступаем так: машины под загрузку – и, как только Николай одумается, в воздух.

Наутро, которое должно было умудрить вечер, телеграмма-молния советского посла С. А. Виноградова: у Насера инфаркт, исход неясен, президент ограничен в исполнении своих обязанностей. Груженные оружием транспортные самолеты уже по распоряжению Брежнева задерживаются на земле, а в воздух впору поднимать машины с медиками для помощи самому Насеру.

Часов в одиннадцать того же дня генеральный секретарь вызывает на Старую площадь А. А. Громыко с советниками. Министр берет с собой А. А. Солдатова и меня. Кроме дипломатов приглашены маршалы А. А. Гречко и М. В. Захаров.

– Не хватало еще, чтобы в Каире разгорелась борьба за власть. Придет на место Насера такое ничтожество, как Амер, Египет потеряет все, чего добился после революции и отражения тройственной агрессии. И мы, великие стратеги. Выбей одного человека – и все насмарку. Почему американцы не останавливают израильтян? Израиль ведет и американскую войну против нас. В Суэцком канале нас уже макнули физиономией. Скоро черед дойдет до Нила. Столько советников держим в египетской армии. Ни черта они не насоветовали, как не научили египтян наши училища. Вместо того чтобы принять бой, твои, Матвей, ученики, завидев израильский самолет, катапультируются.

К чопорному Гречко генеральный обращался на «вы» и шерстил его, используя как прокладку начальника Генштаба

Захарова.

– Матвей, среди советских технических специалистов, помогающих египтянам обслуживать наши самолеты, есть бывшие летчики?

– Это надо проверить.

– А сколько их, технарей, всего прикомандировано к египетским ВВС?

– Затрудняюсь на память сказать.

– Матвей, так-то тебя перетак, не выводи меня из себя. Для чего я вас к себе зову? Генштаб обязан знать обстановку назубок. Иначе как определишь, что мы в состоянии или не в состоянии делать. В Израиле полно американских добровольцев, летчики также есть. Мы даже их имена знаем. А что у самих за душой? Иди выясни, чтобы не спрашивать Вашингтон.

Захаров возвращается через несколько минут с сообщением:

– Число техников (если не ошибаюсь) – двадцать шесть. Никто из них навыками вождения самолетов поставляемых Египту типов не обладает.

Ни реального, ни символического нашего военного присутствия в Египте как заслона продвижению израильтян не вырисовывалось. Поставками оружия и оснащения советская помощь исчерпывалась. Советники не в счет. Когда армия Египта разваливалась, никем не ведомая, советники не помогали, а действовали на нервы.

Нашелся человек, который проаттестовал в подходящих выражениях ситуацию, – Н. Г. Егорычев. До того руководитель 9-го Главного управления КГБ (охрана генерального секретаря и политического руководства в целом) возглавлял московскую городскую парторганизацию. С трибуны пленума он заявил (по смыслу): бахвалимся мы нашим военным могуществом, а надо помочь жертве вооруженной агрессии – нас нет.

Егорычеву, добровольцу 1941 г., определили после этого быть послом в Датском королевстве, чтобы к легендарным гамлетовским местам поближе искал более мудрый ответ на извечный вопрос: быть или не быть?

Потом чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Меня включили в состав делегации А. Н. Косыгина. По пути в Нью-Йорк промежуточная посадка в Париже. Косыгин и Громыко наносят краткий визит президенту де Голлю. Нас с Л. И. Менделевичем оставляют на взлетно-посадочной полосе дописывать будущую речь премьера. В первое посещение прекрасной Франции в 1965 г. я видел в основном Громыко. Во второй заезд с Косыгиным соприкоснулся лишь с ее жандармами, потребовавшими предъявить паспорта: ну кто, кроме

злоумышленников, прилетев в Париж, застрянет на аэродроме?

Специальная сессия 1967 г. не украсит истории ООН. Соединенные Штаты вывернули многим делегациям не только руки. Представьте себе, арабы нанесли удар по ключевым пунктам Израиля и захватили часть его территории. Посол Гольдберг зажег бы своим красноречием море, убеждая, что зачинщик войны и виновник гибели десятков тысяч человек должен быть примерно наказан. Чтобы другим неповадно было. Но шестидневная война начата друзьями и закончилась их триумфом. Это меняет дело. Разделенное с другом горе – полгоря, разделенный триумф – двойной триумф.

Вы понимаете, что я хочу сказать. Израиль торжествовал над арабами, США – над Советским Союзом. Прокрутите видеопленку с записью голосования по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи перед закрытием специальной сессии. Сколько удовольствия на лицах иных государственных мужей, твердо уверовавших: не тот прав, кто прав, а кто силен. Между тем лучшие качества человека, народа, государства проявляются не в минуты упоения победой, но слабости. Как своей, так и чужой.

Попытки удержать Организацию хотя бы оптически на позициях арбитра успеха не имели. Они лишь посеяли неприязнь к тому же К. Вальдхайму, тогдашнему Генеральному секретарю ООН, не оставшуюся для него без последствий.

А. Н. Косыгин встречался с президентом Л. Джонсоном и приложил максимум усилий для того, чтобы Генеральная Ассамблея не погрязла в полемике, а стала отправной точкой к долговременному политическому урегулированию на Ближнем Востоке. Напрасные хлопоты.

После отъезда председателя Совета министров домой советскую делегацию возглавил А. А. Громыко. Он регулярно контактировал с арабскими представителями, используя каждый разговор для разъяснения элементарной истины – если не будет признания Израиля и его права на безопасное национальное существование, не видать мира в регионе. Египетский делегат давал понять, что Насер отдает себе в этом отчет, но если он выскажется за признание израильского государства, то на следующий же день будет свергнут или убит каким-нибудь фундаменталистом. Время не созрело.

Громыко получил полномочия решать по ситуации, как голосовать по проамериканскому проекту резолюции Ассамблеи, внесенному послом Соломоном из Тринидад и Тобаго и группой других делегаций. Не исключалась и ее поддержка. Вышло, однако, следующим образом.

Нас трое – А. А. Громыко, слева от него А. А. Солдатов,

справа я. Председательствующий объявляет о начале голосования. Кто за? Министр, он уступил нажимать кнопки пульта голосования своему заместителю, качает головой. Кто против? Солдатов сразу нажимает кнопку. Громыко чуть слышно говорит:

– Зачем же так? Вы поторопились. Можно было бы и воздержаться.

Вот еще одна маленькая тайна большой дипломатии. У нее было отдаленное эхо, когда осенью Совет Безопасности ООН занимался текстом резолюции № 238. Министр вызвал меня к себе.

– Ознакомьтесь с проектом резолюции Совета Безопасности по Ближнему Востоку. Через несколько часов голосование, наш постпред ждет указаний.

– С моей точки зрения, текст страдает нечеткостью формулировок. Это может быть использовано в дальнейшем, чтобы уклоняться от урегулирования.

– Согласен, что проект мог бы быть и менее расплывчатым. Но все же думаю так: если он приемлем для Египта, а из Каира докладывают, будто Насер не против, нам возражать не резон.

Дипломатия тем прежде всего отличается от науки, что ищет не истину, а некое усредненное приближение к ней (можно и отдаление от нее). Оппоненты за, партнеры не против. Стало быть, сгодится принципиальности в нашу базарную эпоху…

Мыкаемся мы с этой резолюцией поныне. Должен Израиль вернуть «все оккупированные (им) территории» или «оккупированные территории». Во французском и русском альтернатах сказано «все», а в англо-американском определенного артикля нет. Можно возвращать по выбору, исходя из понятия «безопасные границы». Само собой разумеется, резолюцию читают политики, а остроту зрения политиков определяет политика.

Ладно. О Ближнем Востоке воспоминаний наберется, если во все закоулки памяти влезать, на обширную главу или целую повесть. Пора сменить тему.

Весна 1968 г. В Москве, не только в Праге яркое солнце. По разным приметам погода не готовит подвохов, и можно приглашать послов и старших дипломатов посольств Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии и Новой Зеландии за город на Масленицу в живописное Мещерино. Долго притирали сроки, наконец сошлись, к общему удовлетворению.

После прогулки по парку и снежных затей, слегка уравнявших возраста и ранги, дипломаты занимают места за

столами. Протокольные условности сведены к минимуму: места обозначены лишь для послов и их супруг. Остальным гостям подарена возможность выбирать соседей по симпатиям и интересам.

Как и заведено на Масленицу, трапеза открывается блинами. Мне, в роли хозяина, их предложат последнему. Но блинов я не вкусил – подходит дежурный и извещает: срочно просят к телефону из приемной Громыко.

Беру трубку – «Соединяем вас с министром».

– Я в курсе, что вы проводите протокольное мероприятие для послов. Обстоятельства, однако, требуют вашего незамедлительного прибытия на совещание в ЦК. В четырнадцать ноль-ноль я жду вас в зале секретариата.

– О чем хотя бы речь?

– Узнаете по приезде.

– Что можно сообщить гостям? У них, естественно, внезапный мой отъезд вызовет недоумение.

– Сошлитесь на «неотложное дело» или что-нибудь в этом роде.

Часы показывают 13.25.

– При всем желании я не смогу добраться из Мещерино до центра Москвы к назначенному времени. Гололед, дорога разбита, полно грузовиков.

– А вы постарайтесь. Дело важное.

Прошу дежурного найти водителя машины 22–17 и предупредить: едем в город. Сам прохожу к гостям и спокойным голосом говорю:

– Я вынужден вас покинуть ввиду «неотложных дел», о которых меня только что известил министр. Не придавайте этому незапланированному эпизоду значения, тем более что дела, вырывающие меня из вашего общества, никак не связаны с отношениями СССР ни с одной из представленных здесь стран. Прошу моих вице доказать, что в отсутствие заведующего их таланты раскрываются особенно ярко.

Дежурный докладывает: машина у подъезда, и несолоно хлебавши я отправляюсь на свидание с Громыко и еще с кем-то, мне пока неведомым. Водитель, проявляя чудеса изворотливости, глотает километры. Постовые милиционеры пропускают нас на красный свет, освобождают резервную полосу, где она имеется. С опозданием в пять минут мы на Старой площади, только тут с «лихача» потребовали документы. Объясняю капитану – срочный вызов в секретариат ЦК.

– Вас, надо понимать, вызывают, а с водителем мы сами разберемся.

Вхожу в зал секретариата. Министр показывает на часы: негоже, мол, заставлять ждать. Кроме него за столом Ю. В. Андропов, К. В. Русаков, политсоветник председателя КГБ В. Р. Ситников и руководитель группы консультантов отдела ЦК Г. Х. Шахназаров. Все мои вычисления, которым я предавался по дороге – Ближний Восток и т. п., – отпадают. Что-то стряслось на социалистическом направлении нашей политики. Неужто Китай или Куба?

Ю. В. Андропов как кандидат в члены политбюро за старшего называет предмет предстоящего совещания:

– Процессы в Чехословакии вызывают все большую озабоченность. Смена личностей во главе партии и государства оборачивается изменением политического курса. Реальна угроза ниспровержения существующего в стране строя. Советское руководство пока воздерживалось брать чью-либо сторону, оставляя друзьям самим разбираться в своем доме. Но дольше ограничиваться ролью наблюдателя нельзя. Союзники по Варшавскому договору в свою очередь требуют – надо определяться.

Видимо, продолжал Андропов, не избежать объяснений начистоту с товарищами Дубчеком, Черником и другими новыми лидерами. Надо дать им понять и почувствовать, что на карту ставятся интересы всего социалистического содружества и обороноспособность Варшавского договора. А. Дубчек сам должен проявить заботу о том, чтобы развитие не вышло из-под контроля и не потребовало принятия помимо политических других мер.

Присутствующим на этом совещании поручено подготовить соображения и материалы к встрече партийно-правительственных делегаций государств – участников Варшавского договора с руководством ЧССР. Эта встреча должна состояться через пару недель в Дрездене, заключил Андропов.

Слово берет Русаков. Он знакомит с подробностями внутренних событий в Чехословакии. Его оценки подкрепляются ссылками на разговоры с Дубчеком и оппонентами нового первого. Суть высказываний Русакова: товарищи Дубчек и Черник ведут себя неискренне, обещая одно и делая противоположное, или они уже не владеют положением.

По моему впечатлению, сообщения Андропова и Русакова были во многом новостью также для Громыко. И как результат, довольно стандартный для министра в сходных ситуациях, – его рассуждения характеризовались бесконтурностью по сути и жесткостью по тону.

Поручение нам, исполнителям, гласило: проработать концепцию встречи в Дрездене, подготовить проект указаний

совпослам в столицах Организации Варшавского договора, в соответствии с которыми должны были быть проведены беседы с генеральными секретарями, а также тезисы к выступлению Л. И. Брежнева. На вопрос, можно ли будет прочитать первичную информацию, было сказано коротко и внятно:

– То, что вам нужно знать, вы получите.

Если не просветимся по Чехословакии, то узнаем по меньшей мере, что нам положено знать. Уже недурно.

Процессы в ЧССР вписывались в общий контекст противостояния Запад – Восток. Упор делался на то, что НАТО во главе с США не отреклось от планов отбрасывания коммунизма и заявки на гегемонию. Показатели – война во Вьетнаме, интервенционистская политика Вашингтона в Центральной и Латинской Америке, непризнание ГДР. Дезинтеграция на этом фоне социалистического сообщества, подрыв его способности противостоять давлению извне поощрили бы реакционные, агрессивные силы и явились бы ударом по антивоенным, демократическим движениям, выступающим за нормализацию обстановки в Европе на основе добрососедства.

Таковы были пафос и лексика готовившихся нами проектов. Призывы к солидарности, к чувству товарищества – и этот момент присутствовал, но пока без угроз вмешательства или применения силы.

Насколько я мог судить по комментариям коллег, сопровождавших советскую делегацию, наше руководство осталось недовольным разговорами с чехословаками в Дрездене. За уверениями в лояльности и дружбе – стремление выиграть время. Выводы отсутствовали, но шаг к ним сделан – предлагавшийся экспертами политический метод решения не удовлетворял, а возможно, и раздражал.

Как бы то ни было, я выпал из обоймы и до конца июля ни в какие комиссии не вводился. Не нравилась, предполагаю, также моя привычка задавать «лишние вопросы». Даже если ответа не находилось, они, без сомнения, нарушали атмосферу. Это не значит, что я так и остался за кадром.

Днями напропалую вместе с А. М. Александровым и А. И. Блатовым мы корпели неподалеку от служебного кабинета Л. И. Брежнева, выуживая в потоке бумаг всяческие нюансы, необходимые, в частности, при написании памяток генеральному. Он почти каждодневно вел телефонные диалоги с Варшавой, Берлином, Будапештом, Софией.

То, о чем вы прочитаете сейчас, случилось где-то во второй декаде июля. Приняв порцию бутербродов, заменявших нам обеды, мы вышли размяться в коридор, примыкавший к приемной

Брежнева. Александров заметил, что от прогнозов по Чехословакии он воздержится, но насчет разыгрывающегося у него гастрита сомнений нет. Открылась дверь, и дежурный секретарь, приложив палец к губам, произносит: у Леонида Ильича гости, он просил, чтобы в коридоре никого не было.

Часа полтора спустя Александров отправляется на разведку и приносит весть, что генеральный обедал с А. Дубчеком и О. Черником, которые специально прилетели для беседы один на один с нашим лидером. Из этой встречи Брежнев вынес впечатление, что в Праге дело близится к развязке. Черник, ведший в разговоре главную партию с чехословацкой стороны, раскрыл план кадровых обновлений и перестановок, которые были равнозначны сквозной чистке партийного и государственного руководства.

На следующий день Брежнев заглянул накоротке к нам в комнату.

– Что, отшельники, все формулировки точите, – обронил он вроде бы мимоходом. – Боюсь, словами не обойдется.

Дело принимало новый оборот. Венгерский вариант сопряжен с громадным риском, надежды на разрядку и прекращение гонки вооружений придется похоронить, начали было аргументировать Блатов и я.

– Вам не все известно, – отрезал генеральный и, явно не желая продолжать дискуссию, удалился.

В начале августа вызывает меня Громыко.

– Свяжитесь с Лаптевым. Это помощник Андропова. Не знакомы? Вот и познакомитесь.

Впервые оказываюсь на председательском этаже КГБ – свидетеле несчетных трагедий. Комната П. П. Лаптева по площади немала, но, уставленная шкафами, стеллажами, столами, стульями, на которых штабелями и россыпью лежали книги, газеты, досье, несброшюрованные бумаги, она напоминала мелкооптовый склад.

Пал Палыч, как его все звали, с черными кругами под глазами от нескончаемых бдений, настроен на «трудный август». Он вручает мне несколько справок и проектов с просьбой ознакомиться, не покидая его кабинета.

Два-три часа каждый из нас занят своим делом. Несколько раз по прямому телефону Лаптев общался с председателем КГБ. Из птичьего наречия, на котором велись беседы, трудно было расшифровать даже предмет разговора. Положив трубку на рычаг после последнего по очереди звонка Андропова, Лаптев говорит – нас торопят, если я в основном закончил чтение, то, пожалуйста, мнение о проектах межведомственных групп.

Речь шла об обращениях к чехословакам, а также руководителям ряда иностранных государств и о сообщении, предназначенном нашей общественности.

Задаю Лаптеву прямой вопрос:

– Есть решение о военной операции?

– Нет, такого решения еще не принималось. Но никакой из возможных вариантов не исключается. Отсюда заблаговременное составление материалов также на случай конфликтного исхода.

Дополнительный вопрос:

– Политические, экономические и прочие несиловые рычаги воздействия исчерпали себя?

Лаптев со свойственной ему осторожностью замечает:

– Все нити сходятся у Брежнева. Никто, кроме него, не в состоянии предсказать развитие обстановки и на ближайшие двадцать четыре часа.

Свое нелестное суждение относительно проектов я не счел нужным лакировать. Либо от авторов скрывали задачу, либо они не приняли ее. Подготовленные обращения не убедят даже друзей, верящих в справедливость социалистической идеи и в миролюбие Советского Союза. Что же тогда говорить о недругах и сомневающихся?

Не ведаю, как докладывал Лаптев мою точку зрения, но до 19 августа меня снова оставили в покое. Зато потом впрягли так, что приходилось удивляться собственной выносливости.

Между тем я принял дела в 3-м Европейском отделе МИДа. У меня вдосталь вопросов: отчего наша сторона не по-хозяйски обошлась с интересными идеями и зондажами «большой» боннской коалиции? Почему фактически полностью свернут флаг единства и отодвинут на задворки мирный договор? Надо разбираться и разбираться, но трудно отделаться от впечатления, что о перспективах мы думали не в первую и даже не во вторую очередь. Или собрались снимать урожай обязательно после заморозков?

Звонок министра по прямому телефону – зайдите. Очень хорошо – сразу и выложу свои впечатления. Он, кстати, доверяет свежему взгляду. Но мне не дано было даже рта раскрыть. Без вводных фраз Громыко предлагает, чтобы я считал себя мобилизованным со следующего дня. Моя рабочая комната – «предбанник» министра, где он принимает иностранцев. Ночлег, если выпадет время на сон, в собственном служебном кабинете. Пока же, для вхождения в курс, надлежит ознакомиться со всеми телеграммами за август и спецдонесениями, которые адресованы Громыко лично и о существовании которых никто не должен знать.

– Многообещающее начало, – попытался сыронизировать я.

– Не до шуток, – отрезал министр. – Условимся вот еще о чем. Я ночую в городе. Если будут поступать данные, которые потребуют реакции или непременной моей осведомленности, сразу звоните.

– Для ориентировки я должен знать, принято или не принято решение о применении силы или угрозы применения силы против ЧССР?

– Во-первых, не против Чехословакии, а группы политиканов, сбивающих страну с курса сотрудничества с нами. Во-вторых, никаких окончательных решений еще не выносилось. Это должно случиться, строго для вашего сведения, в ближайшие день-два.

– Есть ли ясность, как откликнется внешний мир на силовой вариант развития? Судя по открытым публикациям, рассудительной реакции не предвидится.

– Оваций никто не ожидает. Но сдавать из-за этого свои позиции мы не собираемся. На остальные вопросы вы найдете ответ, ознакомившись со спецматериалами.

Теперь надо восстановить течение рокового заседания в зале секретариата ЦК вечером 20 августа. Кто и что там говорил, не знаю: советников и экспертов туда не допускали. Параллельный обмен мнениями в приемной наверняка отличался содержанием от совершавшегося рядом – за двойными дверями. В. В. Загладин, кто-то из отдела по связям с соцстранами, от МИДа В. С. Семенов. Как позже я слышал, он шел за специалиста по оккупационной практике. Мои с Загладиным оценки издержек применения силы совпадали в главном – годы усилий по налаживанию более конструктивных отношений между Востоком и Западом пойдут прахом.

Из зала заседаний выходит Громыко, передает мне материал примерно на десяти листах и скороговоркой произносит:

– Это – сообщение о вводе войск в Чехословакию. Внимательно вчитайтесь, чтобы не проскочили фактические неточности. Через час текст должен быть в ТАСС.

Значит, все-таки совершилось. Жребий брошен.

Читаю. Что за несуразица?! Сенатор такой-то заявил… «Вашингтон пост» написала… агентство Франс Пресс сообщает… чехословацкий эмигрант, «известный своими реакционными наклонностями»… Сплошная публицистика. В конце – союзные государства, выполняя свой долг, решили прийти на помощь «здоровым силам».

«Нарочно не придумаешь» – была такая рубрика в сатирическом журнале «Крокодил». Хуже того, что показывал мне в августе П. П. Лаптев.

Беру чистый лист. Набрасываю несколько фраз. Не успеваю закончить, за спиной возникает Громыко:

– Вы ознакомились?

– Проект ни на что не годен, если не выставлять себя на посмешище.

– Это не проект, а решение политбюро.

– Тем паче.

– Что вы предлагаете? – спрашивает Громыко неуверенно.

– Имеется, судя по тексту, какое-то обращение руководителей ЧССР за поддержкой. Оно, видимо, и должно было бы стать предлогом и обоснованием. Но никак не спекуляции прессы или рассуждения парламентариев. США вторгались в Доминиканскую Республику по приглашению безымянного капитана тамошней полиции. Это – коль требуются прецеденты. Утвержденный текст можно отправить нашему постпреду в ООН на случай баталий в Совете Безопасности.

– Давайте ваш набросок. Попробую доложить. Помогите разобраться в почерке.

Дописываю окончания нескольких слов, раскрываю аббревиатуры, прибавляю заключительную фразу и передаю Громыко. Все еще недоуменный, он скрывается за дверью, которую перед ним распахнул сотрудник охраны. А вскоре возвращается и с привычной строгой миной извещает:

– Ваше предложение принято. И вот что еще. Пишите-ка обращение к президенту Свободе. Нет-нет, – поправляется он, – тезисы обращения Свободы к своим согражданам. Учтите характер президента и его соображения, поступившие сегодня из Праги.

Из руководящих деятелей Чехословакии именно Л. Свобода импонировал мне своей позицией. Он не вихлял, не делал вид, что в ЧССР ничего не происходит, но не был готов искать извинения также для Советского Союза. Центральное соображение Л. Свободы – «ни при каких условиях не вводить в дело войска; что угодно, только не войска; интервенция перечеркнет симпатии народа к России». Его доводы и оценки перекликались с моими. Они были продиктованы заботой о наследии и о будущем.

Едва преодолел всегда самые сложные для меня начальные абзацы, вижу приближающегося министра:

– Необходимость в тезисах для Свободы пока отпала. Отправляйтесь в МИД и ждите меня в приемной.

Всем своим видом Громыко дает понять, что никаких деталей обсуждать не может и не хочет.

Ко времени возвращения Громыко в министерство – было

около двадцати трех часов – просмотрел последние телеграммы и ленты телетайпов, внес в блокнот для доклада наиболее важные штрихи из сообщений КГБ. А. М. Сахаровский, начальник 1-го Главного управления КГБ, ежечасно информирует меня о развитии обстановки в Праге. Он назначен Андроповым на связь с МИДом. От МИДа поддержание контактов с другими ведомствами возложено на меня.

Министр прислушивался больше к чему-то в себе, чем к моему докладу.

– Это все? Ну да, конечно. Вы, очевидно, уловили, ночью начнется военная часть акции.

– В какое время?

Громыко блюдет условности. Смотрит на часы и, приглушая зачем-то голос, произносит:

– Буквально через пару часов.

Не похоже, чтобы Громыко был в восторге. Пропадает и его труд. Последние десять лет уже на посту министра, сколько от него зависело и как умел, он торил тропки от конфронтации к взаимопониманию.

– Условливаемся так, – продолжает Громыко. – Вы за ответственного дежурного по министерству и принимаете все звонки и депеши, предназначенные мне. Я просмотрю кое-какие материалы и отключусь. Ночую здесь, в своей комнате отдыха. Появятся какие-то непредвиденные моменты – будите.

От Сахаровского я узнал, что около полуночи в Праге состоится ключевая встреча руководителей Чехословакии. На ней должен решиться голосованием вопрос, обращаться ли к странам Организации Варшавского договора за помощью для отражения «угрозы контрреволюции». Число сторонников обращения почти равно числу противников. При таком раскладе всякое возможно.

Сеанс связи с Сахаровским в 24.00 еще 20 августа – все развивается, как ожидалось. Он выйдет на меня снова в 1.00 21 августа.

На что бы приспособить шестьдесят тягучих минут? Запросил из 10-го отдела (шифрсвязь) копии указаний совпослам. Тексты с оттенками, а вдохновения, или, выражаясь иначе, фантазии не чувствуется, за исключением, понятно, рефрена – Чехословакия стала объектом происков сил политического и социального реванша, она взывает о поддержке, союзники спешат на помощь. Не захват, не оккупация, не свержение режима, а везде «помощь» – красной строкой.

Мне интересна в этот момент география циркуляра и предписанный час исполнения. Послы и шифровальщики вводились в курс графика акции прежде, чем «ответственный

дежурный» по МИДу. Отключиться, что ли, и мне, чтя неистребимую и обожаемую игру в секретики?

А. М. Сахаровский молчит, хотя стрелки часов перешагнули четверть второго. Набираю его номер. Он встревожено сообщает – возникли осложнения. Как только что донесли из Праги, один из членов руководства сменил фронт. У противников обращения теперь на один голос больше. Намеченный проект решения голосоваться не будет.

Акция стопорится? Сахаровский в ответ:

– Операции фактически дан ход. Ввиду особенностей развертывания (установлен режим радиомолчания, приказы фельдсвязью и через порученцев) войска остановить невозможно. Принимаются энергичные усилия к тому, чтобы не допустить столкновений с личным составом Вооруженных сил ЧССР.

Уточняю, какие из союзных стран непосредственно участвуют своими боевыми соединениями и частями в операции?

А. М. Сахаровский реагирует так:

– В принципе это не моя компетенция. Военная сторона операции за Генштабом. Насколько я в курсе происходящего, Румыния держится особняком. По соображениям другого порядка, не задействованы боевые подразделения армии ГДР. Я не уверен, что в данный момент весомо представлена армия Болгарии.

– Можно ли считать, – перепроверяю для доклада министру, – что первоначальный сценарий отпал?

– Если не обманываться, то надо исходить из самого неблагоприятного допущения. Весьма осложняется исполнение плана операции в самой Чехословакии. О. Черник, А. Дубчек, не говоря о И. Смрковском, не пойдут на сотрудничество.

Отправляюсь к Громыко. Судя по всему, он принял изрядную дозу снотворного и перенесся из безумного в безмятежный мир. Слегка покашливаю. Никакого эффекта. Произношу: «Андрей Андреевич». Он открывает глаза, просит прибавить света, спрашивает: который час? Услышав, что скоро два часа ночи, с тревогой вопрошает:

– Стряслось что-нибудь?

– Да, стряслось.

Излагаю все только что услышанное от Сахаровского и его прогноз. Громыко уже стряхнул сон. Думает о чем-то невеселом.

– Гладко было на бумаге… Известил ли Комитет (госбезопасности) высшее руководство?

– Этого аспекта Сахаровский не касался. Надо полагать, известил.

Министр интересуется, не напрашиваются ли поправки в указания послам или в текст сообщения об операции? И сам же

отвечает: нет, ни времени не осталось, ни необходимости не возникает, благо особой конкретики там нет.

– Продолжайте нести вахту. Я же переговорю кое с кем. Держите меня в курсе дел. Впереди у нас веселый денечек.

– Боюсь, сегодняшним не обойдется.

– Не каркайте.

Звонок Сахаровского:

– Войска вступили на территорию Чехословакии. На пражском аэродроме высаживается десант, берутся под контроль важнейшие объекты столицы. С министром обороны генералом Дзуром удалось договориться – солдаты остаются в казармах, организованного сопротивления вооруженные силы ЧССР оказывать не будут.

Прошу сотрудников приемной министра включить приемники и настроить их соответственно на волны Би-би-си, «Свободной Европы» и «Немецкой волны», а также без задержек снимать и давать мне ленты информационных агентств. С Гостелерадио и ТАСС условливаюсь, что они будут отслеживать передачи средств массовой информации самой Чехословакии.

Около четырех утра по московскому времени каждый, кто читал в это время сообщения Чехословацкого телеграфного агентства (ЧТК), мог узнать – иностранные войска с разных направлений вторглись в Чехословакию, советские части овладели пражским аэродромом. Несколькими минутами позже в эфир вышли голоса дикторов Би-би-си, известившие примерно о том же. Затем поток вызывавших дрожь вестей захлестнул все частоты.

Иду к Громыко. Он лежит на диване. Лицо усталое. В глазах нескрываемое беспокойство.

– Как там?

Обрисовываю картину. Если судить по ЧТК, которое функционирует в прежнем режиме, не все ключевые пункты даже в Праге под контролем. Запасной вариант идет, по-видимому, с накладками.

Министра удивило и, мне показалось, чуть ободрило, что Запад тотчас не обрушил на нас массированных обвинений. Догадок накануне строилось много, и все же ввод войск застиг НАТО врасплох. Хоть тут обещания сбываются, замечает Громыко. Что-то прояснят сообщения советских послов по итогам бесед с руководителями стран пребывания.

– Особо полезного занятия в ближайшие часы у вас не будет. Попробуйте систематизировать первые отклики и комментарии. К утреннему заседанию политбюро, а оно наверняка состоится, мне бы это пригодилось, – закончил министр сеанс связи со мной.

В Москве 4.30 утра. Время петухам опробовать свои голоса.

Телеграммы послов из европейских, азиатских, африканских столиц. Не вспомню, уходило ли указание в Пекин и, если посылалось, каков был ответ. В донесениях нюансы читались. Одобрения, право, никто не предполагал.

Один государственный деятель, поднятый послом из постели, сначала возмущался, почему его будят.

– Чехословакия – часть Советского Союза. Меня совсем не интересует, что вы у себя дома делаете.

Советский посол доказывает, что ЧССР – наш союзник, но самостоятельное государство.

– Тогда я с вами не согласен. В этом случае ваши действия неправильны.

Другой иностранный руководитель характеризует случившееся как «дорожный инцидент».

– Чем быстрее вы с ним разберетесь, тем меньше будут издержки для всех.

Третьи не отрицали значения сохранения стратегического статус-кво в военно-политическом противостоянии, но находили акцию СССР чрезмерно прямолинейной. Почти все предсказывали длительное помрачнение международных отношений.

Заседание политбюро в кабинете Л. И. Брежнева на Старой площади. Мое рабочее место на это время в его приемной за столом с батареей телефонов. Интерес концентрируется на аппарате ВЧ-связи. Двенадцать часов намеренного молчания или светского лепетания кончились. К утру военные связисты развернули на территории посольства СССР в Праге свои ретрансляторы, и можно было разговаривать, минуя чехословацкие проводные линии, считавшиеся ненадежными.

Задача, определенная мне, – передавать Громыко по ходу заседания свежую и по возможности полную информацию о происходившем в столице ЧССР. Это нужно для подгонки суждений и решений к реальностям.

Если заседание открылось где-нибудь в десять часов, то примерно в 11.30 дежурный московского узла правительственной связи известил меня: ВЧ-контакт с Прагой оборвался. Перед этим посольство сообщало, что у ограды нашего представительства собирается возбужденная толпа преимущественно молодых людей; отмечаются попытки сломать ворота, проникнуть на территорию совпосольства.

Пишу министру короткую записку. Огласив ее присутствовавшим, он тут же выходит в приемную и требовательно говорит:

– Свяжитесь, с кем найдете нужным, но самым срочным

образом установите, что творится в посольстве и вокруг него. Если обстановка чрезвычайная, какой помощи ждет посол.

Генштаб сведениями не располагает. КГБ сам привязан к ВЧ. Используя обходные пути, он пытается прояснить ситуацию. Вскоре, к всеобщему облегчению, оператор правительственного узла связи извещает, что можно говорить с Прагой. Посла на месте нет. Старший советник сообщает, что был выключен или перерублен кабель электропитания посольства. Чехи отказались сотрудничать в устранении неисправности. Имелись трудности с запуском собственного резервного дизель-генератора. У военных запрошена более мощная и надежная передвижная энергоустановка.

Полчаса спустя из кабинета Брежнева выходит К. Т. Мазуров. Обращаясь ко мне по-дружески, Мазуров говорит:

– Валентин, ты что всех пугаешь? – И уже серьезно продолжал: – Зовусь я ныне «товарищ Трофимов» и отправляюсь в Прагу. Хочу пригласить тебя лететь вместе.

– Спасибо за доверие. Если министр не возражает, готов сняться хоть сейчас.

– С твоим Андреем не договоришься. Но за готовность разделить тяготы благодарю.

По возвращении из Чехословакии по декабрь 1968 г. включительно К. Т. Мазуров регулярно обращался ко мне с различными просьбами. До конца его жизни у нас сохранились добрые, взаимоуважительные отношения.

Много нервотрепки стоила подготовка к прилету в Москву президента Л. Свободы и всего политического руководства Чехословакии. Обычно этим визитом маркируют поражение Пражской весны. Данная констатация картины не исчерпывает. Не только А. Дубчека и О. Черника везли на поклон грубой державной мощи, сама эта мощь была вынуждена пятиться, столкнувшись с силой духа.

Что осталось от первоначальной затеи? А. Дубчек и О. Черник – воплощение «ревизионизма» и «отступничества» – остались на своих постах. Их сторонники составляют большинство во всех звеньях руководства, не говоря об общественном мнении. Как сложится дальше, никто не знает. И надо договариваться с тем, кто есть.

Допустим, что А. Дубчек, О. Черник, Г. Гусак и другие повели бы себя как Фр. Кригель. Что случилось бы тогда? Вы не задавались таким вопросом? Мы, эксперты поневоле, спрашивали себя и советовали Л. И. Брежневу избежать фронтального лобового столкновения. Никто не выиграет. Мы же проиграем больше всех.

Л. Свободу встречают 23 августа во Внуково-2 с полным церемониалом. При данных обстоятельствах бестактно. Советские войска усмиряют Чехословакию, а их парадные наряды чествуют президента той же страны. М. Клусак, мой давний знакомец и зять Л. Свободы, не преминул все это выговорить во впечатляющих выражениях, как только мы с ним увиделись в Кремле. Что мог я возразить? Потом будем разбираться, как дошли до жизни такой, сейчас же надо предотвращать сплошной обвал.

По запотевшим, как окна в бане, лицам советских и чехословацких дискутантов, время от времени проскакивающих мимо нас в приемной, видно, что в зале заседаний политбюро в Кремле жарко. Объявляется перерыв.

Он очень нужен не столько для того, чтобы проветрить помещение, сколько для переключения регистров в настроениях. Самое неприятное друг другу сказано. Оно о прошлом и частично о настоящем. Теперь надо искать себя в будущем.

В перерыве официальный диалог делегаций распадается на десяток мини-дискуссий. Со стороны впечатление – оркестранты настраивают или опробывают свои инструменты. Но вот из шумной массы отделяются двое и начинают, о чем-то энергично споря, челночно двигаться вдоль коридора. Это Брежнев и Дубчек. Затем наш генеральный совершает подобную же прогулку с О. Черником.

Второй акт сидения завершается согласием чехословаков на совместный протокол. Имелся ли у гостей, если слово «гость» уместно, выбор? Высказывание Б. Н. Пономарева: «Если вы не подпишете сегодня, то сделаете это через неделю. Если не через эту неделю, то следующую. Если не через следующую, то через месяц» – что-то да значило. Лишь Фр. Кригель был против и, несмотря на уговоры и угрозы, остался против. Думаю, однако, что Дубчек с единомышленниками воспользовались тактикой Швейка. Ответственные перед десятками и сотнями тысяч людей, которые поверили в Пражскую весну, они, упреждая большее зло, заботились об организованном отступлении.

Поздно вечером 23 августа в зале секретариата ЦК рабочее совещание. А. А. Громыко, Б. Н. Пономарев и К. В. Русаков суммируют итоги переговоров в Кремле. Дискуссия прерывается вздохом-мольбой Пономарева:

– Нет больше никакой человеческой возможности. Оставим молодых подготовить к утру проекты документов. Нам уже пора на покой, если хотим быть завтра на ногах.

«Молодые» – это опять мы с В. В. Загладиным. Более юному моему коллеге выпало писать коммюнике, мне – текст документа

о войсках. Параметры заданы. Допускаются некоторые вольности в семантике. Пошла моя четвертая ночь бдения.

В 8.00 проект у министра. Затем он попадает к экспертам по договорам из МИДа и Минобороны. На каждой заставе что-то добавляется или вычеркивается. Блестяще в военно-техническом смысле проведенная операция побуждала кое-кого выпячивать грудь. Твердость теснила осмотрительность, а про дальновидность забывали – для собственного удобства.

Можно долго рассказывать о реакции на август 1968 г. в США, Англии, Франции, ФРГ, в малых европейских странах. В проводившихся на советской стороне анализах различались внешние жесты и реальные действия. Последние накладывались на шаги в сравнимых ситуациях в прошлом и… на наши скептические прогнозы. Маловерами и социальными пессимистами нас, экспертов, в глаза не называли, и на том будьте довольны.

Все в поднебесье относительно. В политике, как и на войне, судят по конечному результату. Что вроде бы успешно свершилось, апострофируется в новую реальность. Намеренно или по инерции оставляются за бортом еще вчера имевшиеся варианты развития, совершается резекция споров об альтернативах.

Наградил ли бы успех Пражской весны социализм вторым дыханием? Никто убедительно не докажет ни «да», ни «нет». Но доказуемо и несомненно другое – поражение Пражской весны остановило десталинизацию в Советском Союзе, во всем сообществе, именовавшем себя социалистическим, и продлило на два десятилетия существование сталинского по устройству, по разрыву слова и дела, человека и власти режима. М. С. Горбачев признал это отчасти, но лишь в конце 1989 г.

Подвижность в представлениях о будущем, гибкость и конструктивность в восприятии нового – критерии потенциала национальных сообществ. В любом случае они гораздо полнее и точнее отражают сокровенную суть, чем парадный показ военной техники, способной, как я когда-то вписал в один документ, вздыбить землю и выплеснуть из берегов океаны. Пороки стародавнего силового мышления невозможно компенсировать никакими сверхновейшими технологиями.

В государстве с прочными тылами, сбалансированными в пределах системы социальными отношениями, внешней политике принадлежит важная, но все же не гипертрофированная роль. Руководители такого государства, любуясь своим профилем и фасом, смотрятся обычно в домашние зеркала, а не охотятся за зарубежными.

Внутренняя стабильность также лучшее зелье против завистничества и страсти к дестабилизации других. Поиск врагов внешних быстрее всего ведет к обнаружению врагов внутренних. Оно, конечно, верно – спеши крыть свою крышу, через чужую не замочит. Верно, если забыть, что небо над нами давно общее. Или бей своих, чтобы чужие боялись? Со своими кое-как справлялись в 60-х гг. В последний раз – крупным помолом в дубчековской Чехословакии. В конце 70-х гг. все стало иначе, если сводить негатив к социалистической системе.

Хотелось бы думать, что пик милитаристского помешательства позади, что погоду во внутренней и внешней политике впредь будут делать не военные императивы. Последние являлись чаще всего производными не только от взгляда на соседа как потенциального врага, а от новых прорывов в физике, химии, оптике, биологии. Сами переговоры по разоружению сделались продолжением конфронтации. Тут конвергенция состоялась. Наша система вобрала в себя достижения классического милитаризма, воинствующий капитализм обогатился опытом «военного коммунизма».

Но… В том же 1968 г. заключен договор о нераспространении ядерного оружия. За актуальными событиями великие державы, они же величайшие греховодники после Второй мировой войны, не теряли из вида непроходимых в тот период джунглей и тайги. Переход к концепциям гибкого реагирования в военной стратегии оправдывал известную гибкость также в политике.

Меня всегда настораживала политика, построенная на оппортунизме и потребительстве. В ней неизбежно заключен риск внезапного зигзага или попятного движения. Вне твердых заповедей, без догмата в его позитивном истолковании любое политическое построение является сезонным, а не всепогодным.

Оппортунизм не приемлет констант, краеугольных посылок, таких как баланс интересов. В лучшем варианте он соблазняется разделенной, если удастся не поровну, выгодой. Но когда у принципа появляется рыночная цена, он уже не принцип. Это – сделка, чаще всего также с собственной совестью. А что сказать о совсем нередких ситуациях, когда прикидывают, что доходнее: сдержать слово или нарушить его? Здесь зарыта самая коварная из асимметрий – асимметрия полярно расходящихся концепций и доктрин, часто вычитанных с потолка или подброшенных воспаленным воображением.

Многозарядные ядерные боеголовки (МИРвы). Попытки в свое время убедить Г. Киссинджера не преступать грань не удались. В руки просилось «средство политического давления на русских», и Соединенные Штаты на короткое время обрели его.

Понадобилось, однако, двадцать лет, чтобы договориться о возвращении сторон к исходной точке, затем – еще около пяти лет для перевода обязательств с кальки на местность.

Итак, с изрядным запозданием признано, что многозарядные боеголовки – просчет. Труднее, боюсь, будет справиться с другим лихом – многозарядными политическими головами. Строй диктует логику мышления, и, когда экстремальным его проявлениям не ставятся внутренние и внешние пределы, логика мышления перерастает в логику поступков. Г. Шерер писал в своей книге «Истины, полуистины и трескучие фразы в американской цивилизации»: наука слишком холодна для нас (США), мы предпочитаем мифы и легенды. Не для Соединенных Штатов одних.

Когда я высказал идею, чтобы арбитром в определении истинного в советских подходах к контролю над вооружениями выступало не мнение, а знание, персонифицированное авторитетными учеными, мою записку даже не пропустили к генеральному секретарю Ю. В. Андропову. «Нельзя превращать Академию наук в параллельное политбюро», – ответствовали мне. Между тем я развивал идею самого Андропова, предложившего Вашингтону, чтобы ученые вынесли свой вердикт по СОИ, а советское и американское правительства заранее обязались принять его к сведению и руководству.

Железный закон банковского бизнеса гласит: «Ваши дела никогда не будут лучше, чем дела ваших клиентов» (президент «Сиэтл ферст нэшнл бэнк» Р. Куни. «Бизнес уик», 29.10.1984). Наряду с банками, мы точно такие же вечно дающие и берущие, неотрывно привязанные один к другому видимыми и невидимыми нитями. Если в этом отдавали себе отчет корифеи Античности, просветители и философы XVI–XIX вв., когда человеку удавалось окинуть землю лишь мыслью, а не взглядом, то отчего же так трудно нам адаптироваться к мирному сосуществованию как непреложному и универсальному закону бытия, осознать, что мирное сосуществование не метод победить кого-то, но единственный из оставшихся способов выживания цивилизации?

Никогда я не подвергал сомнению чье-либо право и возможность стать умнее и лучше. Ни человеку, ни нации, ни строю. Умный не может испытывать разочарование, избавившись от предрассудков. Ибо умный – тот, кто познает всю жизнь, самообман – удел неумных. Неинтересно лишь становиться умнее глупого.

Одного я не мог и не хотел принять – заявок и ожиданий партнера, что меняться должны кто и что угодно, только не он, не

его политика или мировосприятие. Самыми опасными из «классиков» и «авторитетов», по моему опыту, являются не почившие в бозе и выворачиваемые почитателями наизнанку, а бодрствующие ясновидцы, коим даже звезды или кофейная гуща не нужны, чтобы прочитать будущее. С особой легкостью они распоряжаются чужими судьбами, соперничая в вере в собственную непогрешимость с Ватиканским собором, провозгласившим, как мы знаем, в 1970 г. догму о непогрешимости римских пап.

Самой драматичной главой восточной политики считается момент тупикового противостояния в парламенте ФРГ на финишной прямой. Не без резона. Этот традиционный взгляд, однако, оставляет за бортом события, которые в зависимости от поворота могли привести к совсем другому раскладу сил, причем не только в Бонне, и с существенно иными результатами.

Предлагаю мысленно вернуться в конец 1968 г. К нему восходят наши инициативы, знаменательные во многих ракурсах.

Вспомним, на Рейне правит «большая коалиция» ХДС/ХСС. Вкупе с социал-демократами Москву не тянет разыграть одну партию против другой. У советского руководства свои заботы. Вовне, как при игре в покер, излучается невозмутимое спокойствие и решимость сорвать банк. А мысль в поиске: где шанс для наведения хотя бы временных переправ взамен мостов, сожженных при подавлении Пражской весны?

Что-то теплилось в контактах с Парижем. Итальянцы не задраивали наглухо дверь. Но как донести до западных немцев – Советский Союз не держит против них камня за пазухой и на основе взаимности может позволить себе весомые встречные шаги?

В октябре 1968 г. А. А. Громыко встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел В. Брандтом. Стороны пришли к общему пониманию, что тема отказа от насилия не должна сниматься с повестки дня. Нотная переписка тянулась с эпохи К. Аденауэра. Не пора ли при рассмотрении общих проблем настоящего, а также будущего переключаться с эпистолярного жанра на более живой, разговорный? Наш министр однозначно за переговоры. Как будто и В. Брандту эта идея совсем не чужда.

Можно было рассчитывать на то, что диалог вскоре получит второе дыхание. Но, судя по ряду признаков, в «большой коалиции» усугубились разночтения по поводу «восточной политики». Примерно в то же время, когда министр иностранных дел и другие социал-демократические лидеры хотя непоследовательно, но все же признавали необходимость

нормализации отношений с Советским Союзом, ГДР, всеми восточноевропейскими государствами, федеральный канцлер К.-Г. Кизингер призывал к «пересмотру политики» ФРГ с учетом угрозы, вытекавшей из «доктрины Брежнева». В том же духе была выдержана «берлинская программа» ХДС по германской проблеме (ноябрь 1968 г.). А решение созвать 5 марта 1969 г. в Западном Берлине федеральное собрание для выборов нового президента ФРГ, о чем объявил О. Герстенмайер 18 декабря, настраивало на долгую зиму с настоящей стужей, а не просто заморозки.

Громыко поручил обобщить итоги нотного марафона и вообще разобраться, что за ветры дуют на Рейне.

– Куда вода течет, – замечал он не без юмора, – мы знаем. С ветрами есть загадки. И хорошо бы вам заняться этим анализом самому, будем докладывать в политбюро.

Несколько раз министр интересовался, не слышно ли чего-либо нового от Царапкина. От нашего посла поступила телеграмма о его беседе с Брандтом. Федеральный министр как будто подтверждал, что слова, сказанные им Громыко в Нью-Йорке, остаются в силе. Однако как и когда они реализуются, осталось за кадром.

– Странно, право, – заметил Громыко. – Добро на переговоры ни к чему не обязывает. Похоже, позиции находятся в движении, но общий знаменатель не вырисовывается.

Суждения министра в главном перекликались с моими наблюдениями. Но есть и разночтения. Я высказываю сомнение, что дело до переговоров или даже до принципиального взаимопонимания на сей счет дойдет в обозримой перспективе. На носу были выборы в бундестаг, и соперничество за голоса будет разводить партии «большой коалиции». Не верилось, чтобы ХДС/ХСС выступила левее Вашингтона именно в это время.

Громыко был готов упрекнуть меня в сгущении красок. Со слов помощников Брежнева мне было известно, что беседа министра с Брандтом была доложена наверх с обнадеживающим подтекстом.

– Не торопите события. Немцы способны удивлять, – внушал Громыко. – А вот комплексный анализ положения в «большой коалиции» и расстановки сил в руководстве ФРГ в широком смысле был бы очень нужен. Посоветуйтесь с Семеновым. Он великий путаник, как все философы, но, надо отдать ему должное, на немцах зубы съел.

Последние штрихи в записку ложатся на даче у заместителя министра В. С. Семенова, где мы укрылись от министерской суеты. Спорили больше по акцентам. Семенов осторожнее в прогнозах, и еще его подмывает выискивать параллели с

прошлым. Но если отвлечься от мелочей, работа ладилась, и вскоре перед Громыко лег многостраничный материал, вызвавший, скажу, забегая вперед, дебаты в политбюро.

Основной вывод гласил: «большая коалиция» выборов в бундестаг, по-видимому, не переживет. ХДС/ХСС не на подъеме. Налицо возможность – самая реальная с 1949 г. – прихода к власти в Бонне сил, способных внести существенные поправки в политический курс ФРГ по отношению к СССР и ГДР, ко всем государствам Восточной Европы. Свободные демократы, отброшенные христианскими демократами на обочину, не будут бежать от правительственного союза с СДПГ. Советский Союз в состоянии поднять акции сторонников большей сбалансированности внешней политики ФРГ, дополняя твердость в отстаивании своих интересов гибкостью и раскрывая потенциал добрососедского сотрудничества.

Сориентироваться на социал-демократов и чуть ли их не поддержать? Сколько «обжигались» на британских лейбористах, социалистах в Италии, Финляндии и пр., а тут предлагается добровольно стать партнером одного из острейших противников? Международный отдел ЦК КПСС против. Б. Н. Пономарев не скрывает свои озабоченности в беседе с Г. Аксеном, членом политбюро ЦК СЕПГ, наверное, в расчете на то, что немецкие друзья не смолчат.

Министр был в натянутых отношениях с Пономаревым. Вплоть до избрания Громыко в состав политбюро эти два деятеля никак не могли разобраться, кто главнее, от чего натерпелось дело. После 1973 г. мышкины слезки долго отливались Пономаревым в назидание, не знаю – на пользу ли чрезмерно амбициозным политикам и чиновникам.

А. А. Громыко не повергли в испуг ярлыки. Министра трудно было раскачать, в чем-то убедить, но, если это удавалось, он мог проявить недюжинный характер.

Во всяком случае, я видел Громыко в подобной ситуации, правда главным образом в послехрущевский период.

Он доказывал, что мы не поможем ГДР и навредим себе, если будем отворачиваться от реалий. Создание правительства ФРГ во главе с социал-демократами не облегчит задач СЕПГ; не менее ясно вместе с тем, что вся политика разрядки напряженности в Европе окажется пустоцветом, если нацелиться на стагнацию германо(ГДР) – германских(ФРГ) отношений и искусственное сдерживание нормализации между СССР и ФРГ.

Предпочтение было отдано доводам МИДа. Консенсус в высшем звене сложился не сразу. Дипломатическое ведомство активно поддержал Ю. В. Андропов. Своими соображениями и

весомой информацией он нейтрализовал скепсис М. А. Суслова, украинских и белорусских представителей.

В итоге выкристаллизовалась линия Советского государства, интегрировавшая в себя вероятность смены политического караула на Рейне, по меньшей мере упрочения в бундестаге позиций кругов, не чуравшихся альтернатив еще до их рассмотрения. Эта линия была выдержана при новом приливе кризиса вокруг Западного Берлина, повод для которого дало назначение в этом городе выборов президента ФРГ.

Я сознательно не говорю – несмотря на берлинский кризис, ибо он рассматривался нами как политическая демонстрация. Избыток крепких слов и предостережений, обещаний оживить жесткие условия урегулирования Контрольного совета и опереться на них сочетался с рефреном – урегулирование на базе баланса интересов достижимо. Формально призыв к проявлению доброй воли адресовался трем державам. Надо было избежать впечатления вмешательства в избирательную кампанию в ФРГ. Но приглашение свернуть с тропы конфронтации на путь делового диалога предназначалось равным образом и в первую очередь западногерманской общественности.

Представления дипломатов о целесообразных пределах эскалации на пике берлинского кризиса были в ряде случаев более радикальными, чем, например, у службы безопасности. Дело прошлое, но несколько иллюстраций обогатят ваши, читатель, познания.

Исходя из принципа равенства четырех держав, наш отдел предлагал, чтобы Советский Союз воспользовался своим правом пролета по воздушным коридорам на Гамбург и Франкфурт-на-Майне. Неудобства от появления наших военно-транспортных самолетов над ФРГ сделают Запад восприимчивее к советским озабоченностям – таков был ход размышлений. Громыко принял это предложение. Андропов доложил заключение своих экспертов, которые находили, что безопасность советских самолетов в момент их нахождения в воздушном пространстве ФРГ не гарантируется. Вопрос был снят.

Подчиненные Андропова и Министерство обороны не проявили рвения в контроле на путях сообщений с Западным Берлином. Придирчивого, не то что расширительного, толкования норм Контрольного совета не отмечалось. И никто не упрекнул исполнителей, превративших суровость в показуху, в нерадивости.

Обострения не искали. Оно не вписывалось в стратегический контекст, спланированный таким образом, чтобы игрой света и теней вселять в немцев надежду: примирение, согласие,

сотрудничество с Востоком дает избавление от гнетущих тревог и неустроенностей, перспективу откроет никак не эскалация противоборства.

По мере приближения выборов в бундестаг готовность советской стороны к деловому диалогу должна была проявляться все зримее и весомее, а дилемма – вражда или добрососедство с социалистическими странами – выдвинуться в центр предвыборных дискуссий. Наше посольство в Бонне обязывалось в контактах с политическими, общественными и деловыми кругами ФРГ делать упор на конструктивные моменты советских подходов. Аналогичным был тон бесед в Москве с многочисленными представителями различных секторов западногерманской жизни.

Представители делегации Свободной демократической партии (СвДП) В. Шеель, В. Мишник и Г.-Д. Геншер посетили мой служебный кабинет в МИДе с хорошим настроением. В. Шеель держался раскованно. Шутил, легко менял сюжеты разговора, не упуская сути, его занимавшей. Собеседник давал понять, что споры вокруг концепций не затеняют и не отменяют необходимости браться за практические вопросы. Возможности для их решения налицо, и при наличии доброй воли отношения между двумя странами поддаются нормализации.

По нашей рекомендации глава советского правительства А. Н. Косыгин, принимая делегацию СвДП, подчеркивал необходимость выбираться из окопов и блиндажей, в которых укрываются от будущего, делая вид, что отстаивают настоящее. «Если мы не согласны в больших вопросах, – говорил Косыгин, – то не надо отказываться от попыток развивать полезные контакты там, где это возможно и обещает успех». На случай упрека, что его подход созвучен тем в ФРГ, кто с аденауэровских времен агитировал за замораживание главного и довольствовался частным, Косыгин мог заявить – под полезными контактами надо понимать прежде всего экономические. Но он не исключал и политических контактов, что мне было известно с его собственных слов.

В. Шеель распознал «массу точек соприкосновения» в речи Громыко в Верховном Совете СССР 10 июля 1969 г. Это было приятно. Нам очень хотелось, чтобы выраженная в ней готовность советского правительства к продолжению обмена мнениями с ФРГ об отказе от насилия, вплоть до заключения соответствующего соглашения, а также к обмену мнениями по всем другим вопросам советско-западногерманских отношений и установлению необходимых для этого контактов, не затерялась среди дежурного критического набора.

В. Мишник слова подбирал медленно и был сдержан. Он

избегал называть цифры, когда я полюбопытствовал насчет тенденций в раскладе сил. Стрелка политического барометра клонится к переменам – таков был лейтмотив его оценок.

Г.-Д. Геншер мог бы сойти за молчальника, но глаза и выразительное лицо живо откликались на происходившее. Временами он бросал реплики, которые свидетельствовали о развитом чувстве юмора и умении «схватывать» нюансы. Выяснилось, что мы являемся почти ровесниками. Войну встретили уже не детьми, но и без всякой возможности влиять на происходившее. Наверное, обоим повезло, что не сгинули в послевоенной разрухе.

Свободными демократами я интересовался с 1950 г. Еще для Сталина готовил анализ их позиции по единству Германии и европейской безопасности. Но очно с лидерами этой партии прежде не встречался. Про себя отметил, что либералы во плоти выглядят куда содержательнее, чем их отражение на снимках и бумаге.

Месяцем позже мы принимали в Москве делегацию СДПГ во главе с заместителем председателя партии Г. Шмидтом. С ним однажды я уже виделся, а вот А. Мёллера и Э. Франка знал понаслышке.

В отличие от либералов социал-демократы входили в состав правительства ФРГ. Это накладывало свой отпечаток, но не отменяло очевидного для большинства факта – в августе – сентябре партнеры по «большой коалиции» экспонировали разные программы. Социал-демократы выделяли моменты, показывающие необходимость обновленной «новой восточной политики» и возможность взаимопонимания с СССР и его союзниками. Христианские демократы, напротив, занялись ужесточением и расширением списка предварительных требований, которые советской стороне надлежало выполнить в качестве платы за благоволение к себе Бонна.

Массированная критика Бонна не свертывалась, но советский дипломатический лексикон обогащался новыми оттенками, и, чем ближе к осени, палитра красок, вторя природе, становилась ярче. Взятая на Рейне пауза в нотной переписке пришлась как нельзя кстати. Припозднившийся ответ правительства ФРГ на советскую памятную записку от 5 июля 1968 г. давал нам искомый повод для заключительного аккорда.

Сначала Громыко использовал трибуну Верховного Совета СССР, чтобы приподнять значимость усилий сторон для исключения фактора силы из их отношений. Не просто обмен декларациями, а заключение соответствующего соглашения. И не соглашения, оторванного от других урегулирований, но

вписанного в общую канву примирения. Две недели спустя Косыгин сказал даже чуть больше В. Шеелю, В. Мишнику, Г.-Д. Геншеру. Министр иностранных дел СССР призвал к обоюдным усилиям с целью обновления советско-западногерманских отношений, встречаясь с Г. Шмидтом, А. Мёллером и Э. Франком. Наконец 12 сентября 1969 г. заместитель министра В. С. Семенов вручил временному поверенному в делах ФРГ фон Штемпелю советский ответ на ноту правительства ФРГ от 3 июля 1969 г. Его смысл – пора вступать в устный диалог.

Отрабатывая текст памятной записки и определяя дату ее вручения, мы исходили из того, что почва подготовлена для политических переговоров, не обремененных предварительными условиями, переговоров по широкому кругу вопросов, интересующих как СССР, так и ФРГ. В любом случае эта идея не должна повредить кругам, которые не считали однобокость боннской политики ее безусловным достоинством.

Буквально в канун передачи советской памятной записки наш замысел едва не сорвался. Кандидат в канцлеры от ФРГ К.-Г. Кизингер в одной из предвыборных речей не нашел ничего лучшего, чем предъявить Советскому Союзу своего рода ультиматум: «Наши отношения с Советским Союзом мы должны соизмерять с его позицией по отношению к германскому вопросу, и я буду говорить о нормализации отношений с Советским Союзом только тогда…»

Дальше Громыко слушать уже не хотел. Стоило некоторых усилий удержать его от порыва добавить металла в наш документ. Министр удовольствовался возможностью дать выход своим эмоциям в предстоявшем через неделю выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Тогда же, 12 сентября 1969 г., советское правительство ответило и на так называемый «берлинский демарш» трех держав от 6–7 августа 1969 г. Ответило согласием вступить в обмен мнениями с целью выработки взаимоприемлемых урегулирований. Вы не ошибетесь, предположив, что это совпадение в датах тоже не было случайным. Как, впрочем, и начало переговоров между ФРГ и ГДР по координации строительства автобанов, относительно транзитных перевозок по железным дорогам и внутренним водным путям и почтовых отправлений.

Выборы в бундестаг пришлись на дни пребывания Громыко в Нью-Йорке. События разворачивались, словно кадры в плотно сбитом политическом детективе. Бери все, как было, и переноси на подмостки сцены или экран. Вечером 28 сентября 1969 г. «кадиллак» министра выехал из советской загородной

резиденции в Гленкове. Предстояла встреча с госсекретарем У. Роджерсом в постоянном представительстве СССР на 67-й улице в Нью-Йорке. Громыко спросил: сколько сейчас времени по Гринвичу. Разница – пять часов.

– Там уже вечер, – спохватился он. – Голосование в ФРГ закончилось. Включайте радио. Американцы наверняка сообщают предварительные итоги.

Но в роскошном лимузине либо скверный приемник, либо выпал несчастливый эфирный жребий – мы оказались в полосе неуверенного приема УКВ. Начало фразы улавливаешь, а продолжение теряется. Обрывки интервью непонятно с кем. Голоса возбужденные. Судя по ним, сюрпризы назревали. Какие? В хаосе помех не разберешься.

Громыко раздражен. Повышает голос на водителя, своих помощников, достается и мне.

– На что вы все годитесь, если радиопередачу поймать не в состоянии?!

Примерно таков смысл его бурчания. Еще чуть – и министр высадил бы пол-экипажа из машины или сам перебрался в другую, что тенью следовала за нами. Но тут прорвался голос диктора: ХДС теряет голоса, социал-демократы прибавляют, СвДП, видимо, перевалит за пятипроцентную отметку.

– Что скажете? – спрашивает меня министр.

– Похоже, наши прогнозы сбываются. Шансы на завоевание ХДС/ХСС или СДПГ абсолютного большинства были мизерны. Для этого либералы должны были крупно проиграть. Раз они попадают в бундестаг, в действие помимо арифметики вступают личностные моменты. Христианские демократы вели дело к вытеснению СвДП из политического ландшафта и уничтожению ее. Чтобы Шеель назавтра это забыл и принял приглашение Кизингера, Барцеля или кого-то еще из ХДС войти в коалицию? Маловероятно. Основы недолгого союза СДПГ с ХДС/ХСС развитие событий обогнало и во внутренней, и во внешней политике. Восстановить сотрудничество им было бы непросто.

Громыко находит мой комментарий «не слишком внятным».

– Послушаем, что сообщают радиоголоса. Журналисты, бывает, наводят на размышления, которые эксперты из-за осторожности высказывают обтекаемо.

Почти весь оставшийся путь нашим вниманием владеют звуки, рвущиеся из динамиков. Сведения поступают противоречивые. Христианские демократы поздравляют себя с успехом – они остаются сильнейшей партией в бундестаге. Тут же говорят о значительном укреплении позиций социал-демократов. В центр интереса выдвигаются либералы. При 5,8 процента в

электорате именно они хозяева положения. Корреспонденты атакуют Г. Венера и В. Мишника, интересуются их выводами из результатов голосования.

Министр распоряжается отключить приемник. Он хочет сосредоточиться. В разговоре с госсекретарем США У. Роджерсом германский сюжет – не единственный.

– Если у вас не будет других неотложных дел, – обращается он ко мне не без подначки, – попытайтесь по приезде в представительство составить более четкую картину о ситуации в ФРГ. Минут за пять – десять до прихода американцев обменяемся мнениями.

Но ничего существенно нового я не услышал, чем не обрадовал А. А. Громыко.

– Наверняка Госдепартамент осведомлен лучше нас. Попросим Роджерса приоткрыть свой банк данных, – замечает Громыко.

На его лице и в голосе не заметно бушевавшего час назад негодования. Министр собран, он весь в ожидающей нас беседе с представителями США.

У. Роджерс прибыл с обширной свитой. Повестка дня к таким встречам заранее не согласовывалась. Каждый из министров волен был поднимать любую тему. Приступая к разговору по существу, они условливались, как организуют обсуждение и, если не исключались дополнительные контакты, что отнести на последующие дни. Состав сопровождавших лиц являлся своеобразным индикатором интересов. Появление в нашем представительстве руководителя европейского отдела Госдепартамента США М. Хилленбранда не обмануло.

В памяти не отложилось, кто обозначил германскую проблематику – Громыко или Роджерс. Обычно первым при встречах на советской территории слово получал гость. В любом случае обмен мнениями открылся сопоставлением оценок выборов в бундестаг.

Госсекретарь воздержался от собственных комментариев:

– Здесь находятся знатоки немецкой сцены, им и судить. Господин Хилленбранд, ваши впечатления.

Хилленбранд осторожен:

– Окончательные данные станут известны через четыре-пять часов. Промежуточные говорят о том, что ХДС/ХСС, собрав относительное большинство, по-видимому, продолжат нести правительственную ответственность.

Возможно, по-английски мысль Хилленбранда прозвучала чуть глуше: ХДС/ХСС как партии относительного большинства получат право на создание нового правительства.

Громыко предлагает заслушать советского эксперта. Уговора об этом не было, но деваться некуда.

– Действительно, на базе предварительных данных выводы делать затруднительно. Но с учетом проступивших тенденций и некоторых других факторов нельзя исключать крупных перемен.

Произношу это на одном дыхании. Хилленбранд порывается что-то уточнить. Он встревожен моими словами. Однако советский министр не расположен углубляться в разбор германской материи. Ему ни к чему показаться легковесным или, хуже того, ошибиться. Разговор переключается на другой диапазон.

Во время паузы Хилленбранд подступает ко мне с вопросами, что дает советским специалистам повод думать о грядущих переменах. Госдепартамент и другие ведомства США тщательнейшим образом отслеживали перипетии предвыборной борьбы и не зарегистрировали признаков возникновения новых политических комбинаций. Персональные перетасовки назревают. Может быть, это имелось в виду под термином «крупные перемены»?

Настойчивость Хилленбранда и непривычная для него горячность настраивают меня на сдержанность.

– Мы знаем, – уверял собеседник, – что происходит в каждой клеточке западногерманского организма. Неожиданностей не должно быть.

– Можно контролировать поступки, труднее владеть мыслями людей, даже у себя дома, – пробую я придать разговору философский оттенок.

Через несколько дней мне открылся непосредственный мотив реакции Хилленбранда. Президент США Никсон поспешил первым поздравить Кизингера с победой на выборах. Естественно, к поздравлению пристегнуто удовлетворение возможностью продолжить тесное сотрудничество и т. п. Президент, естественно, полагался на доклады Госдепартамента, ЦРУ, посольства США в Бонне. А русские взяли и плеснули холодной водицы. Как доложить Никсону о разговоре с Громыко? В чиновничьей мантии самые надежные – ненаписанная строка, непроизнесенное слово.

На следующий день Громыко появился за завтраком в отменном расположении духа. Он не называл ни Роджерса, ни Хилленбранда. В «малой трапезной» никаких серьезных разговоров не велось. Уши американских спецслужб улавливали каждый знак препинания. Но отказать себе в удовольствии констатировать, что размер информационного невода не гарантирует качества улова, министр не захотел.

Он идентифицировал себя с оправдавшимся стратегическим раскладом МИДа, с выдержанной без заметных шероховатостей тактикой, с обретавшим актуальность новым началом в отношениях Советского Союза с Федеративной Республикой. Это было очень и очень важно. Меньше понадобится домашней дипломатии. Германское направление попадало под длань министра. Он становился доступен для оперативного решения так называемых мелочей, без которых угасают великие начинания.

Громыко приглашает пройти с ним в защищенное от подслушивания помещение. Сухо, как показалось, блюдя дистанцию, отделяющую его от нас, смертных, а может быть, демонстрируя всего лишь деловитость, министр очерчивает круг заданий.

– Поворота еще нет. Складываются предпосылки для поворота. От нас зависит, будут ли они задействованы. Мобилизуйте отдел. Посольства у нас застоялись, надо их расшевелить. Используйте каждую свободную минуту здесь и в Канаде, чтобы развернуть концепцию на ближайшие месяцы. По пути в Москву обсудим.

Что должно быть сделано безотлагательно? – интересуется Громыко, прекратив расхаживать по кабинету и заняв свое кресло.

– Предложение о вступлении СССР и ФРГ в переговоры с целью подведения юридической базы под отношения между нашими государствами пришлось очень вовремя, – говорил я. – Оно повторено в только что состоявшейся беседе с В. Брандтом. Если лидер социал-демократов возглавит новое боннское правительство, то можно считать, переговоры у порога. Наряду с

формальной подготовкой к ним стоило бы откликнуться на перемены в самой ФРГ заметными коррективами хотя бы стиля обращения с этим государством. Потребуется тщательная координация линий СССР и ГДР. Если друзья будут загребать в противоположном направлении, ничего путного не выйдет. В принципе совершающиеся события заслуживают того, чтобы стать предметом специальной сессии Политического консультативного комитета (ПКК) Варшавского договора.

Министр согласен с моими словами. Ему импонирует мысль о заседании ПКК и о согласовании наших действий с ГДР.

– На сегодня-завтра все остальные дела в сторону. Запритесь и разверните в форме тезисов изложенные соображения лично для меня.

В переводе это, между прочим, означает, что разговор должен остаться сугубо между нами, а все вытекающее из него перейти в интеллектуальную собственность Громыко. Последнее меня не трогает. Если предложение, освященное его авторитетом, обретет большую жизнеспособность, я буду только рад. Даже не вредно, что министр тщеславен, пока не преступлена определенная грань.

Возвратившись в Москву, столкнулся с горой дел. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», – пели про альпинистов. В старину и политики усаживались у ее подножия, ожидая, когда гора родит пусть даже мышь. Впрочем, не только в старину. На советской политической сцене фабианство отнюдь не было редкостью. Мое личное восприятие времени отражало, готов признать, другую крайность. Всю жизнь мне была близка античная формула, полагавшая «время мерой движения». Нет движения – значит, время теряется. Навсегда и безвозвратно. Даже если кажется, что потерянное затем навёрстывается или компенсируется.

Правительственное заявление В. Брандта ориентировало Федеративную Республику Германию на новую систему координат. ГДР выступала как неприятная данность, смягчить неудобства существования которой можно было лишь через ее признание, через правовое и фактическое урегулирование проблем, непосредственно и больно затрагивавших миллионы немцев. Отношения с Польшей, Советским Союзом, Чехословакией были неотрывно завязаны на принятие принципа нерушимости послевоенных границ в Европе. От этого никуда не увильнешь, но оформить обязательства – задача не из легких.

Большинство из внешнеполитических новаций в программе социал-либеральной коалиции пока лишь намечены. Авторы заявления искусно пользуются полутонами. Если на другой стороне не разовьется встречного движения, то ФРГ без потери

лица сможет продолжать традиционный курс.

Не всем в Москве это нравилось. Ждали, что кто-то преподнесет нам двуликую голову «германского милитаризма и реваншизма» на жертвенном блюде.

Громыко чувствовал себя неуютно. Он не показывал этого, но по ряду признаков ему приходилось отбиваться от максималистов. В беседах со мной министр перепроверяет, насколько весомо представлена новизна подходов у правительства В. Брандта – В. Шееля, не пудрят ли нам социал-демократы мозги, не займутся ли СДПГ и СвДП под заверения о желании начать взвешенную «восточную политику» в основном дестабилизацией ГДР? Сами вопросы замешены на стародавних дрожжах. М. А. Суслов и Б. Н. Пономарев владеют своим ремеслом.

Нет, все будет куда как не просто. Речь идет не о повороте в отношениях между государствами, а о превращении теории мирного сосуществования в повседневную практику. И опять-таки не сосуществования абстрактных систем, а добрососедского общения людей, разделенных помимо их желаний обстоятельствами и идеологиями. ГДР и ФРГ должны дать ответ на вопрос, возможно это или это иллюзия, ответ, который будет иметь значение, выходящее далеко за пределы национальных интересов самих немцев.

Года четыре спустя в беседе на Рейне с послом США Стесселом-младшим я употребил тезис: советско-американские отношения были и останутся сочетанием сотрудничества и соперничества, тонус отношений будет производным от пропорций, в каких взаимодействуют две составные. Эта мысль первоначально родилась у меня при обдумывании плюсов и минусов, возможностей и лимитов сближения двух германских государств с учетом также их принадлежности к разным военно-политическим блокам, перспектив прекращения гонки вооружений на немецкой земле.

В свете опыта 70–80-х гг. не уверен, что время, отпущенное руководству ГДР на социальную и политическую идентификацию, к тому моменту еще не истекло. Но тогда я считал, что невостребованные резервы есть, имеющиеся проблемы решаемы, совершенные ошибки исправимы. Все, правда, на пределе.

В этом смысле встреча канцлера В. Брандта с председателем Совета министров ГДР В. Штофом в Эрфурте 19 марта 1970 г. была более чем симптоматичной. Ею открывался двадцатилетний этап политического, не силового объединения Германии. Процесса, который нельзя было остановить, но остававшегося до поры до времени управляемым. При известных предпосылках.

Вернее сказать, при соблюдении ряда непременных условий, со стороны руководства ГДР проигнорированных и в Москве не осознанных.

В конце 60-х гг. одним из камней преткновения в советско-западногерманских отношениях стал вопрос о приобщении ФРГ к ядерному оружию. Мало того что территория Федеративной Республики превратилась в главное вместилище американских тактических, оперативных и стратегических атомных зарядов за пределами США. Правительства, парламенты, общественное мнение Западной Европы систематически обрабатывались в пользу признания за бундесвером права участвовать в принятии решений насчет ядерного «казус белли», а затем получить свой пай в «европейском ядерном сообществе» или в «атлантических ядерных силах».

По сие время вокруг подобных проектов (замечу в скобках – не все варианты рассекречены) гуляет много легенд. Одна сторона сгущала краски, другая стремилась выдать драму за водевиль. Судя по документам НАТО, что мне попадались на глаза, позиции США и ФРГ выражали наиболее опасную тенденцию. Названные и неназванные проекты имели назначением обустройство европейского региона применительно к реальным потребностям практической ядерной войны. Насколько ограниченной или запредельной – другой вопрос.

Советский Союз попадал в своеобразное положение. Мирного договора с Германией или ее преемниками не было. Никто не мог отменить немецких обязательств, вытекавших из безоговорочной капитуляции и декларации о поражении Германии, положений о вражеских государствах в Уставе ООН. На деле же – с позиций безопасности СССР – Западная Германия становилась средоточием всех угроз. Опасностей несравнимо больших, чем обрушились на советский народ в 1941 г.

Отказ от применения силы – как его увязать с ядерными амбициями определенной части руководства ФРГ и установками НАТО на первый ядерный удар, на превентивные при некотором раскладе действия? А комментарии, коими сопровождались заявки на «равенство» без изъятий в сфере индивидуального и коллективного права на самооборону? Они лишь провоцировали новые подозрения. Сошлюсь на заявления министра иностранных дел ФРГ Г. Шредера, вошедшие затем в ткань дипломатических нот ФРГ 1965 г. Заявления типа «обязательства из капитуляции 1945 года и решения Контрольного совета… отменены в ФРГ с момента (заключения) германского договора», между тремя державами (США, Великобританией, Францией) и ФРГ в 1952 г. Или «капитуляция немецкого вермахта в 1945 году (не Германии,

а ее вооруженных сил! – *Авт.)* не означала ни в коем случае отказа немецкого народа от самообороны на вечные времена».

Москва задавала себе вопрос: как должно толковать происходившее? Не без поддержки США, Великобритании и Франции Федеративная Республика была категорически против мирного договора, который подписывали бы оба германских государства, или двух мирных договоров с каждым из этих государств в отдельности, а если называть вещи своими именами, против мирного договора как такового вообще. Вместе с тем отсутствие мирного урегулирования служило федеральному правительству ширмой для отказа от признания итогов Второй мировой войны и прежде всего границ на востоке. Права СССР как державы-победительницы оспаривались и в части демилитаризации Германии, и ее денацификации. Напоминание об этих правах отвергалось как «вмешательство во внутренние дела» Федеративной Республики. В то же время нам не уставали напоминать об «ответственности советской стороны за Германию в целом и Берлин».

Юридический нонсенс: вроде бы капитулировал вермахт, и то только перед четырьмя державами, а не перед каждой из них. Контроль, по боннской логике, вводился за призраками Третьего рейха, а не реалиями, возникшими на месте рухнувшего нацистского «нового порядка». Официальный Бонн признавал лишь те разделы международного права, к возникновению которых сам был причастен. Даже для Устава ООН не делалось исключения. Проводилось как бы различие между итогами Второй мировой войны и последствиями холодной войны. Последние, на взгляд многих западногерманских политиков, обогнали и отменили первые, создали новые факты и факторы, к которым классические рецепты совмещения интересов, построенные на преемственности, были неприменимы.

Новый разворот в ядерной проблематике начался с заключения в 1968 г. договора о нераспространении ядерного оружия. Значение этого международного акта трудно переоценить. Поэтому надо сожалеть, что державы – его инициаторы, СССР, США и Англия, не перестарались в точности прочтения собственных обязательств, вытекавших из договора. Особенно в первые двадцать лет его действия. Но это – другая тема. Нас же занимает германский аспект.

Успех ХДС/ХСС на федеральных выборах 1969 г. сделал бы, по нашим оценкам, проблематичным присоединение ФРГ к договору о нераспространении. Порочный круг замкнулся бы – без удовлетворения боннских требований по германской проблеме Федеративная Республика не подписала бы договор

1968 г., без ее присоединения к этому договору взаимопонимание об отказе от применения силы становилось недостижимым, без отказа от применения силы подвешенным оставалось большинство вопросов любой старой или новой «восточной политики».

Ясное заявление В. Брандта 28 октября 1969 г. в качестве главы правительства в пользу участия ФРГ в договоре о нераспространении и подписание месяц спустя в Москве, Вашингтоне и Лондоне, столицах стран-депозитариев, его текста устраняли неопределенность. Она, эта неуверенность, оттягивала формулирование положительного советского ответа на предложение западногерманской стороны открыть 7 декабря 1969 г. в Москве обмен мнениями, согласно сообщению – «начать переговоры», о взаимном отказе от применения силы.

Решение социал-либеральной коалиции принять обязательства по договору о нераспространении подверглось резким нападкам оппозиции. Лидер ХСС Ф.-И. Штраус обвинил правительство в «атомном Версале». Реакции было невдомек (или она с охотой закрывала глаза на это), что расщепленный атом расколол Германию.

3–4 декабря 1969 г. в Москве собрались руководители партий и правительств стран – участниц Варшавского договора, чтобы условиться о координации действий перед лицом совершавшихся и назревавших перемен. Сверке шагов предшествовали дискуссии в политбюро ЦК КПСС.

Мне выпала доля стать основным автором аналитической записки, исследовавшей изменения в Федеративной Республике под углом зрения вероятных последствий для Центральной и Восточной Европы, а также противостояния Запад – Восток в целом. Масштаб и комплексность задачи оправдывали, с моей точки зрения, солидный объем и неоднозначность выводов, сложность самой архитектоники записки.

С прицелом на совещание Варшавского договора вносить записку на сей раз должны были вместе с А. А. Громыко заведующий отделом ЦК КПСС по связям с социалистическими странами К. В. Русаков и, в чем я сейчас не совсем уверен, Б. Н. Пономарев. В любом случае сотрудник Международного отдела ЦК был прикомандирован к нашей бригаде.

Мы находимся на Старой площади в служебном кабинете А. И. Блатова. Он являлся в то время первым заместителем у Русакова. Работа над запиской в основном была завершена. Текст послали на просмотр министру, а также его партнерам. Нас же переключили на составление проекта заключительного документа совещания руководителей стран Организации Варшавского

договора (ОВД).

Телефонный звонок со Смоленской-Сенной: Громыко разыскивает заведующего 3-м Европейским отделом МИДа. Связываюсь с министром. Из первых его слов очевидно – разговор будет не из приятных.

– Ничего лучшего не выдумали, как монографии сочинять, – услышал я в трубке. – Блеснуть эрудицией захотелось. Все, что знаете, решили выложить. Ужать до двадцати листов и писать так, чтобы не запутывать читателя. Понятно?

– Не совсем. Мы никого не убедим прямолинейной манерой. Кроме того, нам самим многое неясно, как, вероятно, и новым руководителям в Бонне. Рассудительная подача материала требует места.

– Делайте, как вам сказано. Рассуждения оставьте при себе.

– Есть дополнительный нюанс. Помощники генсекретаря, занятые подготовкой выступления Брежнева, неофициально попросили у нас проект. Обсудили ли они это с Леонидом Ильичом, мне неизвестно.

На самом деле Брежнев, услышав от своего помощника А. М. Александрова, что мы сочинили «недурную записку», выразил желание с ней ознакомиться. Объем, как и литературный стиль, его не оттолкнул. Генеральный секретарь порекомендовал взять записку за основу советского выступления на совещании ОВД. Этот спонтанно родившийся прецедент поможет нам в дальнейшем не однажды.

Громыко отлично уловил, куда я клоню своей «информацией». Но отзывать свои требования не стал.

– В записке много лишнего и спорного. В моем экземпляре я отчеркнул сомнительные места. Вы вместе с Благовым водили пером? Вот вместе и реализуйте мои замечания.

А. И. Блатов и другие коллеги с нараставшим напряжением следили за моим объяснением с министром. Они были возмущены не меньше меня. Все чувствовали себя задетыми. Советовали не обращать внимания на придирки и не переживать. Блатов вспомнил несправедливости, в избытке обрушившиеся на него за годы работы в МИДе.

Когда улеглись эмоции, не составило сложности просчитать реакцию Громыко. Настороженный активностью консерваторов в советском руководстве и отсутствием четких сигналов из Бонна, министр предпочел бы отделаться банальностями и хорошо подкрепленными оговорками. Поменьше конкретики и побольше междометий – его вечный девиз. Этот метод, выхолостивший не один документ, который не мог миновать синего карандаша Громыко, проявился во всей своей порочности.

Кончилось все трагикомично. На совещании советской делегации Брежнев, с подачи ли помощников или по собственному почину – не знаю, поблагодарил авторов анализа. Бумага длинная, но время на ее прочтение тратится не зря. Генеральный секретарь считает, что большая часть содержавшихся в записке оценок может быть доведена до сведения союзников. Конечно, о тактике на ближайшую и среднесрочную перспективу надо говорить с осторожностью, некоторые обобщения тоже лучше опустить, но коль скоро есть желание узнать, что думают друзья, надо достоверно сообщить им, что на душе у нас самих.

Не перестаю удивляться министру. Век живи – век учись. Он согласно кивает в такт каждой фразе Брежнева. Ни тени сомнения на челе. Как будто подменили человека, накануне метавшего гром и молнии. Показать бы присутствовавшим его пометки в виде волнистых или с нажимом вычерченных линий и вопросительных знаков.

Вспомнился разговор с министром внешней торговли Н. С. Патоличевым. Однажды под настроение – это было после неудач наших совместных попыток побудить Громыко не вставать в позу на переговорах с британским коллегой Дж. Брауном – он произнес: «Знай, Валентин, в правительстве не любят и не уважают твоего Громыко». Перехватив мой взгляд, прибавил: «Карьеры ради… Салтыкова бы Щедрина на него».

Америки Патоличев не открывал, но давал мне понять. Что? Предупреждал, чтобы я не доверялся излишне Громыко, не становился его эхом? Милый Николай Семенович, один из немногих, кого должности не превращали в монстра. Конечно, он тоже должен был платить дань системе. Но у него не отнять и другое – еще при жизни Сталина и разгуле Берии Патоличев, будучи первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии, сорвал Цанаве, посаженному в Минск наводить кладбищенское спокойствие, арест и ликвидацию целого ряда видных партизан и подпольщиков. И когда, после смерти Сталина, Патоличева решили переместить в Москву, белорусская парторганизация – видимое ли это дело! – возразила: «Оставьте его нам!» Чуяли, что Николая Семеновича потихоньку отожмут от политической работы, займут там, где собственное мнение и человечность как рыбке зонтик.

Немало партийных секретарей разной пробы прошло перед моими глазами. Соглашусь заранее, о большинстве из них я имел чисто внешнее впечатление. И все-таки некая закономерность озадачивала: с мыслью на лице и живым интересом к делу люди почему-то скоро выходили в тираж, деятели же с бульдожьей

хваткой, шагающие через судьбы напропалую, процветали. Из того же Патоличева получился бы генеральный секретарь, возможно, посолиднее Хрущева и, конечно, интереснее Брежнева. Потому-то, видимо, Патоличева и осадили в Министерстве внешней торговли.

Заседание руководителей стран ОВД не принесло неожиданностей. Первые секретари согласно отмечали, что мы вступаем в новую полосу развития. На этом «консенсус» кончался. Нельзя сказать, чтобы взгляды на будущее слишком разнились. Совпадения получались посредством ухода от деталей. Возражений нет, чтобы Советский Союз взял на себя инициативу в глубоком зондировании намерений социал-либеральной коалиции. Есть понимание желательности регулярного сопоставления мнений и обмена информацией.

Н. Чаушеску держится особняком: румыны давно уловили неизбежность перемен и скалькулировали их в своей политике, им остается продолжать начатое. Сопровождающие Чаушеску усердно скрипят перьями, фиксируя каждое оброненное в зале заседания слово.

Остаются еще двусторонние встречи. Они более содержательны. Хороши бы мы были, если бы выступление Брежнева свелось к общим местам и риторике. Собрались, облобызались, побалагурили за трапезой – и каждый восвояси.

В. Гомулка перечисляет условия, без которых поляки не представляют себе нормализации отношений с Западной Германией. Если Бонн не удовлетворит их, Варшава может повременить.

Руководители ГДР делятся впечатлениями от вхождения СДПГ во власть. До Эрфуртской встречи федерального канцлера В. Брандта с главой правительства ГДР В. Штофом оставалось еще три месяца. Как можно было поручиться за стабильность в ГДР с введением принятых в международной практике правил общения между людьми? Существование в изоляции обострило у властей ГДР комплекс неполноценности. И невольно влечет к жестким выражениям.

Брежнев заверяет В. Ульбрихта, что наша сторона будет обговаривать с друзьями каждый серьезный свой шаг. Пределы и возможности улучшения отношений СССР с ФРГ зависят от возможностей и пределов оздоровления отношений Федеративной Республики с ГДР – по этому поводу мы не оставим у Бонна сомнений. Вместе с тем не надо доказывать, что мосты между ФРГ и ГДР придется строить взаимными усилиями и что без минимума согласия здесь вряд ли удастся ввести Германскую Демократическую Республику в международное сообщество в

качестве его полноправного члена.

Энтузиазма в делегации ГДР не было заметно. Обстоятельства сильнее желаний и обретенных за два десятилетия привычек. Впереди – туманная неизвестность. Когда и как все образуется, неведомо никому. Захочет ли Советский Союз и впредь урезать свободу поиска, ставя во главу угла потребности ГДР, что он делал с середины 50-х гг.? Может быть, руководство СЕПГ не зря холодно восприняло смещение Хрущева? После стычки с лейбористами в Лондоне Хрущев недолюбливал всех социал-демократов без разбору.

С Я. Кадаром, Т. Живковым и Г. Гусаком разночтений не было. Память вообще не вобрала приметных деталей, за исключением, пожалуй, одной. Венгерский лидер всем складом своего видения укреплял настрой на дерзание.

Совещание участников Варшавского договора зажгло зеленый свет советско-западногерманским переговорам в Москве. Оставалась «сущая мелочь» – определить не в общих чертах, а сугубо практически предмет этих переговоров и их конечную цель. Искать частные решения, оставляя на потом фундаментальные? Этого не получится, да и не нужно. Нотная переписка дала кое-какой «навар». Если надежды на абстрагирование от общеполитических проблем сохранялись вопреки опыту, их следовало сложить на пороге зала переговоров. И западным немцам, и нам тоже. Фундаментальное урегулирование обменом декларациями не ограничится. Речь пойдет о межгосударственном договоре. О каком по форме, чтобы не вошел в противоречие с международным правом, с обязательствами, принятыми на себя сторонами?

В воскресенье, 7 декабря 1969 г., посол С. К. Царапкин попросил срочной встречи со статс-секретарем МИД ФРГ Г.-Ф. Дуквицом, чтобы известить его о советском согласии с предложенной правительством ФРГ датой начала обмена мнениями по дипломатическим каналам относительно отказа от применения силы. Он должен был открыться на следующий день в Москве.

В сообщении ведомства прессы и информации выражалось от имени федерального правительства удовлетворение по поводу «начала германо-советских переговоров как признака возможной нормализации наших (ФРГ. – *Авт.)* отношений с европейским Востоком». «Тот факт, что Советский Союз принял предложение федерального правительства о дате, месте и уровне переговоров для начала обмена мнениями, – говорилось далее в сообщении, – создает впечатление, что советское правительство также заинтересовано в скорейшем открытии рассмотрения существа

проблем. Посольство Федеративной Республики в Москве имеет инструкции для первой фазы переговоров. Федеральное правительство, кроме того, снова подтверждает свою готовность заключить со всеми остальными государствами – участниками Варшавского договора соглашения об отказе от применения силы».

Прошу извинить за пространную цитату. Но она позволит многое расставить по нужным местам.

Не правда ли, в практике межгосударственных отношений сыщется лишь пара-другая примеров, чтобы согласие на переговоры по сложнейшим проблемам давалось за несколько часов до их открытия. И веских мотивов для этого вроде бы не имелось, если учесть, что советская сторона сама инициировала переход к диалогу еще в сентябре, а названные 15 ноября правительством ФРГ место и конкретная дата вступления в переговоры были ответом на предложение СССР.

Формально спешка без пяти минут двенадцать была продуктом нашей бюрократии. 3–4 декабря шли заседания партийно-правительственных делегаций из стран Варшавского договора. Стало быть, в пятницу, 5 декабря, итоги обменов мнениями с друзьями должны были рассмотреть члены политбюро. Решение выпущено в субботу. Поздно вечером Царапкин получил директиву посетить МИД ФРГ.

Еще в 1962 г. американские дипломаты полусерьезно намекали нам, что для дела было бы полезно изменить график работы руководящих органов ЦК КПСС. «Смотрите, – говорили они, – во вторник у вас плановые заседания секретариата, в четверг – политбюро. В пятницу принятые решения оформляются и исполняются. Большинство ваших нот поступает в Госдепартамент или посольство США в Москве во второй половине пятницы или даже в субботу. Чиновнику, который должен сделать аннотацию и заключение по существу, вы испортили уик-энд. Не ждите от него восторженных откликов на ваши бумаги. Смурной взгляд читающего не остановит внимание на нюансах и аллегориях. Скорее они побуждают к размашистой резолюции – ничего заслуживающего внимания, тавтология. От сказанного в минуту раздражения чиновник не отойдет и поостынув. А вы, в Москве, гадаете, неужто в Белом доме непробиваемые сидят».

Этот разговор, между прочим, докладывался сначала Громыко и позднее Брежневу. Реакция в деталях была не идентичной, но все в общем осталось на кругах своих. Лишь изредка, с учетом «психологических моментов», исполнение решений переносилось на первые дни следующей недели.

В нашем случае, касавшемся старта переговоров с Федеративной Республикой, формалистикой дело не исчерпывалось. Модель отказа от применения силы фактически мумифицировала идею мирного урегулирования, четверть века бывшую на вооружении советской политики. Оправдают ли ожидавшиеся приобретения вполне осязаемые потери? Обмен мнениями между членами политбюро протекал неоднозначно. Мы не приблизимся к правде, сделав вид, что в конце 60-х гг. и позднее всем все загодя было известно.

Французская «Монд» небезосновательно констатировала в передовой статье, посвященной началу советско-западногерманского диалога, что, принимая в последнюю секунду предложения о времени, месте и уровне обмена мнениями, Советский Союз отдавал почести новому канцлеру В. Брандту, выходящие за пределы официальной цели переговоров. Кремль пошел навстречу малой коалиции в том, в чем он до сих пор отказывал всем ранее существовавшим боннским правительствам.

Справедливо. И знаменательно. Французы с ходу поняли то, что крайне туго доходило до сознания иных немцев.

Так свидетелями чего стали Европа и мир в целом 8 декабря? Начала переговоров или подготовки к переговорам? Переговоров о чем? Обмене заявлениями об отказе от насилия или заключении соглашений более широкого диапазона? Если последнее не исключалось, насколько широким мог быть этот диапазон?

Вопросы, вопросы… И тоже не второстепенные. Некоторые разночтения в начальной стадии не остались незамеченными. Правительственные инстанции в Бонне и посольство ФРГ в Москве пользовались понятием «переговоры», тогда как советская сторона тщательно избегала этого термина. Декабрьские встречи Громыко с послом ФРГ в Москве Г. Аллардтом (их было три) обрели в конечном счете название «подготовительный обмен мнениями». Иногда добавлялось: по вопросу об отказе от применения силы. Наши сообщения чаще обходились без этого уточнения, которое выступало и как ограничение.

13 августа 1970 г. А. Н. Косыгин, завершая разговор со мной в своем просторном служебном кабинете в Кремле, сказал:

– Благодарю вас за организацию работы над Московским договором. Текущая информация была толковой и своевременной. Мы постоянно знали, что происходит. Вместе с тем МИД не суетился, не стучался из-за каждого слога в политбюро. Так бы всегда.

– Считаю долгом заметить, что Громыко руководил переговорным процессом от начала и до финала. Ваш

комплимент касательно организационной стороны дела должен принадлежать прежде всего ему. Тем не менее я весьма тронут вашим лестным отзывом. Пока ни от кого с верхнего этажа, включая министра, сотрудники отдела не услышали «спасибо». Разрешите, Алексей Николаевич, от вашего имени сделать это теперь.

А. Н. Косыгин ответил:

– Я даже просил бы вас довести сказанные мною слова признательности до сведения каждого, кто заслужил похвалы.

До этой беседы с председателем Совета министров СССР надо было отмерить путь длиною семь с половиной месяцев. И каких месяцев! Случались мгновения, когда дни вмещали в себя энергию лет. Европа ощупью и с оглядкой искала себя в новом, уже не военном, но еще не в мирном пространстве. Всем предстояло переучиваться. Одним учеба давалась легче, другим труднее. Встречались и неисправимые в своих пристрастиях, коим будущее представляется приглаженным или взъерошенным прошлым. На Востоке их было примерно столько же, сколько на Западе.

Шефом-делегатом на стороне ФРГ в диалог вступил посол Г. Аллардт. Опытный дипломат, обкатанный в различных регионах, овеянный разными ветрами. Свое ремесло он знал неплохо, немецкие интересы понимал с размахом и отстаивал с апломбом. Его натура и характер, думается, не во всем сочетались с несколько грузной внешностью. Соленая шутка могла привести посла в смущение. Ему, несомненно, больше импонировали темы культуры, искусства, археологии. Личные вкусы Аллардта передавала его коллекция, неровная по составу, но включавшая немало раритетов с античных времен до автографов Гёте.

Лично у меня установились с послом ФРГ партнерские или, может быть, точнее – коллегиальные отношения. Диспуты вокруг самых каверзных проблем шли обычно в спокойном ключе. Никому из нас двоих не доставляло удовольствия ставить другого в неловкое положение. Климат известного доверия и теплоты стоил выше сиюминутного злорадства.

Аллардту почему-то захотелось сделать меня сыном археолога. Узнав об этом из газетного материала, я не преминул обратить внимание посла на вкравшуюся неточность. Он не придал эпизоду значения. Мне показалось излишним его переубеждать. «Сын археолога» и любитель археологии будут заниматься раскопками сообща.

Раскапывать было что. По несуразности наносы, образуемые деятельностью человека, именуются «культурным слоем». Из-за этого культурного бескультурья разрушаются и гибнут

архитектурные памятники, возводившиеся их творцами на века. В политике новые «культурные слои» перекрывают целые цивилизации. И в самом прямом, и в переносном смысле. Ни один континент не избежал этой участи. Европа испила свою чашу в несколько приемов и полной мерой.

Вторая мировая война. Что касается Германии, Советского Союза, Европы в целом, она почти без паузы уступила место войне холодной. Вчерашний союзник стал для трех западных держав врагом, враг – союзником. А для немцев? Как им разобраться, кто прав и кто виноват? Не продолжить ли некогда затеянное, увещевая себя, что проиграна не война, а не повезло в сражениях? Почему бы нет, если Соединенные Штаты почти готовы признать: промашку дали американцы с выбором союзника в 1941 г., надо бы ее исправить.

В этой кромешной тьме еще предстоит основательно разбираться. Исходя из фактов, а не по принципу «на свой-чужой рассчитайсь», господствовавшему почти полвека.

Начни в подробностях говорить обо всем, что я знаю, что передумал, где сам попадал в поле притяжения силовой философии, это заняло бы множество страниц, но в конце обязательно ждал бы вывод: самым страшным злом, чумой XX в. является милитаризм. Безразлично, какого происхождения и пошиба, какими теориями осененный. Взявший в полон большую часть человечества и обирающий перво-наперво уже обездоленных, милитаризм и сегодня не сдал господствующих высот. Он и сейчас не спеша, со вкусом высматривает очередные жертвы.

Как ни смотри на холодную войну – возьмем масштаб, – она охватила всю планету целиком; или уровень мобилизации материальных средств и людей – в нее было вовлечено больше ресурсов, чем в обеих мировых войнах, вместе взятых; или число жертв – и по этому показателю она превзошла 1914–1918 гг., ее должно квалифицировать как третью мировую войну, которую по меньшей мере одна сторона вела до победного конца. Это не претензия на оригинальность. Нет, всего лишь освежение в памяти давнего откровения президента США Г. Трумэна, который, отвечая на соответствующий вопрос, с присущей ему прямотой заявил:

– Холодная война есть та же война, лишь ведомая другими методами.

Ему, президенту США, было виднее. Он ее затевал.

Но я отвлекся. Стол московских переговоров (употреблю в собирательном значении этот термин) ломился, но не от свежих мыслей о том, как переустроить двусторонние советско-

западногерманские отношения, к обоюдному удовлетворению и на пользу Европе. А от скопленных за десятилетия риторики взаимных претензий и обвинений, подшитых в несчетных досье. Сами досье отличались кособочиной – если требовалось упрекнуть другого, обнаружить его ущербность, то навалом примеров различного достоинства. Куда беднее был ассортимент положительных познаний. Они не возбуждали интереса экспертов.

В несколько заходов Громыко проигрывал со мной, как могут выглядеть открытие и первый этап обмена мнениями. Министр предложил мне перевоплотиться в Аллардта и заговорить его голосом. Может быть, я чуть перестарался, но как-то Громыко менее шутливым тоном заметил:

– Надеюсь, с реальным Аллардтом будет полегче.

Позднее, правда, когда сводились впечатления от двух встреч с делегацией ФРГ, министр с усмешкой на устах констатировал:

– Мы не обманулись в ожиданиях и не посулили лишнего нашему руководству. Жаль времени, оно впустую утекает.

Моя реплика о том, что немцы ведут пока диалог больше сами с собой и что, не разобравшись в себе, они вряд ли станут брать быка за рога, не пришлась Громыко по душе.

– Что вы защищаете их тактику на затягивание переговоров? Почему-то все хотят, чтобы мы входили в их положение, и не принимают в расчет наши интересы.

– Статус великой державы влечет массу неудобств, – пытался я сбить нахлынувшее на министра недовольство. Если его заклинит на посылке – Бонн игры играет, то пиши пропало. – Правительству В. Брандта – В. Шееля приходится труднее, чем нам, – продолжал я свою мысль. – Мы требуем, чтобы западные немцы сблизились с нами во взглядах на реалии. Для Бонна это почти равнозначно смене вех.

– Вы бы придумали словечко похлеще, назвали бы Брандта с Шеелем революционерами, – отозвался Громыко.

По вопросам, которые он задавал, было видно, что мои аргументы все же побудили его задуматься, а заметки, делавшиеся размашистым почерком и, как всегда, почему-то наискосок листа, обещали, что кое-какие мотивы попадут в его доклад наверх.

Министр дал совет, который надо было понимать как наставление: беседы за официальным столом не исключают и, больше того, предполагают систематические встречи неформального свойства. Устраивайте для делегации ФРГ протокольные мероприятия, не уклоняйтесь от приглашений посла. Пусть сотрудники отдела, «на которых можно положиться»,

на своем уровне налаживают рабочие контакты с западногерманскими дипломатами. Только (Громыко не может по-другому) каждый сотрудник должен быть тщательно проинструктирован. «Лично вами», – подчеркивал он. Жду, что добавит: «И под вашу ответственность». Нет, сакраментальная формула на сей раз не всплыла.

Термин «рабочие контакты» у дипломатов означает позволение стать нормальными людьми. Немножко чопорный Аллардт как-то поеживается в «раскованной атмосфере». Где это слыхано – советские и западногерманские официальные представители вместо воспроизведения текстов инструкций сыплют шутками, про которые «до рождества Хрущева» мрачно острили: объявлен конкурс на лучший политический анекдот; первая премия – пять лет, вторая – три года и три поощрительных премии по году тюрьмы.

Неведомыми путями – склонен думать, не от советских собеседников – кое-какие из наших вольностей перекочевали на страницы западногерманского журнала «Шпигель». Журнал в Москве читали не одни любители изящной словесности, в чем я вскоре получил возможность убедиться.

Как-то Громыко поинтересовался, не слишком ли мы «разрезвились». Не каждый в ладах с юмором, а тут такие перлы: «Что с Америкой? Несется в пропасть. Что делает СССР? Пытается догнать и перегнать».

Оставалось поблагодарить Громыко за сигнал и… процитировать Б. Брехта: «Невозможно жить в стране, где нет юмора, но еще тяжелее жить там, где юмор становится потребностью».

И добавляю: чтобы растопить лед недоверия, порой не обойтись без самосожжения.

Мои наблюдения по существу предмета диалога и взглядов Аллардта на методы решения обсуждаемых проблем были однозначны: обмен мнениями лишь проигрывает от смешения жанров. Дело не сдвинется с мертвой точки без политического решения. Аллардт ставит на классическую дипломатию, представителем которой себя по праву считает. Его не отпугивает, что переговоры поглотят годы. Они ничто перед вечностью.

Высказываюсь за то, чтобы Громыко органично приближал завершение подготовительной части диалога. Обмен мнениями полезен уже тем, что позволил конкретнее очертить круг задач, подлежащих рассмотрению, и самое позднее с открытием следующего этапа мы узнаем, во что воплотятся, если тому суждено быть, декларации, обещания социал-либеральной коалиции. Старый вопрос – насколько нова «новая восточная

политика» – должны прояснить боннские руководители. Посол Аллардт лишь исполнитель. От него зависят расстановка акцентов и темп. Вещи тоже немаловажные, но не решающие.

Министр дал понять, что я несколько недооцениваю Аллардта, за которым стоят влиятельные силы дипломатического ведомства ФРГ. Вероятно, Громыко опирался на более обширную базу информации, чем та, которая была доступна мне. По прежнему опыту догадываюсь, о чем идет речь, но условностей преступать не принято. Остается внимать и дешифровывать междометия начальства.

У нас не было с Громыко разночтений по поводу того, что Аллардт как личность не должен попадать под огонь нашей критики. Целесообразно даже подкреплять впечатление, что посол связан инструкциями и отсутствие прогресса упирается именно в качество этих инструкций.

Министр холодно отреагировал на вопрос, не стоит ли подключить к процессу переговоров советское посольство в Бонне. Самое лучшее, если сейчас С. К. Царапкин будет помалкивать: два посла в одних переговорах – явный перебор.

Мне представлялось, что Громыко был расположен к Царапкину, так же как он питал слабость к ряду дипломатов, призванных на мидовскую службу в 1939–1940-х гг., в период массовых чисток. Ф. Т. Гусев, Я. А. Малик, А. А. Соболев, К. В. Новиков, В. С. Семенов – личности разного калибра – оставались для Громыко сотоварищами. Он их опекал, иногда терпел их чудачества, но в иных случаях жестко и порой грубо пресекал. Входя в их положение и ценя прежние заслуги, заботился о том, чтобы ветеранов – его коллег «не ущемляли по части благ», и прощал им погрешности при толковании служебного распорядка.

Про себя решаю: не исключены никакие зигзаги; будем держать посольство СССР в ФРГ в резерве. Стало быть, Царапкина нужно посвящать во все нюансы. Размечаю ему протоколы официальных заседаний делегаций, записи бесед. На случай недовольства министра у меня наготове отговорка – разметка, по которой рассылаются материалы, отражена черным по белому в экземплярах, предназначенных для Громыко и накапливающихся растущей стопкой на его рабочем столе.

23 декабря состоялась последняя из трех бесед министра с послом Аллардтом в рамках подготовительного этапа. Не помню, чтобы Громыко созывал штатное совещание для подведения общих итогов. Он и раньше предпочитал вести беседы вдвоем с заведующим 3-м Европейским отделом. Все реже к обмену мнениями подключали Семенова. Но тут Громыко озадачил меня вроде бы мимоходом оброненной фразой:

– Поручений от Семенова не принимать, дуализм устраняется. Вы подчиняетесь напрямую только мне. Надеюсь, возражений не будет.

Даже когда это произносилось с усмешкой и вопросы имелись, их рекомендовалось не озвучивать.

Я не люблю недомолвок и ужимок. Для чего Семенов время от времени призывался министром на наши совещания (он появлялся также за столом переговоров), если его точка зрения не востребуется? Допустим, Семенов проявит такт и не станет вызывать меня на откровенность. Но вдруг он захочет устранить неясность? Что, отводить глаза или нести несусветицу? Глупо.

Все это, однако, не умаляло того факта, что министр провел подготовительный этап с блеском. Он держался уверенно, не шелестел бумагами, был в меру тверд и достаточно гибок. Не забывал, что с послом ФРГ у них разные весовые категории, но и не выпячивал этого момента. Редко мне доводилось прежде видеть Громыко в столь ровном и доброжелательном настроении, приглашавшем партнеров раскрыться и употребить слова с пользой для дела.

Вызывало уважение, как министр освоился с германской материей, свободно оперировал частностями. У Аллардта должно было создаться чувство, что Громыко в любой момент готов закончить с неизбежными вводными абстракциями и заняться конкретикой. После одного из заседаний я пошутил:

– Чтобы окончить хождения посла вокруг да около, вам, Андрей Андреевич, остается заговорить по-немецки.

– А что, хорошая идея. Как звучит на немецком ваше любимое «взять быка за рога»?

Громыко попробовал раз-другой воспроизвести предложенный ему перевод, потом махнул рукой, заметив, что к концу первого года переговоров немецкая лексика станет ему ближе.

Перерыв на главном направлении позволял немного привести в порядок себя. 10 января 1970 г. умер мой отец. Я зарывался с головой в дела, старался пропустить максимум текущих вопросов, касавшихся советских отношений с ГДР и Австрией, изнурял себя работой, чтобы забыться и смягчить укоры совести – как же недоглядел? Цепь грубейших врачебных ошибок, обусловивших летальный исход, была очевидной и не для специалиста. Мать кипела от гнева, и стоило больших усилий убедить ее оставить намерение рассчитаться с «коновалами».

Громыко проявил к моему горю сочувствие, за что я был ему признателен. Он распорядился ничем меня не занимать в те несколько дней, которые требовались на выполнение сыновних

обязанностей. Австрийский посол, умный и проницательный д-р Водак, направил мне личное письмо с заверениями в поддержке. Послы обоих германских государств связывали мой осунувшийся желто-зеленый вид с непомерной служебной загруженностью.

В середине дня 23 или 24 января 1970 г. раздался звонок министра по прямому проводу.

– Есть сообщение, что Бонн назначает нового делегата на переговоры с нами. Вам что-нибудь известно?

– Разговоры о том, что посольство ФРГ в Москве ждет подкрепления, были. Я докладывал вам об этом. Однако никаких имен и прочих подробностей до нас не доходило.

– Для вашего сведения, будущим руководителем делегации ФРГ называют статс-секретаря Бара. Вы его знаете?

– С ним не знаком, но слышал, что Бар пользуется доверием нынешнего канцлера. Тесно сотрудничал с Брандтом в момент исполнения им обязанностей министра иностранных дел. По откликам людей, контактировавших с Баром, его отличают интеллигентность и незашоренность, умение точно формулировать мысли.

Выражаю готовность навести справки, используя возможности наших посольств в Бонне и Берлине. Министр замечает, что Царапкин сам должен догадаться прислать депешу, когда о назначении Бара будет объявлено.

– Пока же это разговор между нами и приглашение взвесить, не следует ли нам обогатить акценты при открытии следующего этапа диалога, если ваш Бар уж такой незашоренный.

Так еще до прибытия нового западногерманского представителя в Москву Громыко провидчески повязал меня с Э. Баром. Раз он «мой», то резон без отлагательств выяснить, что к чему.

Связываюсь с П. А. Абрасимовым.

– Слышал, что как будто Белецкий и еще кто-то из дипломатов встречались с Баром. Он занял важный пост в Бонне, и хотелось бы узнать, какое впечатление он производил на советских собеседников.

Опытный Абрасимов не спешит выпалить расплывчатое суждение.

– Поднимем архивы и опросим людей. Самое позднее завтра утром созвонимся.

Тут я припомнил, что Валерий Леднев, небезызвестный журналист, мне, однако, больше знакомый по институту, встречался с Э. Баром. Вот кто в состоянии дать точный словесный портрет, если накануне не слишком засиделся в богемном кругу. Одаренный человек был Валерий, но, как

случается среди людей, которым без труда многое дается и не заедает тщеславие, он пописывал комментарии и стремился впитать максимум удовольствий. Ушел из жизни неожиданно для всех – с ним случился удар, когда, сидя за рабочим столом в редакции «Советской культуры», В. Леднев готовил очередную публикацию.

Не сразу разыскал Леднева. Уже поздний вечер, когда мы вступаем с ним в телефонный разговор.

– Эгон – один из оригинальных умов в социал-демократии. Его оценки заслуживают раздумья.

Чуть помедлив, прибавил:

– Если они в чем-то даже субъективны, зато искренни. Тонкокожий, как большинство знающих себе цену. А с чего это интерес к личным качествам Бара? Что, к нему кто-то собрался ехать или его сюда зовут?

– Не телефонная тема, – отвечаю я. – Будет время завтра-послезавтра – подъезжайте в МИД, где сижу безвылазно, переговорим.

Наутро спозаранку, как и обещал, позвонил Абрасимов. Судя по всему, он копнул глубоко.

– Я примерно представляю, почему вас заинтересовал Бар.

Не дождавшись моей реакции, посол продолжал:

– Личность сложная, биография противоречивая. Был сотрудником РИАС. В этом качестве проходил подготовку в США. В беседах с нашими дипломатами держался известных официальных установок. И т. д.

– Это все? – спрашиваю я.

– Друзья относятся к нему настороженно, даже подозрительно.

Словно спохватившись, обогащает предложенный им образ еще одним мазком:

– Никто не подвергает сомнению его ум и обширные знания.

Слава богу, хоть здесь совпадают оценки. Хуже не придумаешь, если идейный противник – глупец.

На всякий случай предупреждаю помощников министра, что Абрасимов может выходить на Громыко со своей информацией, имеющей касательство к переговорам с ФРГ. Прошу сказать министру, если раздастся звонок из Берлина, что эта информация навеяна политическим руководством ГДР.

На другой или третий день секрета с поездкой Э. Бара в Москву больше нет – в его дипломатическом паспорте проставляется советская виза. Он заведомо настроился совершить не мимолетный визит.

В окружении Аллардта заметный бриз. С одной стороны,

никто не дезавуирует посла. Тому и нет причин. С другой – как ни крути – Аллардту приходится уступить свое кресло новому руководителю делегации и отойти на вторую роль.

Бар был представлен советской стороне в качестве «временного руководителя делегации ФРГ». До нашего сведения доводилось, что новый шеф-делегат олицетворяет стремление западных немцев, в свою очередь, поднять уровень диалога. Тут же оговаривалось, что Бару пока не дается полномочий на ведение переговоров. Полномочия будут «досланы», когда обозначится круг переговоров, чего еще не удалось достичь на подготовительном этапе в декабре. На время продолжения диалога с участием Бара за Аллардтом сохраняется положение заместителя руководителя западногерманской делегации.

Необычная композиция: пока не дошло до переговоров, участники диалога свободны сопоставлять любые, даже фантастические проекты, в пояснение своих предложений приводить самые рискованные доводы, пускаться в неизведанные дали, рассуждая о последствиях. Ни одно произнесенное слово не может писаться им в строку и подкреплять позже претензии на своевольное толкование договоренностей, если их удастся достичь. Еще нужно доверие. Без него или хотя бы без допущения, что доверие может возникнуть, и начинать не стоило.

Обмен мнениями между Громыко и Баром открылся в просторной комнате, примыкавшей к рабочим помещениям министра на седьмом этаже высотного здания МИДа. По крупному счету, именно с советско-западногерманских встреч в ней и повелась летопись многих происходивших здесь дипломатических свершений.

Громыко тепло приветствовал своего нового визави. Сидевшие за столом с затаенным дыханием следили за процедурой передачи послом эстафеты. Из скупой громыкинской копилки досталась строго выверенная доза комплиментов также Аллардту. Последний старался хранить невозмутимость, в упор рассматривая лежавшие перед собой листы бумаги. Вступительные слова Громыко, их уважительная тональность сняли напряжение, к вящему удовлетворению всех присутствовавших.

Не за один присест и не в один заход стороны умерили давление логики насилования истории с извечным «кто виноват?». Продуктивнее обещал стать метод поиска возможных практических решений, несмотря и вопреки различиям во взглядах на прошлое, настоящее и ближайшее будущее. Вкупе с пониманием того, что в фазе набросков и прикидок, в которой мы пребывали, не выдается никаких формализованных обещаний и

не принимается обязательств. Переговоры впереди, если удастся выкристаллизовать их предмет и рамки.

Громыко и Бар могли обозначать только что описанное в других терминах или вообще воздерживаться от уточнения вслух методологии. За столом переговоров последнее чаще всего излишне. Первый раунд, однако, с его пятью беседами, проведенными в разном составе с 30 января по 17 февраля, ставил нас и, склонен полагать, также правительство СДПГ/СвДП перед дилеммой: остаться на проторенной колее или думать об оздоровлении советско-западногерманских отношений. В нестандартных ситуациях нет патентованных рецептов. Когда-то надо было смириться с этой мыслью, коль скоро имелось желание примирить наши государства.

Никакими письменными проектами стороны не обменивались. В необязывающей форме каждая делегация для себя подмечала пункты, где, судя по высказываниям, намечалось сближение взглядов или совпадение намерений. Естественно, здесь могли накапливаться небезупречные варианты «для сведения», несовпадающие протокольные записи. Это, однако, не давало оснований обвинять кого-нибудь в «податливости» или «задиристости», в приторговывании «жизненно важными интересами» и даже «принципами».

На определенные раздумья по-прежнему наводило понятие «отказ от насилия». Что вытекает из несоблюдения или нарушения действующих норм международного права? Потребность в заключении новых договоров? Да, подтверждение неприменения силы не помешало бы, если бы… Вы понимаете, что имеется в виду.

Где прибежище? В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, заметил поэт. Политикам поэты не указ. Их влечет расхожая формула – новый договор не затрагивает прежних договоренностей сторон. За отсутствием лучшего тоже выход. С точки зрения проатлантических фракций ФРГ – предпочтительный. В отличие от трех западных держав Советский Союз должен был по принципу взаимности нести на алтарь свои права. Во имя уважения одних реалий отказываться от других.

Сплошь вопросы, вопросы. Какими будут ответы? Стороны настолько завязли в крайностях, превратили свои максималистские требования в национальные святыни, что даже при искреннем желании принять во внимание интересы партнера располагали урезанной свободой поиска.

Прецеденты мало что были в состоянии просветить и подсказать, кроме, понятно, одного: решающее слово надо признать за здравым смыслом. Перепевы силового мышления

ничего не могли дать, эти тропы давно были исхожены и до противного знакомы.

Неординарная ситуация, здравый смысл. К месту вспомнить Т. Пейна, американского просветителя XVIII в.: «Когда опыт прошлого не помогает, мы должны вновь обратиться к первопричинам и рассуждать, как будто мы первые мыслящие существа на Земле». Только ведь легче так сказать, чем вступить в неизведанное, вызывая на себя беспощадный огонь хранителей и ценителей неколебимых истин. Их у нас еще называют святцы.

Первый раунд переговоров кончился конструктивно. Министр информировал политическое руководство о результатах в выражениях преимущественно обнадеживающих – вырисовываются сдвиги, кое-где наносное устранено и можно браться за суть. В целом понадобятся еще немалые усилия, прежде чем встанут прочные опоры под мосты, которые соединят Советский Союз и Федеративную Республику.

По свидетельству Александрова и Русакова, сообщение Громыко не вызвало оживленной дискуссии на политбюро. МИДом выдавался аванс на устранение неясностей и двусмысленностей. Оставалось пожелать министру терпения и успехов при штурме цели, которая – нормализация взаимоотношений с ФРГ при должном уважении европейских реальностей – сама по себе не подвергалась сомнению.

Громыко как будто предчувствовал, что ему предстоят сложные объяснения в Берлине и не очень приятные в Варшаве.

Руководство ГДР свыкалось с тем, что международно-правового признания Восточной Германии не получится, но обязывающее в международно-правовом смысле признание реальности существования второго германского государства – Германской Демократической Республики – достижимо. Очень хотелось, выведя ГДР на международную арену, сделать «главной заграницей» для нее именно Федеративную Республику. Очеловечение «внутригерманских отношений»? Когда-нибудь, если это вообще возможно. Пока же размежевание, выпячивание несходств, программировавших противоположное будущее.

Соответственно советской стороне давалось задание – добиваться такой категоричности обязательств, которая сводила бы на нет посягательства Бонна на суверенность ГДР. Выполнением этого пожелания-требования обусловливалось добро на договоренности в целом.

Разговор 25 февраля 1970 г. с В. Гомулкой приобрел неожиданный оборот. Громыко, разумеется, имел возможность подробно изложить и прокомментировать ход бесед с Аллардтом и Баром. Министр ничего не приукрашивал, но в деловой подаче

материала выделял, что тоже понятно, выигрышные моменты.

Я наблюдал в это время за польским лидером. Почти каждому знакомо, когда слова пролетают мимо внимания собеседника. Громыко говорил, а польский руководитель думал о чем-то своем. О чем?

Поблагодарив министра за приезд для консультаций в Варшаву, В. Гомулка отметил, что нельзя подвергать сомнению большой труд, проделанный советскими товарищами в обменах мнениями с ФРГ. Движение вперед налицо. Иначе правые не неистовствовали бы так в самой Федеративной Республике. Кажется, Гомулка снимает озабоченности, которые возникли после сообщения советских представителей в Варшаве, предупредивших министра сразу после приземления, – по границе Одер – Нейсе поляков устроит только совершенная «недвусмысленность».

– Если советская сторона находит, – продолжал Гомулка, – что достигнутый уровень согласия может быть принят за основу ее договоренностей с западными немцами, то поляки примут сей факт к сведению. Однако с позиций Варшавы пока рано делать вывод, что вызрело решение вопросов, имеющих для поляков жизненно важное значение.

Наступила пауза. Громыко поясняет, насколько сложно дается каждый политический микрон, и спрашивает, как поступим, если фронты застынут? Гомулка отвечает прямо и бесхитростно: значит, подтвердится опасение, что ФРГ не готова к конструктивным переменам; поляки предпочтут подождать, когда немцы созреют для них. В общем, он повторил то, что в декабре 1969 г. сказал Брежневу.

Разговор еще теплится, вяло, скорее по инерции, ибо роковая мысль прозвучала. Советский Союз, которому было доверено вести диалог не только от собственного имени, с задачей справляется на тройку. Хорошо, что мы с западными немцами, погрузившись в аранжировку мелодии, не преуспели в спевке текстов. А то хоть караул кричи. Достигнуть сближения с Федеративной Республикой ценой глубоких расхождений с союзной Польшей? Об этом не могло быть и речи.

На пути в Москву Громыко был воплощением деловитости. Он никого из нас ни в чем не упрекал. Дело нормализации в центре Европы он принимает почти за предначертание, относя на свой счет и достижения, и издержки на тернистом пути. Это было далеко не само собой разумеющимся в советской политической действительности и, думается, заслуживает быть отмеченным.

Министру предстояло докладывать о консультациях в Берлине и Варшаве. Ведь только что он уверял, что выжал

западногерманский лимон до предела, а поляки находят, что наш максимум не дотягивает до их минимума. Нетрудно себе представить, как возликуют Суслов и Пономарев.

Напоминаю Громыко, что переговоры с ФРГ еще впереди. На стадии интенсивного обмена мнениями лишь проясняются области, где согласие возможно, но само качество этого согласия не поддается оценке. И суждение Гомулки может считаться напутствием нашей стороне на будущее. Кроме того, сомнительно, чтобы умный и опытный польский лидер предавался иллюзиям, что в прямых контактах с ФРГ добьется большего, чем сможет наработать Советский Союз.

Громыко посетовал на то, что непоследовательно делал ударение на зондажный характер бесед с Баром. И высказал мысль о необходимости по возобновлении встреч с Баром развить большую энергию, действовать наступательнее, тверже очерчивать интересы СССР и его союзников.

Второй (3–21 марта) и третий (12–22 мая 1970 г.) раунды бесед с Баром, как и ожидалось, были отмечены подъемами и спадами. Давали себя знать не только объективное развитие позиций сторон, но и применявшаяся ими тактика защиты своих взглядов.

Не сразу это случилось. Вначале Громыко не особенно отклонялся от маршрута, намеченного в соответствии с данными о пределах достижимого. Отмечались отдельные сбои в графике движения, что вполне объяснимо и не слишком существенно. Но затем министр стал грести под себя, никого не слушая. Временами он являл собой широко известного из прошлого неприступного В. М. Молотова – «мистера Нет», не ведавшего альтернатив.

Министр игнорировал предупредительные сигналы, которые подавал Э. Бар: если советскую сторону не устраивает суть новой «восточной политики» социал-либералов, она вольна поискать других партнеров среди более сговорчивых немцев. Громыко не откликался на колкости, независимо от того, учинялись ли они на пленарных заседаниях или при встречах в узком составе.

Что-то надо было предпринимать. Неужели мы ничему не в состоянии научиться? Сколько раз завышенные желания подсекали ростки реального, сколько было упущено возможностей из-за идиотской склонности контрагентов выкраивать себе в любой ситуации тогу победителя. Теоретически у нас признавалось, что договоренностям придает прочность добровольность их заключения и взаимная выгода. И как не признавать, если это исходило от Ленина. Но на практике. Лучше не вспоминать.

Держу совет с А. М. Александровым и А. И. Благовым. Они в свою очередь перепроверяют обоснованность моих суждений, общаясь с Ю. В. Андроповым. Вывод однозначен: налицо опасность неверного истолкования процессов в восточной политике ФРГ, непонимание пределов, которые ставит социал-либеральной коалиции внутренний западногерманский расклад сил. Целесообразно создать механизм подстраховки, причем неоспоримого для Громыко свойства, чтобы попытка конструктивного поворота в отношениях между СССР и ФРГ не расстроилась.

Условливаемся о том, что помощники делают сводный доклад Брежневу. При этом акцентируется, что переговоры, по сути, вступают в ключевую фазу и требуют пристального внимания высшего политического руководства.

Во избежание тенденциозности освещения происходившего договорились наряду с мобилизацией информационных потенциалов КГБ и Министерства обороны создать постоянный рабочий канал связи, назовем его для краткости «Александров – Фалин» (в отсутствие А. М. Александрова его функции должен был выполнять Е. М. Самотейкин), по которому к Брежневу поступали бы сведения, почерпнутые из личных контактов с западногерманскими представителями, и соображения по ходу обмена мнениями с западными немцами с опережением на один-два темпа моих докладов министру.

Генеральный секретарь примкнул к нашему «заговору». Позже его порой забавляло, когда Громыко вещал о температуре за столом переговоров, опуская для «упрощения» детали, без которых позиция ФРГ походила на протянутый сквозь прокрустово ложе торс. Брежнев не выдавал, что заранее был посвящен нами в суть дела. Делая вид, что хитросплетения дипломатии ему чужды, он ставил нацеленные вопросы, как бы навеянные интуицией, и настойчиво рекомендовал министру – не перегибать.

В общем, подстраховка или перестраховка. Она выручала в критических ситуациях, что возникали из-за трудностей адаптации сторон и характеров на совершавшиеся в мире перемены.

Отдавал ли Громыко себе отчет в том, что бескомпромиссные требования нереалистичны? Судя по всему, полностью от тверди земной он не отрывался и порой напускал на себя суровость больше для протокола. Может быть, для оправдания перед потомками.

Встречи на министерском этаже постепенно дополнились рабочими «ад хок» группами, где оттачивались отдельные

позиции. Не ощущалось дефицита в материале для моих контактов с Э. Баром. Обычно мы прокручивали с ним варианты выхода из тупиков, что возникали или назревали на пленарных заседаниях. Мне, конечно, не давалось полномочий говорить за руководителя советской делегации, но думать не запретишь. От раздумий про себя до размышлений вслух дистанция измеряется вашей гражданской позицией – хотите вы помочь расчистить атмосферу на самих переговорах, составить более глубокое представление о смысле позиций другой стороны, что тоже полезно при подготовке предложений, двигавших дело, тогда действуйте.

Крайне туго притирались подходы к территориальным проблемам. Громыко пребывает по этому поводу в перманентно взвинченном состоянии. Если тут не обозначится прорыв, то насмарку обрекалась солидная работа, выполнявшаяся на остальных направлениях. Звонок министра рано поутру.

– Вы философствуете с Баром о чем угодно, только не о признании существующих границ, – услышал я знакомый в разных тональностях голос. – Попробуйте разобраться без свидетелей, почему здесь у немцев одышка. Обставить надо так, чтобы встреча не носила чрезвычайного характера. Но не откладывайте. Поняли меня?

Чего не понять. Если Громыко с утра вспоминал про философию и философов, значит, либо дома у него не та кошка пробежала, либо имел с Брежневым взбадривающий разговор.

Упрек, что Бар и я искали легких тем, был вовсе не заслужен. Министр знал, что территориально-пограничная тема всплывала во время наших сидений не однажды, и не кто иной, как Громыко, дал мне указание по своей инициативе ее не развивать и в основном слушать, если Бар захочет что-либо сказать. Министр заботился о том, чтобы ничье лишнее слово не расстроило его собственного, никому толком не ведомого сценария.

Условливаемся с Баром о рабочем завтраке. Прошу его зарезервировать достаточно времени для разговора за кофе один на один. Уединение покажется вполне уместным, если нас будут сопровождать дипломаты не самого высокого ранга.

Примерно три четверти часа ушло на протокольные церемонии и обмен мнениями по организационным деталям назначенного на завтра пленарного заседания. После этого мы переходим с Баром в соседнюю гостиную.

Архитектор Ф. О. Шехтель, строивший особняк для Саввы Морозова (он находится на улице Спиридоновка), понимал толк в уюте. Двое ли вас или добрая дюжина – помещение принимает гостей одинаково приветливо в свои объятия, а каждый предмет

старинной обстановки, пейзажи на стенах, исполненные М. Клодтом, А. Киселевым, Н. Сверчковым, другими русскими художниками, располагают к собеседованию.

Итак, где мы находимся и можем ли найти общие мысль и слово, чтобы выразить необходимое, не тараня ни Сциллу, ни Харибду? К этому моменту мы с Баром уже прошли некоторые премудрости – неформальные зондажи, прояснение отдельных мыслей, привлечение внимания к вводимым в оборот новым терминам и вариантам, порой теряющим параметры или вовсе пропадающим при переводе, разгрузка в недипломатической атмосфере от напряжения, которое обуревает после толчеи воды в ступе за официальным столом, где каждый слог, немой вопрос, кивок головы или жест руки берется на заметку. Но дивиденды потекут тогда, когда на практике убедитесь, что искренность ваша встречает отклик, что налицо совпадающий интерес, может быть, при различных побудительных мотивах.

– Что будем делать: констатируем неспособность сторон вырваться из набивших оскомину стереотипов и подтвердим, того не желая, обоснованность и уместность всех прежних заблуждений, ошибок и упущений? Или поменяемся на несколько минут местами – вы войдете в положение Громыко, а я попытаюсь проникнуться заботами и чувствами, ставшими частью менталитета ФРГ, и поколдуем над возможной развязкой территориальной проблемы? Вроде бы в нашем распоряжении имеются почти все необходимые элементы для выражения договорного обязательства, основывающегося на реально существующем положении. Надо бы их сложить воедино, но без того, чтобы возникал крен на правый или левый борт. Попробуем?

Э. Бар порывается высказать недовольство и недоумение по поводу прессинга, которому подвергает его наш министр:

– Громыко должен бы понимать, что покуда, особенно на пленарных встречах, им отстаиваются крайние взгляды, в ответ он может услышать лишь жесткие контрпозиции немецкой стороны.

– Что нужно было сказать для протоколов и для слуха союзников, произнесено и повторено министром и вами под самыми рафинированными соусами. Здесь нас никто не слышит и не записывает. Предлагаю не тратить время на эмоции и проинвентаризировать, достаточно ли для успеха строительных конструкций, уже выставленных на обзор, если нет, то перепроверить, не пылится ли что-то по сусекам.

Мой партнер не просто согласен. Он систематизирует все, что заявлено Бонном и Москвой относительно границ в Европе с

момента создания социал-либеральной коалиции, демонстрируя великолепную память и дисциплинированность интеллекта, а также способность к лапидарным формулировкам. Мне остается упомянуть о консультациях Громыко с Гомулкой и Ульбрихтом, оттеняя мысль о том, что советская сторона поставлена в определенные рамки как своими национальными интересами, так и обязательствами перед союзными государствами.

На в высшей степени интенсивный диалог ушло часа полтора. Не стану перенапрягать внимание читателей подробностями работы над формулировкой, которая почти без изменений войдет в будущий текст договора. Заранее отвожу возможное желание доискаться, кому из нас двоих пришли в голову принятый порядок слов и сами слова. Пустое это занятие, если учесть посылку – мы менялись местами и в сумме видели себя не экспонентами противоборствующих школ, но, если угодно, оппонентами тех группировок в обеих наших странах, которые приспособились к климату холодной войны и очень преуспевали в подледном лове, в мутной к тому же воде.

Не должно быть понятия «признание». Это ясно. Не может быть вместе с тем двусмысленностей, из которых при любом неблагоприятном повороте вылезет шило разночтений. Тут тоже имелось взаимопонимание. Выход? Он в применении свежих словопостроений, которые, между прочим, затруднят ссылки на прецеденты и побудят толковать будущий договор, исходя из него самого. Об этом у нас будет еще повод поговорить.

Перед Баром и мною неисписанные блокноты. Они понадобятся только под конец, когда, не знаю сколько раз, повторенные обороты речи сами запросятся на бумагу. Одна, другая, финальная редакция уже с карандашом в руке. Опять перепроверяем себя на слух. Звучит необычно, и в то же время в каждой строке чувствуется логика, баланс политических и правовых понятий выдержан, стыки между подходами сторон заметны разве что придирчивым экспертам.

– Ставим точку? Как будем докладывать?

– Как «предварительное предложение», имеющее добро главы делегации ФРГ, но требующее санкции из Бонна, – говорит Бар. – Боюсь, что я превысил или, вернее, вышел за данные мне письменные инструкции. Естественно, я буду рекомендовать Брандту и Шеелю поддержать плоды наших усилий при условии, что Громыко в свою очередь примет компромисс и прекратит давить на делегацию ФРГ.

Состояние Бара чем-то схоже с состоянием музыканта сразу по завершении сольной партии в классическом концерте. Напряжение долго не отпускает его. Аплодисменты для того и

придуманы, чтобы помочь маэстро спуститься с облаков. Пытаюсь шуткой снять его напряжение:

– В отличие от вас никаких инструкций у меня не было; Громыко может в порядке поощрения высечь своего заместителя по делегации по первое число и лишить его права голоса.

Партнер не вдруг откликается.

– Если ваш министр, – размыкает он уста для монолога, – то…

Я продолжаю за Бара:

– …пусть он ищет себе другого участника переговоров.

Назавтра назначено пленарное заседание. Надо точно передать на русском языке формулировки, существующие пока в немецкой редакции. В правовой и политической областях это особое искусство. Между тем Громыко с нетерпением ждет моего сообщения. Пока мы с Баром мудрствовали, из секретариата министра интересовались, когда можно рассчитывать на мое возвращение в МИД. Вот, оказывается, с чем пытались проникнуть в гостиную мои советники и натолкнулись на суровое:

– Не мешать! Пейте чай или все что угодно и позаботьтесь, чтобы никто не нарушал наше уединение.

Звонить Громыко? Нет. Сначала доложу Брежневу. Набираю номер телефона его помощника Самотейкина.

– Просьба записать и срочно показать генсеку «предварительное предложение», которое может быть внесено на ближайшей официальной встрече делегаций.

Диктую с ходу русский текст. Для некоторых терминов даю варианты перевода на выбор.

Прошу при докладе сделать ударение на замечание Бара, что он исчерпал свои полномочия и где-то даже, возможно, их превысил. Следовательно, как бы министр ни настаивал, Бар не в состоянии дальше пойти навстречу его требованиям.

Самотейкин замечает, что вроде бы и нет причин на чем-то еще настаивать. Формулировки кажутся ему убедительными по существу, хотя несколько непривычными по форме.

– Вот так и скажи Леониду Ильичу. Постарайся разъяснить ему, что наши и наших союзников интересы соблюдены и что если сие сделано в уважительном для ФРГ стиле, то это плюс для нас самих. Через час буду у себя. Сообщи мне, пожалуйста, как генсек воспринял новость.

Связываюсь с министром.

– Вкусно кормят и поят в особняке? Наверное, поэтому вы засиделись, – ворчит Громыко. – Можете быть через четверть часа у меня?

Потом интересуется:

– Полезный был разговор? Приоткрыл скупой рыцарь свою шкатулку?

– Есть новости. С моей точки зрения, достойные внимания.

– Жду вас. Вот мы и сравним наши точки зрения.

Понимай как хочешь.

Слава богу, автомашина нашлась, и в означенное время я добрался до приемной Громыко. Он с кем-то общается по телефону. Очень кстати. Использую несколько минут, чтобы выполнить подстрочный перевод сложных пассажей. На отработку редакции времени, однако, не остается. Помощники приглашают пройти к министру.

Привычное «Ну, как у нас?». Это в случае, когда Громыко в уравновешенном состоянии. При скверном настроении вопрос звучал бы «Что там у вас?».

– Главная новость в рабочем проекте по границам. Если не будет возражений, то с нее я и начну.

– Слушаю.

Знакомлю министра с русским вариантом формулировок. Громыко переспрашивает, насколько адекватны термины на двух языках, совпадают ли временные формы. Он задерживается на слове «нерушимость». Интересуется, есть ли другие эквиваленты у соответствующего немецкого понятия.

Разумеется, можно сказать «ненарушимость», «неприкосновенность». Последний термин, однако, тоже вводится в проект, но точнее передается другим немецким словом. Употребление близких по смыслу выражений восполняет отсутствие понятия «признание». «Нерушимость» или «ненарушимость» – что лучше вместо привычной «неприкосновенности»? Новый термин привлекателен, на мой взгляд, и внутренне теснее связан с отказом от насилия.

Громыко что-то прикидывает, делает карандашом отметки в своем большом блокноте. Потом говорит:

– Нет. «Неприкосновенность» звучит убедительнее, чем «ненарушимость». Давайте-ка взвесим, чему отдать предпочтение: «нерушимости» или «неприкосновенности».

Снова привлекаю внимание министра к тому, что понятие «неприкосновенность» в немецкой редакции используется в более широком контексте. Если же по-русски будет сказано «неприкосновенность», а на немецком говорится о «нерушимости», юристы МИД ФРГ могут возразить. Если и промолчат, то потому, что «нерушимость» олицетворяет более твердое обязательство. Кроме того, наличие обоих терминов в немецком тексте полнее отвечает смыслу советского требования о признании послевоенного территориального устройства в Европе.

Не нужно было столь назойливо подводить Громыко к мысли, что требование признания по всей форме теряет актуальность. Нарвался на раздраженное:

– Хоть десять раз повторите «неприкосновенность», признания все равно не получится. И вы с Бароном это прекрасно знаете.

– Но правительство ФРГ не пойдет на формализованное признание новых германских границ. Это невозможно хотя бы из-за неготовности Бонна согласиться с международно-правовым признанием ГДР. Нас же не устроило бы, если бы статус внутригерманской границы разнился от статуса внешних границ Германии.

– Что вероятно или невозможно, еще предстоит выяснить. Тут требуется политическое решение. Оно не в нашей с вами компетенции. Вернемся лучше к русскому тексту. Какой вариант будем докладывать: «нерушимость» или «неприкосновенность»? Вы склоняетесь к первому. Он чем-то импонирует и мне. Условимся так: вы продиктуете в моем секретариате обе редакции, тем временем я еще подумаю. А в общем вы с Бароном свой хлеб отработали, хотя, полагаю, ваш сегодняшний собеседник кое-что припас для завтрашней встречи со мной.

Поручение Громыко я, естественно, исполнил. Но настроение явно испортило намерение министра совершить назавтра очередную атаку на Бара. Если честно, погасло желание выкладываться из последних сил. Накатилась усталость. Впервые за последние месяцы я покинул служебный кабинет засветло – стрелки часов еще не перешагнули двадцати одного часа. До этого снова переговорил с Самотейкиным и нашел способ предупредить Бара, чтобы до открытия заседания с участием министра он обязательно сконтактировался со мной.

Самотейкин сам несколько раз пытался выйти на меня, и все неудачно. Зато теперь он мог рассказать не только о реакции Брежнева, но и о его разговоре с Громыко.

– Генсек очень доволен вашим «предварительным предложением». Похвалил тебя. По его мнению, решающий шаг к договоренности сделан. Он надеется, что формулировки удовлетворят поляков и ГДР. Леонид Ильич подводил Громыко к выводу, что нажимные требования выполнили свое назначение. Но ты же знаешь министра. Он обещал «вывести Бонн на признание». Ряд признаков, по его словам, сулит успех. Генсек заметил только: «Тебе, Андрей, виднее».

Утром я вместе с делегацией ФРГ прошел в комнату переговоров. Предупреждаю Бара, что вопреки увещеваниям Брежнева и моим пояснениям министр собрался пощекотать ему

нервы. Советов не даю, но жаль было бы, если бы пострадала в целом деловая атмосфера, отличавшая беседы до сих пор.

Бар не скрыл огорчения:

– Больше, чем сделано вчера, Громыко не получит. Меньше может, если возникнет впечатление, что я действовал под нажимом. И без скандала ваш министр почувствует все мое недовольство.

Он собирался что-то сказать еще, но в этот момент появился Громыко. Поздоровался за руку с Баром и Аллардтом, жестом пригласил всех садиться за стол. Покосился испытующе на меня:

– Хотел рассказать вам о реакции Брежнева на вчерашнюю историю. Но вы почему-то обошли мой кабинет.

Дежурные вводные реплики. Далее руководитель советской делегации цветисто порассуждал о небесполезном поиске развязки по территориально-пограничной проблеме, чтобы в конце концов изречь – описание сложившегося положения не тождественно его признанию. Без признания послевоенных европейских реальностей любая договоренность об отказе от использования силы теряет многое в своей привлекательности и назначении.

Я передал смысл сказанного министром. Семантика была не вызывающей, где-то даже элегантной. Громыко мог, не перенапрягая совесть, доложить Брежневу, что провел заседание, никого не задевая.

Бар сцен не устраивал. Он констатировал, что его делегация инструкции по данной теме исчерпала.

Главы делегаций продолжали еще что-то говорить, старательные советники и секретари превращали звуки в стройные ряды букв и слов. Но у этих слов не было крыльев, они падали, как листья с дерева по осени.

Для всех за столом, кроме Бара и меня, случившееся было сюрпризом и воспринималось по-разному. Интересовала реакция Аллардта. Он слушал Громыко совершенно невозмутимо, но, когда министр занялся повышением ставок, перевел взор на Бара. Желал, видимо, удостовериться, откажет статс-секретарю выдержка или нет? Посол, уверен, не раз просвещал шеф-делегата ФРГ насчет отточенного умения советского партнера устраивать купель в проруби. Его прогноз сбывался. У нас в подобных ситуациях говорят: мелочь, но приятно.

В гнетущем настроении расходимся.

Вечером в тот же день или назавтра звонок из Министерства гражданской авиации (МГА) – поступила заявка на прилет в Москву спецсамолета для делегации ФРГ, ведущей переговоры с Громыко. Не будет ли рекомендаций от МИДа?

– МИД – это министр. Я могу высказать только мнение: обрабатывайте заявку без задержек и доброжелательно.

А еще через несколько часов со мной связывается Громыко:

– Вы слышали, что Бар вызвал самолет?

– Есть сообщение из МГА, что подана заявка на пролет территории СССР с посадкой в Москве спецсамолета для делегации ФРГ.

– Бар вознамерился прервать обмен мнениями и отбыть в Бонн на консультации. Вам поручение. Немедленно сконтактируйтесь с ним и убедите, что перерыва не должно быть. Под вашу ответственность – Бар не должен улетать в ФРГ. Вы поняли меня? Это – поручение политбюро. Как только переговорите с Баром, звоните мне на городскую квартиру.

Министр посадил лодку на рифы, а снимать извольте другие. Да делать нечего.

Навожу справки, где может быть Бар. Посольство ФРГ уклоняется от конкретного ответа, резиденция Аллардта молчит. Наконец узнаю, что Бар отправился за город. Он снимает пробу с русской кухни в Архангельском. Как-никак суббота. Нормальные люди давно предаются отдыху.

Звоню в ресторан. Пробиться туда – подвиг. Телефон либо занят, либо молчит. Не знаю, с какой попытки откликается администратор.

– Да, иностранные гости есть. Но их несколько, туристы. Как разобрать, не привлекая всеобщего внимания, где нужный вам Бар?

– Во-первых, это не туристы, а деловые люди, и наверняка сидят в основном мужской компанией. Во-вторых, учитывая высокий статус гостя, в зале должен быть сотрудник службы безопасности. Обратитесь к нему, он поможет передать Бару, что посол Фалин хотел бы срочно переговорить с ним. Укажите, пожалуйста, в записке мой телефон.

Не успеваю положить трубку на рычаг, звонит Громыко:

– Нашли Бара?

– Установил место, где он находится. Ресторан «Олень» в Архангельском. Жду, когда его известят об интересе к нему.

– Пустячное дело, а вы за два с лишним часа ничего не прояснили. Бар не должен улететь, остальное меня не касается.

– Улетит Бар или не улетит, решит он сам. Я смогу передать сообщение о вашем предложении продолжить переговоры без перерыва.

– То есть как это Бар решит сам? Я предупреждал, что вы выполняете поручение политбюро и это поручение дано лично вам.

Хоть стой, хоть падай. Брежнев устроил ему выволочку, и строгую, а министра не посетила лучшая мысль, как переложить ответственность на меня в упреждении зримого для внешнего мира кризиса на переговорах.

На фоне вынужденной паузы, продиктованной расхождениями по принципиально важной проблеме, у многих проснулось бы желание установить, кто пошел на попятную, когда пробьет час улаживать раздор. Уступать пришлось бы нам. Устраивать публичный политический стриптиз? Почему-то министр обычно взвешивал про и контра маневра, который стоил бы нам полшага-шаг и смотрелся как нормальная эволюция позиции, с необъяснимым запозданием. Но загнанный (часто самим собой) в угол, он не считал зазорным жертвовать капитальными ценностями.

Как бы то ни было, Бар не улетел. Заявка на пролет спецсамолета оказалась убедительнее, чем деловые аргументы, доводившиеся им до сознания Громыко. Усмиряя и теша свое упрямство, министр еще будет возвращаться к «великой» уступке – снятию требования о признании новых границ в Европе. На встрече с Шеелем 29 июля 1970 г., например, Громыко изобразил отход от первоначального советского требования как «очень сложный и политически болезненный для нас процесс». За эту уступку он хотел иметь встречные уступки или хотя бы понимание со стороны ФРГ жесткой обусловленности и взаимозависимости отдельных элементов достигнутых договоренностей.

Нет худа без добра. «Несгибаемая», а после фиаско с Гомулкой и вовсе застывшая линия Громыко по территориальной проблеме в известной мере способствовала размягчению противостояния на других участках обмена мнениями, выходу Федеративной Республики на принятие реальностей без употребления понятия «признание».

После вынужденной посадки Громыко, произведенной вслед за несостоявшимся отлетом Бара, дело и вовсе двинулось вперед в отменном темпе. Точек соприкосновения набиралось даже больше, чем требовала договоренность об отказе от применения силы. На встречах глав делегаций и пленарных заседаниях в полном и узком составе, в речах на протокольных мероприятиях и, понятно, в ходе обмена мнениями Бара с Косыгиным, выступлениях Брандта и Шееля, Брежнева и других советских официальных лиц сказано было предостаточно. Оставалось все это систематизировать, то есть сбалансировано расставить приоритеты и ударения. Сбалансированность предполагала применение равной меры взвешенности и такта в оценке позиций

сторон, а также исключение внутренних противоречий и недосказанностей, из которых, по опыту, рождаются различные интерпретации и конфликты.

В памяти события тех дней слились в несколько резко очерченных блоков. Запечатлелись не даты, а зигзаги, которые под воздействием тектонических явлений самописец выводил на фатально тянувшейся ленте. И откровенно меня удивило, когда, заглянув в «Архив современности» в ФРГ, я удостоверился: с 18 по 22 мая 1970 г. мы с Баром провели пять встреч, выстраивая сводный доклад о выполненной сторонами работе. В случае одобрения правительствами он должен был лечь в основу официальных переговоров между министрами иностранных дел СССР и ФРГ.

22 мая наш проект можно было выносить на последнюю, 14-ю встречу Бара с Громыко в рамках трех раундов обмена мнениями. Вы не ошибетесь, читатель, предположив, что министр на каждом отрезке моих контактов с Баром держался в курсе мельчайших подробностей. Мне было дано право в любой час дня и ночи связываться с Громыко очно или по телефону, и должен заметить, что разговоры велись в спокойном ключе и профессионально. Как редко до той поры и почти никогда после.

Плод энергичных и целеустремленных усилий известен. Он вошел в летопись под именем «бумага Бара». Документ если не уникальный, то незаурядный в любом случае. 10 пунктов, словно 10 заповедей, должны были перевести советско-западногерманские отношения на качественно новую орбиту. Четыре из этих пунктов составят ткань Московского договора. Остальные превратятся в заявления о намерениях, которые скрепили своими визами советник посольства ФРГ в Москве Пеккерт и я.

Почему вдруг Пеккерт, который в ходе обмена мнениями и затем переговоров уста не разомкнул и участия в нашей работе с Баром над 10 пунктами, по сути, не принимал? Громыко задумался было над этим вопросом.

– Я видел этого господина? Как он хоть выглядит?

Потом, сопроводив свои слова выразительным жестом руки, произнес:

– Если Бонн уполномочит на формализацию своих обязательств референта посольства, нас это не должно заботить. За советскую сторону визировать будете вы… Если не возражаете против соседства Пеккерта. Мелочатся ваши немцы, никак не найдут себя в большой политике.

Еще один по-своему любопытный штрих. Э. Бар ведет консультации на Рейне. Скандал с лансированием в прессу текста

доклада по итогам обмена мнениями пока не разразился. В советском МИДе закончено оформление записей официальных и рабочих встреч с представителями ФРГ, а также ГДР, Польши и других социалистических стран. Я счел должным зафиксировать основное содержание нашего разговора с Э. Баром, позволившего преодолеть тупик в территориально-пограничной проблеме. На всякий, как говорится, пожарный случай.

Разбираюсь с дипломатической почтой. Австрийское направление представлялось мне незаслуженно затененным и даже недооцененным в деятельности министерства. Послами в Вену попадали люди, снискавшие благосклонность начальства, да и то на отсидку перед пенсией. И. И. Ильичев и А. А. Смирнов являли собой исключение. Западноберлинские ребусы задают загадки. Самая пора, если не опоздали, вникать в германо(ГДР) – германский(ФРГ) диалог. У друзей свое видение перспектив. Нам не возбраняется проанализировать его в ракурсе советских стратегических интересов.

Зуммер прямого аппарата министра.

– Слушаю, Андрей Андреевич, добрый день.

– Добрый день. Макаров (руководитель секретариата министра) положил мне на стол запись вашей беседы с Баром. Что-то в ней меня смущает. Незнающий человек прочитает и подумает, будто тема границ только и всплыла в этом разговоре и вы вдвоем с ходу выдали формулу решения. Мы-то с вами знаем, как оно было, а вот другие…

– Правильно я понимаю, что вы не возражали бы, если бы запись этого разговора с Баром не фигурировала среди материалов переговоров и не осела в архиве?

– Пожалуй, верно. Тот разговор уже сыграл свою роль и особой надобности в его письменном фиксировании нет.

– Хорошо. Так и сделаем. Свой экземпляр я уничтожу, а Макаров позаботится, чтобы первый оттиск никуда далее не пошел.

Громыко засветился для меня еще одной гранью. Его тщеславие было видно и невооруженным глазом. Но чтобы до такой степени! Вдруг «монах трудолюбивый», как в пушкинском «Борисе Годунове», найдет наш «труд усердный, безымянный и пыль веков от хартий отряхнув…», удостоверится, что Громыко не в одиночестве тянул лямку, были и другие, ему помогавшие. Конфуз. Как же цепко засела в нас византийщина!

Объяснение с министром неприятно резануло. Держи ухо востро. Заклятые друзья подведут тебя под монастырь. Не ведал тогда я, не гадал, что через год мы на этой стезе разминемся с Громыко. Всерьез и надолго.

Большой переполох вызвало в Москве разглашение в ФРГ доклада правительствам СССР и ФРГ по итогам трех раундов обмена мнениями между Громыко и Баром (частично 12 июня в «Бильдцайтунг» и полностью в «Квик» 1 июля 1970 г.). Нарушение доверительности, как правило, безошибочный признак накала внутренних свар.

Во фракциях правительственной коалиции усилился разброс мнений. Правительственный аппарат оказывал социал-либералам нарастающее сопротивление. Чиновный люд прибегал к опробованному средству: организации утечек в консервативную и националистическую прессу.

Министр придирчиво допрашивал меня, не дурачат ли нас западные немцы. При следующей встрече его интересовало, каковы в свете боннских пертурбаций перспективы переговоров, в частности в их временном разрезе. Он обвинял руководителей коалиции в несерьезности. Доводы, что новое правительство переняло старый аппарат, сформированный в годы холодной войны, не действовали.

– Я отлично знаю, – утверждал министр, – когда есть желание что-либо сохранить в секрете, утечек не бывает. Даже в Вашингтоне, где почти все тайны имеют рыночную цену.

А. А. Громыко находил, что случившееся ставит в двусмысленное положение его лично и требует… свинца в голосе и строгости при изложении за столом переговоров советской точки зрения.

Крупно обойдется правительству В. Брандта – В. Шееля публикация «бумаги Бара». В незавидное положение попадал В. Шеель. Замечания и дополнения, которые могли и должны были бы появиться у него и весьма квалифицированных специалистов МИД ФРГ, невольно перекликались или в чем-то соприкасались с критикой консервативных и националистических групп. Но попробуй их внеси. Громыко имел причины как для протеста, так и для утверждений – на карте престиж Советского Союза и его авторитет. Вчера формулы представлялись дискуссионными. Теперь это были канонические тексты.

Может, возрадоваться – прямая простиралась перед нами? В дипломатии, однако, прямолинейность чаще всего ведет к кривотолкам. Неловкое замечание способно перевести нервное напряжение, присущее почти каждому участнику трудных переговоров, в политический разряд.

Отсвет допущенной на стороне ФРГ осечки довлел почти над каждой встречей на уровне министров и их представителей.

– Мы не изменим ни слова, ни запятой, – отрубил Громыко сухо и безапелляционно в ответ на замечания и пожелания,

высказанные западногерманским коллегой.

Разговор, по-моему, 4 августа 1970 г. велся в узком составе в зале К. Богаевского, что в упоминавшемся особняке МИДа. Русский художник, модный в конце XIX – начале XX в., написал три панно для особняка С. Морозова. Фантастические гористые пейзажи с клубящимися грозовыми облаками. Интерьер, если брать живопись, и содержание беседы двух министров были близки как нельзя больше.

Услышав в переводе фразу «ни слова, ни запятой», В. Шеель недоуменно посмотрел на меня. Сижу по правую руку от федерального министра и не могу донести до него, что наши параллельные с Андроповым усилия склонить Громыко к принятию не менявших сути редакционных поправок встретили полный афронт.

«Ни запятой» было проиграно сначала на нас. Даже Брежнев не преуспел в усмирении Громыко.

– Пусть внутрикоалиционные разночтения они улаживают в Бонне, а не в Москве, – был его довод. – Почему надо считать, что социал-демократы хуже чувствуют политическую обстановку в ФРГ, чем либералы?

Склонен считать, что ситуацию спасли неиссякаемый оптимизм В. Шееля и общая решимость новых руководителей Федеративной Республики добиться позитивного поворота в отношениях с восточными соседями, включая ГДР. Будь на месте В. Шееля политический деятель иного ментального склада, не знаю, чем бы все завершилось.

Меня неизменно восхищало в В. Шееле умение не терять присутствия духа в самые трудные моменты. Похоже, не был придуман рассказ о штурмане Шееле во время рейда на Англию. Самолет получил повреждение, и командир приказал экипажу выбрасываться на парашютах. В. Шеель приоткрыл смотровое окно и ответил: «За бортом дождь, придется переждать». Самолет дотянул до немецкого аэродрома.

В. Шеель не дал себя обескуражить началом переговоров в Москве, не преминув отметить, что не может и не хочет принять ультимативного тона своего коллеги. Громыко и сам почувствовал, что хватил через край. Только слово не воробей.

Признаюсь, стоило большого напряжения и труда выдерживать модерирующий тон. Мои аргументы в беседах с Громыко один на один или окружным путем через Брежнева получали тем больший вес в его глазах, чем строже я сам выдерживал линию министра за столом переговоров с представителями ФРГ.

Контраверза с П. Франком из-за моего отказа принять

пространный каталог поправок и дополнений к ранее согласованным текстам не была запрограммирована. Мы никак не предвидели варианта появления предложений, затрагивавших сердцевину ранее достигнутых результатов, и не готовились к нему. Поэтому предписаний министра на подобный случай у меня не было и не могло быть. Меньше всего я хотел обидеть статс-секретаря, вызывавшего во мне симпатии, или разыграть роль ястреба.

Принять список поправок – значило бы подвесить созданную пятимесячными трудами совместную базу. Либо превращать этот совместный плод в исходную советскую позицию, либо отвечать на него еще более обширным перечнем контрпожеланий и требований? Последствия были бы сходными – затяжная неизвестность. Поэтому в своем ответе П. Франку я сделал акцент на необходимости для каждой из сторон разобраться в себе, в собственных планах и возможностях. Созрели ли дома предпосылки для нового начала в переговорах? Совместимость посылок есть презумпция успеха, остальное – производное.

До сих пор передо мной картина: П. Франк весь сжался, напряглись лица его помощников. Большой круглый стол, за которым мы только что вольготно разместились, вдруг оброс зубастыми углами. Он уже не объединял – его полированную поверхность рассек разграничительный ров.

Это было единственное в наших с П. Франком многолетних контактах столкновение. Помню каждое слово, произнесенное статс-секретарем, укоризненный взгляд. И пусть некоторой компенсацией за куда как неприятные минуты, доставленные ему, послужит констатация – мысль Франка о том, что обе стороны должны покидать переговоры с чувством исполненного долга, не пряча глаза от общественности, воспроизводилась мной при каждом удобном случае во внутренних дискуссиях с участием министра или руководителей более высокого ранга. Полагаю, не без последствий.

В момент безрадостной полемики со статс-секретарем боннского МИДа А. А. Громыко лежал больной на городской своей квартире. Он был трудным пациентом для врачей, вынуждая их судить о хворях лишь по температуре и пульсу.

– Какие новости?

– Не слишком вдохновляющие. Делегация ФРГ привезла поправок на несколько недель или даже месяцев новых переговоров. Франк добивался, чтобы мы приняли от него список боннских замечаний и дополнений к согласованным текстам и к предмету диалога как таковому. Я счел, что у меня нет полномочий на фактическое дезавуирование ранее проделанной

работы.

Громыко приподнимается на подушках. Он принимает меня с А. Г. Ковалевым укрытый одеялом в постели. Вид у него нездоровый.

– Нельзя ли детальней? Это в самом деле сюрприз. Франк ссылался на Шееля, извлекая свои поправки? Как вы его поняли – основа, наработанная с Баром, правительством ФРГ принимается или отвергается? Может быть, оно само продвинуло «бумагу Бара» в прессу? Ковалев, каково ваше впечатление?

У Ковалева наготове нужные слова, чтобы сдержать эмоциональный перегрев. Он солидаризуется с моим решением не брать от Франка список пожеланий и поправок как единственно правильным для поддержания рабочего уровня переговоров.

– Шеель совсем не из простаков, – продолжает Громыко. – Решили действовать в обход, поискать слабину. Что-то мы упустили. Нарушение доверительности было сигналом.

И опять:

– Как вы аргументировали отказ принять бумагу Франка? Не думаю, чтобы Шеель со своей затеей вышел на меня. Но кто знает?

Дуэтом с Ковалевым в нюансах излагаем обмен мнениями со статс-секретарем ФРГ, обрисовываем атмосферу, в какой он совершался.

– Считайте, что доложили и что глава советской делегации вашу линию одобрил.

Громыко ухмыльнулся и присовокупил:

– В основном и главном… Где-то слог мог бы быть у вас менее изысканным. Но вы ведь оба выпускники Института международных отношений.

Уточняем график дальнейших переговоров. Министр исполнен решимости пренебречь советами эскулапов и мольбами жены – интересы дела выше температурных неурядиц. Кроме того, работа, этот эксперимент Громыко постоянно ставил и на себе, и на ближайших сотрудниках, – наилучшая терапия, почти не знающая противопоказаний.

29 июля наш министр восседает вместе с В. Шеелем за столом переговоров. Он избирает, думается, оптимальную для той конкретной ситуации методу наведения мостов, а также профилактики возможных недоразумений на будущее – отражаемые делегациями в своих протоколах ответы на вопросы, касающиеся в особенности прав и ответственности четырех держав, статуса послевоенных границ и эвентуального их изменения политическими средствами, объединения Германии.

Отдельные из тем, заметим, вводились В. Шеелем в дискуссию заново. Они требовали от советской стороны быстрой и деловой реакции, хотя по своей весомости не уступали многим проблемам, на осмысление которых ушли недели и месяцы. Рюдигер фон Вехмар, в то время заместитель спикера федерального правительства, справедливо отмечал, что «переговоры протекают трудно, по некоторым пунктам очень трудно». С учетом материи, иначе и не могло быть. За двенадцать дней, отмеренных на заключительный раунд переговоров, вряд ли кто-либо, кроме Шееля, смог бы достичь большего. Разве что Моисей, высекший из скалы воду.

Накал спал на природе. Громыко пригласил гостя побыть с ним наедине в загородном доме МИДа. Когда-то здесь жил председатель Коминтерна Г. М. Димитров. Просторное казенное здание, кои были понастроены в 30-х гг. под Москвой для высшего начальства. Но парк – лучшего и желать нельзя. Обширный, в меру ухоженный, примыкавший к заповедной зоне «Горки Ленинские». Ходи, дыши полной грудью и предавайся, как Пьер Безухов в «Войне и мире» у Л. Толстого, мечтам. Помните: «Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я!»?

Громыко подобрал подходящие темы и слова, чтобы убедить своего коллегу, который прибыл в Мещерино вместе с П. Франком, поставить во главу угла общую цель. Она, общая цель, позволит поймать попутный ветер в паруса и изыскать если не жемчужное зерно, то совместный знаменатель. Ласковое солнце, каким оно бывает на склоне лета в Подмосковье, настраивало на созидание.

В понедельник оба министра возникли перед нами посвежевшими и с просветленными лицами. Очень кстати. В тот день на столе лежали не фрагменты договоренностей, а концепции, характеризовавшиеся как пригнанными друг к другу гранями, так и неодоленными разногласиями.

Между тем В. Шеель не уставал черпать из домашних заготовок неудобья для Громыко и делал это непринужденно, с озорной миной. Мне, сидевшему рядом с министром, было заметно, как деревенеют пальцы его правой руки и с плотно сжатых губ сходит краска. Он не смотрит в сторону Шееля, погружен в самого себя, его занимает мысль, чем закруглить беседу, чтобы сохранить «дух Мещерино».

Самый простой маневр – озадачить заместителей глав делегаций, пусть они погуляют вдоль текстов договоренностей. Спор на их уровне легче притушить. Если высокий интерес того потребует, заместителей всегда можно подправить.

4 августа министры вышли на ключевую статью о послевоенных границах. И будто забылось сказанное прежде, не было разъяснений, которые Шеель очень хотел слышать от Громыко и, услышав, занес в протокол. Советский министр закусил удила. Голос – профундо. Поза – решимость показать, что бывал он в переделках и похуже.

Не успокаивает, что наша с П. Франком работа, выполненная накануне, получила одобрение. Ведь несчастливые мгновения застывают гораздо чаще, чем счастливые. Скорее бы кончалось перетягивание каната или опробование его на разрыв. Почему руководители не мыслят себя иначе как рыцарями, только закованными в принципы, а не в латы? И чем выше рангом, тем ярче призваны эти латы сиять.

«Не хвали день раньше вечера», – заметил Шеель, приветствуя советского министра за завтраком в ресторане «Россия» несколькими часами спустя.

За восемь дней переговоров состоялось 13 встреч в различном составе, поглотивших двадцать девять часов, но вечер пока не наступил. Наступит ли? Ответ зависел в какой-то степени и от нашего нового разговора с Франком, назначенного на послеобеденное время.

Шеель настаивал, чтобы советская сторона заранее ознакомилась с текстом письма по «немецкому единству», которое он намеревался для сведения послать в МИД СССР в день подписания договора об отказе от применения силы. Громыко счел, что небо не рухнет на землю, если он откликнется на это пожелание. Процедуру смотрин письма министр обставил таким образом, чтобы не присутствовало и тени официальности, не возникало жесткой связи с московскими переговорами как таковыми.

В наше с Франком распоряжение был выделен особняк на Ленинских горах рядом с резиденцией Шееля, чтобы встреча прошла вне обычной переговорной территории. Мне дан приказ слушать и, стало быть, никаких бумаг не принимать. Я воздержался от опасных уточнений, дозволялось ли мне свое суждение иметь.

Вместе с Франком на беседу пришел Б. фон Штаден. Со мной был А. А. Токовинин.

Статс-секретарь после краткого вводного пояснения приступает к чтению пары страниц, что держит в руках.

Повеяло ядреным прошлым. Грустно и тоскливо становилось от того, как плотно спеленали мысль боннских политиков и дипломатов ими же самими наструганные и натесанные стереотипы. При Московском договоре подобное письмо о «единстве» будет смотреться непотребнее, чем на корове седло.

Франк исполняет свой монолог чуть заунывным голосом. Я слушаю его вполуха, а сам прикидываю: ограничиться выражением недоумения или высказаться по существу? Громыко последнего не одобрит. Но пустить на самотек – значит растратить драгоценное время. Будь что будет. Если мой партнер спросит, нет ли у меня за душой чего-нибудь, помимо критики, изложу ему возникшие соображения.

Сколько времени ушло на чтение 45–50 строк? Минуты четыре, не больше. Дальше молчание, которое статс-секретарь прерывает вопросом:

– Ваше мнение?

– Если вас интересует мое сугубо личное впечатление и не для протокола, сформулирую его так: услышанный текст не созвучен новой главе в наших отношениях, которую мы собрались открыть.

– Как видится вам постановка темы единства в упомянутом новом контексте?

Предлагаю поразмышлять вместе. Очевидно, письмо должно было быть максимально кратким и свободным от риторики. Единая мирная Европа как цель не противоречит общему

пониманию, о чем свидетельствуют заявления руководителей наших стран на протяжении последних трех-четырех лет. Против стремления так или иначе отрегулировать в рамках европейского мирного порядка проблему германского единства едва ли можно что-либо возразить. В констатации того, что Московский договор не отрицает идею немецкого единства, собственно, и должен был состоять смысл письма.

Сплетаю названные элементы в одну косу. Получается довольно складная формулировка. П. Франк о чем-то советуется с Б. фон Штаденом. Не припасен ли у меня какой-нибудь вариант, следует вопрос. Нет, не запасся. И к лучшему, иначе пришлось бы обговаривать его с министром, который наверняка наказал бы эту бумагу сжечь.

Расстаемся на том, что Франк еще подумает, а я сообщу Громыко, что мне были изложены некоторые идеи, которые в позитивном ключе отразятся в виде одностороннего письма, не требующего нашей реакции.

Надо озаботиться, чтобы беседа с Франком скромно, самым сжатым образом отразилась на бумаге: вопрос, ради которого мы встречались с заместителем главы делегации ФРГ, нельзя затерять, мои же соображения (памятуя историю с записью нашего диалога с Э. Баром о послевоенных границах) вполне можно опустить. Когда вокруг письма о единстве поднялся ажиотаж, мой заместитель поделился наблюдениями очевидца кое с кем из близких ему сотрудников 3-го Европейского отдела МИДа. А в конце 70-х гг. недовольный откомандированием из Бонна А. А. Токовинин «пригрозил» раскрыть министру тайну рождения письма о «немецком единстве», что побудило меня расстаться с посланником незамедлительно.

Годами позже я поведал историю редактирования письма Э. Бару. От него мне стало известно, что П. Франк держал себя образцово лояльно и деталей встречи на Ленинских горах не выдал. Тогда же мы с Э. Баром установили, что телепатия в политике нередкий гость. Оказалось, что мои размышления были близки его собственным, поначалу, однако, скептически воспринятым экспертами МИД ФРГ.

Заслуживает упоминания следующий момент. Московские переговоры имели целью выработку формулы отказа сторон от применения силы. Из плана обменяться заявлениями получилось соглашение, потом договор, но в название везде выносилось назначение – неприменение силы.

На встрече 5 или 6 августа А. А. Громыко вдруг спрашивает В. Шееля, не целесообразно ли опустить отсылку в титуле к отказу от насилия. Договорной комплекс перерос первоначальные

рамки, и неплохо бы отдать этому должное. Инициатива Громыко застает всех врасплох. Она неожиданна и для меня. До сей минуты министр ничем не обнаруживал желания генерализировать договоренности. Куда он клонит? Это станет ясно год спустя, хотя при неспешном сведении вместе разрозненных его замечаний, вопросов, интонаций можно было и раньше догадаться, что у Громыко на уме.

В. Шеель накоротке советуется с членами своей делегации и принимает идею советского министра. Объективно она имела весомое обоснование во всем строе переговоров, в удельном весе советско-германских отношений в европейской и мировой политике, в потребности совершить прорыв в качественно лучшее будущее.

Момент Громыко выбрал исключительно точно: в солнечный, щедро расточавший надежды августовский день большинством владели приподнятые чувства – стороны внутренне настроились поздравить друг друга с успехом. Со взаимным, давшимся большим терпением и с трудом осваивавшейся терпимостью. При всей приятности переговоров никто не испытывал желания затянуть их до бесконечности, и как-то ближе становилась до непонятности простая истина – подлинной дружбой могут быть связаны страны, умеющие извинять друг другу малые недостатки.

7 августа в особняке МИДа – церемония парафирования Московского договора. А. А. Громыко выделил мысль о значении нормализации отношений между СССР и ФРГ для мирного будущего. В. Шеель солидаризовался с этим тезисом. Он делает акцент на то, что договор служит разрядке напряженности и способен стать одной из предпосылок для длительного мира в Европе.

В целом комплиментов по поводу неординарного события было предостаточно. Но они не воспринимались как дежурные похвалы и похвальба. Многие идеи реализовались в практическом развитии. Не сразу, с отступлениями, продираясь через завалы недоверия, частоколы вражды и невежества.

Подготовка акта подписания Московского договора – суета несусветная. Информирование союзников. Их надо убедить, что достигнут оптимум в интересах как СССР, так и Варшавского союза в целом. Энергично пришлось просвещать партийные организации внутри страны во главе с их лидерами. Это кажется, что функционеры брали под козырек, стоило им услышать голос начальства или перехватить его взгляд. В жизни – сложнее.

Заседание политбюро ЦК КПСС. На него вынесен доклад А. А. Громыко об окончании переговоров с делегацией ФРГ. Дебаты открываются до того, как все рассаживаются по местам.

Белорусский партийный лидер, в годы войны партизан, П. М. Машеров, человек достойный, совсем не худший из тогдашних республиканских первых, спрашивает меня, приглашенного в качестве эксперта:

– Не проведут нас немцы в очередной раз?

– Обстановка в корне другая. Если даже захотят, не смогут.

– Со своим коварством они к атомному дьяволу в свойственники набьются.

Первый секретарь с Украины В. В. Щербицкий тоже далек от поверья, что немцы перековались.

– Если без ужимок, я неохотно отправился бы в разведку с каждым вторым другом даже из ГДР. Немцы за примирение с нами не из прозрения, а из-за боязни. Не допускают они, что может быть им прощение за злодеяния на нашей земле.

Генеральный секретарь приглашает начать заседание. Громыко со вкусом докладывает результаты переговоров. Умело показывает, какие трудности пришлось преодолеть, прежде чем договор созрел для подписания. Вопросы присутствующих касаются надежности достигнутых урегулирований, планов Бонна в отношении ГДР и других союзных государств. Министр держит себя уверенно, даже самоуверенно. Вот-вот раздастся: МИД занимается саморекламой.

Очень вовремя слово берет Ю. В. Андропов. Он упирает на то, что Московский договор – лишь первый шаг на долгом пути к нормализации. Расставание с прошлым будет противоречивым и болезненным. Позиции находятся в движении, свидетельство чему эволюция подходов западных немцев к ряду важных проблем уже в процессе самих переговоров. В наших интересах содействовать положительным переменам и созданию правовой базы для их закрепления и наращивания.

Желательность оздоровления советско-западногерманских отношений вне сомнений. Однако не одних украинцев и белорусов занимал вопрос, не обязательно в лоб заданный: не урезаем ли мы договором свои возможности, не удобнее ли жить, имея необъятные права победителя при минимуме обязательств по отношению к Германии? Звучала тема: как будут складываться взаимоотношения западных немцев с восточными соседями, когда непризнание ГДР отпадет? Пражская весна еще не поросла быльем. А если ее семена прорастут?

В поле зрения участников заседания – реакция Запада. Не дезинформируют ли нас, изображая в Париже, Лондоне и Вашингтоне обеспокоенность «советско-германским сближением»? Не попасть бы в положение простаков.

Андропов и Громыко приводят данные, показывающие, что

ФРГ действует довольно суверенно. Наивно, однако, рассчитывать, что правительство В. Брандта – В. Шееля станет улучшать отношения с нами в ущерб отношениям с собственными союзниками. И нужно ли это, если Советский Союз сам добивается взаимопонимания с западными державами, – тоже на основе уважения реалий и не за чужой счет.

В целом «бурных, непрекращающихся аплодисментов» Московский договор не снискал. Л. И. Брежнев произнес несколько признательных фраз в адрес МИДа и лично А. А. Громыко, предложил одобрить проделанную работу и поручить А. Н. Косыгину вместе с министром иностранных дел скрепить от имени СССР своими подписями текст договора. На том и порешили.

Потом была притирка графика прилета В. Брандта в Москву. Федеральный канцлер не хотел, чтобы совместились по датам два взаимоисключающих по сути и духу события – годовщина возведения стены в Берлине и разворот Федеративной Республики лицом также к Востоку. Принимается такое расписание: прилет вечером 11 августа, на следующий день все официальные церемонии, 13 августа возвращение В. Брандта домой. Протокольная часть визита никак не проговаривалась. Простор для самодеятельности.

Прибытие В. Брандта – премьера только что назначенного заведующим протокольным отделом МИД СССР Б. Л. Колоколова. Он советуется со мной, как лучше поступить – визит рабочий. Обычно в подобных случаях почетный караул не выстраивается, трасса от аэродрома до резиденции флагами не украшается.

Ни к кому не обращаясь, решаем так: при встрече флаги ФРГ поднимаем только на аэродроме и у здания, где остановится гость. Тем временем заказываем пошив нужного количества флагов, коими украсим маршрут следования при отъезде. Тем самым будет подчеркнуто: с подписанием Московского договора открывается новая глава в наших взаимоотношениях.

Встречать федерального канцлера во Внуково-2 прибыли А. Н. Косыгин, А. А. Громыко, другие официальные лица. У министра замечаний по организации прилета нет. Но председатель Совета министров, выйдя из машины, накидывается на Колоколова:

– Почему нет флагов на трассе?

– Визит рабочий, – защищается шеф протокола. – Кроме того, не было времени на изготовление государственных флагов ФРГ.

– Плохо начинаете, – с сердцем бросает Косыгин и что-то выговаривает Громыко.

По приезде в МИД докладываю министру план на 12 августа.

Он перепроверяет, отправлены ли по назначению памятки и справки для Брежнева и Косыгина. Получив утвердительный ответ, спрашивает:

– А как так получилось с флагами?

Излагаю ему без уверток мотивы нашей с Колоколовым задумки. Громыко по существу согласен. Он сразу усек смысл увязки политики с протоколом, оттеняющей значимость акта подписания договора, но…

– Надо было посоветоваться. Даже я не беру на себя решение таких вопросов.

Сама встреча на аэродроме прошла без шероховатостей. Увидев не очень понятную ему надпись на подруливавшем к стоянке «Боинге-707», Косыгин спрашивает, что она означает. Перевожу: «военно-воздушные силы».

– Как военно-воздушные? У них что, гражданских самолетов не хватает?

– По традиции визиты государственных руководителей ФРГ выполняются авиаотрядом, приписанным к ВВС. Ничего нового прилет В. Брандта в этом смысле не создает. Мы перенимаем практику, ставшую частью государственного протокола ФРГ.

– А Аденауэр тоже прилетал на самолете вермахта?

– Нет вермахта – есть бундесвер. Кроме того, не уверен, что осенью 1955 года у Аденауэра были ВВС.

– Чудные немцы. Отчего они так любят игры в солдатики?

Председатель Совета министров, министр иностранных дел, посол С. К. Царапкин, сопровождаемые Б. Л. Колоколовым, приветствуют В. Брандта и В. Шееля у трапа самолета. Нас построили в шеренгу, которую федеральному канцлеру предстоит обойти.

Очередь доходит до меня. Это наш второй очный контакт. В сентябре 1969 г. я был представлен Брандту, тогда министру иностранных дел, при его встрече с Громыко в Нью-Йорке. Но теперь я благодаря докладам Бара становился его знакомцем.

Косыгин терпеливо ожидает окончания многоступенчатой процедуры приветствия гостя. Брандт здоровается с сотрудниками посольства ФРГ и членами их семей, а также с группой женщин и мужчин, символизирующих общественность Москвы. Вроде бы все.

По машинам. Мне выпало ехать с П. Франком.

– Ради большого дела, которое совершится завтра, – замечает он, – правительству Федеративной Республики потребовалось незаурядное мужество.

– Согласен. С поправкой, что мужество и трезвость в суждениях должны были найти в себе обе стороны.

– Вы перенесите себя в наше положение. Единство из задачи практической становится политической целью, достижение которой зависит от всех европейцев. Германия отказывается от трети своей территории. Западный Берлин хотя и не потерян, остался где-то за скобками. К примеру, Франция, как бы повела она себя, будь поставлена перед необходимостью признать утрату трети своих провинций? Берем только это. Как реагировали бы на это французские крестьяне и горожане?

– Мы знаем, как они реагировали после Наполеоновских войн или поражения от Пруссии в 1871 году. Но те войны даже отдаленно не сравнить с последствиями нацистских агрессий. При всей условности исторических сравнений.

Франк меняет тему. Он поясняет, почему Брандт привез с собой группу парламентариев, ведущих журналистов.

– Фактически борьба за ратификацию договора стартовала еще до простановки подписей под документом. Объект споров – не формулировки конкретных статей или, вернее, не только они. Будь формулировки самыми безукоризненными, договор все равно натолкнулся бы в ФРГ на сопротивление мощных сил. Они не приемлют новой «восточной политики» в принципе. Им признание ГДР и существующих границ что повторная безоговорочная капитуляция, если не хуже. Опрокинуть договор равнозначно тому, чтобы сместить кабинет социал-либералов.

Жаль, что мы уже въезжаем на территорию резиденции В. Брандта. Анализ статс-секретаря небезынтересен.

Утром 12 августа В. Брандт у А. Н. Косыгина. Главы правительства ведут подчеркнуто деловой разговор. Можно подумать, что они давние партнеры и встретились не перед подписанием договора, а когда, вступив в силу, он уже оплодотворил наше сотрудничество и расположил к лучшему видению областей совместных интересов на международной арене.

В Екатерининском зале Кремля большой сбор. На 15.00 назначена церемония подписания Московского договора. Здесь же происходит личное знакомство В. Брандта с Л. И. Брежневым, а также рядом других политических руководителей СССР. Генеральный секретарь и федеральный канцлер условливаются о беседе вдвоем.

Пока же власть захватывают протокольщики и правовики. Они одни в совершенстве владеют искусством усадить каждое действующее лицо в нужное кресло и обозначить, в какой последовательности и где им проставить свои автографы. Стрелки на часах с корпусом из золоченой бронзы готовятся к отсчету нового времени для Москвы и Бонна.

Да, можно приступать. Сначала расписываются Косыгин и Брандт, за ними выводят свои подписи оба министра. Царит тишина до того момента, пока главы двух правительств, поднявшись с кресел, не обменялись кожаными папками, которым хранить тексты, только что на наших глазах превращенные в историческое свершение.

Присутствующие дружно аплодируют. Тем временем С. К. Царапкин успевает схватить со стола ручку, которой расписывался Косыгин, он – обладатель драгоценного сувенира.

Приносят шампанское. Интересно, стоя в сторонке, наблюдать, как образуются и распадаются группки беседующих. Переводчики нарасхват. О чем идет разговор, не так существенно. Сейчас важнее, что выплеснулась наружу тяга к личному общению.

Неожиданно возникает Громыко:

– Вы что отшельничаете? Переговорите с Баром, нет, лучше непосредственно с Брандтом и поставьте перед ним вопрос: насколько оправданно упоминание Германии в наименовании социал-демократической партии, когда существование двух Германий отныне признанный факт?

Меня аж передернуло: неужели министр не отдает себе отчета, на что нарывается? Двадцати минут не прошло, как бумага стала договором, и, извольте, претензии, к тому же вздорные.

– Может, начать корректировку названий с ГДР? Социалистическая единая партия Германии. Она издает газету «Нойес Дойчланд». Другие партии у друзей, профсоюзы. Конца и края не видать.

– Не рассуждайте, а выполняйте поручение, – обрывает меня Громыко.

Не бывать тому. Я и раньше не искал случая прорваться к Брандту, взятому в плотное кольцо приглашенными на подписание договора. Теперь мне лучше всего потерять его из вида.

Снова появляется Громыко:

– Переговорили с Брандтом?

– Не представилось возможности.

Взглядом министр выразил все, что думал обо мне, и твердыми шагами направился в сторону Брандта. Дает знать присутствующим, что хотел бы поговорить с федеральным канцлером наедине. До меня долетают обрывки фраз, произносимых Громыко по-английски: «Социал-демократическая партия… Две Германии…»

Брандт поднял на Громыко полный недоумения взор,

пресекший всякое желание министра продолжать. Для сглаживания неловкости Громыко бормочет что-то незначимое. Потом напоминает, что Брандта ожидает Брежнев для «главной беседы», которая призвана придать необходимую динамику процессу обновления отношений между СССР и ФРГ.

Громыко удаляется. К идее названия СДПГ он ни разу более не возвращался. При мне, во всяком случае. Кто ее подбросил ему или сам додумался, осталось загадкой. Коротким замыканиям подвержены даже министры.

Связываюсь с помощником Брежнева А. М. Александровым. Брандт может упомянуть в беседе с генсекретарем о странном демарше Громыко. Если такое случится, лучше все обратить в шутку.

Около 16.00 начинается продолжительная беседа Л. И. Брежнева с В. Брандтом. Могу судить о ней по подробной записи и со слов А. М. Александрова. Обмен мнениями двух лидеров получился насыщенным и выполнил основное свое назначение. С него завязались доверительные отношения, которые спорили в эффективности с «красными телефонами», связывавшими Москву с рядом других западных столиц. Брежнев выразился в моем присутствии определенно: с Брандтом можно и нужно делать дела.

Потом был еще торжественный обед в Грановитой палате, с пространными речами. Впервые за многие годы глава советского правительства говорил о Федеративной Республике уважительно. А долгий день В. Брандта заканчивался 12 августа на «Седьмом небе». По просьбе канцлера мы отправились туда посидеть небольшой компанией. А. Н. Косыгин за хозяина, я за его советника и переводчика. В. Брандт берет с собой нескольких ближайших друзей. Воздух прозрачный. С 260-метровой высоты Останкинской телебашни представляется редкая возможность обозреть, куда хватает глаз, залитую огнями ночную Москву.

Похоже, что самому Косыгину казенщина набила оскомину. Или, может быть, он не хочет быть отлученным от обещающе начавшегося поворота в отношениях с ФРГ?

Неисчислимый вред принесло стране соперничество между Л. И. Брежневым, А. Н. Косыгиным и Н. В. Подгорным. Противостояние в высшем звене гасило энергию, делало невозможным комплексный, всеохватывающий подход к проблемам, лихорадившим общество. Политического деятеля с наилучшими данными для управления государственными делами и экономикой, А. Н. Косыгина, оттесняли на вторые-третьи роли. Треугольник, наследовавший всевластие после Н. С. Хрущева, скособочился.

Скоростной лифт бременского изготовления вознес нас над Москвой порядком измотанными. Особенно досталось Брандту. Голос сел. Хорошо, что уже после зачтения обращения к согражданам, переданного на ФРГ при техническом содействии советского телевидения и, следовательно, не без нервотрепки. Иначе мы не умели. Позади никчемная возня при доставке в МИД СССР письма В. Шееля о «немецком единстве». В общем, новый партнер успел предстать перед Брандтом в разных ипостасях.

Политики на сегодня довольно. Косыгин комментирует панораму, открывающуюся из окна. Гость вежливо слушает. Ему как-то не по себе.

Меня требуют к телефону. Громыко:

– Как проходит «мероприятие»? Освободитесь – и в МИД. Вам надо будет помочь редакциям «Правды» и «Известий» в написании передовых статей, посвященных Московскому договору.

Перед тем как вернуться на свое место рядом с Косыгиным, потихоньку спрашиваю В. Брандта:

– Вам нездоровится, не нужна ли помощь врача?

Он отвечает таким же манером, что приехал в Москву немного простуженный и немецкий врач ожидает его в резиденции.

Сообщаю Косыгину о разговоре с Громыко и только что произошедшем обмене репликами с Брандтом.

– Не будем потчевать гостя «демьяновой ухой», – говорит он, поднимаясь. – Время позднее. Завтра увидимся снова и дообсудим то, что не успели сейчас.

В. Брандт благодарит за щедрое внимание, которое ему оказывается в Москве. Косыгин как собеседник понравился В. Брандту, в частности четкостью выражения мыслей и умением спокойно выслушивать контрдоводы. Канцлер подтверждает приглашение главе советского правительства посетить Бонн, и это был не только знак вежливости.

Ответного визита не получилось. В «Неоконченной симфонии» Шуберта две части. Неоконченному диалогу Косыгин – Брандт было отведено лишь вступление. Я полагаю, жаль.

Утром 13 августа у руководителей двух правительств заключительный разговор. Потом проводы, прошедшие без сучка без задоринки. Восполняя отсутствие флагов при приезде гостя, их вывесили больше, чем принято было обычно. Вдоль дороги много москвичей, по собственному порыву собравшихся поприветствовать Брандта. Прощание теплое. Почти у всех приподнятое настроение – спутник удавшегося трудного дела.

По дороге в министерство мысли занимает беседа, состоявшаяся у меня наедине с Косыгиным перед его утренней

встречей с западногерманским гостем. Председатель Совмина задержал меня, чтобы поблагодарить за организацию переговоров по Московскому договору. Далее Косыгин сказал:

– У канцлера есть добрая воля и понимание необходимости конструктивных перемен. Но сумеет ли он реализовать свою программу? Не верится, что реакция внутри ФРГ будет сидеть сложа руки. Сомневаюсь также, что вовне все приветствуют улучшение советско-западногерманских отношений. Как вы оцениваете перспективы?

– Выработка договора, при всей его важности, не труднейшая часть решаемой задачи. Мы нередко утверждаем, что отношения ФРГ с нами не могут быть лучше, чем ее отношения с ГДР. Но, видимо, немцы могут в свою очередь заметить, что тонус советско-западногерманского соседства завязан на состояние взаимопонимания СССР с США, хотя бы по тому же Западному Берлину. У меня есть кое-какие соображения. Когда вы захотите выслушать меня, могу их изложить.

– Ни к чему откладывать.

– Мысль моя, может быть, не оригинальна, хотя и не проста для реализации. Первое: Советский Союз должен буквально с сегодняшнего дня в делах больших и малых, завязанных на ФРГ, вести себя так, как если бы Московский договор был не только подписан, но и вступил в силу. Кое-что сделано и делается, в частности в экономической сфере, но это лишь начало начал. Второе – и главное. С признанием ГДР и нерушимости послевоенных границ обстановка в Европе качественно меняется. Зачем нам держать полмиллионную группировку в ГДР, Польше, Чехословакии и Венгрии? Зачем дорогостоящие вооруженные силы в самих этих странах? Чтобы обслуживать американскую военную доктрину, планы НАТО в целом? США устраивает, что мы здесь увязли. Ястребам в Вашингтоне нужна «угроза с Востока», делающая их хозяевами положения. Самым неприятным для них было бы исчезновение пресловутой угрозы.

Косыгин с нескрываемым любопытством слушает.

– Каким же, на ваш взгляд, мог бы быть уровень нашего военного присутствия?

– Называть цифры мне не пристало. Сформулировать критерии могу: Советскому Союзу надо бы держать войска численностью и в составе, позволяющих надежно решать задачи безопасности, своей и союзников. Сейчас вооруженные силы Варшавского договора нацелены на наступательную оборону, требующую вдвое, если не больше ресурсов, чем просто оборона. Армии наших союзников в ядерном конфликте недееспособны. Их основной функцией должно было быть обеспечение внутренней

стабильности в предконфликтной ситуации. Сэкономленные средства нашли бы применение в социальной и экономической сфере.

– Интересно. Говорили ли вы на эту тему с Брежневым, он у нас верховный?

– Леонид Ильич меня вызывает, что-то собирается поручить. Воспользуюсь встречей, чтобы изложить ему то же самое. В принципе насчет подыгрывания Пентагону в стратегии на наше экономическое изнурение я закидывал удочку еще Хрущеву. Он не ответил «нет», но не сказал и «да». Как бы то ни было, новые отношения с ФРГ – новое приглашение вырваться из трясины, в которой мы завязли, превратить Московский договор в фактор мировой значимости.

Косыгин спрашивает: а что думает об этом министр?

– Не знаю. Пока детального разговора с ним не было.

У председателя Совмина своя точка зрения на Громыко. Косыгин сам не мог похвастаться гибкостью. Когда приходилось уступать, его лицо становилось совершенно постным. Наш министр, пока не вошел в сок в начале 70-х гг., остерегался в открытую на него нападать, но, взяв ориентир целиком на генерального секретаря, систематически отжимал главу правительства от внешней политики.

По закону Паркинсона, когда вас нет на месте, вы безотлагательно кому-то нужны. Уже на аэродроме Громыко подступает ко мне:

– Где вы запропастились? Целую кучу бумаг надо готовить: информацию для друзей, письма членам партии, указания совпослам. Расслабляться не время.

– Информация для соцстран вчерне сделана. Письмо по КПСС в работе на Старой площади. Циркуляр совпослам к вечеру доложим.

– По мере готовности проекты мне на стол, и все сегодня. К ближайшему заседанию политбюро за МИДом не должно быть долгов.

Министр опять какой-то дерганый. Вполне возможно, и из-за необозримого количества забот и дел, на нем лежащих. Громыко был сам виноват, что превратил свою жизнь в сплошное бурлачество. От зари до часу-двух ночи он читал, писал, правил тексты. Когда кипа бумаг иссякала, Громыко выпивал залпом стакан крепчайшего чая и засыпал мертвецким сном, чтобы наутро все повторилось заново. Заместителям он доверял мелочи и не терпел, если даже В. В. Кузнецов, первый из замов, неосторожно произносил слово от «имени МИДа». Немедленно раздавался окрик: заместитель может говорить от имени

министерства только по поручению министра в каждом конкретном случае.

Наиболее способным из своих заместителей Громыко находил В. С. Семенова. «Талантлив, но, когда впадает в философствование, не очень пригоден для земных дел. К тому же неусидчив». «В. В. Кузнецов – исполнитель. Аккуратный и надежный. Дисциплина в политике не лишнее, но одной дисциплиной политика не делается».

Отзыв министра о Кузнецове в разговоре со мной совпадал с отзывом Хрущева о самом Громыко. Слушая аттестации министра своим замам, я невольно улыбнулся, спровоцировав вопрос:

– Что веселого вы нашли в моих словах?

Громыко приглашает по возвращении в министерство явиться к нему.

– В каком настроении отбыл Брандт и что думают в его делегации?

– Насколько могу судить, удовлетворение соседствует у западных немцев с тревогами. Шеель опасается, что наши договоренности обогнали готовность общественного мнения ФРГ отречься от прежних предрассудков. Поэтому он ждет трудных месяцев. Неясны сроки окончания переговоров с Польшей и начала диалога с ГДР. До серьезных разговоров с восточными немцами дело едва ли дойдет, пока не наметится сдвиг в нашем обмене мнениями с тремя державами по Западному Берлину.

– Дай немцам палец – они руку по локоть норовят отхватить. И Бар, и Шеель знали, на что идут, согласовывая статьи договора. Мы услужили Бонну, не отвергнув письмо о «единстве». Могли и отказаться его принять, пусть бы себе заявляли что хотят. Я же не требовал от них, чтобы они подшили в досье мое письмо о признании границ и кое о чем прочем.

Вот почему мурыжили в экспедиции МИДа прием письма В. Шееля о единстве! Не иначе, сам министр и придумал. По меньшей мере нашему отделу об этом ничего заранее не было известно. Вместо того чтобы одностороннее письмо осталось односторонним действом, затея А. А. Громыко привлекла к нему повышенное внимание. Из этого ляпсуса я не сделал выводов для самого себя на будущее, как вы убедитесь. Увы.

– Московский договор, – продолжал министр, – выходит за рамки двусторонних отношений. Правильная оценка значения зафиксированных в нем урегулирований придет, возможно, через годы. Именно это, а не просто расстановка сил внутри ФРГ будет определять степень напряженности борьбы вокруг и в связи с Московским договором.

Против этого тезиса ничего не возразишь. Излагаю свои

соображения в пользу незамедлительных шагов по оздоровлению советско-западногерманских отношений, не дожидаясь ратификации Московского договора. И тут же пересказываю мысль о пересмотре советской военной доктрины в Европе с учетом возникшего нового качества. Напоминаю министру, что мы с ним не раз выходили на эту тему, и теперь, в контексте подписанного накануне договора, самое время привнести сюда движение.

Громыко поддержал идею активного развития отношений с ФРГ.

– Вы и займитесь составлением сводного плана. Что и в какой последовательности нужно было бы сделать, не размывая наших позиций. Нельзя в то же время дарить противникам договора аргумент, что нормальные отношения возможны и без создания для этого правовой основы.

Министр делает какие-то пометки в блокноте, меняя карандаш с отломившимся грифелем на острозаточенный.

– Что касается нашей военной доктрины, то это особая область. Думать надо. Но НАТО не сводится к ФРГ или даже только к Европе. Посмотрим.

Возможно, я невнятно объяснил свою мысль. Скорее всего, однако, министр давал мне понять, чтобы я не вторгался в запретные сферы, где незваных гостей не жалуют. Так или иначе, он уклонился от детального разговора по военной проблематике и не среагировал на такой мой довод, что ратификация прошла бы гораздо легче, если бы немцы почувствовали позитивные последствия наметившегося поворота в отношениях с СССР в сфере безопасности.

Под вечер меня приглашают в приемную Л. И. Брежнева. Вернее, я должен зайти к А. М. Александрову, чтобы вместе с ним проследовать к генеральному секретарю. Разговор с Брежневым состоялся по телефону. Что-то помешало ему принять меня.

– Ты что натворил? Звонят секретари. В трех районах – на Смоленщине, в Белоруссии и Предуралье население расхватывает соль, мыло и спички: «С немцами договор подписали. Значит – скоро война». Глубоко сидит в людях трагедия 1941–1945 годов.

Брежнев поделился своими впечатлениями от беседы с Брандтом.

– Личный контакт, кажется, установился. Брандт согласен, что в отсутствие формальностей легче добираться до сути. Не заменяя МИДов, мы должны свою работу продолжать. Обмен мнениями этажом повыше может ускорить темпы движения. Что ты на это скажешь?

– Скажу, что в обоих МИДах чиновников больше, чем

политиков. Особенно политиков новой ориентации. Без подкрепления сверху многое может застрять в бюрократических рогатках.

– Смекаешь. Андрей (Громыко) опытный дипломат, но и его временами приходится подправлять, чтобы не оступился.

Наверное, это давно уже не великая тайна – у нашего МИДа было отобрано исключительное право на контакты с главой правительства ФРГ. Брежнев и Брандт создали свой параллельный канал прямой связи. На советской стороне функцию неформальных представителей первого лица выполняли В. И. Кеворков, политический советник Ю. В. Андропова, и В. В. Леднев. Этот необычный институт играл весьма конструктивную роль, пока Брежнев был в состоянии держать руку на пульсе событий, хотя и порождал много неудобств для меня лично. Достаточно упомянуть, что посол не получал никакой официальной информации о содержании обменов мнениями по специальному, как называлось, каналу. Выручали отчасти мои давние и доверительные отношения с Кеворковым.

– Каковы перспективы у Брандта дома? Данные поступают неоднозначные, – спросил меня Брежнев.

– Если без прикрас, то мы перестарались. Гибкости и широты нам не хватило.

– Андропов докладывает мне примерно то же самое.

– Увязкой Московского договора с Западным Берлином Брандт спутал себе ноги. Как я уже сказал Бару, западные немцы придумали себе третью палату при ратификации. Регулируя ход контактов с нами по Западному Берлину, США, Англия и Франция получают более чем совещательный голос в определении судьбы нашего с немцами договора.

– Что из этого следует?

– Разберусь в планах трех держав, в их реакции на вчерашние события, доложу вам. Сейчас же позвольте высказать соображение, которое уже устоялось.

Повторяю то, что излагал в разговорах с Косыгиным и Громыко. Во избежание оборота, который придал военной теме министр, делаю акцент на необходимости нейтрализовать немецкую карту, коей Вашингтон четверть века злоупотреблял.

– Не ты один озабочен, куда заводит нас военное противостояние с США. Вопросов тут много.

Прощаясь, Брежнев замечает:

– Ты держи связь с Александровым. Но если появится нечто сверхсрочное или сверхважное, что я должен знать напрямую, звони. Мои хлопцы в приемной соединят.

Немало событий совершилось в последующие недели и

месяцы 1970 г. Различного достоинства. Одни из них напрочь забылись, другие вцепились в память. Новые поездки в ГДР. Первое соприкосновение с Федеративной Республикой, вернее, с находившимся в разгаре строительства Франкфуртским аэродромом и сверхухоженным замком Кронберг, который из русских до Громыко видел лишь Николая П. Да и тот был немцем.

В ноябре после заседания политбюро, на котором Громыко отчитывался по итогам своих визитов в ГДР и ФРГ, а я сидел в качестве понятого, министр пригласил меня возвращаться в МИД вместе в его машине. По дороге спрашивает:

– Как бы вы отнеслись к предложению занять пост посла в ФРГ? Это направление становится столь же важным, как и вашингтонское.

– Прежде всего спасибо за доверие. С учетом подчеркнутой вами значимости, приобретаемой Бонном, не могу умолчать о том, что не имею опыта рутинной посольской работы. Поэтому с пониманием отнесся бы, появись другая кандидатура, опробованная на скользком дипломатическом паркете.

– Сейчас на первом плане не гладкий паркет, а каменистые политические тропы. Я понимаю ваши слова так, что принципиально вы согласны.

Примерно неделю спустя, так же между прочим, Громыко извещает меня:

– Руководство поддержало ваше назначение в Бонн. Некоторая дискуссия возникла, но в итоге все обошлось. Будем оформлять запрос на агреман. Дадим Царапкину спокойно встретить 1971 год. А вы тем временем готовьтесь к новой сфере деятельности.

Произношу слова благодарности, принятые в подобных случаях, хотя не было уверенности, к добру ли эта перемена в моей судьбе. Громыко сокращает церемонию до минимума и переводит разговор на текущие дела:

– Достаточно ли серьезны угрозы оппозиции, взявшей курс на развал свободно-демократической фракции в бундестаге и подрыв позиций СвДП на выборах в западногерманских землях?

– Намерения более чем серьезные. Сложнее дать прогноз, сколь велик запас прочности у самих либералов. Помимо догм на кону большие миллионы. Если случится бегство избирателей, традиционно державшихся СвДП, то партия попадет в полосу затяжного кризиса. Результаты выборов в Гессене симптоматичны. Либералы едва преодолели пятипроцентный барьер. Им пошла на пользу ваша встреча с Шеелем в Кронберге. Но когда решают десятые доли процента, все зыбко.

– Что можно предпринять?

– Наилучшую отдачу обещают зримые подвижки в проблемах, обретших в сознании немцев качество символов. Пример: любой наш и ГДР шаг навстречу пожеланиям сотен тысяч жителей обеих частей Берлина, скоро десять лет как лишенных возможности поддерживать естественные семейные узы, получил бы самый добрый резонанс.

– Вы не в состоянии обойтись без своих «добрый – злой». В политике на переднем плане интересы.

– Если под политикой понимать правительства и отчасти парламенты. Голый интерес, руководивший поступками сторон, и вызвал нынешние ненормальности. Пока интерес не будет очеловечен, все останется по-прежнему.

– Что все-таки вы предлагаете?

– Уместно спросить: горят ли США, Англия и Франция желанием укоротить рычаг воздействия на ФРГ и тем на ее отношения с нами, на общую обстановку в Европе, рычаг, каким они обладают в лице Западного Берлина? Нравится или нет, уготовив Западному Берлину функцию заложника, мы сами сделались его заложником. Обрести большую свободу рук можно, лишь прибавив свободы другому.

– Кому нужны эти прописные истины, – кипятится Громыко. – Вопрос: что и как?

– Мое мнение таково: если три державы сохранят монополию на представительство Западного Берлина в переговорах с нами, перемены наступят не скоро. Наше давление лишь ужесточает фронты. Западные державы не в состоянии отказать только Федеративной Республике и общественному мнению города.

– Не предлагаете ли вы удовлетворить претензии ФРГ на право говорить от имени Западного Берлина?

– Нет. Удовлетворение претензий Бонна и отказ от услуг трех держав в доведении нашей точки зрения по Берлину до правительства ФРГ или точки зрения с Рейна до нашего слуха не идентичные понятия.

– Тогда выражайтесь яснее.

Министр о чем-то размышляет, вооруженный синим карандашом и блокнотом.

– Прения с США, Англией и Францией не вдохновляют. Но и переговоры впятером не для нас. Хотя бы потому, что в эту схему не вписывается ГДР. Пока решаем так. Вы прикинете различные варианты. Нелишне, наверное, было бы вам побывать в Бонне и повстречаться там со сведущими людьми. Не обещая многого, послушать, как они мыслят дальнейшие этапы нормализации. Заодно можно было бы пришпорить посланника Бондаренко, чтобы посольство не впало в зимнюю спячку.

Следующая наша встреча с Громыко не заставила себя долго ждать, но вызвана она была другим поводом.

Опять и опять приходится сожалеть, что нет у меня под рукой численника, что исчез в сутолоке августовских событий 1991 г. Иначе не составило бы труда с точностью до часа сообщить вам, когда меня вызвал министр и сказал:

– Завтра поутру отправляйтесь в Берлин. Бар передал, что хотел бы увидеться с вами для важного разговора. Признано целесообразным дать согласие на эту встречу.

– Где она будет проходить? В совпосольстве или в каком-либо неофициальном месте?

– Бару сложно, не привлекая внимания, появиться в Восточном Берлине. Поэтому местом встречи избран Западный Берлин. Меня заверили, что речь идет о здании, не имеющем ведомственного статуса. Товарищи из нашего представительства в ГДР доставят вас, куда нужно.

– Какие темы собирается Бар затронуть?

– Как мне сообщили, состояние дел с ратификацией Московского договора.

– Значит, и ситуацию на западноберлинских переговорах.

Память не сохранила точной даты нашей первой тайной вечери с Э. Баром. Их было столько, этих встреч, до самого моего отъезда в 1971 г. на должность посла в Бонн, что казалось, будто я непрерывно сновал на аэродром в Шенефельде (Берлин) и обратно. Порой действительно пару раз в неделю. Для разговоров или с Э. Баром, под конец также с послом США в ФРГ К. Рашем, или с В. Ульбрихтом, В. Штофом, другими руководителями ГДР. График зачастую строился так: ранним утренним самолетом я отправлялся в Берлин, чтобы последним в тот же день вернуться обратно. Сначала в Шереметьево удивлялись необычному пассажиру, потом пообвыклись и лишних вопросов не задавали.

Замечу в скобках, советская система финансирования командируемых была рассчитана на бездельников, любивших тянуть время, словно резину. Мне никаких денег в иностранной, хотя бы гэдээровской, валюте не полагалось. Спасибо П. А. Абрасимову: он кормил меня обедами и поил чаем, обеспечивал транспортом и, случалось, лекарствами.

Когда я переступил порог резиденции федерального уполномоченного, Э. Бар был не один. Чтобы сгладить необычность обстановки, он пригласил разделить трапезу В. В. Леднева. Валерию я всегда был рад. В Москве встречались редко, так хотя бы в Западном Берлине.

Хозяин приветлив. Это, конечно, не дворец на Спиридоновке в Москве, но тоже добротная постройка и не без традиций. Здесь

останавливается В. Брандт, бывая в Берлине, и тогда тихий дом наполняется колоритными людьми и дискуссиями, бурлящими зачастую до рассвета. Собравшимся позволяется говорить все, кроме заведомых глупостей.

Наш ужин обильно приправлен воспоминаниями. Несколько общих замечаний о ситуации в ФРГ и СССР, в мире в целом. Ничего экстраординарного и специфического не произнесено. Внешне могло показаться – какой-то личный повод свел друзей.

Час спустя мы благодарим хаусмайстера и его супругу за угощение и усаживаемся с Э. Баром поудобнее в кожаные кресла. Разговор намечается долгий. В. Леднев отбирает с полки несколько книг, не забывает прихватить с сервировочного стола коньяк и, предупредив, что в любое время в нашем распоряжении, располагается в комнате по соседству.

Намекая на познанный им московский обычай, Э. Бар предлагает мне высказаться. Нет, возражаю я.

– Чтобы исполнить свою партию, надо знать по меньшей мере, в какой постановке мы задействованы: дают ли «Цирюльника» или «Свадьбу Фигаро», Россини или Моцарта? Пока мне неведомо, чему я обязан необычным свиданием в Западном Берлине, каким актуальным заботам и насущным ожиданиям.

Трубка набивается табаком, неспешно раскуривается. Целый ритуал, поучительный и для меня, закоренелого некурильщика.

– Мы имели уже случай констатировать, – открывает Бар свой монолог, – что Берлин является если не единственным, то самым обещающим ключом, позволяющим повернуть в нужном направлении общественные настроения. Хорошо или плохо, но такова реальность – Берлин превратился в пробный камень, и каждая из противоборствующих группировок в Германии старается использовать эту реальность к своей выгоде.

Речь льется размеренно, словно диктовка в протокол. Никаких конспектов под рукой. Тщательно расставлены ударения. Плотно подогнаны аргументы. Из западногерманских политиков, с которыми доводилось встречаться, пожалуй, еще трое демонстрировали талант формулирования сложнейших положений в совершенной, на мой взгляд, редакции – Г. Фридерихс, К. Шмид и Г. Шмидт, когда он был в ударе.

– Участники четырехсторонних переговоров, – продолжал Э. Бар, – заявили крайние позиции и, довольные собой, похоже, надолго застыли на них. Советская сторона нас слушать не желает, довольствуясь версиями, которые даются ей тремя державами. Оттенки в позициях, таким образом, пропадают, даже когда имеются.

– Нельзя ли раскрыть, о каких оттенках под крышей «сердечного согласия» ведется речь?

– Не это пока главное. Пора определиться, что нас прежде всего занимает: либо должен восторжествовать принцип (у каждой стороны он свой), либо реализуется интерес и, если последнее не исключается заранее, как пригнать друг к другу различные интересы? Бонну и Москве следовало бы внести тут ясность без посредников и тем ответить на коренной вопрос, найдет ли начало, положенное в августе, продолжение.

– Мне, как нетрудно догадаться, было поручено внимательно выслушать все, что вы захотите сообщить от имени своего правительства, – замечаю я. – Неофициально могу сказать, что министр считает вас с Брандтом ответственными за тупиковую ситуацию, сделавшую западные державы арбитром в двустороннем процессе нормализации наших отношений. Впрочем, это не новость.

Бар согласно кивает головой.

– Какими бы мотивами вы ни руководствовались, юридически увязывая ратификацию Московского договора с берлинским урегулированием, ФРГ подчинила себя чужой воле и сдала в заклад также часть наших интересов. Если Громыко не разразился протестами, это надо понимать как подтверждение серьезности нашего стремления к решению всего комплекса послевоенных проблем. Давайте вместе мозговать, как разблокировать завал, который при неблагоприятном стечении может стать не промежуточной, а конечной станцией.

Бар просит уточнить, какой смысл вкладывается в слово «вместе». Его удовлетворяет ответ – «неортодоксальный», ставящий совмещение интересов выше формальностей. Мы оба понимаем, о чем идет речь, но значение взаимопонимания между СССР и ФРГ особо не выпячивается. Стараюсь миновать престижные и прочие капканы на случай утечки сведений о нашей беседе. Вы никогда не уверены, что доверительность удастся соблюсти в полном объеме, если двое обмениваются мнениями не ради собственного удовольствия.

Никто не придерется, узнав, что я поинтересовался, насколько подробно три державы извещают Бонн о переговорах с нами по Западному Берлину и в каком ракурсе преподносят советскую позицию. Не должны занести в пассив социал-либеральной коалиции и реакцию Э. Бара: США, Англия и Франция подробнейшим образом держат ФРГ в курсе берлинских дел.

Остается неясным, сообщаются ли западным немцам наши соображения в их оригинальном виде или в вольном

переложении, не только из-за двойного-тройного перевода. Точность не была профилирующей заботой наших бывших союзников, если судить по тому, как преподносилась позиция ФРГ советской стороне. Вот окошко, которое можно задействовать так, чтобы невинность соблюсти и капитал приобрести.

В. Брандт в состоянии расшевелить мысль своих берлинских друзей. Взвесить, не может ли этот город взять на себя более продуктивное амплуа, чем «копье в живом теле ГДР» и т. п. Перегиб на одной стороне может спровоцировать перехлест на другой. Дело за малым: уговорить три державы плюс ГДР, что нормальная и стабильная обстановка в городе и вокруг него согласуется с их долгосрочными интересами. ФРГ придется поработать с Вашингтоном, Лондоном и Парижем, нам – объясняться с Восточным Берлином.

– Каких-либо новых идей у Громыко нет. В любом случае он не доверил их мне для передачи руководству ФРГ. Соображения, которые я выскажу, надо воспринимать как мои собственные. Не хотелось бы, чтобы их возможное и даже вероятное несанкционирование министром создало впечатление, будто я передергивал. Если эта оговорка принимается, готов продолжить. Если она смущает, можно считать, что свою миссию я выполнил, и завтра начальство в Москве будет извещено об изложенных вами озабоченностях.

Собеседник замечает, что находит мою оговорку почти само собой разумеющейся. Гарантий в нашем деле, к сожалению, не выдается, поскольку последнее слово не за нами.

– Условились. Забудем на время, кто за что прежде выступал, проинвентаризируем факты, в том числе и неудобные, а затем, оснастившись здравым смыслом, прикинем варианты. Борение за старые принципы поглотило четверть века. Два-три урока за это время мы должны были бы усвоить, а именно: кризисы не сыпались с небес, они возникали как продукт деятельности людей; от людей же зависело профилактировать или разрешать их и на какой манер; на кризисах грели руки политики, расплачивались за них широкие массы и отдельные смельчаки.

Бар тем временем раскуривает следующую из коллекции своих трубок.

– Пора бы ввести в действие новые принципы, уважение которых позволило бы мирно сосуществовать, без того чтобы возлюбить ближнего. Среди них придется числить, в частности, равное отношение к правам и интересам каждого из участников противостояния. Попытки ущемить позиции СССР не укрепят положения трех держав. ФРГ придется признать права и интересы ГДР, чтобы избежать дискриминации своих прав и интересов. При

пользовании, скажем, коммуникациями практичнее было бы опереться на соответствующие международные правила. Трудный вопрос – федеральное присутствие в Западном Берлине. Налицо конфликт между фактическим положением и правовым статусом Западного Берлина даже под углом зрения трехсторонних предписаний. Правовые позиции западных держав, как ни странно, ближе к СССР и ГДР, чем к ФРГ. Это трудно произнести вслух, но такова реальность.

Спрашиваю Э. Бара, достаточно ли ясно я выражаю мысль? Он находит точки соприкосновения в наших подходах и просит меня продолжать.

– Целью урегулирования, на мой взгляд, должно было бы быть предотвращение дальнейших больших и малых осложнений в Западном Берлине и из-за него. Население города тоже имеет свои права, и их нельзя сбрасывать. Не «хиреющая деревня» (установка ГДР), но и не «самая дешевая атомная бомба в центре Восточной Германии» (лозунг западных политиков). Интересы населения не получат солидной защиты без удовлетворительного решения проблемы гражданских связей Западного Берлина с ФРГ и, видимо, человеческих контактов, рассеченных стеной в некогда едином городе.

На этой встрече или это случилось уже при третьем сидении, прошу прощения, не помню, Э. Бар делает многозначительное замечание:

– Если бы специфика отношений ФРГ – Западный Берлин была передана на немецком языке понятием «биндунген» (узы), то подтверждение того факта, что Западный Берлин не является «составной частью ФРГ», не вызвало бы в Бонне слишком больших возражений.

Из реплики собеседника заключаю, что в черновых наработках западные немцы и, похоже, три державы продвинулись дальше, чем, исходя из словопрений четырех послов, у нас считалось. Вместе с тем оброненная Э. Баром реплика настораживала: я втягивался в диалог, в котором мог опираться в основном на опыт в субъективной его интерпретации. Груды материалов, что довелось мне перешерстить, не были поручительством правильности маршрута. В любом экспромте важно вовремя поставить точку.

– Короче, первым делом следовало бы рассортировать желательное и возможное. В 1959 году «Шпигель» саркастически писал, как некоторые дипломаты (в контексте совещания министров иностранных дел в Женеве) разговорами о невозможном убивают ростки возможного. Эта метода на вооружении по сию пору. Имей выбор, я предпочел бы

соглашение со строгими обязательствами по строго означенному кругу вопросов аморфным декларациям на необозримом поле. И последнее на сегодня. «Техническое соглашение», выводящее за борт проблемы, которые интересуют СССР и ГДР, не пройдет. ФРГ придется позаботиться о том, чтобы три державы не слишком задержались с модернизацией их германской политики и адаптировались на перемены, уже вызванные к жизни социал-либеральной коалицией.

Еще с четверть часа потрачено на проговор деталей. Хозяин делает пометки. Он не скрывает, что разговор вышел за рамки его ожиданий. Видимо, без особых отлагательств стоило бы встретиться снова и так же в Западном Берлине. Обговариваем, как поддерживать связь, заботясь о строжайшей доверительности.

Уже поздно, за полночь. Мне предстоит еще писать телеграфный отчет в Москву, ранним утром созвониться с А. М. Александровым для упреждающей ориентировки генерального секретаря. Только после этого займу место в самолете и на два часа останусь наедине с самим собой.

Подходящий случай еще для одного признания. Как известно, в своем отечестве пророков не бывает. В моем бывшем отечестве пророк должен был по совместительству занимать по меньшей мере кресло в политбюро. Зато мнению «из-за бугра» внимали. На дипломатической службе я столкнулся с этим, едва попав в МИД СССР.

В. С. Семенов докладывает А. А. Громыко о разговоре с Ф. Колером, американским послом в СССР. Это было в 1959 г. в Женеве. Министр весь внимание. Почти после каждой услышанной фразы он приговаривает: «Любопытно, интересно». Затем вдруг уточняет:

– Кто это сказал?

– Это я сказал, – отзывается Семенов.

Все. У Громыко враз иссякла охота слушать своего заместителя. Он не спрашивает, как реагировал Ф. Колер и что он вообще говорил.

Отсюда стремление многих советских представителей освещать собственные идеи иностранным авторитетом. Если произнесенные вами слова вложить в уста партнеру, когда он, понятно, идентифицируется с вашим ходом мысли, или подать их таким образом, что авторство будет подмаскировано, ваше сообщение как минимум прочтут. Или брать грех на душу, или полагаться на авось.

Мои отчеты о встречах с Э. Баром и позже втроем, когда в ворожбу включился К. Раш, были начисто избавлены от «яканья», от претензий на личный след в истории. Это не противоречило,

убежден, редкостной атмосфере, сложившейся в нашей команде, временами напоминавшей бригаду медиков, подчинивших себя цели поставить пациента на ноги.

Детали лишь утомили бы читателей. Документы осели в архивах и рано или поздно будут оглашены. Любопытнее будет рассказ о том, что почти не отразилось в бумагах.

Как воспринял Громыко сообщение о первой встрече с Э. Баром в Западном Берлине? Без восторга. Его настораживало, что превращение ФРГ в четвертого участника переговоров на западной стороне косвенно сообщает новое качество ее претензиям на Западный Берлин.

– Не думаю, чтобы Бонн созрел для более самостоятельной линии по Западному Берлину. Много ли проку, если западные немцы повторят то, что нам уже известно со слов представителей трех держав? А проиграть можно изрядно, пристегнув ФРГ к переговорам. Непросто все, очень непросто.

Л. И. Брежневым доклад воспринят менее полемично. Контакты с Бонном по западноберлинской тематике? Информационные и консультационные уместны. Упущение, что мы не начали их раньше. Делать Бонн стороной в переговорах? Ответ на этот вопрос должен увязываться с позицией ФРГ по существу искомых решений, а не выводиться из одних формальных признаков. Но как раскрыть эту позицию и удостовериться в ее весомости? Перевесили доводы Брежнева, поддержанные Андроповым.

Санкция на продолжение обмена мнениями дана. Поручалось активно представлять интересы Советского Союза и защищать позиции ГДР. Как и в каких пределах? Брежнев свел директиву к одной сложносочиненной фразе: «Ты наши интересы знаешь, и руководство ждет от тебя хорошего соглашения». Вот когда на своем примере я убедился, что нет ничего труднее простейших теорем.

Вскоре после, думается, второй моей беседы с Э. Баром французский дипломат, что был причастен к переговорам четырех, со злорадством говорит нашему сотруднику: «А ваш друг нам порекомендовал поднажать на русских. Как он, Бар, «небеспричинно» считает, у Советского Союза есть кое-что в запасе».

Или Э. Бар усомнился, что у меня действительно не было директив, или заподозрил, что наши сидения попали в поле зрения западных разведок, или по каким-то другим мотивам решил обезопаситься. Надо объясниться, и круто. Договариваемся о новой встрече. Приурочиваю ее к сессии ПКК Варшавского договора, на которой мне назначено быть. Делюсь с Брежневым

сомнениями и получаю санкцию на то, чтобы «надавить» теперь на Бара.

– Покажи ему, либо доверие, либо… Потом доложишь, как Бар среагировал.

Быть может, этим несладким разговором и был заложен краеугольный камень нашей с Эгоном Баром будущей дружбы. Я не стал ходить вокруг да около, а предложил, прежде чем заняться предметом дискуссии, устранить одно «недоразумение».

– Мы условливались о строжайшей доверительности. Есть у вас поводы думать, что наша сторона нарушает договоренность?

Э. Бар подтверждает, что СССР придерживается данного слова.

– Я поставлен в другое положение, что прискорбно. Могу себе представить, что западные дипломаты тоже обещали вам блюсти тайну. В том числе и части вашего совета «поднажать на русских». Но тайнам не всегда уютно в сейфах, и они вылезают наружу. В самые неподобающие моменты.

Хозяин дома пыхтит своей трубкой, будто ставит дымовую завесу. Он растерян. Уверяет, что о «нажиме» не говорил.

– Или вы не поверили мне на слово, что я излагал вам свои личные соображения. Им еще предстоит, причем не знаю, в какой полноте, стать официальной позицией.

Если эта посылка верна, то отсутствует минимум доверия, необходимого для поддержания нашего в чем-то уникального начинания. Или вы предполагаете, что наши встречи перестали быть тайной от трех держав, и торопитесь их легализовать. Но тогда мы первые должны были бы узнать о таком обороте, чтобы раскрыть наш контакт перед руководством ГДР. Что мне доложить Брежневу?

Бар уже несколько оправился от неожиданности. Он уверяет, что никому ни намеком не обмолвился о факте моих визитов к нему в Западный Берлин. Об этом знает лишь В. Брандт. Собеседник исключал, что иностранная разведка проникла в наш секрет. Помещения, где мы беседуем, регулярно проверяются. Если бы подслушивающие устройства имелись, их бы обнаружили.

Пройдет немного времени, и мне станет известно о сетованиях Э. Бара по поводу болтливости кое-кого из его западных связей. В общем подтверждается – дыма без огня не бывает. Что делать? Сколько раз Бар заявлял Громыко: не нравятся социал-либералы – ищите себе других партнеров. Пусть теперь он услышит это сам? Мне что, больше всех надо? Живет же большинство без надрыва, от звонка до звонка. Чего тебе неймется?

Тоже вид болезни – одержимость трудоголика. Она и взяла верх. Увяз я в паутине, сотканной не без моих стараний. Рвать ее жаль, передать нить некому. Принимай Бара таким, каков он есть, и не приписывай ему совершенств Галатеи. Тем более что он не твое творение.

Мне не дает покоя мысль, что США и их друзья могут и, пожалуй, даже должны быть в курсе необычных встреч в доме федерального уполномоченного. При одном из посещений Бара в феврале 1971 г. я интересуюсь, защищены ли против снятия информации телефоны, что красуются на круглом столе в углу комнаты, где велись наши разговоры. Бару подобная возможность в голову не приходила, но он склонен думать, что этот канал утечки тоже перекрыт.

– Мнение в подобных случаях не спасает. Если есть хоть малейшая зацепка для сомнений, то правильнее действовать на опережение. Видимо, пора посвятить в факт нашего диалога американцев. Все равно без сотрудничества с ними не обойтись. Если вы в принципе не против, то действуйте.

Предложение (опять ни с кем из руководства мною предварительно не обговоренное) ввести в наш круг американцев собеседника заметно обрадовало. Не хочу гадать отчего, но оно, по моему впечатлению, сняло с плеч Бара какой-то гнет.

Первый мой приезд в Бонн. Видно, мне так на роду было написано – страны, отношения с которыми входили в сферу моих служебных забот, как правило, долго оставались моими знакомцами по документам. Так что горьковское «на глаз» еще получалось, а с «на ощупь» почему-то не выходило. К примеру, в Канаду я попал лишь осенью 1969 г., когда дела, касавшиеся этого интереснейшего северного соседа, были сданы преемнику по 2-му Европейскому отделу Е. Н. Макееву. В Австралию и Новую Зеландию не выбрался вообще, как и на Ближний Восток, который курировал с мая 1967 г. по июль 1968 г.

Декабрь не лучший месяц для путешествий по Европе. Во времена Г. Гейне, возможно, Германия являла собой «зимнюю сказку». Мне сказочной она не показалась. Ухоженной против российских городов и весей – да. Обильно прихорошенной блеском витрин на торговых площадях и улицах – конечно. Непривычно пестрой не только по разнообразию марок автомашин, но также лиц и одежд прохожих – и этого не оспоришь. Понравился трудяга Рейн с его стремительным течением и бесконечными, куда хватает взор, караванами судов разной величины и национальности.

А сам Бонн производил впечатление отсутствием броских столичных атрибутов. «Длинный Ойген», несколько зданий в

районе Тюльпенфельда, да в ту пору еще отель «Штайгенбергер» – вот, пожалуй, и все из относительно высокорослых сооружений, получивших на конец 1970 г. боннскую прописку. В остальном типичное для города средней руки чередование зданий, возведенных в прошлые эпохи и отмеченных не всегда бесспорной индивидуальностью, с безликими по архитектуре постройками послевоенных лет. Значит, не только мы умудрились утратить преемственность в градостроительном искусстве. Радости от подобного открытия, право, никакой.

Всего-то три дня отведено мне на рекогносцировку будущей своей обители – места, на которое меня в Москве прочили послом. В советском посольстве немало знакомых. Хорошо, что часть из них станет моими сотрудниками. Вместе с тем настораживал дефицит у дипломатов конкретных представлений о подспудных тенденциях на боннской колокольне и в ее округе. С рассуждениями общего плана спорить не хотелось – недоставало субстанции.

Обстоятельные беседы с Э. Баром. Я посвятил его в намеченные перемены в моей деятельности, не скрывая, что это может иметь также минусы для практического обновления советско-западногерманских отношений. Из Бонна мне будет труднее поддерживать оперативный контакт с Л. И. Брежневым и его непосредственным окружением, без чего дело хромает порой без всяких видимых причин. Высказал мнение о желательности энергичной наработки в ближайшие месяцы заделов на определяющих климат направлениях.

Статс-секретарь заметил, что В. Брандт и он считались с вероятностью моего назначения в Бонн. Если так случится, федеральный канцлер окажет новому послу всю возможную поддержку и посольство СССР на Рейне обретет для советского руководства иную по меньшей мере информационную ценность.

Э. Бар согласен с тем, что промедление в накоплении положительного капитала таит большой риск. Ратификация Московского договора столкнется с большими трудностями, чем предполагалось. Федеративная Республика, как государство и общность людей, оказалась на распутье. В стадии становления, без преувеличения, новый политический курс, и приверженцы старой доктрины добровольно не сдадут своих позиций. В известном смысле фракция ХДС/ХСС в бундестаге настроена даже консервативнее, чем базис этих партий.

Мы сравниваем различные модальности, прикидываем, где заключены резервы, а где тормозные башмаки. Не требовалось особой проницательности, чтобы распознать полезность поощрения экономического сотрудничества. Полезность – это

подобно звездочке на небосклоне: не помешает ни в коем случае, но при доле Советского Союза меньше двух процентов во внешнеторговом обороте ФРГ, увы, не выручит.

Что еще? Отказ от насилия приглашает к новому прочтению азов концепции, расстановки сил и акцентов в военной политике. Немцы, однако, ассоциируют понятие насилия с кризисами вокруг Западного Берлина и нерешенностью в первую очередь человеческих аспектов германо(ГДР) – германских(ФРГ) взаимоотношений. Отсюда другие приоритеты. Сверхмилитаризация не радует, тем не менее из наличествующих разновидностей негатива она не принимается за наихудшую.

Прорыв должны совершить сами западные и восточные немцы. Четыре державы могут им помочь, но развязать конкретные узлы за них и вместо них не в состоянии.

Опять проговор в деталях берлинского сюжета. Надо форсировать поиски элементов согласия и развязок. Переговоры четырех послов еще очень понадобятся в дальнейшем, и поэтому следовало бы озаботиться тем, чтобы на них как можно реже звучало жесткое «нет».

По возвращении в Москву доклад в два адреса. Громыко сосредоточен на перспективах ратификации Московского договора. Соберет ли договор необходимое большинство? Может, зря, размышляет министр, мы избрали форму договора? Обмен заявлениями или соглашение, не требующие благоволения парламента, решали бы они задачу меньшей затратой нервов и сил?

Принимая в расчет обусловленность ратификации Московского договора прогрессом на переговорах по Западному Берлину, замечаю я, можно или попросить поляков продвигать свой договор через бундестаг раньше нашего, или нам выдвинуть на западноберлинских переговорах смелые инициативные предложения, отклонить которые три державы были бы не в состоянии, не теряя ореола радетелей города. Ратификация договора в Варшаве, строго говоря, не завязана на предварительное урегулирование какого-либо из ныне открытых вопросов, и вместе с тем по логике вещей она облегчала бы прохождение через боннский парламент договора с нами.

Громыко активно не нравится идея опережающей ратификации польско-западногерманского договора.

– Как это, по-вашему, должно получиться, мы начали и затем отстали от Варшавы? Народ не поймет. Вместе два договора рассматриваются – согласен. Но чтобы нам сойти на запасной путь, пропуская вперед поляков? Не получается.

– У ФРГ есть договор о дружбе с Францией, но нет

аналогичного договора с США. И живут себе.

– Мы обсудили этот вопрос. Что у нас еще?

Еще были западноберлинский узел и естественные для министра сетования на «просчет», допущенный В. Брандтом.

Брежнев ни один вариант не брал в штыки. Раздельная ратификация Московского и Варшавского договоров? Заманчиво. Но немцы на это не пойдут. Следует продвигать другие проекты, в том числе берлинское урегулирование.

12 января 1971 г. правительство ФРГ «с удовольствием» дало агреман на мое назначение послом в Бонн. Необычное и лично для меня приятное добавление к стандартной формуле вызвало в Москве некий шорох. Не будет ли новый посол слишком удобен для немцев? Совместятся ли официальные обязанности и тесные взаимоотношения с новыми руководителями ФРГ? Примерно таков был подтекст иных комментариев.

Не знаю, правильно или нет, я решил, что нелишне показать характер. Маниловщина, даже как репутация, лишь во вред.

После подписания Московского договора заметно интенсифицировались государственные обмены между СССР и ФРГ. В сентябре 1970 г. Советский Союз посетили федеральный министр экономики проф. К. Шиллер и министр по делам образования и науки проф. Г. Лойссинк. Подписано соглашение о сотрудничестве между Академией наук СССР и Немецким исследовательским обществом. В середине января 1971 г. гостем советской парламентской группы был председатель комитета по иностранным делам бундестага Г. Шредер. Знакомство с Г. Шредером имело полезное продолжение в ходе моей работы в Бонне. В феврале – марте 1971 г. велись переговоры о воздушном сообщении и состоялись первые предметные обсуждения проекта торгового соглашения между нашими странами.

И вот подходящий случай представился. Делегация «Юнге унион» во главе с Ю. Эхтернахом выразила пожелание встретиться со мной в МИД СССР. В группе члены правления Д. Фишер и Ф. Рюэ, будущий генеральный секретарь ХДС и нынешний министр обороны ФРГ. Решительные молодые люди, исполненные уверенности в достоверности своих взглядов и аргументов. Гости ставят вопросы, ответы за мной. Собеседникам не совсем по себе. Они не ожидали разговора без дипломатии.

Московский договор не создает трудностей для западноевропейской интеграции. Он не отменяет, но делает неактуальными положения статей 53 и 107 Устава ООН о вражеских государствах. Заключение договора потребовало от советского руководства значительных усилий, чтобы, в частности, сделать его понятным населению. Нератификация договора

явилась бы ударом по советско-западногерманским отношениям. Что касается Западного Берлина, то при взаимности достижимо как всеохватывающее, так и частичное урегулирование. Понятно, в основу транзитного сообщения с Западным Берлином придется положить обычные международные правила, которые никого не должны дискриминировать и никому не предоставлять привилегий. Вопрос федерального политического присутствия в Западном Берлине тоже решаем, если будут уважаться четырехсторонние соглашения и оговорки к статье 24 боннской конституции, сделанные тремя державами. Такими были акценты в моих высказываниях.

Завышенных надежд на то, что Ю. Эхтернах и его коллеги схватят суть, я не возлагал. И не им предназначался мой монолог 17 марта 1971 г. Предположи, однако, сколь бурными окажутся отклики, наверное, выбрал бы других собеседников для раздумий вслух. Или поступил бы так, как, журя меня за неосторожность, советовал Громыко: «Ответы на свои вопросы вы найдете в тексте договора».

Оппозицию заботило тогда одно – поднять, и повыше, вал недовольства против «восточной политики» социал-либеральной коалиции. Мой призыв к преодолению стереотипов и к добрососедству лишь разъярил. Злые глаза не видят добра – в копилке мудрости почти каждого народа есть на сей счет отметка.

Если свое кажется лучшим – не страшно. Опасно тогда, когда свое становится единственно верным. Нельзя себя любить и жалеть до такой степени, чтобы из поля зрения исчезали уступки другой стороны, связанные с подведением черты под прошлым.

Мне хотелось дать понять, что Московский договор не заменяет мирного договора. Поэтому при всем желании он не может влечь за собой отмены положений статей 53 и 107 Устава ООН. По Западному Берлину я расставил, как виделось мне, основные вехи будущего практического урегулирования. Позднее большинство из них было принято США и другими державами. Сравните сентябрьские четырехсторонние документы 1971 г. с моими мартовскими тезисами, многозначительные параллели не укроются от вас.

Но молодые христианские демократы сочли, что фортуна им улыбнулась, посол подставился. В дискуссию включился В. Шеель. Он выступил с разъяснением, не совсем, однако, таким, которого желала оппозиция. Шеель подтвердил, что форма федерального присутствия в Берлине (Западном) «ненормальная». В ходе специальных дебатов, устроенных в бундестаге, объяснялся министр без портфеля Х. Эмке. Выступлений от ХДС/ХСС

насчитывалось с дюжину. От Р. Барцеля и К.-Г. Кизингера до Й.-Б. Градля и барона фон унд цу Гуттенберга. С подачи «молодых» прикидывалось, а не потребовать ли аннулирования агремана, выданного мне.

Выдвинули бы, и, как знать, не состоялся бы я в качестве посла. По примеру В. А. Зорина. Он выдержал в Бонне около полугода, после чего ему дома нашлось другое занятие, а мое пребывание в столице ФРГ свелось бы к трем декабрьским дням 1970 г. Советско-западногерманские отношения, разумеется, не впали бы в летаргию. Их нормализация диктовалась объективными потребностями обоих государств. Не без временных потерь она получила бы несколько иную проекцию. В отношении западноберлинского соглашения это можно утверждать определенно. На благо или в ущерб – никто теперь не вычислит.

К середине марта 1971 г. наша с Э. Баром ворожба вокруг Берлина продвинулась уже далеко. Не ради красного словца я сравнил наше затворничество с ворожбой. Риск, что нас обвинят в ереси и предадут в руки политической инквизиции, был велик. Ни прогноз В. Брандта, выраженный с учетом промежуточного баланса, что провал четырехсторонних переговоров на данной стадии «маловероятен», ни карт-бланш, данный мне Брежневым, не являлись страховым полисом. Каждый раз, отправляясь на встречу в Западном Берлине, я не знал, что меня ждет по возвращении, удастся ли доказать начальству обоснованность развивавшихся мною идей.

Встреча с участием посла США в ФРГ К. Раша чуть не расстроилась из-за досадной неувязки. Прилетаю в Берлин. День нерабочий. Кто-то забыл предупредить офицера безопасности, который сопровождал меня в западную часть города и знал точный адрес, что вечером нам предстоит «операция». В назначенный час привычная машина, но с незнакомым мне сотрудником стоит у подъезда посла – и в путь. Уже в американском секторе мой сопровождающий спрашивает:

– Так куда вас доставить?

– Вам лучше знать. Я названия улицы и номера дома не запоминал.

– Мне приказано быть в вашем распоряжении. Детали мне не раскрывались.

Из соображений конспирации каждая моя поездка выполнялась по сжатому графику и меняющимся маршрутам. Смотрю на часы. Возвращаться назад времени нет. Ничего другого не остается, как по фрагментам восстанавливать примерную панораму. Вот тут с главной улицы мы сворачивали в лабиринт

вилл. Похожий переулок. Проезжаем его насквозь. Дома уполномоченного нет. Вторая, третья проба – без толку. Возвращаемся на главную улицу. Точно, съезжали здесь и где-то поворачивали направо. Куда же нужный дом запропастился? Уже вечереет. В сумерках все постройки, как кошки, серые. Последняя попытка. Опять на главную дорогу, съезд, сразу берем вправо. Вот он, голубчик! У ворот хаусмайстер. Чуть поодаль машины, в которых сидят подтянутые молодцы. Не иначе как охрана К. Раша.

Нескладно вышло. Планировалось, что я приеду за полчаса до Раша. Его службе безопасности не обязательно было меня видеть. Кроме того, Э. Бар собирался ввести меня в курс своих разговоров с послом США. А вышло так, что Раш ждал меня и вместе с хозяином строил догадки: самолет подвел, машина сломалась или в последний момент Москва передумала, решила обойтись без трио и, следовательно, без разговоров с ФРГ по Западному Берлину?

Вздох облегчения приветствовал меня. Вместе посмеялись над нелепостью, доставившей треволнения и которая могла, не сыщись нужный дом, породить спекуляции. Скольким случайностям, роковым несовпадениям история обязана драматическими надломами, упущенными шансами, склоками на высших и прочих уровнях? Иван Грозный не дождался ответа на предложение – ради «великой дружбы» – руки и сердца Марии Гастингс, племянницы британской королевы Елизаветы, и умер за игрой в шахматы с Биркином. Петру I недостало одного вздоха, чтобы вымолвить последнюю волю, возможно избавившую бы Россию от перебора в XVIII в. императриц. На четверть часа запоздала телеграмма из Хельсинки, которая могла предотвратить бесславную советско-финляндскую «зимнюю войну» 1939/40 г. И почти никогда загодя неизвестно, быть тебе лишней или нужной спицей в колеснице.

Встреча с К. Рашем чем-то походила на смотрины. Ф. Саган принадлежит меткое наблюдение: первый мимолетный обмен взглядами говорит мужчине и женщине, может или не может что-либо возникнуть между ними. Нечто сходное присуще также дипломатам и политикам.

Не стремление понравиться друг другу руководило, смею думать, нами в тот вечер. И даже не желание произвести впечатление нескованностью мышления. Душа нараспашку, как и чопорность, были одинаково неуместны, когда тестировалось, есть ли почва, на которой предстояло совместиться нашим личностным особенностям. Деловитость, рассудительность, искусство слушать и слышать – они, судя по первому

впечатлению, не чужды моему американскому коллеге. Если так, можно рассчитывать на серьезное и солидное сопоставление точек зрения.

Вы правильно заключили, что Раш мне приглянулся. Ни единого замечания, которое вызывало бы на полемику. Чем дольше длится полемика, тем дальше, в отличие от споров, она уводит от сути. Берлинская проблема – одно из нагляднейших тому подтверждений.

По уточняющим фразам, обращенным то к Э. Бару, то ко мне, приметно, что К. Раш без самозабвения копался в поседевшей старине. Его больше влекли нынешние заботы. Посол старался разобраться, что стоит за тем или другим вашим высказыванием, а не отбрасывал для собственного удобства непонятное, как сплошь и рядом случается. Как бы то ни было, я принимал это за доброе предзнаменование.

Вероятно, в моем сознании зафиксировались и сгущались положительные оттенки, хотя они могли быть не первичными, а производными от неполитического корня. Разговор втроем велся по-английски. Американское произношение К. Раша и мой скудный активный словарный запас не облегчали задачи. Мне надо было пообвыкнуться. Когда языковой барьер становился неодолимым, выручал Э. Бар.

Прощаясь, К. Раш поинтересовался, как скоро я собираюсь принять посольские дела в Бонне. Услышав, что моя мобильность урезана тяжелой болезнью жены, он посочувствовал и затем заметил:

– Условливаемся продолжить сегодняшний разговор в Бонне. Как прибудете туда, дайте, пожалуйста, знать, не обязательно ожидая приема президентом ФРГ ваших верительных грамот.

Итак, США включились в плетение кружев. Друзья в ГДР обидятся и будут правы, если не от Москвы узнают о наших сходках. А они наверняка что-то подозревают. Объяснений, почему я зачастил в Берлин, им не давалось. Мои проезды через КПП «Чарли» были, безусловно, замечены. И главное – значимость любых договоренностей с США и ФРГ будет определяться практикой их претворения в жизнь. Если ГДР согласится сотрудничать, причем не формы ради, не спустя рукава, то свет в конце туннеля пробьется. Для этого руководству Республики надо показать и доказать, что договоренности служат интересам самой ГДР, позволяют универсально решить проблему ее международного признания, переводят всю германскую тему в несиловую плоскость.

Л. И. Брежнев и А. А. Громыко разделяют эти соображения. Оба считают, что мы даже подзапоздали с объяснением на сей

счет с В. Ульбрихтом. Согласно информации, имеющейся у генерального секретаря, друзья нервничают. Наращивание объема и качества наших контактов с ФРГ кажется им неоправданно стремительным, обгоняющим эволюцию внутренней западногерманской ситуации и германо-германских отношений.

Опять инициатива наказывается – Брежнев поручает Абрасимову связаться с В. Ульбрихтом и выяснить, когда он сможет принять для беседы с глазу на глаз уже не заведующего 3-м Европейским отделом и еще не посла СССР в ФРГ. Пару часов спустя известие – первый секретарь ЦК СЕПГ называет в качестве возможных дат встречи завтрашнее утро или послеобеденное время следующего дня.

Громыко делает выбор за меня: чем раньше, тем лучше. Он высказывает рекомендации, как структурировать информацию для В. Ульбрихта. Это была присказка. Сказка выглядела так.

– Постарайтесь убедить друзей. Не стесняйтесь, спорьте. Покажите, что дается шанс ввести Европу в мирное русло. Упустить этот шанс значило бы взять на себя тяжелую ответственность. В. Ульбрихт может потребовать время на размышление и совет с коллегами. Сразу условливайтесь о новой встрече. Задержитесь в Берлине, если потребуется. Исходите из того, что нам нужно «добро» от друзей.

Все расставлялось по положенным местам. Спорить с союзниками на высшем уровне не принято. Для этой не слишком благодарной миссии назначали эмиссаров. Их легче поправлять или, когда возникает нерасчетный оборот, дезавуировать.

В Шенефельде меня встречает П. А. Абрасимов. Неизменно энергичный, говорит рубленым слогом, который невольно побуждает собеседника прислушиваться. Посол вжился в обстановку. Его особенно занимают дворцовые тайны, и тут он – кладезь подробностей. Узнаю, что В. Ульбрихт не совсем здоров и примет меня в загородной резиденции, что друзья знают о факте моих встреч с Э. Баром, хотя, судя по всему, еще не подобрались к их содержанию, что настороженность в руководстве СЕПГ по отношению к социал-либеральной коалиции усугубляется.

П. А. Абрасимов предлагает взять переводчика посольства «с учетом важности предстоящего разговора». Благодарю посла за заботу. Именно с учетом важности и деликатности обмена мнениями не следует расширять круг участников и вести записи. Появление А. Тарасова вызовет присутствие на стороне друзей знатока русского языка. Доверительность от этого не выиграет.

В 10.00 я в Вандлице. Это мой первый и единственный приезд в район расположения загородных вилл руководителей ГДР. Все в поднебесье, повторюсь, относительно. Не буду сравнивать

Вандлиц с Кэмп-Дэвидом, Чеккерсом или Фонтенбло. Замечу лишь, что в ГДР была избрана, наверное, не самая разорительная модель обустройства быта и охраны высшего политического звена. И, вернувшись в Москву, при докладе Брежневу и Громыко я помянул Вандлиц как показатель умения считать. Особого интереса эта часть моего сообщения, правда, не вызвала.

С В. Ульбрихтом мы были знакомы с 1950 г. Правильнее сказать, знали о существовании друг друга, ибо, хотя меня несколько раз представляли лидеру ГДР, сомневаюсь, чтобы его заинтересовал рядовой сотрудник Советской контрольной комиссии. С начала 60-х гг. контакты стали регулярнее, а летом 1964 г. Ульбрихт удостоил меня похвал в разговоре с Хрущевым за совместную с М. Колем работу над текстами документов, подписанных по итогам визита в Советский Союз партийно-правительственной делегации ГДР.

Это говорю на тот случай, если у кого-то возникнет искушение упрекнуть меня в стремлении подровнять воспоминания под нынешние стандарты. Я не был противником ГДР, не находил, что в состязании систем Германская Демократическая Республика заведомо попадала в положение обреченного. Судя по финалу, это видение можно назвать наивным. Мне же представлялось, что в двух конкретных случаях социалистической идее давалась возможность раскрыть свои потенции: в Чехословакии, государстве с едва ли не самым высоким уровнем материального благосостояния в довоенной Европе, и в ГДР, когда три державы вкупе с влиятельными кругами самой Западной Германии сделали раскол страны совершившимся фактом и принялись перевооружать ФРГ.

Что до двух Германий, моя посылка была незатейливой. Части некогда целого стартуют с примерно равной отметки в новую жизнь. Конечно, одно государство продолжит и будет приращивать то, что уже эффективно функционировало. Другому предстоит многое опробовать и внедрять, чего немецкая действительность не знала. Но на стороне последнего возможность опереться не только на элиту. Идея социальной и человеческой справедливости в теории перекликалась с коренными потребностями широких масс и сулила их поддержку.

Ф. Энгельсу принадлежит немало на редкость точных предсказаний. Вот одно из них: «Бесспорно во всяком случае следующее: победоносный пролетариат не может навязать какому-либо зарубежному государству способ быть счастливым, если он не хочет похоронить собственную победу». Глаз Сталина не задерживался на подобных положениях, когда читал «классиков», либо они возбуждали в нем желание доказать, что

сила сломит любые закономерности, была бы воля. После смерти диктатора наследники остались в учении и на осевых направлениях практики его последователями.

В. Ульбрихт приветствует меня без протокольных витийств. Он выражает пожелание, чтобы в беседе принял участие В. Штоф. По моему разумению, это даже к лучшему. С Вилли Штофом до сих пор мне удавалось находить общий язык.

Просторная гостиная. Приносят чай и кофе. Хозяин говорит, чтобы все поставили на стол и больше без приглашения нас не беспокоили.

– Что вам поведал ваш друг Бар?

Начало обещающее. Слово «друг» произносится с нескрываемой иронией, а не просто на свойственном В. Ульбрихту саксонском диалекте.

– Сколько раз вы с ним встречались в Западном Берлине? Поди, все проблемы успели обсудить.

– От обсуждений ради обсуждений проку не больше, чем от кипячения воды без приправ. Четыре державы занимаются этим двадцать пять лет. Неведомо, сколько бочек выпарили и, обжегшись, дуют на холодное.

– Вы, значит, чем-то другим занимаетесь?

– В известном смысле да. Цель – помочь сдвинуть дело с мертвой точки, а не обогатить пропаганду дополнительными аргументами, будто нет предпосылок для положительных подвижек в статус-кво. Разные цели определяют разную технологию диалога. Окончательные выводы преждевременны. Некоторые промежуточные оценки заслуживают внимания. О них мне поручено вас, товарищ Ульбрихт, проинформировать и спросить ваше мнение.

Ставлю собеседников в известность о содержании своих встреч с Э. Баром. Примерно в тех же выражениях, как докладывал Л. И. Брежневу. Разговоры послов четырех держав о генеральном урегулировании выродились в способ ухода от урегулирования, а модель так называемого «технического решения» призвана под видом «оформления сложившейся практики» легализовать нарушение Западом норм, установленных Контрольным советом. Три державы тянут Федеративную Республику назад, прочь от деклараций последней в пользу модус вивенди на основе сложившихся реальностей – всех реальностей, а не избранных, устраивающих лишь одну из сторон.

– Вырисовывается возможность – пока не больше, чем возможность, – примерно следующей схемы: подтверждение в общей форме четырехсторонней ответственности за Германию в целом, включая Берлин, как общего фона урегулирования,

признание юрисдикции ГДР во всех видах наземных и водных гражданских коммуникаций Западного Берлина при условии ее отказа от претензий на этот город; признание со стороны ФРГ распространения компетенции ГДР на Восточный Берлин, если ГДР в свою очередь примет к сведению сложившееся неполитическое федеральное присутствие в Западном Берлине при подтверждении невхождения этого города в состав ФРГ.

В. Ульбрихт поднимает палец в знак того, что у него есть вопросы или возражения. В. Штоф замечает:

– Вальтер, дай товарищу Фалину закончить сообщение.

– Пожалуйста, продолжайте, – соглашается Ульбрихт.

Подробно излагаю ход обмена мнениями с Э. Баром насчет правовых оснований для проезда (провоза) через территорию ГДР в Западный Берлин и из него. Не забываю сказать о пожеланиях западных немцев касательно поддержания родственных связей в разделенном городе. Выделяю два момента: а) признается, что конкретные условия пользования в гражданских целях коммуникациями, пролегающими по территории ГДР, определяют власти Республики; поэтому в соглашении четырех могут декларироваться лишь общие положения; детальное регламентирование – задача отдельной договоренности между ГДР, Западным Берлином и ФРГ; б) вводится понятие «транзит» с отсылкой на обычные в подобных случаях международные правила.

В. Штоф сразу засек «транзит» и, обращаясь к первому секретарю, говорит:

– Слушай, Вальтер, слушай.

Мне осталось прокомментировать ключевую функцию Западного Берлина для ратификации подписанных договоров и выработки новых. В том числе договорного документа, который призван подвести правовую базу под отношения между ГДР и ФРГ.

– Это все? – спрашивает Ульбрихт. Получив подтверждение, он продолжает: – На слух сложно все схватить. Компромисса без взаимных уступок не бывает. Это элементарно. Но уступки должны быть равными. От ГДР, однако, требуют большего, чем ФРГ и три державы готовы отдать сами. Так не пойдет.

– В чем, товарищ Ульбрихт, вы усматриваете дисбаланс? ГДР официально отказалась от претензий на Западный Берлин. Это сделано в форме его признания в качестве отдельного политического образования. СССР поступил так же. Если бы удалось выработать убедительную формулу политико-правовой непринадлежности этого города к ФРГ, то проблема решалась бы в нашем понимании. Вопросы военного доступа выводятся за

скобки. Неприятно, тем более что в 1959–1962 годах дело шло к коррекции положения и здесь. Хрущев упустил возможность. Сейчас условий для решения этого вопроса нет. Смущает отсутствие слов «международно-правовое признание» ГДР. Не уверен, что они появятся, сколь бы сильно мы с вами ни давили. Но и без этих слов есть факты международно-правового признания, с учетом которых складывающееся положение не выглядит беспросветным.

В расчете на секундантство председателя Совета министров ГДР разбираю правовое значение понятия «транзит». Пою ему панегирик. Еще и еще привлекаю внимание к открывающейся для ГДР возможности реализовать свои представления при выработке совместно с Западным Берлином и ФРГ детальных установлений, регулирующих не один только проезд через территорию ГДР. Каждое достижение в отстаивании суверенитета Республики падет здесь на ее чашу весов при обсуждении широких аспектов германо-германских отношений.

В. Штоф откликнулся на мой намек:

– Вальтер, если схема, изложенная товарищем Фалиным, осуществится, то в части гражданских связей и статуса Западного Берлина как политической единицы, не принадлежащей ФРГ, мы выйдем почти на вариант, о котором сами вели речь в узком кругу. Меня заботит другое – удастся ли провести наметки в жизнь. От перспективы чрезмерного спокойствия вокруг Берлина кое-кому делается неспокойно.

Какое-то время Ульбрихт и Штоф переговариваются между собой, затем первый секретарь, глядя на меня с прищуром, произносит:

– Передайте товарищу Брежневу, что мы одобрительно восприняли информацию о ваших встречах с Баром. Ожидаем, что советская сторона будет держать нас в курсе дальнейших событий.

Взглянул на часы – пролетело два с половиной часа. Задерживаться в Берлине, слава богу, не надо. Можно считать, что тылы в диалоге с Э. Баром упрочились. Появилось даже какое-то поле для маневрирования.

Не торопись, однако, радоваться. В. Ульбрихт усиленно что-то припоминает.

– Да, вы упоминали про пожелания западных немцев насчет родственных связей. Во что может это вылиться, как вы себе представляете? Вам, надеюсь, понятно, что отмены защитных мер на границе не будет.

– Пожелание, причем в настоятельной форме, Баром высказано, и мне казалось, что руководству ГДР следует о нем

знать. От обсуждения этой темы по существу я уклонялся, отсылая моего партнера к вам. Из слов Бара не вытекает, что в повестку дня ставится проблема пограничного режима как таковая. Берется аспект облегчений в гуманитарной сфере. Центральная мысль – плоды разрядки должны проявиться в ощутимом сотнями тысяч людей виде.

– ГДР находится в угрожаемом положении. Наша граница с ФРГ и Западным Берлином – это одновременно оборонительный рубеж между НАТО и Варшавским договором. С 1961 года ничего к лучшему не переменилось. Нельзя ожидать, чтобы мы сами себя отдали на съедение.

– Товарищ Ульбрихт, установление в рамках соглашения исключения из правила, действующего на границе, есть подтверждение самого правила. Как должно выглядеть изъятие, чтобы правило не стало исключением, – это компетенция ГДР.

В. Ульбрихт и В. Штоф передают приветы советским руководителям. Опять перебив сюжета. Хозяин спрашивает:

– Какое впечатление производит Бар?

– Думающий политик, гибкий и смелый. Если ему бросается вызов, не бежит. Является ли он человеком слова? Это качество проверит только время. В целом дело с ним иметь можно, если усвоить, что он обладает развитым чутьем на серьезность и фальшь.

– Ваше мнение не расходится с нашей информацией. Личность приметная. Вы говорите – смелый. Можно добавить – и ловкий. Любит рассуждать о Европе и мире вообще, но имеет в виду немцев. Близок к Брандту. Нажил себе немало врагов, в собственной партии тоже.

Прощаемся. Ульбрихт помягчел, и рукопожатие не селедочное. Штоф провожает меня до машины. Благодарит за беседу.

– Очень хорошо, что вы приехали и объяснились напрямую. Я не смог вас предупредить, что наш первый намеревался крепко поспорить. Ему дали какой-то материал по вашим встречам. Видно, с подтекстом. Но теперь это прошлое.

В тот мой заезд в Берлин или уже в следующий П. А. Абрасимов устраивает рабочий завтрак почему-то в голубой, так называемой «женской гостиной» посольства. На него приглашены Э. Хонеккер и ряд других руководителей ГДР. Замысел посла, по его словам, – подготовить благоприятный климат для одобрения будущего пакета договоренностей в политбюро ЦК СЕПГ. Невдомек было мне, что культивировалась почва для передвижек в руководстве республики.

За завтраком меня одолевали сомнения, не произойдет ли

где прокола, который засветит наш с Э. Баром канал и вынудит прокладывать другие окольные пути к согласию. Не бодрило, что после смены караула на Рейне в среде функционеров СЕПГ участились проявления как националистических, так и упаднических настроений. Э. Хонеккер искал повод сказать для затравки нашего обмена мнениями что-то лестное и поэтому в положительном тоне упомянул мою беседу с Эхтернахом. Я же увидел в его замечании предостережение – он не совсем схватывает суть или понимает ее превратно.

В апреле 1971 г. наряду с доводкой конструкции мы занялись с Э. Баром составлением формулировок. До звона бокалов с искрящимся шампанским, коим отмечают становление не только кораблей, но и договоренностей, было еще неблизко. Однако далекая надежда лучше близкой безнадежности. К тому же быть или не быть согласию, зависело в известной степени от нас. На ближайшие четыре нескончаемых месяца Западному Берлину дано было стать основной делянкой, которая лишила меня сна и отдыха.

Семь лет в Семигорье

3 мая 1971 г. на перекладных – до подписания соглашения о прямом воздушном сообщении между СССР и ФРГ пройдет еще полгода – я прибыл в аэропорт Кёльн-Бонн. По обыкновению, вновь назначенного посла встречали чиновник протокольного отдела МИД Федеративной Республики и сотрудники посольства. Взглянуть на преемника посла С. К. Царапкина и, коль получится, задать ему вопрос-другой дали себе труд несколько журналистов. Они-то и стали первыми, кто вступил в диалог со мной на рейнской земле.

Приглашенный обратиться через средства массовой информации с приветствием к западногерманской общественности, допускаю в немецком досадный грамматический ляп. Их будет еще в избытке, сбоев и промахов, всяких и разных. Но так устроен человек – все сопутствующее поднятию или падению занавеса застревает в памяти.

Три четверти часа езды по автобану и предельно загазованной в ту пору федеральной дороге Б9. Вот и вилла Хенцен. С большинством работников, приписанных к резиденции посла, я познакомился в минувшем декабре, когда ненадолго останавливался в Бонне. Как гость я смотрелся и смотрел иначе. Сейчас же нам предстояло общаться каждодневно и довольно тесно.

Здание резиденции – типичный образец архитектуры начала XX в., когда не стесняли себя ни объемами, ни расходами. Поставлено оно в центре парка на самом берегу Рейна. Сердитый Рейн, выходя из себя, затапливал всю территорию и подмывал фундаменты. Стены здания испещрены трещинами. Один угол вообще грозил отвалиться. Владельцы виллы и ее арендаторы обреченно взирали на разрушительные набеги стихии и натиск времени, ограничиваясь припудриванием да подрумяниванием фасада.

Торжественное застолье, что назначил А. П. Бондаренко, свернуто мною до холостяцкой закуски. Затем я пригласил дипломатов для разговора по существу. Посланник А. П. Бондаренко представляет мне каждого дипломата в его официальном качестве. Немножко комично. Что нового я могу узнать об И. И. Зайцеве, М. И. Воронине, А. Я. Богомолове или Г. С. Шикине? Хотя нет – с какого времени в посольстве, кто кем значится в списке дипкорпуса. Без этих и некоторых других примет легко попасть впросак. В эфир ушла моя телеграмма в Москву: «Прибыл в Бонн. Вступил в обязанности посла». Нужно

еще сообщить в Москву примерную дату приема нового посла СССР министром иностранных дел ФРГ В. Шеелем перед вручением верительных грамот федеральному президенту Г. Хайнеманну.

Далее предстоит войти в контакт с приемной Э. Бара или, если он будет у себя, с ним лично и зарезервировать время для встречи в ближайшие дни. В мой последний приезд в Западный Берлин было условлено продолжить диалог в Бонне без потери времени, невзирая на протокольные условности.

Выбор места и зданий для размещения советского посольства поражал каждого, кто прибывал сюда. По одну сторону нескончаемым караваном днем и ночью надрывно гудят тяжелые грузовики. По другую, метрах в двенадцати – пятнадцати, железная дорога. Впечатление было такое, что пассажирские поезда являются продолжением товарных. С грохотом они неслись один за другим.

Когда учреждались посольства в обеих столицах, федеральные власти не горели желанием помочь нашим представителям в подыскании приличных помещений. В ту пору советских людей с опаской допускали даже на мосты через Рейн. Вдруг взорвут или к штатным зарядам, уже заложенным в ожидании «агрессии с Востока», прибавят свои мины замедленного, а может, и ускоренного действия. В любом случае лучшего, чем старая придорожная гостиница в Роландсэке[5], и даже не в Северном Рейне – Вестфалии, а в земле Рейнланд-Пфальц, для посольства СССР не сыскалось.

Злые языки относили прописку в Роландсэке на счет М. В. Сенина. Будто наш первый посланник на Рейне, выбирая из никудышных наихудшее, показал бдительность и счел, что расположенное островом между железной и шоссейной дорогами здание будет надежнее ограждено от нелегального проникновения и подслушивания. Если М. В. Сенин, больше ученый-дидактик, чем дипломат-практик, разглядел особое достоинство своей рекомендации в том, что сотрудники посольства, помещенные в шумовое и вибрационное пространство, будут постоянно бодрствовать, то, пожалуй, его изыск можно было бы оценить.

Другой посол, А. А. Смирнов, определенную активность с переселением посольства СССР проявлял, но без практических последствий. Его преемник и мой предшественник в этом деле тоже не преуспел. Нет, так не пойдет. Важные дела не должны служить оправданием для пролонгирования положения, ущемлявшего государственный престиж и интересы Советского Союза. Статус отверженного совсем не безобиден. Он мешает

посольству выполнять свое элементарное назначение связующего звена для тех, кто интересуется нашей страной, но не обязательно располагает в избытке временем и средствами, чтобы отмерять на такси десятки километров в оба конца.

Это между прочим. Чтобы показать: я приехал не на все готовенькое. Это не гуляй по приемам, сам учиняй пиршества и в свободные минуты строчи для отчетности депеши в Москву. Боннское мое бытие как-то изначально завертелось против часовой стрелки. Обычно я сдавал дежурному ключи от своего кабинета далеко за полночь. Шифровальщики – им доставалось больше остальных – роптали: посол загонит и себя и нас до смерти.

Не каждый из сотрудников посольства был бы моим выбором, присутствуй я при их назначении. Но заранее выражать кому-то недоверие кричащих оснований тоже не имею. Хорошо, если бы и не появилось.

Странное ощущение вселяется в вас, когда вдруг выявляется – во всем посольстве нет дипломата, сносно знающего английский язык, ни одного могущего объясниться по-французски. Предположим, Бонн долго слыл дипломатической провинцией, а в ней французский и английский языки – ненужная роскошь. Так и с немецким не блестяще. Наперечет сотрудники, которые не числятся по анкете «прошедшими полный курс обучения», но способны грамотно перевести с русского на немецкий или хотя бы с немецкого на русский.

В мои намерения не входило поощрять мимикрию, холостую суету в виде «пятиминуток» с растянутым до полудня пересказом газетных полос. Если дело ставится по-настоящему, проблем в любом посольстве невпроворот, и каждая голова по-своему незаменима. При том условии, что голова не манкирует.

Кое-кому обновленный режим работы пришелся очень даже кстати. Отменены «оперативки». Посол обычно никого не берет с собой для перевода и записей бесед, а их на дню несколько. Прекращено составление нудных справок, кои дюжинами заготавливались накануне любой встречи или поездки руководителя посольства. Вдруг обнаружилась уйма свободного времени. Чем его занять? Ряд дипломатов скорректировали свои графики таким образом, что появлялись на службе после обеда или под вечер. У других развилась потребность к расширению познаний в истории и географии. Третьи…

Их, откровенно нерадивых, были единицы. Но чтобы синдром приобретенной лени не расползся, не обойтись без напоминания про обязанности. Попробовал отрегулировать незадачу элегантным способом, рассказав когорте советников и первых

секретарей французскую притчу: «Почему на Кэ-д'Орсе столь широкая лестница? Чтобы те, кто опаздывает на службу, не сталкивались с теми, кто покидает ее слишком рано». Помогло, но не очень. Последовал приказ – посольство начинает работу в 8.30 утра; под ответственность старших должностных лиц дипломаты должны быть в это время в служебном здании, за исключением выполняющих конкретные поручения вне посольства. Радуются не все. «Он, оказывается, совсем не либерал», – перешептываются ущемленные в вольнице.

За подернутыми порчей деревьями крепкий лес не пропадал из вида. О многих дипломатах, деливших со мною тяготы и радости, с признательностью вспоминаю. Но мои предложения сократить численность персонала примерно на треть, повысив зарплату остающимся сообразно эффективности их деятельности, успеха не имели. Руководители ряда ведомств смотрели на зарубежные должности как на синекуру.

Слабым утешением было, что в Москве быстро иссякало желание пристраивать в Бонн свойственников да родственников. Им требовались места повольготнее и посты подоходнее. А что ждало у нас? Работа и в конце пребывания служебная характеристика по заслугам. Первая предполагала некоторый минимум личных данных, а вторая могла искривить карьеру.

Я не говорю уже о таких акциях посла, как вызвавший переполох в Москве поворот от ворот целой делегации. Всю дорогу до Кёльна члены ее вливали в себя спиртное и, забросив чемоданы в отель, продолжили это занятие в ближайшей пивной. До помутнения рассудка. В себя они начали приходить где-то за Франкфуртом-на-Одере, удивленные, почему опять очутились в вагоне поезда, идущего к тому же на восток. Им показалось, машинист заблудился.

Сегодня, как и два десятилетия назад, считаю, что мало пользы и радости от превращения труда в подвижничество. Короче, советские загранпредставительства жили своей разношерстной жизнью. Как и повсюду, дело делали или гробили не системы, а конкретные люди. Нет, не взял я организационно-кадровые высоты ни в первый, ни в последний год пребывания на посту посла. Сам был повинен в новых промахах, чем наказывал главным образом себя.

По приезде в Бонн с удивлением узнал, что С. К. Царапкин методично складировал в своем личном сейфе поступавшие в посольство копии отчетов о переговорах с делегациями ФРГ по Московскому договору, консульским вопросам и т. д. Сам, надо полагать, читал, но никого, даже посланника А. П. Бондаренко, с ними не знакомил. Что тому причиной – осторожность,

отсутствие инструкций, ожидавшийся отзыв в Союз? Не тут ли коренилась разгадка, почему посольство не баловало МИД аналитическими записками, когда во льдах холодной войны появились разводья?

Ради хорошей информации надо побегать или изрядно попотеть, перелопачивая тонны «словесной руды», не чураться встреч с корреспондентской братией, деловыми людьми, не обязательно ворочающими миллиардами, с парламентариями, интеллектуалами, молодежью, учеными. Каждый второй, идущий навстречу, может стать твоим учителем! Вполне возможно. Сегодня дети, вступающие во взрослую жизнь, знают зачастую больше, чем взрослые, впадающие в детство.

Назначение в Бонн лишь отчасти следовало понимать как признание полезности моего участия в процессе оздоровления отношений с ФРГ. Яснее многих это выразил, подписывая в моем присутствии оригинал верительной грамоты, председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный: «Заварил кашу, доводи ее до готовности. Обеспечишь ратификацию Московского договора, повесим тебе на лацкан орден достоинством повыше».

Для меня не секрет, почему у председателя Президиума Верховного Совета СССР других ассоциаций не возникало. Весной 1971 г. стало яснее ясного, что договору суждено продираться через густые тернии как в бундестаге, так и бундесрате. К сожалению, сбывался наш прогноз, его разделял Андропов, что нежелание Громыко сбросить вовремя давление в котле еще аукнется. Тяжелым бременем для социал-либеральной коалиции стала пассивность обеих сторон на исходе 1970 – в первые месяцы 1971 г., низкие темпы берлинских переговоров. Они почти перекрыли ей кислород.

В Бонне лучше ощущалось, что Московский договор – не три листа гербовой бумаги, что ставки по-настоящему высоки и борьба только разгорается. У меня сложное положение. Надо принимать на себя издержки чужой косности и упрямства, в противодействии которым ты дома потерпел неудачу, а в случае провала с ратификацией быть готовым облачиться в шкуру «козла отпущения». То, что при прочих обстоятельствах выглядело бы показателем доверия и широчайших полномочий, – отсутствие директив, в данной ситуации напоминало стремление переложить на посла риск неопределенности.

Опыт дается работой, а не ожиданием ее. Приходит этот опыт, увы, со скоростью уходящих лет. И сколь часто прожитые годы становятся укором вместо богатства! В политике особенно, где не счесть примеров напрасно изведенного, расхищенного

времени.

На второй или третий день после прилета в Бонн встречаюсь с Э. Баром. Решаем, что немедленное возобновление наших бдений не будет сочтено за небрежение местными традициями. Если посол США проявит желание присоединиться, будем это приветствовать. В качестве места сбора избираем виллу Хенцен. Она расположена вне города. Подъезды к ней не столь оживленны. Практически нет соседей.

Созваниваюсь с посольством США. К. Рашу сообщено о моей готовности нанести ему визит. Посол приглашает посетить его в служебном здании. Это не очень обычно, особенно по отношению к коллеге, не успевшему вручить верительные грамоты. Видимо, К. Раш задумал поговорить не только о красотах Рейнской долины. Беру на подмогу первого секретаря В. Зарницкого, имеющего кое-какие навыки в английском.

Однако американский посол за беседу с глазу на глаз. Мой спутник коротает время, перелистывая в приемной журналы и строя догадки, какие у нас с К. Рашем могут быть тайны. Тайны имелись. В посольстве, кроме шифровальщиков, никто в детали не вводился. О факте контактов с Э. Баром и К. Рашем знали посланник, шеф моего протокола и повар, готовивший для нас обеды и ужины.

К. Раш проникся деликатностью миссии, которую брал на себя, и хотел быть уверенным в том, что партнеры его не подведут. Естественным также было стремление посла удостовериться, что новый и необычный механизм притирки позиций обладает преимуществами перед четырехсторонним. Наконец, нам надо было сопоставить календари, зарезервировав наперед дни, остававшиеся у американского коллеги не совсем заполненными.

Мысль о встречах на вилле советского посла Раш принял без энтузиазма. Какие-то условности мешают? Затем от Бара узнаю, что Раша беспокоит, не обставлены ли помещения, где мы снимем пикейные жилеты, микрофонами и скрытыми камерами.

Если на вилле и вмонтированы приборы подслушивания и подглядывания, то иностранных разведок. БНД (разведка ФРГ) наверняка кое-чем располагает. Не зря по вечерам в зарослях за оградой парка поднимаются антенны. Даю слово чести, что наши службы будут паиньками. О своих федеральная и американская стороны должны позаботиться сами. Бар принял мои гарантии. Посол США некоторое время осторожничал. Порой переходил почти на шепот. Потом все утрясется. Установится обстановка доброжелательности и доверительности. Но это случится позже.

Визит вице-канцлеру и министру иностранных дел В. Шеелю.

Он извещает меня о времени вручения президенту Г. Хайнеманну верительных грамот.

– Мы демократизировали и упростили процедуры. Отменили, в частности, обмен речами. Если послу и президенту есть что сказать друг другу, они в состоянии сделать это в следующей за передачей грамот беседе.

Про себя отмечаю: какой труд пропал! Жаль. Впервые за пятнадцать последних лет писал для себя и от души.

Красивую и приметную речь сочинил. «Советско-западногерманские отношения не могут и не должны оставаться островом беспросветности и обреченности в море совершающихся перемен. Наши народы заслужили лучшую долю». Ладно, что-нибудь в этом духе скажу президенту.

Протокольная тема исчерпана. Обращаемся к актуальным проблемам межгосударственных отношений. Центр будет интересоваться, как В. Шеель прогнозирует развитие в ФРГ и воздействие советского фактора на совершающиеся процессы.

Социал-либеральная коалиция выразила назревшие объективные потребности. Новый лидер христианских демократов Р. Барцель признал это своим лозунгом – «Не так!». Да, перемены нужны, но иные и иначе. Кстати, мой контакт с председателем фракции ХДС установится в июне. На одном из приемов Р. Барцель подденет меня:

– Хоть так удостоюсь быть представленным новому советскому послу. Знакомиться с лидерами ХДС он не спешит. Наша «маленькая» партия наверняка значится где-то в конце его обширного списка.

– Вы были в отъезде. Судя по внешнему виду, грелись на южном солнце. Вступать в связь с фракцией ХДС, не дождавшись ее председателя, согласитесь, не очень тактично.

– Где вы учили немецкий? Какие языки еще в вашем арсенале? Кроме английского и французского. Они, поди, обязательные в советской дипломатии.

– Увы, французский не учил, английский по нерадивости забыл. Остается русский.

– Почему-то я думаю, что английский вы так же забросили, как немецкий.

Договариваемся о встрече «в ближайшие недели». С чего Р. Барцель допытывался, знаю ли я английский? БНД проведала о приездах Э. Бара и К. Раша на виллу Хенцен и тут же копию донесения отослала ХДС/ХСС? А может быть, зря волнения и все это светская болтовня?

Вручение верительных грамот все-таки событие. Вы должны быть при параде. Облачаюсь в посольский мундир. Первый и

предпоследний раз. Само собой, никаких орденов не цепляю, хотя это предписывается нашими правилами. И без них убогой выспренности предостаточно. Официальные сопровождающие меня от посольства СССР лица в строгих визитках, заимствованных по данному случаю у фирмы в Бад-Годесберге, которая на архаизме сколотила приличный капитал.

Протокольный отдел МИД ФРГ присылает за мной лимузин. В нем, украшенном флагами двух стран, посла доставляют в резиденцию федерального президента. Все исполнено торжественности – почетный караул, каждый шаг вверх по лестнице, запись в книге посетителей и прочее и прочее. Ритуал или театр? Все зависит от меры.

Г. Хайнеманн, заняв высший государственный пост, сумел остаться Хайнеманном. Минул двадцать один год с момента, когда мы встретились с ним при совсем других обстоятельствах. Тяжелые десятилетия не обошли его стороной, здоровья не прибавили. Но те же глаза смотрят на вас сквозь стекла очков, которые стали еще толще. Улыбка все та же, манера говорить мягким голосом.

– Мы с вами раньше не виделись? – спрашивает президент.

Я отвечаю ему улыбкой, не будучи уверенным, захочет ли он, чтобы в присутствии корреспондентов и большого числа должностных лиц эта официальная церемония напомнила ему про раздумья, приведшие к демонстративному выходу из правительства К. Аденауэра. Как выглядела бы Европа, от скольких передряг избавились бы сами немцы, не скатись в 1950 г. развитие в колею конфронтации? Увы, истории неведомо сослагательное наклонение.

С мая 1971 г., когда я был по всей форме приписан к дипломатическому корпусу, хлопот прибавилось. У посла масса обязанностей, которые необходимо блюсти, независимо от ваших наклонностей и бюджета времени. Вы же огорчитесь, если на ваш национальный праздник не придут приглашенные гости? Тогда извольте почтить своим присутствием торжественную дату в политическом календаре государства, с которым ваше правительство поддерживает нормальные отношения. Представления дипкорпуса президентам и монархам, посещающим ФРГ, званые обеды, от которых не уклониться и на которые надо отвечать. Гости из вашей страны. Если за делегацией стоящий проект, ее не бросишь на произвол.

Встречи в МИДе, визиты в другие министерства, парламент и его комитеты, поездки по землям ФРГ. Партии, профсоюзы, другие организации. Пресса. Задумай всех перечислить, телефонная книга среднего формата получится.

После Г. Хайнеманна первым в моем календаре посещение федерального канцлера В. Брандта. Заявка через МИД направлена. Не упускаю подкрепить ее через Э. Бара и Х. Эмке. Термин получен. С отрывом в три-четыре дня после приема у канцлера назначаю поездку в Дюссельдорф. Там предполагаю встретиться с К. Бахманом и другими руководителями ГКП.

В. Брандт переносит нашу встречу, не фиксируя твердо новую дату. Знаю, это не понравится, но решаю визит в Дюссельдорф не отменять. Все дни наперед у меня расписаны. Поездка в Нюрнберг, где под покровительством и с участием Г. Хайнеманна отмечается юбилей художника А. Дюрера, серия встреч в Бонне с представителями политических партий и в дипкорпусе. Время для посещения глав правительства всегда выкроишь за счет других обязательств, и это встретит понимание. Но попробуй предприми рокировку в пользу друзей – наживешь врага.

Даю зарок: если пунктуальность есть вежливость королей, то их подданным тем более не пристало быть невежливыми. Даже по вине королей. Чему быть – того не миновать.

А было следующее. В. Брандт встретил меня вопросом:

– Опять особые отношения?

Поездка в правление ГКП до визита к главе правительства задела. Канцлер узрел в случившемся недостаток здорового инстинкта.

Поясняю, как и почему расставились временные приоритеты. Недоразумение формально рассеяно, но тень его не исчезла до конца разговора. Брандт со строгим выражением на лице принял приветы Брежнева. Подбирая слова, составил несколько фраз в ответ. Они выдавали решимость держаться заявленных позиций и последовательно продолжать начатое.

Вместе с Баром, принимавшим участие в разговоре, отмечаем дополнительные возможности, которые открываются с возникновением специфического механизма обмена мнениями по Западному Берлину. Присоединение к нашим усилиям К. Раша позволит прояснить, хотят ли США положительных перемен по самой застарелой и потенциально опасной проблеме в центре Европы.

Федеральный канцлер подтвердил, что не мыслит урегулирования отношений с Советским Союзом и ГДР в отрыве от согласия по Берлину. Можно по-разному описывать эту взаимосвязь или вообще не упоминать ее, но она существует и тоже составляет реалию, которую нельзя опрокинуть.

В заключение В. Брандт желает мне успехов на посту посла. Он заявляет о готовности оказывать свое содействие и при необходимости лично встречаться со мной. Советский

представитель будет желанным гостем федеральных министров. Оперативную связь можно было бы поддерживать через Э. Бара. «Он, похоже, не против». Первый раз канцлер улыбнулся.

По внешним признакам, нормальная, деловая встреча. Но не зря сказано: все познается в сравнении. Из всех наших кратких и продолжительных бесед на протяжении двадцати двух лет эта была, по моему восприятию, наиболее противоречивой в своем настрое.

Из событий жаркого в прямом и переносном смысле лета 1971 г. запомнился завтрак в компании большой группы банкиров, промышленников, других видных представителей делового мира в гостеприимном доме Отто Вольффа фон Амеронгена. И прежде мне доводилось встречаться с деловыми людьми крупного калибра. Но чтобы одновременно с группой бизнесменов, за которыми 200–250 миллиардов марок оборота, нет, такое впервые.

Разговоры за столом, вопросы, заданные мне, отдельные реплики высветили, как прочно засели не в подсознании даже, где-то в утробе иные стереотипы. Торговать можно, когда выгода ждет. К понятию выгоды подход не обязательно зауженный. Нормальные человеческие эмоции совсем не чужды. Пропасть разверзается, как только верхним чутьем берется вопрос, за какими системами будущее. Свои ценности отстаиваются энергично и со вкусом.

– Бизнес нуждается в мотивации, материальной и моральной, – отмечал Г. Золь, тогдашний председатель Союза немецкой промышленности. – Мы не прочь поделиться частью нашего достатка. С богатством возрастает ответственность за здоровье всего общества. Но что выигрывает общество, когда деловую инициативу лишают индивидуального, скажем проще, эгоистического интереса? К примеру, я хочу, чтобы плоды моего успеха разделяла семья и в ней продолжался смысл моей жизни. Идеология вашего государства, вашей партии и ее единомышленников, в том числе в Германии, – сначала экспроприация результатов чужой деятельности и только потом, возможно, умножение богатства. На практике же часто одна экспроприация. Как сложится жизнь через сто лет, неизвестно. Мы не требуем вечных гарантий. Но если бы имелась уверенность, что наши дети смогут принять эстафету от отцов, о внуках пусть заботятся сыновья сами, то бизнес избавился бы от сомнений, насколько в его интересах содействие развитию Советского Союза.

Г. Золь обнажил одну из центральных проблем. Над ней человечество бьется с момента появления сомнений в

добропорядочности рабства. Позже, с христианством, в голос заговорят о социальной и отчасти национальной справедливости. Не только о политических свободе и равенстве, но и о человеческих. Может быть, они столь же труднообнаруживаемы, как другие мыслящие сообщества во Вселенной?

Не раз еще мною будут вестись дискуссии вокруг понятий справедливости и народовластия с Г. Золем и его коллегами, с профессорами и идеологами. Подоспеет и идея конвергенции, некой социальной генной инженерии, призванной вытеснить войны и насилие. Я отстаивал мнение, что сращивание социальных систем невозможно и в чем-то даже вредно. Сосуществуя рядом, они побуждают одна другую быть в движении, ибо застылость тождественна смерти. Но что важнее сращивания систем – это конвергенция интересов. Чем дальше, тем относительнее становятся различия, а общности приобретают императивное значение. Будущие интересы могут быть обеспечены только совместными усилиями, поскольку цели и потребности нации должны быть в такой же степени производными от региональных и глобальных интересов, в какой последние аккумулируют национальные.

Завтрак у Вольффа фон Амеронгена, за что я был особенно признателен президенту торгово-промышленных палат, позволил возобновить, закрепить или установить личные контакты с обширной группой представителей преимущественно большого бизнеса. Они не обрывались долгие годы и способствовали установлению солидного партнерства с советскими внешнеторговыми организациями и предприятиями, продвижению ряда проектов, еще вчера бывших неисполнимыми.

Вы ждете примеров? Пожалуйста. Через несколько дней после встречи у Вольффа мне звонит спикер «Дойче банк» д-р Ф. Ульрих.

– Хотелось бы накоротке вас увидеть. Возможно ли это сегодня или завтра?

– Уложимся в час? Если да, то буду ждать вас на вилле Хенцен в пятнадцать ноль-ноль.

Объясняю, как меня найти. Понятно, воздерживаюсь от уточнений, что затем там же будет заседать известное читателям трио.

Безоблачный душный день. Выхожу встретить Ф. Ульриха в парк. Гость отказывается от приготовленного в доме угощения. Возможно, позже. Пока же погуляем по дорожкам, воспользуемся редкой удачей – когда еще глотнешь воздуха на берегу Рейна.

Говорим о непогоде на валютном рынке. Западногерманский банкир полагает, что мировые финансы переживают структурный

кризис. США живут в долг и, опираясь на доллар как международное платежное средство, перекладывают часть своих забот на плечи других.

– Я побеспокоил вас вот по какому поводу. В Москве учреждаются представительства разных фирм, в том числе из Федеративной Республики. Обнадеживающий знак, банкиры это приветствуют. Но… Кто в состоянии нанять помещение, содержать штат сотрудников в Москве и прочее? Лишь концерны. Малому и среднему бизнесу эти накладные расходы не потянуть. Надо бы им посодействовать. «Дойче банк» готов открыть в СССР свое представительство. Не для оперативной финансовой деятельности, а для помощи в налаживании деловых связей между нашими странами и консультаций по финансово-правовым вопросам. В духе разговора в доме фон Амеронгена. Не помешает также, если благодаря представительству упростятся контакты с вашими банками. Плюс психологический момент – не надо доказывать, что в западном экономическом пейзаже наличие солидного банка не деталь. Появление представительства «Дойче банк» в Москве символизировало бы новый этап в наших отношениях, что немаловажно для деловых людей, подверженных колебаниям. Как вы на это смотрите?

– Прежде всего я благодарю вас за интересную идею. Она висела в воздухе, с ней соприкасались многие и каждодневно, но лишь в «Дойче банк» прозрели для вопроса: не пора ли невесте под венец? Договариваемся так: ваше предложение я докладываю Москве. Посольство, в свою очередь, окажет ему самую активную поддержку.

Ф. Ульрих поведал мне, какие выпали ему злоключения в советском плену. Тем товарищам по несчастью, кто умел портняжничать, слесарить или плотничать, пришлось все-таки легче. Самые тяжелые и грязные работы выпадали на долю белых воротничков. Вернувшись домой, Ф. Ульрих первым делом приобрел специальность часовых дел мастера и своих сыновей сдружил с ремеслом. На всякий случай.

– К чему больше готовитесь – к войне или революции, на которую днями намекал Золь? – подтруниваю над гостем.

– Для внутреннего спокойствия нельзя быть заложником внешнего благополучия. Кроме того, смена времяпрепровождения – неплохой отдых. Мне лично она на пользу.

Отослал депешу в Центр. Идея Ульриха подана в самом привлекательном виде. Прошу определиться без отлагательств, принимая в расчет как экономический, так и политический ее резонанс. И что же вышло? Совершенно точно, как вы и подозреваете, с первого захода ровным счетом ничего.

Продолжение следует.

Берлинская эпопея, история, которая предлагается вашему вниманию, оставалась до сих пор плохо освещенной. Если не считать мемуаров Г. Киссинджера, закулисная сторона берлинских переговоров, по сути, достоверно не раскрывалась.

Сколько в общей сложности раз мы, то есть Э. Бар, К. Раш и я, встречались на вилле Хенцен, не могу сказать. Это зафиксировано в моем исчезнувшем численнике, а также в телеграммах, отосланных в МИД СССР. Ни то ни другое мне не доступно. А еще были совещания у В. Брандта, В. Шееля, Г.-Д. Геншера, с парламентариями.

Особую активность проявляли либералы. Советский посол их частый гость в доме Г.-Д. Геншера, в здании бундестага, в обществе, которое собирал Х. Карри. Не в моих правах было раскрывать собеседникам технологию переговоров. Но свободные демократы добивались ориентировки, когда примерно можно ждать подведения согласия под крышу и какие основные элементы оно включит в себя. Их настойчивый интерес проистекал не из праздного любопытства. Партию раздирали центробежные перегрузки. Коалиционное большинство таяло на глазах. Нависла реальная угроза перехода еще ряда депутатов-либералов во фракцию ХДС/ХСС или отказа подчиняться партийной дисциплине при голосовании.

На одной из встреч, где присутствовали главные действующие лица почти всех течений в СвДП, я рискнул сделать прогноз, что в начале сентября берлинские переговоры финишируют и что их результаты не разочаруют даже придирчивых критиков. И. Эртль, помнится, это был он, и Э. Ахенбах-старший сказали, что всерьез принимают мои слова и будут опираться на прогноз-обещание, работая с колеблющимися. Таким образом, я подведу и себя, и их, если выдам желаемое за действительное.

Язык мой – враг мой. Отступить бы назад, хотя бы тросик страховочный зацепить. Нет, лезу напролом:

– Если бы все замыкалось на советскую сторону и ГДР, то соглашение по Западному Берлину было бы готово к парафированию даже в конце августа. Поскольку участников семь и каждый мерит по семь раз, приходится закладывать в резерв больше времени.

К моменту этого оптимистического разговора с либералами – он состоялся на рубеже июля – августа – наше трио оставило позади большую часть дистанции. Она была отмечена драматизмом восстановления забытых навыков сотрудничества. Шаг за шагом между К. Рашем и мною установилось

взаимопонимание, о котором поначалу и не мечталось. Посол США убедился, что мне чуждо стремление навязывать какую-то формулировку ради формулировки, подлавливать его на готовности с развязкой, которая имела мало шансов миновать госдеповскую экспертизу ввиду прецедентов, не обязательно знакомых К. Рашу – специалисту в иной отрасли права.

Зачем мне соглашение-мотылек? К чему помогать затягивать узду, наброшенную на каждого из нас охранителями разногласий? Нестандартные повороты и комбинации в обстоятельствах, не имеющих аналогов, обнаружатся в свободном от зашоренности поиске. Да, обговоренные варианты и совместно сочиненные проекты правовых записей докладывались в Москву, Вашингтон и ведомство канцлера в Бонне. Они требовали подтверждения свыше. Слова посвящали руководство в конечный продукт нашего труда и очень бегло в мытарства его достижения. Комментарии писались в расчете на выделение той или иной грани, особо почитаемой адресатом, чтобы облегчить взятие перевала всему обозу. Не зря говорится: мало открыть глаза, надо еще зажечь свет.

Каждый из нас троих попадал в ситуации, когда уместен был немой укор или заостренный вопрос: на этой догме (перекосе и т. п.) распишемся в бессилии (умоем руки)? В десятки заходов, с разных направлений подбирались мы порой к предмету спора. Мог выручить порядок слов или одно-единственное искомое, которое почему-то так долго ускользало, что впору было отчаяться.

К. Раш и Э. Бар слышали от меня такие недипломатические обороты:

– Какой прок от того, что я уступлю вашим настояниям? Громыко отвергнет проект и еще мне накостыляет.

Английского словарного запаса для бытовизмов ужасно не хватало. Пока Э. Бар помогал донести сомнения до посла США, я соображал, где приму замечания своего министра, а где включу канал связи с генеральным секретарем, чтобы переломить мидовскую инерцию.

К. Раш получал инструкции президентским шифром от Г. Киссинджера. Аппарат Госдепартамента, по крайней мере посол нас с Э. Баром в этом уверял, держали в неведении по поводу параллельных переговоров в Бонне. Однажды, когда запас аргументов в защиту какой-то в моем представлении сомнительной позиции иссяк, он протянул мне телеграмму:

– Убедитесь сами. Мне не разрешается здесь отступать. По мотивам, посольству неизвестным, президент не принимает среднее решение.

Посол кладет бланк передо мной. В руки телеграмму не беру, чтобы не ставить Раша в двусмысленное положение. Краем глаза примечаю: все примерно как и у нас. Место, время отправления, кому. И чеканный, не практиковавшийся в нашей переписке слог: «Президент приказал. Первое, второе, третье…»

– Я могу, – продолжал Раш, – доложить, что, несмотря на повторенные мною соображения, ваши сомнения не рассеялись.

Бар вступает в дискуссию и просит добавить в отчет посла:

– Сторона ФРГ находит советские сомнения обоснованными и готова поддержать компромиссные формулировки.

Точно так же Бар мог предложить мне сообщить в Москву, что американские соображения по тем или другим вопросам адекватно отражают позицию ФРГ и должны приниматься как их совместная точка зрения. Реже взгляды СССР и США, совпадая, до известной степени диссонировали с западногерманскими. Но случалось и нечто подобное.

Иначе говоря, в нашем политическом треугольнике не возникало ни двух, ни тем более трех тупых углов. Если когда и обнаруживались признаки тупиковой ситуации, заботой каждого было не столбить разночтения, а обследовать, нельзя ли навести обходную переправу.

Текст четырехстороннего соглашения достаточно известен. Было бы интересно разве что для ограниченного круга специалистов, а в общем скучно, займись я описанием генезиса отдельных его положений. Кроме того, каждый из трех участников встреч на вилле Хенцен попал бы, думается, в затруднение, если двадцать с лишним лет спустя ему предложили бы идентифицировать по памяти, кто первым какое слово произнес. Без преувеличения почти каждая формулировка писалась совместно.

Могу, однако, констатировать одно – колыбелью базовой концепции соглашения и его архитектуры была старая вилла в предместье Бонна. Жаль, что тремя годами позже ее снесли за ветхостью и с ней исчезла материальная память о становлении кирпичик к кирпичику одного из самых эффективных урегулирований послевоенного времени.

Можно договориться в узком составе. Но как плоды вашего творчества подать на официальный стол переговоров? Там ведь представлены еще две державы, которые, так считалось, не должны были догадываться о том, что совершалось на вилле Хенцен.

Первое условие называлось – конфиденциальность. Советской стороной она принималась с преувеличенной строгостью. Поэтому сигнал, поступивший от К. Раша, будто наш дипломат

Ю. А. Квицинский, разговаривая в Западном Берлине с американским посланником Дж. Дином, выказал «повышенную осведомленность» о боннском обмене мнениями, вызвал переполох.

Один из способных молодых дипломатов, которого я, минуя несколько ступеней, сделал своим заместителем по 3-му Европейскому отделу, тот же час был затребован на ковер в Москву. Из его объяснений следовало, что посланник Дж. Дин наводящими и прямыми вопросами тестировал, насколько Ю. А. Квицинский в курсе собеседований на вилле Хенцен. Получалось, как в пресловутом анекдоте – в принципе верно, но… Так, во всяком случае, известили меня. Некоторые подробности, что не так давно назвал Ю. А. Квицинский, были мне тогда неведомы, если предположить, что подробности эти вообще существовали.

Вашингтон, похоже, подстраховывался. Если случится сбой и Париж с Лондоном потребуют удовлетворения, то виноватыми будут Москва и отчасти Бонн. Не отменять же правило, которое гласит: США за свою внешнюю политику не извиняются.

Или сбой уже произошел? М. Хилленбранд допустил досадную оплошность. В перерыве какой-то встречи с британским коллегой он, как передавал мне два десятилетия спустя Дж. Дин, забыл на столе копию телеграммы К. Раша. Английский дипломат «ненароком» заглянул в нее, и тройственные переговоры в Бонне перестали быть тайной. Американцам стоило больших усилий уладить инцидент так, чтобы все не полетело в тартарары.

О второй предпосылке удачного исхода еще предстояло сговориться. Как лучше распределить роли? Органичнее всего выглядел следующий вариант: П. А. Абрасимов покажет некоторые подвижки в советской позиции; французы и англичане не сочтут их достаточными; тогда американцы выступят модераторами. Или: К. Раш выдвинет обговоренное в Бонне предложение с несколькими запросными добавлениями; советский представитель возьмет его за основу с оговоркой, что ожидает готовности западных держав позитивно откликнуться на внесенный или вносимый наш проект. Ясно, полагаю, что и этот проект был бы предварительно прокатан втроем и заранее условлено, где и какие коррективы могли быть сделаны.

А. А. Громыко хочет лично удостовериться в надежности переплетений необычной конструкции, в солидности К. Раша как партнера. Надо встретиться. Где? Посол США не был в Сан-Суси и Цецилиенхофе. Почему бы не восполнить пробел в его познаниях. По пути туда можно будет сделать остановку в Потсдаме. Понятно, не в ресторане или официальном помещении, что вольно или невольно привлекло бы любопытных. Нужен

неприметный, расположенный в тихом месте особняк.

Где тонко, там и рвется. Выявилось, что наши военные давным-давно сдали немецким властям все виллы и особняки, занятые в 1945–1946 гг. У гражданских ведомств их никогда не было. Со многими предосторожностями пришлось обращаться к руководству ГДР за содействием. Для чего понадобилось помещение, кто там разместится – не раскрывается. Прибудет высокопоставленный представитель из Москвы. Он проведет в Потсдаме несколько часов. Подробности – после его приезда.

Неказистый особняк сыскался. Наскоро побеленные стены, свежий лак на скверно отциклеванном паркете, обшарпанная обстановка. Единственное, что скрадывает неуют, – букет умело аранжированных цветов на столе.

Громыко в качестве хозяина приехал примерно за три четверти часа до назначенного времени встречи. Он проверяет, дошли ли распоряжения на места – К. Раша должны пропустить без проверки документов через КПП в Бабельсберге, обычно закрытом для движения. Министр не зря беспокоится. Он-то знает коварство «мелочей». Затем вопрос:

– Кому принадлежит сей храм? Ага, друзьям. После войны чуть ли не каждый наш генерал занимал по особняку, об интендантах и говорить нечего. Уверен, все задарма спустили. Американцы за трофейную собственность держатся, мы же от нее открещиваемся. Друзья не станут незримым третьим в нашей встрече?

П. А. Абрасимов энергично уверяет, что все проверено. Подвоха не предвидится. Сложные устройства за короткое время установить нельзя, а простые наши специалисты засекли бы.

У министра свои познания. Он что-то чертит в блокноте, потом дает мне прочитать:

– Ссылки на встречи с вами и Баром – при крайней необходимости. Наш обмен мнениями впишем в контекст четырехсторонних переговоров.

Посол США ждать себя не заставил. Уже неплохо. Церемония знакомства тоже не отняла много времени. Можно к делу. Громыко упирает на важность момента.

– Если США и СССР согласованно устремятся к общей цели, то урегулирование перестанет быть проблематичным. Конечно, не снимается задача убедить Англию, Францию и ГДР, но мне почему-то кажется, что совместными усилиями сделать это легче.

Все-таки министр классный дипломат. Не придерешься. Нужное выражено на понятном К. Рашу лексиконе. Непосвященному и в голову не придет, что позиции сопрягаются уже два месяца с гаком и сейчас надо организационно обеспечить

переход «чертова моста».

Посол США немногословен. Как я ранее мог убедиться, он не сразу адаптируется. Раш подтверждает заинтересованность своего правительства в успехе берлинских переговоров и готовность практически сотрудничать с советскими представителями для расширения областей согласия и преодоления остающихся разногласий.

Гость оживляется, когда речь заходит о сценарии ближайших заседаний четырех послов. Раш и Абрасимов обговаривают детали, очередность их введения в оборот. Громыко чувствует себя режиссером-постановщиком.

Вот бы кинокамеру сюда. Ни дать ни взять – драматический спектакль. Не в пренебрежительном или негативном смысле. Его необычность в том, что совмещают цели и синхронизируют поступки экспоненты различных сторон, поднявшиеся над повседневностью. Эпизод? Исключение или рождение новой традиции? Руководят ими убеждение или прагматизм? Этого не знает никто, кроме живой жизни, а ей только предстоит состояться.

Раш – актер под стать Абрасимову. Лишь крепкое рукопожатие выдает мне, что наши отношения кое-что значат. Для окружающих – протокольный жест.

Громыко аттестовал все это по высшей шкале оценок. После проводов гостя он заметил в разговоре со мной:

– Признаться, не ожидал, что Раш так чуток к оттенкам. Ему не надо пережевывать. Суровая школа за плечами. Теперь мне спокойней. Будем форсировать переговоры. Леонид Ильич торопит.

До Л. И. Брежнева дошли сигналы, что над коалицией сгущаются тучи. Оппозиция интенсивно обрабатывала либералов-депутатов в землях и бундестаге. В средствах не стеснялись и не экономили. Если вчера ставка делалась на смачивание во фракцию ХДС, то ныне предпочтение отдавалось заполучению голосов отдельных парламентариев на случай важных голосований. Складывалась гнетущая атмосфера неуверенности и взаимной подозрительности. Правительство В. Брандта – В. Шееля утрачивало инициативу, возникала патовая или даже худшая ситуация.

Западный Берлин обретал новое измерение. До сих пор он использовался как регулятор температуры в противостоянии Восток – Запад, НАТО – Варшавский договор. Доставалось и ФРГ, но заметим, Федеративной Республике в целом, ибо представленные в бундестаге партии почти всегда держались, что касается Западного Берлина, единой линии и в равных долях

несли издержки. Сейчас, в момент прокладывания путей к разрядке напряженности, налаживания конструктивного сотрудничества с Востоком, ледовый монолит испещрили трещины. ХДС/ХСС упрямо держались догмы К. Аденауэра, обрекавшей Западный Берлин стоять последним в очереди за плодами здравого смысла и терпимости.

Нет нужды примитивизировать советскую позицию и приписывать тогдашнему нашему руководству стремление вбивать клинья между правительственными партиями и оппозицией. Не было этого. Если бы Московский договор стал делом всех партий, то лидеры СССР только приветствовали бы подобное развитие. Западный Берлин, осознание этого постепенно пробилось на верхние этажи, можно было из объекта раздоров сделать полигоном опробования инициатив, служащих благу масс. Символ холодной войны просился стать символом позитивных перемен.

В середине июля генеральный секретарь «подсказал» Громыко – время не ждет. В погоне за совершенными словами можно упустить суть. Министр не ринулся поспешать. Если не ошибаюсь, в начале августа между ними состоялось новое объяснение. Брежнев отвел МИДу две недели на все про все. Тут метель закрутилась.

Резиденция Громыко переместилась в Берлин. Сюда же подтянули резервы. Министр взял на себя обговаривание центральных положений будущего соглашения с руководителями ГДР. По итогам его бесед с Э. Хонеккером, который сменил В. Ульбрихта, мне и В. И. Кеворкову поручалось встречаться с Э. Баром и состыковывать теперь уже представления двух германских государств. Вместе с Западным Берлином они должны будут затем из общих статей, вылепленных четырьмя державами, изготовить деловые параграфы.

Перед каждым выездом в здание бывшего Контрольного совета, где заседали послы СССР, США, Англии и Франции, министр наставлял П. А. Абрасимова, что сказать и как говорить. Между заседаниями, когда посол являлся к Громыко с отчетом, и в свете новых нюансов, включая поступавшие через Э. Бара соображения правительства ФРГ и сената Западного Берлина, уточнялась тактика поведения советского делегата на ближайшие часы.

В паузы Громыко читал и перечитывал тексты готовых статей. Министр отлично знал английский. Произношение до оксфордских образцов недотягивало, но в смысловых тонкостях и точности он мог посостязаться с самыми квалифицированными переводчиками. Тем не менее Громыко обкладывался словарями,

приказывал соединять его по телефону с В. М. Суходревом и, кажется, Гвинцадзе – асами по части перевода в МИД СССР, перепроверяя свое и наше толкование некоторых понятий, а также возможность «усиления» русского альтерната.

Особенно долго министр гонял положение: «Берлин (Западный) по-прежнему не является составной частью Федеративной Республики Германии и не управляется ею и впредь». Помните, у Мольера мещанин во дворянстве погряз в сочинении любовного послания? «Графиня, ваши черные глаза…», «ваши черные глаза, графиня…»

Громыко заткнул бы французского драматурга за пояс. Он выдал с полдюжины, не меньше, редакций, каждый раз посрамляя ограниченность нашей фантазии. Какое-то словечко министр все же пристроил к согласованной формуле. Смысла оно не меняло и возражений других участников переговоров вызвать не могло, но свое назначение исполняло – вселяло в нашего шефа чувство превосходства.

Все это не внове и по-прежнему действует на нервы. Тем более что вещи поважнее теряются (или сбрасываются) без сожаления. Обращаю внимание министра, что принятая Э. Баром и К. Рашем формулировка была лучше, чем привезенная П. А. Абрасимовым с заседания четырех послов. «ГДР, Берлин (Западный), ФРГ…» ближе к нашему истолкованию реальностей, чем предложенный сейчас строй «ГДР, ФРГ, Берлин (Западный) …». Здесь порядок слов несет политическую нагрузку. Громыко на мгновение задумывается и рубит ладонью воздух:

– Ладно, не мелочитесь. Время поджимает. От нас ждут результатов.

Свою партию в берлинском концерте я, похоже, отыграл. Врозь будет не спокойнее, а полезнее. В тот же или на следующий день обоим нам вспомнилось, что в Бонне скопились неотложные дела. В повестке дня визит В. Брандта в Советский Союз, ему стороны придавали повышенное значение.

Обратный пролет из Тегеля в Кёльн – Бонн обошелся без комментариев американского пилота относительно панорамы расколотого города. Интересно, ловлю себя на мысли, будут ли сверху заметны перемены, которым суждено совершиться по благополучном завершении берлинских переговоров? Пока же бросается в глаза пустынность дорог, ведущих из Берлина на запад, безлюдная полоса, рассекшая Германию с севера на юг.

Только бы сами немцы не задрались. Если они в свою очередь начнут выяснять, кто больше прав или виноват, чем четверть века занимались великие державы, то несдобровать всем. В отличие от русских у немцев все запротоколировано, рассортировано,

пронумеровано. Порядок должен быть даже в беспорядке.

3 сентября 1971 г. П. А. Абрасимов и послы К. Раш, Р. Джеклинг, Ж. Саваньярг, представлявшие в ФРГ соответственно США, Великобританию и Францию, ставят свои подписи под четырехсторонним соглашением. Мировую прессу облетает крылатая фраза советского посла в ГДР – «конец венчает дело». Повод для торжества имелся, и рассказ о параллельных контактах и переговорах никак не умаляет труда и заслуг дипломатов, восседавших за официальным столом в здании бывшего Контрольного совета. Их обязанности не мог исполнить никто, свою часть пути к договоренности должны были пройти лишь они, и обязательно вместе.

Блажен, кто не ведает. Двадцать два года спустя Дж. Дин рассказал мне, что в последнюю минуту торжество едва не сорвалось. Телеграммой из Госдепартамента послу К. Рашу запрещалось подписывать соглашение, поскольку не были выполнены «американские предварительные условия учреждения генерального консульства СССР» в Западном Берлине. Г. Киссинджер, как назло, был вне досягаемости. Как поступать? Если бы К. Раш был карьерным дипломатом, полагает Дж. Дин, то вряд ли он пренебрег бы директивой. Но, чувствуя за собой поддержку президента, посол поставил политические резоны выше мнения чиновников Госдепартамента.

Не стану говорить за своих партнеров, но я со вздохом облегчения принял весть: дипломатический марафон финишировал. Хотя не совсем верно. Сменялись участники забега. На старт приглашались делегаты ГДР, ФРГ и Западного Берлина. Им предстояло раскрыть понятия «транзит», «максимально облегченные процедуры» и прочее, сделать германо(ГДР) – германские(ФРГ) границы проницаемыми хотя бы с запада на восток. Для начала, однако, немецкие дипломаты, юристы, лингвисты должны были справиться с задачей попроще: создать общегерманскую редакцию официального текста четырехстороннего соглашения.

Бери толковые словари Гримма или Дудена, Варига, наконец, и вся недолга. При некоторой усидчивости одного-двух дней могло бы хватить с лихвой. При условии, понятно, что язык дается дипломатам и политикам не для сокрытия мыслей. У четырех держав голова вообще не должна болеть: аутентичными являлись лишь русский, английский (американский) и французский альтернаты. Это в теории, на практике же именно немцам наполнять новое соглашение содержанием – конструктивным или деструктивным. И тут отнюдь не мелочь, будут ли они в процессе переложения на язык действий, наравне

с английской, принимать в расчет русскую и французскую версии.

Время летит, а спорам вокруг понятий «тайз» (по-русски – связи), «конститутивная часть» (по-русски – составная часть) конца не видно. Уже объявлено о приглашении федерального канцлера в СССР. Лингвистический тупик готов обернуться политическими осложнениями.

Небезынтересны перипетии выработки протокольных и географических рамок нового визита канцлера. Мне было поручено предложить в качестве места встречи Ялту. Не информируя В. Брандта о предложении, вступаю с Москвой в дискуссию – Ялта не подойдет, само название вызовет кривотолки. Целесообразнее выглядит Кавказ, где, кстати, обычно проводит отпуск А. Н. Косыгин.

Опять невпопад. Почти открытым текстом Центр дает понять, что В. Брандта будет принимать Л. И. Брежнев и ниши для А. Н. Косыгина в замысленной комбинации не предусматривается, поэтому, в частности, предлагается Крым. Но мне по многим причинам (симпатия к Косыгину не последняя среди них) представляется, что неучастие в переговорах с главой правительства ФРГ председателя Совета министров СССР – минус.

Посол есть только посол. Остается Крым. На самом полуострове точка встречи зовется теперь Ореандой.

Когда я приношу эту весть федеральному канцлеру, он в первую очередь спрашивает, не часть ли это Ялты. Признаюсь, что сам там не бывал, но, если не совсем забыл географию, Ялту и Ореанду разделяют несколько километров. В. Брандт раскрывает большой атлас и приглашает совершить прогулку по карте. Действительно, это разные населенные пункты.

Детали программы самого визита обговаривались с ведомством канцлера через специальных эмиссаров – розги за мою недогадливость и упрямство.

До отлета канцлера в Советский Союз оставалось несколько дней. Звонок от Э. Бара – не могу ли я безотлагательно приехать к Брандту. По интонации чувствую, какая-то неприятность. Срывается визит? Что еще должно было прийти на ум?

Через полчаса, быстрее из Роландсэка не получалось, я во дворце Шаумбург и поднимаюсь на этаж Брандта. Канцлер возбужден и не очень это скрывает.

– Могу без ужимок передать вам, что у меня сейчас на сердце?

– Вы знаете, господин федеральный канцлер, что во всех случаях я за максимальную ясность.

– Для вас не новость, как тяжело продвигалась выработка согласованного немецкого перевода четырехстороннего

документа по Берлину. Вчера переговоры (именно переговоры) закончились. В ключевом слове («тайз») делегат ГДР пошел навстречу нашим настояниям. Так вот, после обнародования факта – немецкий текст согласован – делегат ФРГ был извещен, что представителя ГДР «неправильно поняли» и что сторона ГДР остается при прежнем своем толковании. Следовательно, версия ГДР будет расходиться с версией ФРГ.

– Это прискорбно, но не смертельно опасно. При всей важности точного немецкого перевода в случае возникновения разногласий между двумя германскими государствами в интерпретации урегулирований основанием для вычисления истины могут быть лишь оригинальные тексты, подписанные послами.

– Готов был бы принять этот тезис. Мог бы допустить, что людям, говорящим на одном языке, свойственно чаще не понимать друг друга. Но тут мы сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим.

Брандт подходит к своему письменному столу, берет свиток, по внешнему виду схожий с телетайпной лентой.

– Вот утреннее сообщение от наших служб. В нем говорится, что делегат ГДР предпринял сознательный обман. Так называемое «неправильное понимание» было заранее спланировано. И самое прискорбное – этот обман в качестве некоего выхода из тупика подсказан вашим дипломатом. Сведения получены от источника, который пользуется нашим полным доверием. Надеюсь, вы допускаете, что мои коллеги и я осведомлены о многом из происходящего в коридорах власти ГДР? Наш боннский дом, предполагаю, тоже весьма прозрачен. Поэтому коварство на обеих сторонах себя не окупает.

– Брежнев и Громыко немедленно узнают все только что мною услышанное. Я обращу их внимание на то, что из Берлина в Москву поступает препарированная информация, требующая критического к себе отношения. При личной встрече с генеральным секретарем скажу в предельно прямых выражениях, что, начиная большое дело, от мелких козней и подвохов нужно отмежеваться. Любой капитал, политический в особенности, – это прежде всего доверие. А доверием можно злоупотребить только раз. Если я не встречу отклика у Брежнева, считайте, что в Бонне сменится советский посол.

– Буду признателен, если вы избавите меня от необходимости открывать обмен мнениями с Брежневым на крайне неприятной ноте. У наших правительств хватает забот и без того, чтобы самим изобретать новые.

Федеральный канцлер обращается к предмету предстоящего

разговора с советским руководителем. Впервые в наших с Брандтом беседах возникает связка – политическая разрядка без военной разрядки не имеет надежного будущего. Пока это лишь размышления, прощупывание подступов к проблеме проблем, сокровенное видение.

Необычный тип визита В. Брандта располагает к демонтажу заповедных зон, не отступаясь от своих внутренних ориентиров и ценностей. Для этого надо совсем немногое и почти недостижимое – будучи политиком, оставаться человеком. Не наместником Творца, не мессией и не племянником дьявола (помните присказку про Дизраэли?), а одним из людей, назначенных судьбой управлять другими людьми. Прежде всего и главным образом человеком, не обязательно себе во благо.

Кое-что о «мудром учителе» и его «любимом ученике».

Брандт вылетел в Крым 16 сентября. Значит, я был у Брежнева 15 сентября. В кабинете генерального секретаря нас четверо: хозяин, Громыко, Самотейкин и я. Предчувствие меня не обмануло. Скапливавшиеся несовместимости когда-то должны были выплеснуться наружу. С этого дня мы с министром двигались разными маршрутами. Они могли быть параллельными или на протяженных участках совпадающими. Но легенда о «мудром учителе» и «любимом ученике» приказала долго жить.

Начало разговора грозы не предвещало. Брежнев в подтянутой форме и хорошем настроении.

– Брандт, наверное, думает, что я в Черном море плаваю. Вместо этого мы на Старой площади заседаем. Как канцлер себя чувствует, какими заботами живет? Чего нам ждать от ФРГ? Мы западных немцев приглашаем в друзья, а они упираются.

Слово за слово – у меня возникает чувство, что генеральный моей гневной депеши не видел. Ну что ж, выложим карты на стол.

– Не знаю, дошла ли до вас, Леонид Ильич, моя филиппика по итогам беседы с канцлером на прошедшей неделе. Брандт приглашал меня к себе, чтобы, по сути, заявить протест…

– Какая телеграмма? От какого числа? Андрей, почему мне ее не доложили?

Громыко, метнув в мою сторону сердитый взгляд, произносит:

– Леонид, я тебе излагал ее содержание по телефону.

– Можно продолжать?

Брежнев кивает в знак согласия.

– Протест формально касается эпизода, коих в истории дипломатии пруд пруди. Но в нынешних конкретных условиях, когда становится на ноги нечто большее, чем только новая «восточная политика» Бонна, деталей нет. Отклонение от

договоренностей на миллиметр может вызвать необозримые последствия.

Излагаю, как происходила выработка «общегерманского» перевода текста четырехстороннего соглашения с заключительным сальто-мортале на стороне ГДР. Вроде бы к этому «шедевру» дипломатического искусства оказались причастны советские представители.

Министр перебивает меня:

– Вы больше верьте тому, что вам Бар внушает.

Пропускаю реплику Громыко мимо ушей.

– В Германии с сохранением тайн обстоит не шибко ладно. Решающим аргументом в спорах между ними был и остается – «мы же в конечном счете немцы». БНД информирует о происходящем и правительство, и оппозицию, иногда путая очередность. Брандт не исключает, что еще пара-другая свидетельств неискренности, особенно в действиях Советского Союза, может склонить чашу весов в пользу противников социал-либеральной коалиции.

Громыко опять перебивает:

– По вашему мнению, только западные немцы говорят правду…

– Леонид Ильич, разрешите мне закончить доклад, затем я буду готов ответить на вопросы, которые есть у Андрея Андреевича.

– Докладывайте.

Министр потемнел лицом. Губы плотно сжаты. Он складывает бумаги, лежавшие перед ним, и, едва я успеваю открыть рот, встает, подходит к генеральному и негромко говорит:

– Леонид, ты знаешь, у меня встреча. Я позже тебе позвоню.

И удаляется.

Краски моего доклада не поблекли в отсутствие Громыко. Привожу примеры из прошлого, когда на кажущихся мелочах гибли перспективные начинания. Нельзя преуспеть в очищении от вздоров и сора межгосударственных отношений, если мы останемся пленниками отжившей психологии и привычек.

– Министры ездят друг к другу. Широковещательных обещаний и заявлений сколько угодно. Дела нехватка. Каждый шаг почему-то дается с боем. Вот «Дойче банк» предложил открыть в Москве свое представительство. Нам бы ухватиться за него. Крупнейший частный финансовый институт ставит новую веху. Два месяца минуло, на мою телеграмму нет ни ответа ни привета. Формально никто не возражает, но никто и пальцем не шевелит.

– В чьей компетенции подготовка предложений по этому

вопросу?

– Минвнешторга и Госбанка.

Брежнев нажимает клавишу домофона:

– Соедините меня с Патоличевым, а после разговора с ним пусть мне позвонит Свешников.

Минуты не прошло, на связи министр внешней торговли.

– Добрый день, Леонид Ильич. Патоличев.

– Николай Семенович, ты слышал о предложении «Дойче банк», который хотел бы быть представленным в Москве.

– Да-а, в курсе.

– И что ты думаешь по этому поводу? Завтра я встречаюсь с Брандтом. Вдруг эта тема всплывет?

– Идея сама по себе любопытная. Можно было бы ее рассмотреть.

– Какие-нибудь принципиальные возражения есть? Они, как я понимаю, ведут разговор о представительстве, а не филиале банка.

– Нет, против представительства у нас возражений не возникает.

– Если возразить нечего, то почему, курицына мать, Внешторг два месяца не мычит не телится?

– Пожалуй, затянули немного. Но ведь вопрос новый, надо все изучить, взвесить, согласовать.

– Считай, что со мной согласовал. На остальную бюрократию неделю, и чтобы совместная записка МВТ и Госбанка лежала у меня на столе.

Брежнев кладет трубку. Обращаясь ко мне, говорит:

– Везде и во всем так. Возражений нет, но вымолвить «да» – увольте. Еще бы, решение тянет за собой ответственность.

Звонит председатель Госбанка СССР. Разговор повторяется с поразительными совпадениями даже в оттенках. Конец чуть драматичнее.

– У Патоличева возражений нет, вы не возражаете. А дело стоит. Если ждете, что ваши обязанности будут исполнять другие, то зачем вы нужны? Чиновников развелось видимо-невидимо, ответственных руководителей наперечет.

Если Патоличев и Свешников прознают, что генеральный секретарь пришпорил их после разговора со мной, то, считай, за единственный день я успел испортить отношения с тремя министрами. Воистину, недаром рано встаю.

Брежнев перчит Самотейкина:

– А вы, мои помощники, на что? Не каждый час я принимаю послов и не изо всех стран. Ну хотя бы на важнейших направлениях вы отслеживали, как движутся дела.

Обращаясь ко мне, Брежнев говорит:

– Хотелось бы пригласить тебя вместе слетать в Крым. Но появись ты там, твой западногерманский коллега подтянется. Мы же условились с Брандтом, что будем говорить с глазу на глаз. Без переводчиков, к сожалению, не обойтись. Ты, надеюсь, не в обиде.

Он тепло прощается со мной, замечает, что с интересом читает телеграммы из Бонна.

– Кое-что из твоих сообщений МИД, как я убеждаюсь, придерживает. Если ты захочешь донести нечто лично до меня, и только до меня, то используй опробованный канал. А сейчас тебе, пожалуй, стоит зайти к Громыко и рассказать ему, к примеру, про «Дойче банк».

Выхожу из кабинета Брежнева. В коридоре поджидаю Самотейкина.

– На генсека произвело впечатление, что ты не дрогнул перед Громыко. Вместе с тем он обеспокоен, во что инцидент тебе обойдется.

– Если министр вздумает из меня веревки вить, то ближайшей депешей будет мое заявление об отставке.

Не вижу смысла торчать в Бонне, когда со стороны МИД СССР не только нет помощи, но строятся всяческие помехи. Дело не должно страдать от натянутых личных отношений. Амбиции Громыко мне чужды, его болезненно ревнивое восприятие доброго слова в чужой адрес – непонятно. Подбирайте кандидатуру следующего посла, и я был бы признателен, если бы ты сообщил о моем настроении Леониду Ильичу.

– Не горячись. Образуется. Все равно никто отзывать тебя из Бонна не станет. До ратификации договоров в любом варианте.

– Я рассуждаю хладнокровно. Эмоции не играют излишней роли. Ты сам прекрасно знаешь Громыко. Он счел себя сегодня смертельно оскорбленным, а оскорблений, пусть существующих лишь в его воображении, не забывает.

Как напутствовал Брежнев, явился в МИД. В приемной министра меня поджидали. Похоже, Громыко имел разговор с Брежневым.

Открываю дверь, ведущую в кабинет министра. Он за рабочим столом, меня не замечает. Прохожу положенные пятнадцать шагов до маленького квадратного стола, за который обычно садятся посетители. Останавливаюсь.

– Присаживайтесь.

Сам терзает карандашом какой-то проект.

– Что у вас?

– В разговоре у Брежнева всплыл ряд практических вопросов.

– Я в курсе. Но в деле с «Дойче банк» вы тоже не без вины. Послали телеграмму и думаете, все бросятся исполнять ваши указания? Хороший посол должен уметь готовить почву под свои инициативы.

Это цветики. Ягодки впереди. Отходчивость, писал Оноре де Бальзак, есть признак изящества души. Не обязательно с моего министра портрет писан.

– Между прочим, я разговаривал с Абрасимовым. Не подтверждает он версии Брандта. Напротив, решительно оспаривает ее. Не вижу причин верить ему меньше, чем западным немцам.

«…И вам» не присовокупил, хотя определенно давал почувствовать. Тебя вызывают на полемику. Любые слова, что масло в огонь. Придержи язык. Но куда там. Взыграл дух противоречия.

– Не завидую я Абрасимову. То, что мне известно, через день-другой получит объективное подтверждение. С некоторыми дополнениями, которые по мотивам профессиональной солидарности были мною при докладе опущены.

Расстаемся с Громыко суше не придумаешь.

Назавтра визит федерального канцлера. Уверен, что Громыко со смаком известил генсека о своем разговоре с Абрасимовым. Не с кем биться об заклад, что ударения вдруг не сместятся. Порой погрешность в переводе нарушает гармонию и между партнерами, съевшими вместе пуд соли. Мы же с ФРГ живем в кредит, под доверие, которое еще предстоит скопить.

Позднее Е. М. Самотейкин поведал мне:

– За завтраком в Ореанде 16 сентября Брежневу докладывается актуальная информация. Очередь доходит до разведсводок. Одна из них подоспела как нельзя кстати, воспроизводя твое сообщение накануне. Леонид Ильич резюмировал: «А Фалин-то прав!»

Переговоры в Ореанде являли собой важный этап развития европейской политики обоих государств. Не будет преувеличением утверждение, что Советский Союз и Федеративная Республика совместно прокладывали пути, на которые приглашались вступить их западные и восточные союзники, а также нейтральные (неприсоединившиеся) страны. Достаточно упомянуть в этом контексте инициирование консультаций с целью ускорения созыва конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и особо занимавшую меня идею сбалансированного сокращения войск и вооружений на Европейском континенте. СССР и ФРГ констатировали, что достижение согласия по этой «трудной проблеме эффективно

укрепляло бы основы европейского и международного мира».

Иными словами, наши государства не зарывались и не замыкались в своих двусторонних делах, при всем их значении не ограничивали горизонт видения Западным Берлином или проблематикой нормализации отношений ФРГ с другими странами на Востоке. Мы выходили на параметры, принятые за естественные другими крупными государствами.

Л. И. Брежнев и В. Брандт нашли слова, чтобы выразить значение ратификации Московского и Варшавского договоров, оттенить необходимость преодоления обременений прошлого, давящих на людей. Канцлер во всеуслышание заявил о готовности перестраивать взаимоотношения с ГДР на базе полного равенства, недискриминации, уважения независимости и самостоятельности обоих государств в делах, входящих в их внутреннюю компетенцию. Руководители СССР и ФРГ высказались за вступление обоих германских государств в ООН и ее специализированные организации, что внутри Федеративной Республики отнюдь не являлось беспроблемным.

Оппозиция подняла на щит пугало «Рапалло». Канцлера обвиняли, будто он положил «конец немецкой политике воссоединения» и, действуя за спиной западных держав, нарушил всю стратегию НАТО, изъял германский вопрос из ее глобальных концепций.

Ф.-Й. Штраус с друзьями объявили, что ратификация Московского договора стала бы «несчастьем». Способ элиминировать «опасности» оппозиция видела в блокировании вхождения договора в силу, свержении социал-либерального правительства, вступлении в новые переговоры с СССР. На случай одобрения договора парламентом Федеративная Республика в своих обязательствах не должна была быть связана только договорным текстом.

На это же время падает еще одно событие, которое на десятилетия предопределило отношение ко мне руководства ГДР. Полистайте газеты той поры, особенно восточногерманскую периодику, и при самом беглом взгляде вы уловите в публичных речах Э. Хонеккера рефрен – размежевание с ФРГ, размежевание, размежевание. Подтекст незатейлив: вот введем в силу восточные договоры, тогда узнаете, почем фунт новой «восточной политики». Советская сторона зовет строить мосты через рвы отчужденности, к партнерству, чтобы народы обрели наконец возможность пользоваться плодами мира, а Э. Хонеккер присматривается, где гвоздь не по шляпку вбит и межа между двумя Германиями недостаточно, на его вкус, выпукла.

Доступными мне способами стараюсь довести свои сомнения

до сведения Э. Хонеккера. Результат – лозунг размежевания выкрикивается еще пронзительнее.

Была не была. Принимаю в посольстве группу политических деятелей, один из которых, как мы догадываемся, оповещает Э. Хонеккера о настроениях советских представителей в Бонне. Это как раз то, что нужно. Описываю, как видится мне ситуация в ФРГ и ее развитие на ближайшее будущее под углом зрения борьбы за и против признания реальностей. Общий смысл оценок – придется изрядно попотеть, прежде чем дорога в завтра выровняется.

– В этой связи, – говорю буквально, – мне непонятна линия Хонеккера. На каждом углу он твердит о размежевании. Думать Хонеккер может что угодно, но зачем ему нужно поднимать настроения против договоров? Это для меня загадка.

Э. Хонеккер ужасно обиделся. Он пригласил к себе нашего нового посла, бывшего заместителя председателя Совета министров Ефремова, и пожаловался:

– Мы знакомы с Фалиным столько лет. Если у него есть замечания, мог бы сообщить их мне лично. Но делать это через второстепенного функционера не по-товарищески.

Одним из проявлений «товарищества по Хонеккеру» было установление за мной слежки спецслужбами ГДР, учет и систематизация всех моих выступлений перед западногерманской общественностью и т. п. Генерал И. А. Фадейкин, мой давний товарищ, руководивший представительством КГБ в республике, предостерегал при каждой нашей встрече: будь поаккуратнее, помни, что находишься под прицелом.

В октябре 1971 г., при очередной командировке в Москву, у меня состоялась продолжительная беседа с Ю. В. Андроповым. Экономя место, коснусь только контроверзы с руководителем ГДР.

Спрашиваю председателя КГБ:

– Юрий Владимирович, в содружестве идет дифференциация. С Чаушеску ясно. Есть ли ясность по поводу политической позиции Хонеккера?

– В чем ты видишь сомнительность?

– Хотя бы в том, что Хонеккер, по-видимому, не разделяет совместных решений Варшавского договора, принятых в декабре 1969 года. Готов он содействовать ратификации Московского договора или его больше устроил бы негативный вотум?

– Ты всерьез? Что Хонеккер без нашей поддержки? Нет, ты перегибаешь.

– Во-первых, зависимость в чрезмерных дозах вызывает стремление к избавлению от нее. Во-вторых, рационального

национализма не существует. В-третьих, ГДР во главе с Э. Хонеккером будет как союзник для нас потеряна. Могу и хочу ошибиться. Дайте соответствующее поручение произвести системный анализ всей совокупности данных, скопленных в вашем доме, и, когда оно будет выполнено, мы продолжим дискуссию.

Поручение Андропов дал. Бумага получилась, насколько дошло до меня, более чем тревожная. Поэтому ее доложили только генеральному секретарю. В последующих беседах со мной Андропов о «переборах» и «перегибах» не говорил. С годами его оценки перспектив ГДР стали мрачнее моих.

Мытарства ратификации

С осени 1971 г. посольство жило заботами ратификации Московского договора. Мне не удалось убедить правительство ФРГ открыть официальные процедуры прохождения договора через парламент ни сразу после подписания четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (сентябрь), ни по достижении так называемых «внутригерманских» договоренностей к этому соглашению (декабрь 1971 г.). Это было возможно и, убежден, необходимо. Упустили драгоценное время. Почему договор внесли в бундестаг лишь 23 февраля 1972 г., я толком не узнал ни тогда, ни позже.

Ограничусь этой критической репликой и предположением, что у партий правительственной коалиции имелись свои весомые или слывшие за таковые основания действовать так, а не иначе, не оставлять неиспользованным ничего, что обещало если не консенсус с оппозицией, то по меньшей мере предотвращение раскола общества. Социал-либералы, однако, не сумели опровергнуть универсального познания: уговаривающий с позиций здравого смысла отдает больше, чем занявший позу.

Расскажу о другом. По понятным причинам оно не получило широкого освещения.

На рубеже 1971–1972 гг. уверенность, что Московский договор минует парламентские рифы с малыми царапинами, начала сникать. Реже подсчитывались голоса. Числа правят миром, утверждали приверженцы математической школы в Древней Греции. В новейшей Федеративной Республике на цифирь никак нельзя было положиться. Часто она элементарно водила за нос, ибо производными от 2×2 могло стать 3.

Выборы в землях озабочивали. Многие спрашивали себя, куда свернет Федеративная Республика, если тупик с ратификацией восточных договоров и недееспособной властью понудит распустить бундестаг и проводить внеочередные выборы? Выборы, на которых махровому национализму будет дан полный газ, а его ареной станет вся страна. Нет, это никак не были бы выборы конца 1972 г.

Очень хотелось не думать, что труд идет насмарку и почти все, в случае негативного исхода голосования, придется начинать сызнова. Не исключалось даже – с другой коалицией.

В конце 1971 г. у меня состоялись обстоятельные разговоры с Брежневым и Громыко, в ходе которых разбирались возможности нашего противодействия противникам Московского договора. Кое в чем министр сдвинулся с негативных позиций. Но ни в какую он

не желал, например, признать, что Московский договор не заменяет мирного урегулирования.

На мои доводы о том, что нам самим невыгодно наводить тень на плетень и снимать проблему окончательного мирного урегулирования, генеральный секретарь реагировал лаконично:

– Я с тобой согласен. Убеди Громыко и действуй.

Отправляюсь в МИД, как на эшафот.

– Андрей Андреевич, меня вызывал генеральный секретарь. Его, естественно, беспокоит состояние дел с ратификацией. Среди прочих затрагивался вопрос, отпадает ли с заключением Московского договора задача мирного урегулирования. На отсутствии здесь ясности строятся главные тезисы оппозиции об антиконституционности действий правительства. Леонид Ильич полагает, что над этим стоит задуматься.

– Думать никогда не возбраняется. Даже рекомендуется. Но если меня спросят, то я выскажусь категорически против «ясности», к которой вы клоните.

На заседаниях политбюро ЦК КПСС срезались острые углы: не критиковать же генерального, авторитетом которого теперь освещалась нормализация отношений с ФРГ. Придет беда – отворим ворота. Пока же неприятности допускались сквозь узенькую боковую дверцу. Членов политбюро устраивало мое утверждение, что торопиться с окончательными выводами рано, ибо основная мишень – не столько сам договор, сколько политическое кредо В. Брандта и В. Шееля, отказавшихся молиться на Аденауэра.

Не смею утверждать, что информация посольства выделялась из прочей трезвостью и аккуратностью суждений. Мнение, выраженное мною на политбюро, и вовсе было слишком смелым, в чем я удостоверился, вернувшись из отпуска на Рейн в середине февраля 1972 г. Нет, не остерегался я расстраивать начальство, которое на Руси от века привечало вестников приятных новостей и карало очернителей. Возвращаться к диагностике родовых травм и снова метать стрелы в их виновника – малопродуктивно. И к чему хорохориться, мне тоже было жаль отказать в праве на жизнь, даже не самую счастливую, ребенку, к появлению которого на свет я был причастен.

Первое чтение в бундестаге законопроекта о ратификации Московского договора дало новую пищу дискуссиям в советском руководстве. Мне поручается известить В. Брандта о том, что письмо министра иностранных дел ФРГ о «немецком единстве» будет в рамках ратификации Московского договора официально доведено советским правительством до сведения Верховного Совета СССР. Чего ради Громыко разводил 12 августа 1970 г.

турусы на колесах? Видно, скучнее бы жилось.

Моя беседа с федеральным канцлером 13 марта вышла за пределы сообщения относительно письма В. Шееля «о единстве». Как отразилось бы отклонение договора или затягивание на неопределенный срок его ратификации на советско-германских отношениях? Что дали бы в этом случае, правильнее – не принесли бы, четырехсторонние и внутригерманские договоренности по Западному Берлину? Как сложатся дальнейшие переговоры между ГДР и ФРГ? Торговое соглашение между СССР и ФРГ практически готово, но будет ли оно распространено на Западный Берлин и на каких условиях? Установит СССР отношения с Европейским экономическим сообществом или будет смотреть на него букой? И т. д.

Чем четче будут высечены предупреждения и приглашения на твердом материале, тем лучше. 20 марта Л. И. Брежнев придал беседе посла с В. Брандтом особый вес. Он публично и в крутых выражениях подтвердил разъяснения, сделанные через меня. Несколькими днями спустя Р. Барцель счел нужным отметиться: «Новейшие высказывания с советской стороны, само собой разумеется, были расслышаны». Продвижение есть, но, по его словам, «незначительное».

12 апреля открываются слушания по Московскому договору на заседании комиссий по иностранным делам обеих палат Верховного Совета СССР. Темпы форсируются. В действие вводятся резервы. А сомнений в благополучном исходе нового начала прибавляется. Получаю телеграмму-запрос от министра: «Что будем делать, если ратификация Московского договора не состоится? Ваше мнение по данному варианту?»

Громыко завибрировал и готов жертвовать даже священными коровами. Он рассчитывает получить из Бонна подкрепление шахматной задумке – не вышел номер с этими партнерами, попробуем с другими. Им и уступим. Знаменитое британское – нет вечных врагов, нет вечных друзей. У меня на сей счет своя точка зрения. Ее и кладу на бумагу.

Если предостережения бросаются на ветер, никто с нами всерьез говорить не станет. Следовательно, чтобы с Советским Союзом считались, он должен держаться заявленных намерений как в случае вступления договора в силу, так и при его отклонении. Далее я предлагал целую программу мер, которые должны были наглядно продемонстрировать, что западные немцы теряли, гоняясь за тенями прошлого.

Не соглашусь, что мы с А. А. Громыко словно менялись ролями. Каждый оставался сам собой, с собственными представлениями об этике отношений. Немало дискуссий было у

меня с министром за годы работы под его началом. За дефицитом взаимопонимания со временем я стал избегать касаться этой темы по своей инициативе. По моим представлениям, в политике и дипломатии слово есть обязательство, и вольное обхождение с ним всегда ущербно. Кончина Советского Союза тому классический пример.

Телеграмма из Бонна не возрадовала министра. Как свидетельствовал А. Г. Ковалев, мой строй мысли Громыко находил недостаточно «прагматичным». Поступивший вскоре новый запрос из Москвы вызвал поэтому двойственные чувства.

– Как бы вы посмотрели на вариант с принятием в бундестаге заявления, одностороннего разумеется, которым сопровождалось бы одобрение законопроекта о ратификации Московского договора?

Впервые о возможности сопровождения ратификации Московского договора особым заявлением о принципах боннской внешней политики упомянул в середине октября 1971 г. В. Брандт. С полгода к ней не возвращались, и эта идея ушла из поля зрения.

В апреле мелькнул слух, будто Э. Бар в разговоре с одним из лидеров ХДС помянул про совместную резолюцию, сулившую контрагентам выход без потери лица из трясины, в которую они друг друга загнали. Они, эти слухи, шли из кругов, близких к оппозиции, и сопровождались смакованием «близкого крушения» социал-либерального эксперимента. В канун лобовой атаки ХДС/ХСС на федерального канцлера В. Брандта в бундестаге 28 апреля 1972 г. нам подкидывали множество отвлекающих и завлекающих «информаций». Успевай только отделять зерна от плевел. Если бы Э. Бар собрался соорудить этакую пристройку к договорам, он, наверное, догадался бы намекнуть мне на это. Короче, я не поспешил перепроверить достоверность идеи резолюции.

Теперь, после запроса министра, думай что хочешь. Спад в наших контактах за последние недели Э. Бар мотивировал ссылками на перегруженность поручениями федерального канцлера. Я принимал объяснение за чистую монету. Выходит, спростодушничал. Забыл, что даже при чтении нот с одного пюпитра каждая скрипка ведет свою партию.

Скорее бы закруглялась эпопея с договором, а с ним и моя карьера дипломата. На телеграмму из Москвы ответил: резолюция может быть проходным вариантом. Логика моих за и против была такой. Если уступки, вовремя не сделанные, становятся все же неотвратимыми, пусть это будут шаги навстречу социал-либеральной коалиции. С ней мы начали большое дело, вместе с ней и должны его заканчивать. Скажи я

«нет» – глядишь, в истории с резолюцией мне досталась бы роль наблюдателя. Вот было бы мило!

Как раз в это время при посредничестве боннского представителя «Дрезднер банк» д-ра В. Беккерса удалось сменить рушившуюся виллу Хенцен на уютный дом, возведенный госпожой Верт в районе Штадтвальда в Бад-Годесберге. Скольким послам я задолжал с ответными протокольными мероприятиями и скольких деловых партнеров или просто добрых знакомых не имел возможности достойно принять! Что проку от того, что себя и многих посольских работников заездил «большой политикой»?

По прихоти судьбы смена моего места жительства в ФРГ едва не стала прологом к смене правительства, при котором я был аккредитован. Само новоселье получилось не только нешумным, но в чем-то мистериозным.

Роль окропителей новой обители выпала К. Винанду, управляющему делами фракции СДПГ в бундестаге, и советнику фракции по вопросам внешней политики О. Зельбману за день до драматического голосования вотума конструктивного недоверия В. Брандту. Нас занимали, как легко догадаться, не светские мелочи и не прелести открывавшегося из окон дома пейзажа. Что будет завтра, не вытеснит ли его политическое вчера? К. Винанд не паниковал. Арифметика против коалиции. Но здравый смысл должен стать сильнее. Как бы ХДС/ХСС не подвела их самоуверенность. Они полагают, что дело уже сделано. Поручиться за каждого нельзя, но… Социал-демократам надо во что бы то ни стало устоять. Выиграв завтрашнее сражение, они заново обретут растраченную веру в себя.

Я часто мысленно возвращался к этой беседе с К. Винандом и О. Зельбманом. Пытались они зарядить и меня оптимизмом, чтобы Москва не потеряла самообладания? Или К. Винанд знал нечто неведомое остальным? Может быть, близость к Г. Венеру позволяла ему полнее вкушать от прозорливости и мудрости стратега? Так или иначе, я встречал 28 апреля несколько обнадеженным.

То, что ХДС/ХСС заполучили во фракции свободных демократов, они недосчитали в собственной среде. Не рой другому яму! По моему впечатлению, до конца своей политической карьеры Р. Барцель не преодолел шок, поразивший его в момент объявления итогов голосования по вотуму конструктивного недоверия.

Этот день обозначил также рубеж в противоборстве из-за восточных договоров. Предложение В. Брандта относительно совместной резолюции к закону о ратификации принимается Р. Барцелем. Целью резолюции называется обеспечение договорам

максимального парламентского большинства. Одновременно правительство и оппозиция условливаются сдвинуть второе чтение договоров на более позднюю дату, чтобы по протоколам западногерманской делегации ознакомить ХДС/ХСС с интересовавшими их эпизодами переговоров в Москве.

Федеральный канцлер отрядил проф. Х. Эмке обменяться со мной мнениями по композиции резолюции. В момент звонка министра я этого, естественно, не знал. Желание Эмке увидеться для неформальной беседы можно было увязать с общей неразберихой в самой коалиции. К этому времени два либерала известили В. Мишника, что, не выходя из фракции СвДП, они будут голосовать против ратификации договора. Попытки Шееля и Геншера повлиять на их позицию остались безрезультатными.

Раз неформальная беседа, то встретимся в новой резиденции. Эмке приехал один. Показываю ему ухоженный госпожой Верт сад. Профессор не упускает случая ввернуть колкость насчет умения дипломатов из социалистических стран собирать плоды с увядающего древа капитализма.

– Ленин завещал наследовать лучшие достижения капитализма и приумножать их, – вторю я гостю. – Если, однако, чистота смущает, то можно податься на виллу Хенцен. Она еще состоит на нашем балансе, и там упадок и ощущение суетности бытия не фигуральные. О них, подозреваю, министр предполагает поговорить.

Продолжая пикироваться, проходим в гостиную.

– Вы, профессор, среди первых гостей в этом доме. Посмотрим, счастливое ли это предзнаменование. Слушаю вас.

– Усилия кабинета Брандта по выправлению расстановки сил в парламенте для вас не новость. Налицо патовая ситуация не только в части ратификации, но и перспектив социал-либеральной коалиции. Высказанная канцлером идея резолюции призвана изъять из межпартийных страстей капитальные внешнеполитические интересы Федеративной Республики. ХДС в принципе не против этого. Приступая к работе над проектом резолюции, мы, однако, не хотели бы, чтобы компромисс с оппозицией обернулся диссенсусом с Советским Союзом.

– Заявление или резолюция бундестага мыслятся как односторонний шаг. Не должно возникать противоречий с буквой и духом договора или претензий на его произвольное толкование. В остальном советскую сторону будет мало занимать, что и как вы напишете.

– Но вы лучше чувствуете пределы, которые нельзя переходить. Поэтому мы просим у вас консультации.

– Мне поручено вас выслушать. И только. Полномочий что-

либо советовать я не имею. Если вас интересует точка зрения не посла, а специалиста, то в сугубо личном качестве я, наверное, мог бы что-то сказать. Но ни сейчас, ни в будущем мое, повторяю, личное мнение не должно выдаваться за позицию советской стороны.

– Эта модель нас устроит.

Эмке называет основные положения будущего проекта: некий симбиоз, в частности, памятной записки федерального правительства от 11 декабря 1971 г. и ряда выступлений Р. Барцеля в бундестаге.

– В чем сокровенный смысл воспроизведения давно известного? Как бы в ФРГ отнеслись к тому, если бы Москва прислала подборку выдержек из советских памятных записок 1966–1968 гг. или изречений скептиков, читающих Московский договор сквозь опыт 1941–1945 гг.? Не вызывайте нас на новый раунд переговоров. Его не будет. Договор подписан. Обязательства сторон зафиксированы. Они должны пониматься и выполняться исходя только из договора. Никакие протоколы или предварительные проекты, а также новейшие прибавления, особенно односторонние, не извинят уклонений при исполнении договора.

Министр согласен, что подмены ценностей и понятий не должно быть. И не о подправлении договорного текста речь. Московский договор должен войти в силу в полном объеме и в оригинальной редакции.

– Можно найти прецеденты появления в парламентах заявлений и резолюций по мотивам голосования, – продолжаю я. – Делегаты ФРГ вели переговоры, исходя из конституции и действующих законов своего государства. Это принималось к сведению, и урона не возникнет, если нечто подобное будет сказано снова. Обязательства по Московскому договору не отменяют обязательств сторон по другим ранее заключенным договорам и соглашениям. Ввиду важности данного положения и оно могло бы быть подтверждено.

Х. Эмке прерывает мой монолог:

– Вы, если я не обманываюсь, положили свои соображения на бумагу. Может быть, доверите их мне?

– Никакого проекта у меня нет. Как вы заметили, по ходу нашей беседы я сделал кое-какие записи для раздумья. Кроме меня, никто в черновике не разберется.

– Ваши заметки, обещаю, нигде не будут фигурировать. Я усвоил также, что соображения излагались вами не с позиций посла.

Не должен был я этого делать. Ни в каком качестве. Тем не

менее мой черновик Х. Эмке получил. На листке из блокнота от руки набросано несколько фраз. Ни даты, ни подписи. На дипломатическом жаргоне – «нон-пейпер». И все-таки свидетельство, что я не был лишь слушателем.

Через два-три дня Х. Эмке снова у меня. Он приехал с проектом резолюции. Решаю – в прошлый раз наговорил лишку и сегодня помолчу. Но как смолчишь, если ГДР именуется «советской зоной» и выдаются другие подобные перлы? Вот как толкуется «пишите что хотите», покуда одностороннее заявление.

Напоминаю министру, что кроме договора стороны согласовали и скрепили заявления о намерениях. Они не являются предметом обсуждений в бундестаге, так как не требуют его одобрения. Но сбрасывать их нельзя. Не в интересах и самой ФРГ, которая подписала с «зоной» пакет договоренностей в рамках западноберлинского урегулирования.

Во избежание недоразумений подчеркну, что ни на этой, ни на предыдущей, ни на последующих встречах я не брал за одни скобки Московский и Варшавский договоры. Разговоры о резолюции бундестага всегда замыкались на ратификации Московского договора. Мне было неизвестно, вступали ли западные немцы в контакт с поляками по этому вопросу, и я счел за лучшее данной темы в беседах с Х. Эмке не затрагивать.

Не перегружая свои телеграммы подробностями, я докладывал в Москву о встречах с министром Х. Эмке и в конце не упускал добавлять – «прошу указаний». Центр будто воды в рот набрал. С третьего или четвертого «прошу» поступает отписка: «Действуйте в соответствии с имеющимися указаниями». Поскольку «имеющихся» не имелось, должен был действовать по обстановке.

Обстановка между тем не упрощалась. Интерес ко мне как «консультанту» по проекту резолюции проявляет оппозиция. И без запрещения из Москвы я воздержался бы вступать в этой связи в прямой контакт с ХДС/ХСС. Но как поступить, если тебя приглашает федеральный канцлер и ты знаешь, что на встрече с ним рядом будет Р. Барцель?

На случай нагоняя от Громыко строю глубоко эшелонированную оборону – Брандт волен сам решать, кого он позовет на беседу с послом, и не обязан был меня заранее ставить об этом в известность. Если известил, то проявил любезность и политический такт. Логично? Для вас, читатель, возможно, но Брежнев расценил это по-другому.

– Как он посмел нарушить мой запрет?! – шумел генеральный секретарь. – Существует у нас дисциплина или каждый себе голова?

Громыко принял гнев на себя, а ведь мог подлить масла в огонь. Очевидцы рассказывали мне, что еще немного – и Брежнев распорядился бы отстранить меня от работы как испортившего обедню. Он долго мне не прощал «обиды», ему причиненной. Это, между прочим, предопределило, что сотрудники посольства не были удостоены хотя бы «царского спасибо» за свои труды. Узнай об этом сразу, а не с порядочным опозданием, я не ограничился бы поминанием автора «Очерков бурсы» Н. Помяловского с его бессмертным: «И секли всех в субботу поголовно. Одних в наказание, других – в поощрение».

В неведении отправляюсь 9 мая 1972 г. в резиденцию В. Брандта на Венусберге. Со мной советник В. А. Коптельцев. Наряду с канцлером нас встречает, как потом было объявлено, «немецкая политическая элита». Их, политиков, собралось значительно больше, чем я ожидал, – В. Шеель, Х. Эмке, Р. Барцель, Р. Штюклен и кое-кто еще.

Брандт уединяется со мной на пару минут.

– Вот текст резолюции, написанной с участием представителей ХДС и ХСС. В случае ее принятия оппозиция не будет препятствовать ратификации договоров ни в бундестаге, ни в бундесрате. Скажите, если у вас возникнут сомнения по поводу того или иного пассажа.

Пробегаю по диагонали две страницы. Каждая вторая или третья фраза тянет на возражения. Но, может быть, это даже неплохо – оттеняет односторонность бумаги. Нет, не место и не время заниматься редактированием. На данной встрече я выступаю как посол и слова мои получат соответствующий резонанс.

И все же следовало внимательнее вглядеться в пункт 2, вернее – в его заключительную фразу, ставившую под вопрос правовые основы реально существовавших границ. Я устрою затем целую бучу вокруг нее. И надо было бы высказаться с ходу. Брандт, думаю, понял бы меня.

Повторю, читал по диагонали. Начало пункта 2 – «ФРГ принимает обязательства только от собственного имени и исходит из границ, как они существуют на сегодня» – сносное. Я перескочил на пункт 3, трактовавший право немцев на самоопределение. Слона в пункте 2, как говорится, не приметил: договор не предопределяет урегулирований по мирному договору. Это еще куда ни шло. Но утверждение, что договор не создает «правовой основы для ныне существующих границ», было вызовом.

То, что слон был родом из «дома Геншера», я узнал, вернувшись в посольство. Не эксперты ХДС и ХСС сочинили, а

юристы из МВД придумали. Это возмутило и дало толчок цепи моих ошибочных, в любом варианте излишних, шагов.

Вернемся, однако, на Венусберг. Мероприятие единственное в своем роде. Посол иностранного государства в функции связующего звена во внутриполитической баталии. Ему не позволено, балансируя на высоко протянутой проволоке, заметно качнуться ни в чью сторону. Только в этом случае будет прок. Удалась ли мне эта роль? Вечером того же дня, когда я потряс достигнутое на Венусберге перемирие, принесли телеграмму от неизвестной мне женщины: «Не переживайте, вы были честным маклером».

То, что я не кривил зеркал, просвещая собравшихся насчет процедур прохождения в советском руководстве информации и принятия решений, соглашусь. В остальном же наинизшую оценку по итогам я выставил себе сам. В первую очередь за просмотр злополучной фразы из пункта 2.

Все урегулирования имеют статус модус вивенди. Мы сами временные жильцы в этом мире. В таком философском камертоне были выдержаны все мои высказывания. Московский договор, конечно, компромисс. Обе стороны руководствовались реальностями. Достигнутый уровень взаимопонимания отражен в тексте договора, и обязательства Советского Союза и Федеративной Республики по отношению друг к другу могут выводиться только из договора. Ни протоколы, ни односторонние предложения и документы не являются источником прав или обязанностей участников урегулирования.

Р. Барцель не прочь провести различие между протоколами периода переговоров и резолюцией бундестага. Поскольку резолюция будет сопровождать ратификацию, она превращается как бы в часть «фертрагсверка» (договорного пакета).

Не забыты письмо о «немецком единстве», Западный Берлин, Общий рынок, НАТО. Кто-то подтягивает тему «человеческих прав». Это дает В. Брандту повод закрыть ту часть встречи, которая предполагала участие и присутствие посла.

Резиденция Брандта в кольце корреспондентов. Прорвать его не легче, чем блокаду Ленинграда. Машина медленно пробирается мимо дюжин выставленных в упор на вас микрофонов. Журналисты требуют хотя бы полслова об атмосфере встречи. Отделываюсь общим замечанием с положительным подтекстом и на всех парах в посольство.

В кабинете посла посланник А. С. Каплин, советник М. И. Воронин, первый секретарь Г. С. Шикин. Мы с В. А. Коптельцевым делимся впечатлениями от встречи с «политической элитой». Шикин сконцентрирован на проекте резолюции, ему выполнять

перевод, и сразу он напоролся на пункт 2.

– Очень плохое положение. Несмотря на односторонний его характер. Москва нас не поймет, если смолчим.

Спонтанная реакция уравновешенного Шикина совпала с поступившим сигналом, что сим «подарком» мы обязаны ведомству Г.-Д. Геншера. Проморгал на Венусберге, исправляйся сейчас. Решаю, что одного буду добиваться непременно – подтверждения правительством В. Брандта – В. Шееля того, что обязательства ФРГ по Московскому договору резолюцией не затрагиваются и полностью остаются в силе. Все остальное, включая неизбежное недовольство Центра, отступило на второй план.

Связываюсь с Х. Эмке и извещаю его, что у «советского правительства будут возражения». Чтобы пункт 2 не заскучал, дополняем к сомнениям концовку пункта 5 («германский вопрос» открыт…). Поручаю М. И. Воронину позвонить Р. Барцелю и сообщить ему то же самое. Ставлю Москву перед совершившимися фактами. Сам же отправляюсь на другой берег Рейна – там у одного из коллег прием по случаю национального праздника.

Посол Австрии Гредлер отделяется от группы других гостей, чтобы сказать:

– Я отправил в Вену телеграмму, что боннская коалиция пополнилась новым участником. До сих пор она звалась социал-либеральной. Как величать ее впредь?

Рассказываю не столько о случившемся на встрече у Брандта, сколько после нее. Гредлер считает, что все образуется. Можно было бы обойтись без моего демарша. Резолюция не имеет международно-правовых последствий. Она – прощальное «прости» прошлому. Действовать будет договор.

Сплошь звонки и бега. Прибыл польский посол В. Пиантковский. Я готов понять его недоумение, связанное с резолюцией бундестага. Пиантковский несколько успокаивается, услышав от меня, что мы никак не сопрягали резолюцию с Варшавским договором, а сам проект с начала до конца является западногерманским произведением.

Посла Франции Ж. Сованьярга занимал венусбергский феномен. Что должны были значить состоявшиеся у Брандта консультации? Не возникает ли здесь прецедент (заботит проекция на германский вопрос), который может повлиять на европейскую ситуацию?

До этого, однако, визит в ведомство канцлера. Брандт принимает предложенную мною развязку. Он включит в текст своего выступления 10 мая в бундестаге заверения, что а)

договоры могут толковаться только исходя из договоренностей, достигнутых между сторонами и составляющих фертрагсверк, и б) резолюция бундестага ничего не меняет в правах и обязанностях, вытекающих из договоров, в том числе обязательств в отношении существующих границ.

Затем встреча с В. Шеелем. Министр в свою очередь подтверждает, что положения одностороннего проекта, предложенного вниманию бундестага, не отразятся на качестве обязательств Федеративной Республики, в том числе по вопросу о границах. Это понимание будет доведено до сведения фракции ХДС/ХСС как соавторов проекта.

Р. Барцель назначил мне встречу в 8.00 10 мая. На этот раз я явно нарушаю указания Москвы. Семь бед – один ответ. Если бы договор благополучно прошел бундестаг в этот день, никто не прицепился бы. Но Барцелю не терпится взять реванш за унижение 28 апреля.

Разговора не получилось. Барцель дает понять, что вчера я спутал ему карты и понадобится время для усмирения фракции. Тут появляется Р. Штюклен.

– Если бы вы сами заявили или не опровергли наше заявление, что резолюция бундестага отражает также точку зрения советской стороны, то можно было бы…

– Я недвусмысленно показал вам вчера, что предложенный проект носит сугубо односторонний и в ряде пунктов несбалансированный характер. Утверждать иное значило бы вступать в конфликт с фактами.

Штюклен порывается что-то сказать, но Барцель останавливает его, и оба парламентария удаляются.

Возвращаюсь в посольство. Меня поджидает телеграмма Громыко: «Прекратите обсуждение с западными немцами заявления». Отвечаю тотчас: «Текста заявления не обсуждал и не собираюсь обсуждать».

Час или два спустя министр вызывает меня на связь по открытому телефону:

– Валентин Михайлович (впервые за пятнадцать лет обращается по имени), как вы думаете, не облегчит ли достижения положительного результата сегодня, если мы…

Министр скороговоркой перечисляет в основном, правда, косметические улучшения нашей позиции. Два бы года или хотя бы два месяца назад нынешнее откровение ему явилось! Не иначе, опять генеральный «подсказал».

Отвечаю подчеркнуто спокойно:

– Ваши соображения, безусловно, полезны. Но сегодня ХДС/ХСС, не будучи в состоянии сказать «нет», еще не склонны

произнести «да». Процедура ратификации в бундестаге завершится в течение недели, и есть основания полагать – положительно.

Мне предстоит еще беседовать с Брандтом, передавая ему устное послание Брежнева, встречаться с Шеелем и Франком для согласования деталей переправки в Москву резолюции бундестага. С трудом усваивается, что не будет «принятия к сведению» резолюции или «принятия» ее вообще. И то и другое предполагает выражение отношения к содержанию передаваемого документа. Поскольку можно ограничиться уже имевшим место моим комментарием, остается следующее: МИД ФРГ передаст мне в пакете текст резолюции, а я ее отправлю в Москву.

Ровно неделю спустя (17 мая) решающее голосование в бундестаге по законопроектам о ратификации Московского и Варшавского договоров. Наш договор был утвержден 248 голосами против 10 при 238 воздержавшихся, Варшавский соответственно 248 за, против 17 и при 230 воздержавшихся. Резолюция собрала 491 голос при 5 воздержавшихся.

В посольство звонит профессор Х. Эмке, чтобы поздравить с завершением эпопеи.

– А есть ли причина для торжеств? Где «широкое парламентское большинство», которым подмасливалась идея резолюции? Нельзя даже поручиться, что договоры скоро минуют бундесрат. Поговаривают об обращении ХСС в конституционный суд. Штраусу мало, что резолюция трех фракций принята бундестагом, оппозиция обогатила ее собственной.

– С бундесратом все будет в ажуре. Через два дня этот рубеж возьмем. Так можете доложить своим. Трагедии в том, что договоры прошли относительным большинством, нет. Завтра об этом все забудут. Не стоит здесь комплексовать.

В Москве не комплексовали. 17 мая проходил пленум ЦК КПСС. Редчайший случай – председательствующий отклоняется от повестки дня и сообщает: только что поступило известие, бундестаг одобрил Московский договор. Присутствующие встречают новость аплодисментами.

Мои восторги не возросли по итогам рассмотрения договоров в бундесрате. В палате земель за их одобрение было отдано 20 голосов. 21 представитель воздержался.

Конечно, гора свалилась с плеч. После того как президент Г. Хайнеманн скрепил своей подписью законы о ратификации – случайно или сознательно он сделал это 23 мая 1972 г., в годовщину принятия боннской конституции, – советская сторона могла закончить свои процедуры введения Московского договора в силу.

31 мая состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР. В выступлениях Громыко, Суслова, Машерова, Подгорного и других резолюция бундестага не удостоилась даже упоминаний, а упорные попытки части ХДС/ХСС осложнить и провалить ратификацию договора квалифицировались как свидетельство активности в Федеративной Республике сил, не освободившихся от реваншистских устремлений и препятствующих разрядке напряженности в Европе. Вместе с тем с известным удовлетворением принималось к сведению, что «значительное большинство фракции ХДС/ХСС в бундестаге дистанцировалось от тактики паушального отклонения договоров». Федеративная Республика приглашалась к неукоснительному соблюдению своих обязательств по договору, и на этот случай ей обещалось добрососедское партнерство, а Европе – «капитальное оздоровление ситуации».

Г. Венер скажет мне год спустя: «Резолюцией бундестага вы напялили ярмо на восточную политику». Он почему-то предполагал, что ХДС и ХСС блефовали и в мае 1972 г. не осмелились бы торпедировать Московский и Варшавский договоры. Администрация Никсона очень отсоветовала переходить роковую грань, и Р. Барцель, по мнению председателя фракции СДПГ, ее не преступил бы.

По моему ощущению, у социал-либеральной коалиции имелось тогда две возможности – компромисс с ХДС/ХСС в виде какой-то, возможно более гибкой, резолюции бундестага или немедленный роспуск парламента после провала конструктивного вотума недоверия 28 апреля и новые выборы. Если роспуск бундестага, то либо где-то 28–30 апреля, пока и парламент, и общественность пребывали под впечатлением разорвавшейся бомбы, либо уже после ратификации. Когда все висит на волоске и неясно, на чью мельницу польется вода в ближайшую минуту, крайне трудно строить планы.

Резолюция бундестага от 17 мая 1972 г. надолго останется объектом дискуссий между правительственными партиями и оппозицией. Отсутствие ссылок на резолюцию при ратификации Московского договора Президиумом Верховного Совета СССР дало Р. Штюклену, Ф.-Й. Штраусу, В. Марксу и другим зацепку для запроса правительству: когда документ бундестага был передан советской стороне, как прореагировало на него советское правительство и в какое международно-правовое соотношение можно поставить эту резолюцию с речью А. А. Громыко (12 апреля 1972 г.) перед комитетами по иностранным делам обеих палат Верховного Совета СССР? Схожие вопросы касались передачи резолюции польской стороне.

Оппозиция собралась было обусловить обмен ратификационными грамотами «безоговорочным принятием правительствами СССР и Польской Народной Республики совместной резолюции» бундестага. К моменту обсуждения запроса в парламенте 12 июня 1972 г. этот маневр утратил актуальность. Обмен грамотами уже состоялся.

Следующий всплеск был зарегистрирован в январе 1973 г. в ходе дебатов по заявлению вновь сформированного правительства СДПГ – СвДП. Оппозиция потянула на придание резолюции «международно-правовой значимости». Председатель фракции СДПГ Г. Венер отрубил в ответ: резолюция утратила силу.

– Вы не можете сейчас (после прошедших выборов) все мыслимые резолюции прошлых времен делать обязательными для нынешних обстоятельств.

В. Шеель солидаризовался с Г. Венером. Обоих неожиданно подкорректировал В. Брандт. Он заявил:

– Не может быть никакого вообще сомнения в том, что, хотя она принята предыдущим бундестагом, резолюция связывает федеральное правительство. Она не является договорным инструментом, на что только что указал коллега Венер. Она политически связывает федеральное правительство, и я не хотел бы этого преуменьшать. Она возникла как политическая манифестация, чтобы завершить договорной процесс, и для тех, кто отклонял договоры и сегодня дальше отклоняет, она неизбежно означает нечто другое, чем для тех, кто их принимал и позволил пройти (бундестаг).

Что двигало федеральным канцлером? Надежда на сужение пропасти, разделившей коалицию с ХДС/ХСС? Или он смотрел на годы вперед, не исключая изменений во внутриполитическом ландшафте и заботясь, чтобы не наступил рецидив, обременительный для внешних интересов немцев?

У меня был случай спросить В. Брандта об этом. В качестве председателя партии, гласил ответ, он мог бы и смолчать, но положение главы правительства обязывало стать выше сведения счетов, сделать ясным и друзьям и недругам, что ему, Брандту, не чужда последовательность.

Думается, однако, что в итоге пострадал тандем В. Брандт – Г. Венер. Председатель фракции добивался, чтобы социал-демократы четче очертили свой профиль, во внешнеполитических делах в том числе. Председателю партии казалось, что СДПГ перенапряглась, слишком круто рванула и теперь надо дать поработать времени, благо великолепные результаты, достигнутые на выборах в бундестаг, сулили на четыре года

стабильную парламентскую базу. Тут столкнулись не только человеческие характеры.

Смена либералами коалиционного партнера и создание кабинета Г. Коля в 1982 г. вызволили совместную резолюцию из летаргического сна. Теперь вице-канцлер Г.-Д. Геншер позаботился о том, чтобы Федеративную Республику не занесло на повороте. Отблески резолюции чувствовались после объединения Германии, когда изыскивались способы, можно ли и как уклониться от перенятия обязательств двух германских государств, в частности по границам в Европе.

Хочу надеяться, что биография «совместной резолюции» на этом завершилась, и отныне она окончательно принадлежит истории. Желание не оставлять белых пятен, возможно, оправдало долгий рассказ о не лучшей странице моей деятельности в Семигорье.

Остается, пожалуй, только добавить, что по капризу актеров обмен ратификационными грамотами, официально вводившими Московский договор в силу, попал в тень процедур подписания 3 июня 1972 г. заключительного протокола к Четырехстороннему соглашению (по Западному Берлину). Создавалось впечатление, что главное событие – введение в действие западноберлинских договоренностей, а Московский договор – гарнир к нему. Особенно перестарались в этом отношении советские средства массовой информации.

Откройте «Правду» от 4 июня 1972 г. Под впечатляющими заголовками подается репортаж из Берлина – министр иностранных дел СССР расписывается под протоколом. Фотографию, помнится, тиснули. Громыко произносит речь. Печатается текст. О совершавшемся в тот же день и час в Бонне обмене ратификационными грамотами – скромно, петитом, через запятую. Что сказали в данной связи П. Франк и советский посол, никому не интересно. А если любопытный все же спросит, то его отошлют в архив МИД СССР, который распахнет двери лет через тридцать – пятьдесят, или к западногерманским источникам.

Инициируй нечто подобное та часть прессы ФРГ, которая всячески дискредитировала Московский и Варшавский договоры, сказали бы – что с нее взять! Но нашим забыться в угодничестве перед должностью настолько, чтобы спутать в политике приоритеты?

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…» Чудная ее стать и довела до беды.

Во второй половине дня 3 июня Громыко перелетает из Берлина в Бонн. Он – гость своего западногерманского коллеги. Визит позволял подсластить огорчения и снивелировать

сомнения последних месяцев, ознаменовать вступление в силу договора переговорами как по вопросам развития отношений между нашими странами, так и их сотрудничеству в деле обеспечения мира и безопасности в Европе. Обширная программа.

Хотя… Министр улетал домой в задумчивости. Он отвел малую толику своего времени на общение с послом. Не зная еще, как Громыко досталось от высшего начальства, в том числе за меня, я выводил его сухость из прошлогоднего нашего конфликта. Но нежелание министра встретиться с коллективом посольства разбудило во мне мятежный дух. Каждого должно было возмутить, если на просьбу сказать дипломатам пару приветливых слов в ответ раздается: «Сейчас некогда, в другой приезд». Будет ли он, другой, и когда?

Извольте, министр, выслушать в таком случае набранные курсивом оценки положения, чтобы рассеялось ваше представление о Бонне как курорте. Критическая фаза развития ФРГ, говорю я, не осталась позади. Парламент недееспособен. Правительство в состоянии выполнять лишь текущие обязанности. Скорее всего, кризис разрешится новыми выборами. Роспуску бундестага и открытию избирательной кампании мешают не в последнюю очередь, как ни покажется парадоксальным, Олимпийские игры в Мюнхене. На фоне выборов со дна поднимется вся муть. Какого партнера или контрагента получим мы к концу года, не знает никто. И т. п.

Громыко насуплен. Столь невеселые предсказания, по-видимому, расходились с его настроем или прогнозом, который он уже поспешил засвидетельствовать высшему руководству.

– Густовато пессимизма. Немцы поумнели за два последних года. Нам это обошлось не слишком дорого. Ради ратификации Московского договора, – произносит он шепотом, – не была бы чрезмерной платой даже передача Федеративной Республике Западного Берлина.

В самом деле держал Громыко данный вариант в загашнике или это гипербола? Слова министра не могли забыться и воспроизведены абсолютно точно. Если подобным образом мыслили Брежнев и его коллеги по политбюро, то чего мы бились смертным боем за мелочовку?

Через одиннадцать лет я вернусь к смелой идее министра по Западному Берлину. Совсем, правда, в иной связи, возникшей тоже не без участия Громыко. Но всему свое место.

Как на бесснежье снежный ком накатывают

Чтобы по возможности избежать длиннот и повторов, предлагаю хронологию подчинить проблемному подходу. События континентального и даже глобального масштаба могут перемежаться с явлениями камерного звучания. Это, пожалуй, и к лучшему. Серьезный жанр в излишних дозах тоже способен убить интерес.

Но если я опускаю некоторые моменты, к примеру мои переговоры с Г. Аллардтом об учреждении генеральных консульств в Гамбурге и Ленинграде, также прошедшие, на взгляд посла ФРГ, чрезмерно споро, или наши старания со статс-секретарем боннского МИДа, увенчавшиеся выработкой «формулы Франк – Фалин» к торговому соглашению, ставшей прецедентной для многих последующих договоренностей, то единственно из-за нежелания испытывать читательское терпение.

Советских дипломатических представителей в большинстве стран мира наше родное министерство держало в черном теле. Поручениями осыпать не забывали, но чтобы посвящать посольства в курс домашних событий или позиции СССР по актуальным проблемам мировой политики, а также в наши отношения с другими странами – от этого увольте. Читайте московские газеты (приходившие с недельным запозданием) да официальные публикации. Мол, внимательное око вычитает там все необходимое.

За семь с лишним лет пребывания в Бонне ко мне поступило из Москвы целых две информации относительно развития внутренней обстановки ГДР и проблематики наших отношений с этим государством. Одна из них случайно – я отправил свой годовой отчет П. А. Абрасимову в Берлин, и он ответил взаимностью. Доходило до того, что нас не удостаивали ставить в известность, о чем, встречаясь, говорили Громыко и посол ФРГ в СССР. О беседах других мидовских работников, руководителей различных ведомств с западногерманскими дипломатами, парламентариями, деловыми людьми, общественными деятелями знать не полагалось вообще.

Я пытался поломать эту порочную практику. Несколько раз обращался к министру. Впустую. Тогда стал взывать к Л. И. Брежневу, объясняя, сколько возможностей, сил и времени на этом теряется. Генеральный делал Громыко внушения, выносил вопрос о постановке внутренней информации в МИДе на

заседания политбюро. До начала 1975 г., пока Брежнев находился в приличной форме, на короткое время это помогало – министр подбрасывал послам информационные кости, пусть изрядно обглоданные. А после аферы с Шевченко и раскрытия в советском МИДе агента ЦРУ Огородника занавес молчания сомкнулся наглухо.

Став членом политбюро ЦК КПСС или еще готовясь к этому возвышению, Громыко разослал послам циркуляр, запрещавший им размечать напрямую свои телеграммы, скажем, главе правительства, или председателю Президиума Верховного Совета СССР, или Брежневу. Из представителей Советского Союза послов превращали в уполномоченных министра. Как быть тем, кто лишен возможности непосредственного общения с генеральным секретарем, главой советского правительства, министрами? Сколько убыло в результате от этого произвола у дела?

Не подумайте, что взлет Громыко при ослаблении Брежнева и Косыгина вызвал поголовный трепет в нашей среде. Попав несколько раз в дурацкое положение из-за отсутствия качественной информации, я послал министру весьма недипломатическую депешу: «Либо держите нас в курсе событий, либо посольство не сможет выполнять Ваших поручений». Тот случай касался конкретно подготовительной работы к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Возымело действие? – спросите вы. Возымело. Поручений, относящихся к Совещанию, больше не поступало. И информации тоже.

Что есть посол без солидного банка данных? Бесплотная марионетка. Поэтому, вкусив по прибытии в Бонн от «щедрот» министерства и недобросовестности некоторых работников 3-го Европейского отдела, быстренько сведших на нет плоды моих усилий по налаживанию партнерских отношений с зарубежными представителями, я всерьез занялся налаживанием и расширением на месте деловых контактов, что обещали мне плоды просвещения. Не все пробелы стирались. Далеко не все, к моей досаде. Однако на безрыбье и рак рыба.

Два-три раза в год я отправлялся в Берлин. Формально – чтобы конферировать с советскими коллегами. С официальными лицами республики встреч не устраивал. Лишь в 1977 г., внимая П. А. Абрасимову, вернувшемуся на свой пост в столицу ГДР, нанес «примирительный» визит Э. Хонеккеру. Побудительный мотив для моих неблизких путешествий был иной – необходимость перепроверить свои познания, увидевшись с представителями советского военного командования и с И. А. Фадейкиным, которого я вам уже рекомендовал.

Фадейкин закончил войну двадцатишестилетним

полковником – одним из двух самых молодых командиров дивизий Красной армии. Человек капитальный, всякое дело просчитывал от «а» до «я», слов на ветер не бросал. Мы познакомились с ним в 1950 г., в мой первый заезд в Берлин, и до недолгой командировки Фадейкина в конце 70-х или уже в 1980 г. в Иран, где его сломал недуг, не забывали друг друга, независимо от того, как складывались наши служебные и личные обстоятельства. Карьеру Фадейкина искривил излишне прямой нрав, противившийся кумовству в системе КГБ. Чтобы не замутить воды в отношениях с генеральным, Ю. В. Андропов жертвовал лучшими кадрами.

Несколько часов интенсивного обмена мнениями, сравнительный анализ обстановки в обоих германских государствах, раздумья о домашних неурядицах давали мне заряд на месяцы вперед, а трогательная товарищеская забота Фадейкина о моей безопасности предупреждала от иных разочарований. В отсутствие этой поддержки я определенно не выдюжил бы семи лет в Бонне.

Не люблю без веских причин думать о людях плохо. Даже когда возникают причины думать нехорошее, не спешу ставить крест. Знал, что ряд сотрудников постоянного представительства ГДР в Бонне с усердием, достойным лучшего применения, собирали компромат на наше посольство, а мне лично перепадало от них по первое число. При встречах с Колем подмывало спросить: как же вы клюете на любую приманку без разбору, но воздерживался портить ему настроение наяву, а за глаза – репутацию. Ни один посол в Бонне не был объектом моей критики и тем паче наветов.

Апропо, коллеги послы. Возглавив посольство, решил, что с меня не убудет, если визиты вежливости я нанесу дипломатическим представителям почти всех стран, с коими Федеративная Республика поддерживает отношения, а не только нам союзных, соседних и великих. Это имело подчас неординарные последствия. Так, посещение посла Либерии дало толчок к установлению дипотношений между Монровией и Москвой. Нечто подобное могло произойти также между Панамой и моей страной, но на советской стороне взяли верх соображения «высшего порядка», а попросту – нежелание раздражать Вашингтон.

Обмены мнениями с послами, если вы готовы их слышать, несли свою информацию и впечатления, тоже небесполезные при систематизации поступавших к вам сведений. Это справедливо по отношению к большинству иностранных представителей. Причем здесь на первом плане личность, а не только страна.

И в последующие годы, когда не вводилось однозначных ограничителей из Центра, я старался не отстать от перспективных веяний. Меня могли видеть у посла Объединенных Арабских Эмиратов, с которыми СССР не имел тогда официальных отношений, или посла КНР Ван Шу, хотя «культурная революция» Мао еще не кончила бить фарфор. А вот с послом Израиля сконтактироваться не довелось, хотя Х. Карри, член правления СвДП, прилагал к тому старания и, как мне давалось понять, израильскому послу были даны широкие полномочия.

Я имел неосторожность запросить Москву – интересовался не столько мнением, хорошо или плохо встречаться с израильтянином, сколько тем, как прореагировать на вероятный вопрос о моделях восстановления отношений. Ответ не заставил себя ждать: от встречи воздержитесь. Учел – не любое послушание несет в себе резон, и, если можешь обойтись без писем издалека, не напрашивайся на них.

Однажды звонит в посольство статс-секретарь Г. Ю. Вишневский, срочно просит меня к телефону.

В Бонн прибыл лидер португальских социалистов М. Суареш. На беседе у Брандта он выразил желание встретиться с вами. Есть две сложности – гость будет находиться в столице ФРГ до конца дня и единственное свободное время у него – 16.00. Кроме того, он не говорит ни по-немецки, ни по-английски, а вы, помнится, не владеете французским.

В Португалии была только что свергнута салазаровская диктатура. У меня нет никаких данных, имеет ли Москва выходы на новых руководителей и на кого конкретно. До названного Вишневским часа встречи осталось неполных пятьдесят минут. Запрашивать Москву бессмысленно. Значит, спросить нужно самого себя. Приглашаю М. Суареша приехать на виллу и прошу социал-демократов помочь с переводом, поскольку в посольстве знатоки французского языка, о португальском и мечтать нечего, отсутствуют. Вишневский рекомендует воспользоваться услугами переводчицы из «фонда Эберта».

Вот комбинация – М. Суареш вступает с советским послом в переговоры о признании нового режима в Лиссабоне и установлении дипломатических отношений между Португалией и СССР, а добрые услуги оказывают западные немцы. Они же, видимо, сохранили для истории запись этого необычного диалога, ибо мне с португальским гостем было не до заметок по ходу беседы – времени в обрез, а сказать или спросить требовалось многое.

Через день или два получаю из Москвы сообщение, что моя информация принята к сведению и дальнейшие контакты по

этому вопросу поручены послу СССР в Лондоне Н. М. Лунькову. Понимайте как знаете: как будто не выговор, но и не одобрение. Переживем и это.

Единственный случай на моей памяти, когда в период работы в ФРГ министр удостоил меня одобрительного отзыва, был связан с нудным спором о размещении в Западном Берлине федерального ведомства по окружающей среде. В какой-то из телеграмм, касавшейся разговора в боннском МИДе на тему сию, воспроизводился мой тезис о том, что протокольные условности в межгосударственном общении не мелочь, из-за них порой разражались войны. Он так понравился Громыко, что министр счел нужным шифром засвидетельствовать: «Вы занимаете совершенно правильную позицию».

На Рождество 1971 г. мне приносят телеграмму: «Самого ушлого из русских, которых он когда-либо встречал, поздравляет Феликс». С пресс-атташе А. Я. Богомоловым ломаем голову и приходим к заключению, что своеобразный комплимент выдал Феликс фон Эккардт, многолетний спикер К. Аденауэра. Познакомился я с ним случайно: г-н фон Эккардт был очень не прочь расстаться с загородным домом, а мне срочно требовалась замена вилле Хенцен. Интересы наши не совместились – слишком далеко и для проезда неудобно отстроился барон, но этому контакту я был обязан интересной встречей с членами «Индустри-клуба», состоявшейся при содействии Ф. фон Эккардта в «Егершлоссе», что в Дюссельдорфе.

Г. Золь, О. Вольфф фон Амеронген, председатели правлений ведущих концернов и банков. Часть из присутствовавших руководителей западногерманской экономики была на завтраке у президента ДИХК полгода назад. Раз мы встречаемся снова, это показатель взаимной потребности проговорить поподробнее некоторые вопросы. Если мне важно прояснить экономические и научно-технические области, перспективные для сотрудничества, то хозяев в начальной фазе беседы занимает больше политическая проблематика.

Что следует ждать от вступления в силу Московского договора? Отношения ФРГ – СССР от этого выиграют. Но как будут складываться дальше взаимоотношения с ГДР? Какое будущее у Западного Берлина? Не приведет ли признание реальностей к тому, что барьеры между немцами станут еще крепче и выше?

Из многих вопросов и их обоснования нетрудно понять, что деловой мир отнюдь не аполитичен. Доводы СДПГ и либералов не всех убеждают. Это не означает, что принимаются на веру аргументы ХДС/ХСС. Жизнь не стоит на месте. Но как далеко

следует идти навстречу фактам жизни, насколько необратимы и окончательны сами факты? Сюжетов на целый университетский курс, а у нас в распоряжении только вечер. Даже прихватив часть ночи, темы мы не исчерпали.

Чем познавателен был разговор для меня? Лучшим пониманием антиисторичности посылки об олигархии, которая якобы все может. Проникновением в тайну, что крупный капитал не все знает. Подтверждением прежних наблюдений – капитал не тождествен реакции, социальной нетерпимости, диктатуре. Как и босяк не обязательно есть воплощение человеколюбия, честности и демократии. Обстоятельства формируют людей, а люди способны совершать метаморфозы, не укладывающиеся ни в какие теории, – гуманизировать капитализм и делать бесчеловечным социализм.

И тут, в «Егершлоссе», я вел диспут не с десятками и сотнями миллиардов марок, не с огромным и динамичным экономическим потенциалом, но с конкретными личностями, управляющими этой махиной и, конечно, влекомыми ею. Они связаны между собой и в главном образуют общность, которая не нуждается в заклинаниях и уверениях. Общность эта принимается как данность, и ее не колеблют индивидуальные особенности, склонности и даже пристрастия. В отличие от политических уний, идеологического сектантства и догматизма, казнящего любое новшество, всякое отклонение от буквы.

Мне представлялось важным пригласить капитанов западногерманской индустрии задуматься над альтернативами развития в ближайшие одно-два десятилетия. От всех зависело, как они сложатся, станет ли разрядка напряженности и добрососедское сотрудничество нашим твердым совместным выбором, или разрядка означена быть полустанком в стратегии противоборства. Логика партнерства и логика взаимного истребления предполагают различные научно-технические и экономические проекции. Ошибка в прогнозе ближайшего и среднесрочного будущего чревата обесценением гигантских капиталовложений и расплатой за упущенный шанс вовремя устранить диспропорции, к примеру суживающие национальную конкурентоспособность.

Присутствовавшие с любопытством и не без скепсиса следили за моими рассуждениями, не исключавшими также нормализацию германо(ГДР) – германских(ФРГ) отношений. Положительные подвижки – они уже налицо. Внешние границы было легче признать, чем согласиться на нерушимость границы между ФРГ и ГДР. Но далекой для восприятия оказалась идея вступления обоих германских государств в ООН. О. Вольфф

замотал головой: нет-нет, такому не бывать. И, окинув взглядом своих коллег, заявил: «Мы будем против».

Обмен мнениями продолжался за ужином. Принимая гостей у себя в резиденции, я, естественно, не мог сервировать стол мейсенским фарфором 30-х гг. XVIII в. Д-р Э. Шнайдер, выступавший в роли гостеприимного хозяина в «Егершлоссе», был вне досягаемости. Окончательно я убедился в этом при посещении Люстхайма под Мюнхеном, специально восстановленного, чтобы дать приют дивному собранию изделий Мейсенской мануфактуры, уступающему разве что коллекциям в Цвингере и ленинградском Эрмитаже. Не каждому дано оставить по себе памятник. Д-ру Шнайдеру понадобились для этого безграничная любовь к искусству и вся жизнь. Так я и записал в книге посетителей, в которую коллекционер предложил занести мой автограф.

Увы, нам доводится лицезреть только часть этого грандиозного собрания. Коллекция старинного европейского серебра ушла в небытие вместе со старым Дрезденом в страшную ночь с 12 на 13 февраля 1945 г. Э. Шнайдер посчитал, что утрата невосполнима, и к поиску художественных изделий из серебра больше не возвращался. Он поведал мне свою историю с горечью, но без ожесточения, не упуская прибавить, что больше всего от войн и насилия страдает хрупкое прекрасное – дети, культура и правда. Не знаю, удалось ли ему осуществить свою задумку – дать старт изданию полного каталога произведений Мейсена XVIII в. Д-р Шнайдер рассчитывал, что богато иллюстрированный труд составит около 12 томов.

Личное знакомство с видными деловыми людьми было мне большим подспорьем при организации поездок наших делегаций в ФРГ, подстраховывании долгосрочных и некоторых разовых контрактов, для ориентировки моего правительства в тенденциях развития западногерманских технологий. Я не отдавал эти сферы на откуп советнику по науке и технике или торгпредству, тем более что их интерес в части технического прогресса был несколько однобоким. И жалею только, что редко удавалось доводить начатое до успеха.

Обращаю внимание Москвы на бездоменный процесс получения железа из руды. В. Н. Новиков, заместитель председателя Совета министров СССР, загорелся новинкой, и в 1972 г. соответствующий договор с В. Корфом был подписан. Пройдут, однако, годы, прежде чем совершится символический прокоп под фундаменты Новооскольского комбината. Из-за неумения распорядиться временем контракт подпадет под ужесточения американской политики технологического эмбарго,

оборудование подорожает и пр.

В. Н. Новиков и В. З. Лебедев, заместитель председателя Госплана, прилетели в Ганновер на ярмарку. Я спешу показать им разделы строительного оборудования и энергомашиностроения, поскольку незадолго до этого был на предприятии «Крафтунион», где знакомился с производством турбин. Наши эксперты находили опасным строить высокооборотные турбины мощностью в 1 миллион киловатт для АЭС, а фирмы ФРГ показывают серийные изделия. К этой проблеме мы вернемся несколько позже. Пока же Новиков и Лебедев вглядываются в экскаваторы. Я их зову познакомиться с автокранами «Либхерра» и «Круппа», а мои подопечные переговариваются между собой:

– Смотри, ни единой машины с «веревочками», все переведены на гидравлику; сегодня же надо отправить в Москву телеграмму, чтобы до нашего приезда не утверждали проекта нового производства в Коврове.

Тема оборудования для АЭС имела вот какое продолжение. Новиков, курировавший эту отрасль, сообщил мне, что мощности предприятий в Ижорске, Харькове и Свердловске, обслуживающих атомную энергетику, не покрывают потребностей. Пока новые производства войдут в силу, мы могли бы выдать заказ зарубежной фирме на строительство в Советском Союзе АЭС под ключ.

Мои рекомендации приняты к рассмотрению. По техническим и финансовым мотивам предпочтение отдается «Крафтунион», тогда дочернему предприятию «Сименс» и АЭГ. Правительство ФРГ (Моммзен) оказывает проекту активное содействие, но ставит условие, что часть произведенной станцией энергии достанется Западному Берлину. По мне, это даже к добру. Будет уверенность, что запчасти, техническое обслуживание, модернизация не встретятся с бюрократическими препонами. Но основное – возникнет реальная стыковка западной и восточной энергосистем в Европе. Только на разнице во времени их объединение позволит экономить 5–7 процентов на установленных мощностях.

Станция должна была быть поставлена в Калининградской области. Проведены переговоры с Польшей и ГДР о прокладке через их территорию линий электропередач. Все на мази? Не тут-то было. Вмешивается Громыко.

– Все, что касается Западного Берлина, носит сначала политический, а потом технико-экономический характер. Обязательством бесперебойно снабжать город энергией мы свяжем себе руки. А если ситуация изменится? И вообще, не наша задача укреплять жизнеспособность Западного Берлина. Кто все

это выдумал и почти протащил?

Министр стал уже членом политбюро. Вопросы внешней политики рассматривались на этом форуме. Результат – очевиден.

Позже мне стало известно от деловых людей ФРГ, что и западногерманский коллега Громыко не был в восторге от проекта. Правда, по другим мотивам.

Заработай у нас АЭС типа «Библис», вполне могло статься, что не случился бы десять лет спустя Чернобыль. Эту точку зрения разделял академик В. А. Легасов, трижды предрекавший возможность катастрофы на реакторах чернобыльской серии. Знаю сие не понаслышке, а от него самого. Но академика не хотели слушать. Он слыл за возмутителя спокойствия. Ушел из жизни добровольно. Или затравленный завистниками?

Мы с В. Н. Новиковым стремились сломать монополию нашего Средмаша, безапелляционно утверждавшего – и все-то у нас лучше: и конструкция, и материалы, и системы управления. Не знаю, верил ли министр среднего машиностроения СССР Б. Е. Славский в то, что докладывал, но обструкция Громыко пришлась ему очень кстати. Ничего не придется переделывать. Запущенные в серию реакторы, электронное и прочее оборудование, не зная конкуренции, сходили за пуп мирового опыта. Не вставало даже вопроса о необходимости совершенствования методов обучения персонала станций. Если нужен пример разлагающего и губительного влияния монополии, то убедительнее, право, не сыскать.

Не повезло и с двумя другими моими начинаниями в секторе атомной энергетики. Мне показались небезынтересными опытно-исследовательские работы по созданию высокотемпературного графито-уранового реактора, развертывавшиеся под Билефельдом. В сочетании с газификацией бурых углей или другим производством, требующим по технологии температур свыше 1000°, АЭС на этом принципе обещали быть более экономичными, чем другие.

Новиков, которого я затащил на стройку (сам чудом избежав в этот день автокатастрофы), согласился, что нам есть чему поучиться. В любом случае окупится, если наши специалисты будут присутствовать на всех ступенях возведения станции и постигнут опыт западногерманских специалистов. Вернувшись домой, Новиков доложил эту точку зрения. Его оппонентом выступил все тот же непоколебимый Б. Е. Славский – высокотемпературный метод не является ни оригинальным, ни новым для нас.

Через год-другой Славский, правда, будет ходатайствовать в

пользу командирования на эту станцию нескольких своих сотрудников. Сейчас, как я слышал, западные немцы решили свернуть проект ввиду «неперспективности». Получается, что правы были наши атомщики, а не мы с Новиковым? Да, если исходить из того, что достоин внимания лишь положительный опыт, а также сбросить некоторые другие факторы, неучитываемые в современных калькуляциях.

Тогда же на меня вышел г-н Хемпель, в числе первых приобретший советские услуги по обогащению урана. Мне пришлось затем помогать ему, как, впрочем, и другим промышленникам и коммерсантам из ФРГ – Граутоффу, Шнапке, Овербеку, Гретену, Грюндигу, Вайсу (мог бы продолжить список), – улаживать конфликты с Минвнешторгом и прочими советскими партнерами. Порой бывало, что бизнес складывался успешнее, чем в прикидках. Наши при таком обороте почему-то обижались. В описываемом случае – на Хемпеля за то, что по контракту предоставили ему «слишком льготные условия».

Господин Хемпель предложил через меня современную технологию регенерации твелов атомных реакторов и гарантированные государственные субсидии для строительства в СССР соответствующих предприятий, если в течение оговоренных сроков мы согласимся также принимать на хранение и переработку исчерпавшее ресурс ядерное горючее из ФРГ. На первую телеграмму ответа не получил. На следующую пришло стилизованное под ответ «не заинтересованы». На третью поступило сообщение: вопрос рассматривался, предложение натолкнулось на возражения компетентных организаций, находивших, что в Советском Союзе собственной «ядерной грязи» навалом.

Что верно, то верно – меньше всего мы думали о регенерации. Куда бы выбросить – в море утопить, на отгороженной («запретной») территории «складировать», под землю спрятать или в редко встречающиеся мощные глиняные линзы закачать? Франция наладила переработку и делает это с большей, в частности, экономической отдачей. Но нам чужой пример не указ. Мы по старинке, как попроще.

Из-за верхоглядства, тупости, нерадивости упускались великолепные возможности. Еще несколько иллюстраций, чтобы вы лучше меня поняли.

Сначала со статс-секретарем Моммзеном и позже при участии заинтересованных фирм я прорабатывал вопрос о том, как погасить газовые факелы на сибирских нефтепромыслах. Ежегодно там сгорали миллиарды кубометров попутного природного газа. Готовность к сотрудничеству на стороне ФРГ

имелась. Конечный утилизированный продукт должен был, однако, делиться примерно в пропорции 50:50. Про добытчиков не знаю, но наши экспортеры и слышать об этом не захотели – «не выгодно». Конечно, выгоднее сжигать, что и делалось до последнего времени. Во вред природе, человеку, своему же карману.

С помощью фирмы «Бизон» и ее владельцев Гретена-старшего и сыновей я попытался покончить с вопиющей бесхозяйственностью – уничтожением отходов лесопереработки, в частности в Архангельском крае. Ежегодно по весне до 1 миллиона тонн коры хвойных деревьев, а также опилок сбрасывалось в Северную Двину, отравляя реку и Белое море. Фирма владеет технологией превращения коры в качественный стройматериал. Проект послан Б. В. Попову. Он был первым секретарем обкома и на словах мое начинание поддержал. Итог нулевой. 17 миллионов марок – дорого. Дешевле – в Двину.

Со статс-секретарем Моммзеном мы пытались пробить совсем необычные идеи, которые давали бы приток в нашу кассу дополнительной валюты, а Федеративную Республику обеспечивали бы надежными ресурсами, подводили более стабильный фундамент под отношения между нашими странами в целом. Речь шла среди прочего о продаже руд в земле или леса на корню с правом ФРГ забрать приобретенную собственность в любой момент по ее усмотрению и обязательством СССР предоставить за дополнительное вознаграждение труд, энергию и транспортные средства.

Вариант был торпедирован главным идеологом партии М. А. Сусловым. Он пугануул Брежнева: «Концессиями попахивает. Западные немцы с помощью посольства тянут назад».

По «идейным», надо полагать, мотивам завели в тупик еще одно мое предложение, которое я оттачивал вместе с Б. Байтцем и М. Грюндигом. Обжегшись на обращениях к руководству по официальным каналам, подключаю Н. А. Тихонова, тогда первого заместителя предсовмина, чуть позже возглавившего правительство, и деятельного Л. А. Костандова. Он, будучи вице у Косыгина, вел химическую и смежные отрасли. Суть моей задумки состояла в следующем: современная технология без современного менеджмента – половина или четверть дела, а сам менеджмент не должен приниматься за родовой признак той или иной социальной системы. Он есть неотъемлемый элемент производственной (экономической) культуры.

Б. Байтц, М. Грюндиг, К. Кёрбер, Г. Золь и другие готовы оказать посильное содействие в подготовке и переподготовке советских управляющих сообразно требованиям научно-

технической революции и углубления международного разделения труда. Ничего не выйдет, господа, с вашими попытками контрабандой протащить к нам капитализм. Тихонов, пекшийся о своем идейном реноме больше, чем об объективных показателях функционирования экономики, уловил – ветер встречный. По-видимому, считал, что перспективной идее, как доброму вину, выдержка лишь на пользу.

Не нашла заинтересованного отклика в Москве мысль об объединении сил обеих сторон в доводке технологии скоростной дороги на магнитной подушке. Где-то в бюрократических закоулках застревали или пропадали без вести предложения «Даймлер-Бенц», позволявшие модернизировать наше сельскохозяйственное машиностроение, кооперационные проекты в станкостроении, химии, электронике. Дефицит средств и мощностей у нас – это только видимая часть айсберга.

Несправедливо все вины приписывать косности и неповоротливости тогдашнего советского аппарата. До сталинского социализма самым догматичным был капитализм. Также его зауженные подходы обрекали на увядание немало прописных моделей сотрудничества. Западногерманская сторона замотала, в частности, весьма много обещавший проект продажи Федеративной Республике не природного газа, а метанола. Компенсационные договоры выродились на практике в бартерные сделки, разделение труда – в примитивный товарообмен. Долговременность принималась за риск, а не шанс, и от нее немцы открещивались.

Не спешите заключать, что удача в экономических делах всегда держала себя мачехой по отношению ко мне. Что-то удавалось. Просто коэффициент полезного действия не соответствовал затраченной энергии. Благодаря не в последнюю очередь наработанному мною доверию и упорству, выводившему из себя не одного Громыко, зажегся зеленый свет для ряда крупных контрактов. Некоторые давали нашей стране миллионную и даже миллиардную чистую прибыль. В других случаях решались важные проблемы для самих немцев. Чтобы не возвращаться к данной теме, скажу несколько слов о последних.

Почти забылось, в какое плачевное состояние пришел к середине 70-х гг. автобан Берлин – Хельмштедт. Для ограничения скорости 100 км в час не требовалось дорожных знаков. Разбитое полотно не позволяло при всем желании двигаться на многих участках быстрее. Медленнее – пожалуйста.

После вступления в силу четырехстороннего соглашения и межгерманских урегулирований к нему правительство ФРГ неоднократно обращалось к властям ГДР – разрешите западным

фирмам отремонтировать автобан. Или сделайте это сами, а Бонн компенсирует расходы. Восточный Берлин не обнадеживал. Возможно, представители ГДР даже давали понять, что за этой дорогой сохраняется особый правовой статус и без СССР решение не может быть принято, а в Советском Союзе привыкли ездить даже с меньшей скоростью и большей тряской.

Если под Советским Союзом иметь в виду группу генералов и А. А. Громыко, то, действительно, они были против. В беседах со мной министр аргументировал так:

– Берлин – Хельмштедт – стратегическая дорога. Нельзя вспоминать об этом только в моменты кризисов. Если западных немцев не устраивает имеющаяся трасса, они вольны пользоваться другими средствами передвижения.

– По стратегической дороге можно двигаться и с востока на запад, в том числе при кризисах, – возражаю я. – Кроме того, дорога – это не только вопрос удобства, но и агитатор за или против существующей системы.

Громыко остался при своем. Пришлось обращаться к Брежневу. Он, любитель быстрой езды, не отмахнулся от изложенных ему доводов. Добро на модернизацию автобана было дано.

Общение с деловыми людьми, не каждая, но многие дискуссии с ними были незаменимы не просто для удовлетворения любознательности. Они настраивали также на перепроверку общих представлений, на поиск за законом больших чисел частностей, определяющих погоду (или аномалии).

В этом смысле встречи в узком кругу с О. Понто или К.-О. Пёлем, проф. И. Цаном или д-ром Тиме, Б. Байтцем или М. Грюндигом, Бирнбаумом или Лизеном, Овербеком или Гретенами (мог бы привести десятки имен) содержали больше первичных сведений, чем академического покроя монографии, и подавали проблемы в непривычном для нашего поля зрения ракурсе. Воистину, нет ничего абсолютного, а допуски в относительном тем просторнее, чем весомее и предметнее знания.

Мои коллеги-журналисты

Задолго до приезда в Бонн мне представлялись случаи поближе познакомиться с прессой ФРГ. Сказать, что каждый контакт вызывал умиление, было бы заметным преувеличением. Но в сопоставлении с британской, французской или американской журналистикой западногерманская не проигрывала.

Средства массовой информации – кладезь для дипломатов. Наблюдательность профессиональных журналистов и публицистов, врожденная или приобретенная их способность локации, позвольте научный термин, на молекулярном уровне, которая, может быть, при меньшем объеме формальных данных, чем у дипломатов, разведчиков, академиков, выдвигает иных из них в оракулы. И наконец, последовательность. При всех уместных оговорках, с учетом личности, генезиса, утвердившейся репутации, от которых никто не может абстрагироваться, членам журналистского цеха чаще свойственно стремление уберечь от насилия собственное «я». Без него журналист – пусть жирное, но только пятно, расползающееся по поверхности.

Даже если события освещаются тенденциозно, имеет место искусственное нагнетание то тревог, то восторгов, наблюдатель приглашен задуматься, кто за этим стоит, чего домогается. Вторжение в жизнь каждого из нас электронной прессы, тонирование, по сути, каждой клеточки общественного бытия (сознания) социальным или политическим пигментом перевело количество в плохо изведанное новое качество. Оно выступает как приворотное или изводящее, в зависимости от потребности, зелье, против которого природой не выработано иммунитета.

Массовые издания, телевизионные программы, собирающие многомиллионные аудитории, обгоняют во влиянии политические партии, общественные организации, правительства. Они возвышают или смешивают с грязью отдельные фигуры, создают кумиров, разносят в клочья святыни, претендуя на функцию контрольной палаты за происходящим на всех этажах дома при особом пристрастии к пентхаузу и подвальным помещениям.

А кто призван контролировать СМИ, немногочисленные группы, почти секты, современных Мефистофелей, что выворачивают наизнанку нутро, подбирают ключи с целью похитить не деньги и драгоценности, но честь, имя, душу? Не будет спроса на их продукцию, сменятся и вехи, ответят вам. Формально верно, если ставить знак равенства между свободой

слова и свободой рынка, забывая для удобства, что любая свобода заключает в себе признание права другого на равную свободу. Другой личности, другой группы и другого класса.

И еще. Опорный скелет человеческой цивилизации состоит из ограничений и запретов. Каждая эпоха их утончала и вместе с тем умножала. Чтобы изготовить в США пиццу, надо соблюсти 310 административных предписаний. Все ли они уместны и хороши, не знаю. Но несомненно другое – для приготовления сенсации, измельчения в пыль избранной жертвы подобной скрупулезности не требуется. Ошиблись? Невелика беда. Тиснем незаметно опровержение или заплатим отступного, как если бы незаслуженную гражданскую казнь легче отозвать или компенсировать, чем казнь физическую.

Не спрашивали вы себя, почему не продаются свободно яды, наркотики или психотропные средства? Чтобы приобрести безобидное желудочное или сердечное лекарство, требуется рецепт врача. А тут глотайте, сколько влезет, духовную отраву. Млад и стар, днем и ночью. Чтобы затем попасть к тому же врачу или в руки правосудия.

Самоконтроль, конечно, есть. Не хочу его принижать и дискредитировать. Контроль рекламодателей скрупулезный. Он особенно действен для коммерческих изданий и программ. Вряд ли будет неверным утверждение, что прямые и косвенные траты бизнеса на СМИ по объемам обогнали инвестиции в партии и политиков. Так называемая общенациональная периодика, печатная и электронная, обеспечивает живую взаимосвязь интересов и более скорую отдачу. СМИ не просто четвертая власть, но и важный резерв каждой системы и отчасти режима.

В советском случае – не исключительно, а более зримо – пресса обрела функцию движителя теории, мысли, политики. Отклики за рубежом на внутренние события или внешнеполитические инициативы (даже если это были манипулированные или фальсифицированные отклики) со сталинских времен и до последнего вздоха существовавшего строя служили оправданию и возвеличиванию второй части известной гегелевской формулы «все существующее разумно». Впрочем, мало что в лучшую сторону изменилось поныне.

Я был твердым противником игры в отклики. Может быть, отчасти потому, что, открывая в конце правления диктатора «Правду» или «Известия», знал – порой едва ли не половина воспроизводимых на их страницах мнений, разоблачений, недоумений из иностранных газет и журналов была сработана нашими умельцами по части дезинформации. А в качестве посла я не посылал в Москву склеенное из обрывков газетных

сообщений «похвальное слово глупости». И старался сохранять верность этой позиции, чем бы ни занимался потом.

Но иностранная пресса как партнер для заявления позиции и распространения мнения – это, на мой взгляд, заслуживало внимания, было существенным элементом в политической работе на внешний и внутренний мир. Понятно, небеспредельно и небезусловно. На заключительном этапе деятельности Хрущева и Горбачева «мыслям стало тесно, словам просторно», перефразируя известного русского литературного критика.

Не уверен, достаточно ли ясно я высказался. Внешняя политика в Советском Союзе не была прерогативой правительства и тем более МИДа. С учетом организации реальной власти слово генерального секретаря, безразлично в какой форме выраженное, имело иную весовую категорию по сравнению с любым другим партийным или государственным функционером, даже если Хрущеву и Брежневу в начале правления приходилось терпеть известные ограничения. Громыко, Гречко, Андропов, Суслов, еще ряд деятелей получали возможность знакомиться с текстами интервью до их публикации и предлагать изменения, реже ставить под вопрос проекты в целом.

«Соавторы», готовившие для генеральных, как это у нас называлось, «материал», соблюдали лояльность и не подсовывали оборотов, сталкивавших лидера с точкой зрения тех же министров иностранных дел или обороны. Когда разночтения вписывались, к этому привлекалось внимание заказчика до рассылки проекта на голосование и ознакомление. С другой стороны, выступление в иностранной прессе редко имело смысл в отсутствие хотя бы модификации ранее заявленных позиций.

В США считается, что обхаживать надо в первую голову тех журналистов, которые пишут о вашей стране плохо. В Советском Союзе, напротив, «крикунов» и «критиканов» не жаловали. Их объявляли нежелательными лицами и отказывали им во въездных визах. На мой взгляд, обхаживать не следует никого, а иметь дело правильно со всеми.

Как послу мне было не всегда в радость общение с прессой, проводившей по отношению к СССР недоброжелательную линию и отвергавшей концепцию модус вивенди, как она оформилась в Московском договоре. Вы стараетесь анатомировать проблему и пояснить собеседнику свой подход, а он в нетерпеливом ожидании, когда вы черпнете пеплу, заготовленного во времена оные, и начнете посыпать им свою голову. Избегать из-за этого консерваторов? Нет. За исключением органов печати, стоявших правее реакционеров, я откликался на приглашения встречаться с издателями и ведущими комментаторами нелиберальных

журналов и газет или сам шел с ними на обмен мнениями.

Франц Бурда захотел увидеться со мной в числе первых корифеев. Прекрасно. Он – личность. Цельная, будто изваянная резцом скульптора из глыбы мрамора. Менталитет причудливо соединяет масштаб и провинциальность, дерзкие амбиции и расчетливость. Ф. Бурда продолжал традицию грюндерского времени, с опозданием добравшуюся до немецкого захолустья.

«Франкфуртер альгемайне» утвердила себя как явление на западногерманском и международном информационном рынке. Что тому причиной, как это достигается? Мне хотелось составить личное представление о сильной редакционной команде, в которой каждый солист и вместе все-таки слаженный ансамбль. Встреча с редакторами в особняке, некогда принадлежавшем семье франкфуртских патрициев и живо напомнившем мне дом федерального уполномоченного в Западном Берлине, оставила противоречивое впечатление.

Немотивированные оттенки надменности. Больше нравится взирать на собеседника через монокль и с приличного расстояния. Подтекст – русским пора забыть про свои первоначальные права, а немцам чувствовать себя кругом обязанными. Из него выводится специфическая западная трактовка германского вопроса. Замшело знакомо.

Детей нам вместе не крестить. Оставим эти темы. Мне любопытнее узнать компетентные оценки экономической ситуации и ее вероятной эволюции. Разговор приобретает более деловые очертания.

Среди партнеров, с которыми налаживаются регулярные контакты, мощное издательство «Вестдойче альгемайне», журналисты из «Зюддойче цайтунг», «Франкфуртер рундшау», «Нюрнбергер нахрихтен», обе «Штутгартер», группа кёльнских, другие газеты. Гамбургские «Шпигель», «Цайт», «Штерн», концерн «Бертельсманн». И понятно, набиравшее силу телевидение. Лучше тогда ладились отношения с АРД.

Марион Дёнхофф, «красная» графиня. Генри Наннен, до зрелых лет оставшийся в душе гусаром. Рудольф Аугштайн, блистательный публицист и архитектор единственного в своем роде информационного журнала. Райнхард Мон, скупой на проявление чувств и неисчерпаемый в идеях, на которых экспандировал издательский дом деда. Клаус фон Бисмарк, потерявший в войну все княжеские владения на Востоке, но обретший взамен роскошную семью и – на время – империю с миллионами телеподданных. Тео Зоммер, Гюнтер Гаус, Себастьян Хаффнер, Питер Бота.

Каждому из них надо бы посвятить по отдельной новелле.

Наверное, я при случае так и поступлю. Пока же замечу – они были мне коллегами, публицисты, комментаторы, издатели. Делясь с ними своими познаниями, вы не становились беднее, а, озадаченные их вопросами, вынуждены были интервьюировать самого себя без свидетелей и скидок.

Сейчас же слово о двоих, ставших мне самыми близкими. Их неизменным расположением я горжусь.

Д-р Марион графиня Дёнхофф. В век эмансипации да будет разрешено присвоить ей титул патриарха немецкой журналистики. Если бы графине захотелось в стиле Лютера заявить: «Стою на том и не могу иначе», – никто не принял бы подобное за претенциозность.

За десятилетия наших встреч и переписки у меня не возникало мысли – Марион дрейфует. С живейшим интересом откликается на события, которые и подготавливаются не без ее участия. В деталях или в существенном уточняет представления о прошлом и настоящем.

Иное было бы нелепо. Но кредо, камень к камню сложенное в отрицании диктатур и насилия, оставалось и остается неколебимым. Вопреки натиску лет и капризам политической моды.

У М. Дёнхофф всегда если не отличное мнение, то обязательно свой угол зрения. И слава богу, иначе было бы скучно. Но если «веселье» на почве разночтений переступает некую черту, графиня знает, как увести вас в Зазеркалье, – скажем, в историю приобретения акварели Нольде или чудесного спасения нескольких вещиц и фамильных драгоценностей.

Возможно, миф про воскресение из пепла возник из опыта, похожего на жизнь графини Дёнхофф. Рухнул мир, в котором она родилась и выросла, в прошлом остались дворец, наполненный произведениями искусства, историческими документами, традициями. За часы огонь обратил в ничто богатства, собранные несколькими поколениями для поколений грядущих. Всепожирающим огнем нацизм освещал уход со сцены.

Прощальный взгляд на кремацию собственного настоящего, брошенный со спины коня, который понесет хрупкую женщину в неизвестное завтра, в час «нуль». Что передумала и перечувствовала она на этом пути? Мы знаем конечный вывод – оставить былое былому, постигать жизнь, какой она стала, заново.

Только избранным характерам дается сдержать подобный завет. Еще реже встретишь реальную личность, которая обращалась бы с проповедью не к другим, а к себе, звала не к «отмщению», но примирению. Совсем редкость, когда слова

становятся поступками. Марион Дёнхофф и сегодня крепится, заявляя, что смотрит на руины Фридрихштайна почти так же философски, как на Помпеи и Геркуланум. Тем убедительнее для меня ее пример, ее неподдельное человеческое величие в обретенной и искренне принятой простоте.

С Рудольфом Аугштайном мы встретились для обстоятельного разговора в сентябре 1971 г. Здание редакции журнала показалось мне почти небоскребом. Почему – не знаю. Может, низкорослый в ту пору Бонн был тому причиной или вид на город, открывавшийся сквозь стеклянные стены кабинета издателя «Шпигель».

Вместе с Р. Аугштайном Г. Гаус, Й.-К. Энгель, Ф. Майер. Вопросы не сверхоригинальные. Форма своеобразная, не терпящая тавтологии и талмудизма. Шпигелевцев занимают советско-китайские противоречия: действительно ли Линь Бяо пытался бежать в Советский Союз, но самолет потерпел крушение в Монголии; не использовалось ли тактическое ядерное оружие в пограничном конфликте у Даманского; что можно ждать в ближайшей перспективе. Узел отношений между СССР и США. К концу добираемся до восточной германской политики и западной советской. Какими могут быть шаги после окончания нынешней первой фазы? Неполный перечень, и все же он показывает – обмен мнениями вышел заинтересованным.

Двадцатилетие нашей встречи мы отметили с Р. Аугштайном вместе, но под звездой, мерцавшей мне отнюдь не голубым светом. Я не у дел. Только что перенес операцию в клинике д-ра Х. Фоглера. Два-три месяца займет реабилитация. Гложет, однако, больше забота – перенесет ли операции моя страна, которым ее подвергают без наркоза политические хирурги разной выучки? Сомнительно, если операция – самоцель, на спор, для самоутверждения. Не представлял такого финала, хотя и не упускал поводов предупреждать Горбачева, куда заводит всеядность. Знал бы, где упасть, соломку б подстелил.

Мы с женой отправлялись в хорошо знакомый и прежде такой к нам приветливый Гамбург без претензий и иллюзий. К. Кёрбер, прознав от деятельного и сердобольного М. Гайсмайера о моих передрягах, пригласил переговорить о дальнейших планах. С 1989 г. мы обсуждали вместе с ним возможность образования сводного авторского коллектива с целью совместного исследования новейшей истории отношений между нашими странами. Эту мою идею активно поддерживал В. Брандт.

Вместе с М. Дёнхофф Кёрбер вызвался позаботиться и о нашем недельном устройстве в ганзейском городе. Неожиданные трудности со снятием номера в пансионате. Не выручит ли

«Шпигель»? – спросила графиня Р. Аугштайна. Издатель решил незадачу в два счета, а меня укорил – почему прежде всех я не обратился к нему. Или усомнился в дружбе?

После встречи в верхах в Рейкьявике «Шпигель» одарил меня признанием: «На Фалина можно положиться». Четыре слова, привязанные к моему имени, были, не скрою, приятны. Признание, однако, шло из сменившейся эпохи. Люди могут оставаться самими собой, но обстоятельства…

Да, говорилось, что «Шпигель» не отвернется от меня, не устройся жизнь дома. Вроде бы невзначай это было обронено, когда я не сложил еще обязанностей посла в Бонне, а не забывалось. Вариант «Шпигеля» держался мной про запас во время конфликта с Андроповым. Не примут моих условий, будут пытаться сломать, то… «Известия» перехватили права на меня. Потом и вовсе все внешне образовалось, но в разговорах с женой я нет-нет и возвращался к теме – зря не связал судьбу с гамбургским журналом, с которым когда-то параллельно начали и затем совместно продолжали большое дело. В конце 70-х гг. этот шаг был труден тебе и, похоже, устраивал «Шпигель». Теперь же он устроил бы тебя и может поставить и неуютное положение друзей.

По мне, легче провалиться в преисподнюю, чем вынудить друга искать извинения перед тобой. Поступая иначе, ты идешь навстречу опасности не обрести ничего стоящего в будущем и потерять все, что было хорошего в прошлом.

Р. Аугштайн презрел то, что называют неизвестностью и молвой, и доказал: он суверенен в своих взглядах и привязанностях. Считайте, жизнь сызнова улыбнулась вам, когда дает о себе знать человек, которому нужно, чтобы вы не пропали на семи ветрах. Он, казалось, такой знакомый-перезнакомый, откроет вам: у добра много непознанных граней, у человека, сопереживающего другим, тем паче.

В одном немецком журнале недавно я прочитал: благодаря «великолепной книге «Христос, Сын Человеческий» публицист Рудольф Аугштайн должен быть отнесен к «тройке выдающихся исследователей христианства последних десятилетий». Справедливо заметил Б. Пастернак: талант – единственная новость, которая всегда нова. Здесь отразился более общий факт, явление, закономерность, как вам будет угодно. Подлинно талантливый человек – талантлив во многом.

Р. Аугштайну давался выбор. Он не затерялся бы в науке. Его манили земельный и федеральный парламент. Однажды вступил было на эту стезю. А в критике, не исключая театральной, ему сыскалось бы мало равных. Р. Аугштайн остался самим собой,

таким, каким сделал себя, меняя в чем-то и окружающую среду.

Без «Шпигеля», то есть без Р. Аугштайна, Федеративная Республика, конечно, не сникла бы. Не будем преувеличивать. Но не резон и преуменьшать. Без Р. Аугштайна, то есть без «Шпигеля», ФРГ, несомненно, смотрелась бы и выражала себя по-другому, демократия в ней писалась бы куда менее приметным шрифтом, политическая публицистика лишилась бы многих новых своеобразных черт.

«Шпигель» и его издатель не могли замкнуться в национальных рамках. Они давно международные величины и актеры на мировой сцене. Скажу про то, что мне ведомо лучше всего. Организация выступлений на страницах журнала руководителей и видных представителей из СССР являлась неотъемлемой частью обновления отношений между нашими странами и в какой-то степени самих этих стран. Здесь и разгадка, почему раз за разом Л. И. Брежнев и его преемники давали интервью именно «Шпигелю»: отвечая разным органам прессы, проще повторяться. А нужно было продвижение вперед.

Впрочем, дозволенное Юпитеру запрещено быку. Это было в 1974-м или начале 1975 г. В боннском бюро «Шпигеля» шел разговор со мной о тенденциях развития обстановки. В мире в целом и в ФРГ в особенности. Обмениваемся мнениями ад рекорд. Главное – четкость мысли, слова имеют подсобное значение. Так появились формулировки «ренессанс национализма» и прочее в том же духе. Несколько дней спустя они попадают в публикацию, без прокладок состыкованные с именем Г.-Д. Геншера.

В МИД ФРГ мне дали понять, что материал «Шпигеля» встречен с непониманием и неодобрением. Это была самая мягкая из возможных форм проявления неудовольствия. Жаль, понятно, что отношения Г.-Д. Геншера со мной омрачились. «Ренессанс» не тянул на такую цену. Они приняли формальный оттенок, если даже первопричины эволюции коренились глубже – в утрате разрядкой своей начальной динамики и переизданием концепций противостояния.

«Мгновение есть вечность» [6]

Вернемся, однако, в 1972 г. Открывался он под бряцание доспехами в стане ХДС/ХСС, а отсчитывал последние свои дни в обстановке ликования центристских и левых сил. Социал-демократам недоставало всего ничего, чтобы получить на выборах в бундестаг седьмого созыва абсолютное большинство голосов избирателей. Окрепло не без поддержки электората СДПГ положение либералов. Лучшей награды за свои труды и терзания Брандт и Шеель не могли и требовать.

А в конце октября – начале ноября 1972 г. анализы и опросы давали шансы обоим противникам. Р. Барцель мог рассчитывать по меньшей мере на сохранение за ХДС/ХСС относительного большинства в бундестаге. Он не оставлял надежд оторвать часть сторонников от СвДП и если не совсем остановить либералов перед пятипроцентным барьером, то сделать парламентскую фракцию свободных демократов еще больше подверженной всяким искусам.

Посольство не скупилось на тревожные краски, информируя Центр о складывавшемся положении. Под сурдинку мобилизации потенциала здравомыслия нам удалось, в частности, сдвинуть с мертвой точки тяжелый вопрос о немецких военных захоронениях в СССР.

Проф., д-р В. Тиле, тогдашний президент Союза по уходу за военными могилами, сконтактировался со мной еще в апреле 1972 г. Я не ограничился моральной поддержкой его усилий, но предпринял шаги к тому, чтобы мои предложения были рассмотрены в Москве без волынки. Наибольшее противодействие ожидалось со стороны Министерства обороны. Оказалось же, что ничуть не гибче повели себя некоторые другие ведомства.

В беседе один на один Громыко бросил мне упрек:

– Вы потому хлопочете, что, наверное, из ваших родных немцы никого не убили. У меня на войне погиб брат.

– Этот ваш аргумент меньше всего подходит ко мне. Вы потеряли брата. Моя семья недосчиталась двадцати семи своих членов, и ни об одном не известно, где он захоронен. Не подвести черты под прошлым, если мы не примиримся с павшими – и своими, и чужими. Нечто иное побуждает меня настаивать на решении вопроса в соответствии с нормами международного права.

– Переходим к следующему вопросу.

Нет, не перейдем. Больная для меня тема не позволит оставить все застывшим. Не подумайте, что предосудительным

было отношение к одним лишь немецким кладбищам. Со своими обращались не лучше, порой и хуже. Никого, кроме родственников и местных энтузиастов, не волновало, кто и где покоится из солдат и офицеров. Гражданские лица вообще не в счет. Почти сплошь – безымянные братские могилы. Если всерьез займемся немецкими военными кладбищами, наши равнодушные компетентные органы должны будут уделить внимание и своим.

Подключаем Л. И. Брежнева. Он в делах, к войне причастных, отзывчивее. Нужно только правильно подступиться. До кардинального решения далеко, но в октябре или ноябре 1972 г. я получаю сообщение – можете передать В. Тиле, что советская сторона готова открыть для посещения родственниками кладбища в Люблино и Красногорске, где захоронены умершие в плену немецкие военные. Два захоронения из 118 тысяч учтенных, разбросанных от Полярного круга до Кавказских гор. Что значили 678 могил из 1,88 млн числившихся павшими на Востоке?

По мне, подобные горькие проблемы надо решать сразу и быстро. И все же любой путь, хоть в тысячу километров или дюжину метров, начинается первым шагом. Советская сторона приобрела новых друзей, а В. Брандт, подкрепивший своим авторитетом мои усилия, не потерял в глазах соотечественников ни как федеральный канцлер, ни как лидер партии, ни как человек.

Чтобы не было слишком скучно, повернем медаль обратной стороной. В 1972 г. я взялся за другую непопулярную в СССР тему – Р. Гесс. Сидя в Москве, не совсем ощущаешь иные анахронизмы. Нецелесообразно канонизировать бывшего заместителя фюрера по партии в «мученики за нацистскую веру». При посещении МИД ФРГ прошу под свою ответственность внести ясность в два аспекта: готов ли Гесс осудить нацистские преступления и отмежеваться от них, а также возможно ли получить гарантии, что по выходе из заключения Гесс не станет центром неонацистской активности.

Статс-секретарь Х. Г. Сакс берется переговорить с семьей Гесса и через непродолжительное время извещает меня: сын заключенного полагает, что ему удастся убедить отца дистанцироваться от злодеяний нацизма, а в случае освобождения Гесса из тюрьмы семья позаботится о том, чтобы он сам не включился в политическую деятельность и никем не был использован в политических целях.

Обмениваюсь мнениями с председателем ГКП Г. Мисом на тему Гесса, чтобы заранее отсечь довод – решаем судьбу главного антикоммуниста, не спросив немецких коммунистов.

Председатель разделяет точку зрения – дальнейшее содержание Гесса в тюрьме приносит вред, и для левых возникли бы дополнительные сложности, если бы заместитель фюрера умер в заключении нераскаявшимся нацистом.

Оснащенный справа и слева, докладываю вопрос и свои соображения в Москву. Молчание. Повторное обращение – результат тот же. Дождусь разговора с Громыко, тогда высветится. Высветилось следующим образом.

– Забудьте этот вопрос. Для нас Гесс – олицетворение всех зол нацизма. Трибунал осудил его на пожизненное заключение и тем проявил снисхождение к преступнику, повинному в развязывании нацистских агрессий с миллионами жертв. Никакая гуманность по отношению к главным нацистским преступникам не уместна.

Напоминаю, что четыре державы досрочно освободили из тюрьмы по состоянию здоровья адмирала Дёница.

– Если так случилось, это было ошибкой. Мы с Андроповым позаботимся о том, чтобы она не повторилась.

– Нельзя сводить тему Гесса к прошлому. Неонацизм ищет своих героев сегодня, и для него Гесс в тюрьме в качестве узника за веру – находка. Отречение Гесса от нацизма и осуждение его преступлений, если это будет сделано в устраивающем нас виде, было бы на пользу демократическим силам.

– Отречется Гесс от нацизма или нет – дела не меняет. Он сидит не за убеждения, а за преступления. Наша позиция пересмотру не подлежит.

Успешнее была совсем другая моя интервенция той же поры. В избирательной кампании 1972 г. противники повели борьбу за каждый голос. В первой половине ноября, напоминаю, доступные посольству сведения говорили, что СДПГ и ХДС/ХСС держатся ноздря в ноздрю, а либералы еще не обеспечили своего вхождения в будущий бундестаг.

Г. Мис в беседе со мной делится своими сомнениями и заботами.

– Если для сохранения у власти социал-либеральной коалиции не хватит голосов, которые будут поданы за ГКП, это навлечет на коммунистов гнев всех левых. СЕПГ, однако, рекомендует, чтобы мы обязательно показали флаг.

– Меня не покидает ощущение, что многие сторонники ГКП вне зависимости от рекомендаций ее правления и настояний СЕПГ поддержат партии нынешней коалиции. Допустим, так и произойдет. ГКП соберет не обычные 0,3–0,5 процента, а вдвое или втрое меньше. О каком флаге можно будет говорить?

– Значит, ты находишь, что ГКП должна выйти из борьбы и…

– Как партии поступать, должно решать ее руководство. Мой единственный совет – не слушать кабинетных советчиков, а действовать по ситуации. Ты и твои товарищи знают ее лучше чем кто бы то ни было.

Замечу, у меня уже было принципиальное добро Москвы на этот обмен мнениями с Г. Мисом. Однако, не раз убедившись в том, что в своих суждениях я не ищу случая спрятаться за цитатами или за чьей-то широкой спиной, председатель правления ГКП не обязательно должен был заподозрить, что посол подстраховался. Смею также думать, что мои аргументы сыграли свою роль при решении правления ГКП предоставить своему электорату свободу выбора.

Эта история имела продолжение. На заседании политбюро ЦК СЕПГ Э. Хонеккер дал выход своему недовольству: «Фалин ссорит ГКП с СЕПГ. Не поставить ли нам перед Москвой вопрос о его отзыве?» В. Штоф остудил лидера контрвопросом: «А если посол действовал сообразно инструкциям?»

Когда в партнерах согласия нет, успех покупается дорогой ценой. Или вообще становится условным. А по какой табели прикажете классифицировать глупость, граничащую с провокацией? Что имею в виду? Изменение конституции ГДР в контексте германо-германских переговоров об основах отношений.

Наличие в основном законе ФРГ и конституции ГДР отсылки к их единым национальным корням делало излишним включение в проект договора ряда положений, подчеркивающих специфический характер соседства двух германских государств. Мне неизвестно, кто первым подверг сомнению формулировку «два государства немецкой нации» и с какими конкретными доводами предложил изъять ее из текста восточногерманской конституции. Когда я узнал, о чем речь, мой вердикт был однозначен: здесь потрудился либо сверхусердный дурак, либо, что вероятнее, коварный враг.

«Два германских государства немецкой нации» вымарывались. Вместо этих слов записывался тезис о «вечной дружбе» с Советским Союзом. На берлинском и, полагаю, большинстве других немецких диалектов сие могло означать лишь одно: хочешь единства, борись против СССР. Между тем наши представители в ГДР довольны. Ну хотя бы задумались над тем, почему обрезание конституции ГДР не вызвало пропагандистской канонады в Федеративной Республике.

Телеграмма из Бонна прочитана Громыко и дальше хода не получила. Из-за малозначительности предмета? Или наш МИД был причастен, возможно косвенно, через совпосольство в

Берлине к этой затее? Или проморгали и теперь считают за благо последовать арабскому совету: не смотри потерянному вслед? Итог – ГДР совершила очередной шаг не к размежеванию, а в небытие.

Мы с Громыко будем возвращаться к проблематике германского единства. Я старался убедить его, что, даже оставаясь на позиции двух Германий, не стоит отказывать немцам в государственном единстве. Ссылался на опыт Священной Римской империи германской нации, обособление Австрии, на примеры становления других государств. Почти во всех случаях укоренение независимости требовало массу времени и опиралось на устоявшиеся к моменту раскола традиции и различия. Форсированный демонтаж элементов общности в отношениях между ГДР и ФРГ дает лишь обратные результаты. Французы это понимали лучше нас и двигались к цели по рецепту кардинала Ришелье, подобно гребцам в лодке, спиной.

Чаще министр делал вид, что слушает, сам в дискуссию не втягивался. Но где-то на рубеже 1978 г., задетый моим аргументом, что мы не можем изменить сами себе и закрывать перспективу хотя бы единой социалистической Германии, изрек:

– Нам не нужна никакая единая Германия, в том числе социалистическая. Вполне хватает единого социалистического Китая.

Открытые карты выложены на стол. Выяснилось наконец, что в представлениях о будущем Европы мы руководствуемся совершенно разными политическими и идейными ценностями. Чем скорее мы расстанемся, тем лучше и для министра, и для меня, и для дела тоже.

Для тех, кому только что прочитанные откровения покажутся слишком терпкими, не утаю следующее. У меня наладились по-человечески нормальные контакты с руководством ГКП и прежде всего с ее председателем Г. Мисом. Большого смысла во взаимных уверениях в вечной дружбе я не видел и взял за правило говорить то, что думаю, а не доить бесплотные догмы – от них как от козла молока. Это древним русским иконописцам полагалось являть на досках и фресках лишь плоский лик, дабы торжествовал Дух Святой. Естественно, тема немецкого единства не могла не всплыть.

Моя прямота несколько озадачивала Г. Миса и его коллег.

– У ГКП нет будущего, пока она не сформулирует собственной программы по единству немцев. И чем дальше вглубь пойдет процесс разрядки, тем настоятельнее будет потребность в такой программе. Она должна была бы ориентироваться на интересы трудящихся и вписываться в Европу гарантированного

мира.

Не нужно было обладать никакими пророческими данными, чтобы разглядеть зарницы неотвратимо надвигавшихся перемен. Утешаться британской премудростью, чем выше забор, тем лучше сосед? Устарела она, не спасет. Зауживать дальше смотровые щели в броне танков, чтобы детали не отвлекали от видения главного? Впередсмотрящие так далеко оторвали нас от тылов, что решающие угрозы подстерегали уже не извне, а изнутри. Мы давно стали врагами себе, ловя в прицелы супостатов за кордоном.

Что есть паритет? Как высоко надо держать планку необходимого в реальном противостоянии? Из чего складывается безопасность, если не сводить ее к военно-техническому катехизису? Можно ли покончить с гонкой вооружений при сохранении взаимоисключающих военных доктрин? Есть ли будущее у разрядки без партнерства в безопасности? Старые и вечно новые вопросы. На них не ответить кивком головы или пожатием плечами. Сдвиги придут с фактами, и только с ними, ничто не заменит фактов.

Что-то новое я, возможно, услышу от министра обороны ФРГ Гельмута Шмидта, который пригласил меня на ужин в свою резиденцию на Хардхёэ. Общее понимание необходимости очиститься от ходульных представлений и прекратить нагнетать страхи. Согласие в оценке важности и ответственности момента. Короче, суммирует Г. Шмидт, нормализация отношений между нашими странами должна распространиться также на область военной деятельности СССР и ФРГ.

Где-то слышится не Г. Шмидт – министр обороны, а более знакомый Г. Шмидт – автор «Стратегии равновесия». Если первый на практике хорошо усвоит второго, то подвижки не исключены. Забегая вперед, отмечу, что и в качестве министра обороны, и как канцлер Г. Шмидт пытался реализовать часть своих взглядов на современную оборону и шире – безопасность. Думаю, Москва успешно прохлопала открывавшуюся возможность вместо того, чтобы за нее ухватиться.

На наших встречах с Г. Шмидтом всплыла тема обмена военными атташе. Тем самым связи Советской армии с бундесвером встраивались бы в общую шеренгу наших отношений с вооруженными силами других стран. Это – дело будущего. Надо еще ратифицировать Московский договор, убрать неосевшую пену. Но политический шаг предпринят – контакт советского посольства с министерством обороны ФРГ установлен.

Из министра обороны не вытянешь лишнего слова, когда речь касается НАТО. По строю его вопросов и некоторым

комментариям нетрудно заключить, что Г. Шмидт не собирается подлаживаться к предшественникам или современникам. Свое суждение иметь – у него потребность, включая проблемы, к которым ФРГ прежде не очень подпускали. Если бы не перемещение на пост министра экономики, полагаю, Г. Шмидт вскоре отправился бы в Москву, что могло бы как-то и в чем-то сказаться на нашем военно-политическом мышлении и, кто знает, также на представлениях будущего канцлера ФРГ. Почва для его приглашения вызревала.

Меня озадачило поэтому последующее противодействие Г. Шмидта идее визита в Советский Союз его преемника на Хардхёэ Г. Лебера. У нас с ним установились отношения на чей-то вкус излишне тесные. Г. Лебер был прямее в изложении озабоченностей и откровеннее в разъяснении сути своих мер, призванных запечатлеть оборонительную направленность стратегии бундесвера и приглашавших ГДР вместе с Советским Союзом последовать этому примеру. В числе прочего министр обратил внимание на «устарелость» учебных пособий, по которым у личного состава армии ГДР и, как Г. Лебер предполагал, также Советской армии воспитывалась «ненависть к врагу».

– Если нечто подобное вы обнаружите применительно к бундесверу, дайте мне знать. Я отдал строгие распоряжения, которые должны покончить с искусственным разжиганием вражды к социалистическому Востоку.

Одну инициативу Г. Лебера мне удалось претворить в жизнь. Правда, пятнадцать лет спустя. Было это в 1989 г. М. С. Горбачев собрал в своем кабинете на Старой площади совещание в узком составе: А. Н. Яковлев, помощники Горбачева А. С. Черняев, Г. Х. Шахназаров. Возможно, еще был Э. А. Шеварднадзе и точно я.

– Мы пересмотрели военную доктрину ОВД. Вступили в переговоры с США о ликвидации ракет средней дальности. В Вене и Стокгольме не устаем демонстрировать покладистость. НАТО ничего даже отдаленно похожего не сделало, и тем не менее Запад – хорош, а мы как были, так и есть плохи. Пропаганда наша ни к черту не годится. Вот американцы. Вцепятся в какую-либо тему, словно клещи, не оторвешь. А у нас день – максимум два комментаторы помусолят ее и подавай свеженькое. Ваше мнение.

А. Н. Яковлев думу думает. Критику в адрес пропаганды принял на свой счет. Помощники генерального тоже не торопятся высказаться. Прошу слоза.

– Давай, Валентин.

– Если наши СМИ ни о чем другом, кроме советских внешнеполитических инициатив, вещать не будут, положение вряд ли поправится. Западное общественное мнение отзовется не

на предложения, а только на конкретные наши дела. А здесь, это касается и военной доктрины ОВД, произошел разрыв во времени. Новая доктрина принята, а численность, состав, дислокация войск – все осталось прежним, как если бы оборонительная оборона не предполагает своей специфики по сравнению с наступательной обороной. Нет ли резервов для сокращений в численности советских вооруженных сил в целом, в ГДР и других странах ОВД в частности?

– Ты предвосхитил то, что я наметил вынести на обсуждение. Какой порядок цифр тебе представляется?

– Трудно называть объемы. Но если оборонительная оборона не замыкается на западное направление, то за изъятием стратегических ракет, авиации и ВМС до трети боевых соединений и средств их поддержки можно было бы считать резервом. Круглым счетом примерно один миллион человек. Если речь пойдет о сокращении на сто тысяч, то лучше не ввязываться, ибо мы лишь скомпрометируем новую доктрину. И еще одно замечание. В 1973–1976 годах у меня состоялся ряд бесед с тогдашним министром обороны ФРГ Г. Лебером. Министр обращал внимание на возможность относительно экономными способами серьезно повысить доверие к заявлениям об оборонительности советских намерений. В передовом эшелоне советской группировки в ГДР развернуты мощные инженерно-саперные части с понтонным и прочим снаряжением для преодоления водных рубежей. Сведите их до разумных размеров, и это по эффекту превысит вывод из республики нескольких дивизий, призывал мой собеседник. Тогда соображения Г. Лебера не нашли отклика у нас. Может быть, вернуться к ним сейчас?

Горбачев предлагает приглашенным высказаться. Яковлев солидаризуется с моими доводами и соображениями. Он отмечает, кроме того, необходимость включать в план любой значительной военно-политической акции, как неотъемлемую часть, ее пропагандистское обеспечение. Доверенные комментаторы должны заблаговременно знакомиться с предстоящими мерами и готовиться к их освещению, а не выпаливать скороспелки по горячим следам. Это относится в полной мере и к сложным договорам, которые находятся в стадии выработки.

А. С. Черняев был того же мнения. Мы затем подготовили с ним записку на имя Горбачева, в которой высказались за то, чтобы все высвобождаемые в ходе намечаемых сокращений средства ассигновались на обустройство демобилизуемых воинов и членов их семей, а также на улучшение социального положения солдат и офицеров, продолжающих нести службу. Мне

неизвестно, почему она не нашла понимания у генерального.

Горбачев закончил ту встречу словами:

– Завтра я созову Комитет (Совет) обороны. Там и решим, что можно без ущерба для боеготовности страны сделать.

Решили, как известно, в одностороннем порядке сократить численный состав Вооруженных сил СССР на 500 тысяч человек вместе со штатным вооружением. Сокращения в больших объемах требовали, по заключению Министерства обороны, крупных капиталовложений и времени. Я с удовлетворением принял к сведению, что призыв Г. Лебера, пусть с опозданием, был все же по достоинству оценен.

Деятельность Г. Лебера на посту министра обороны оборвалась с виду внезапно. В версию с провалом военной контрразведки мало кто из сведущих людей поверил. Начинался новый виток гонки вооружений, новые концепции в Пентагоне и, следовательно, в НАТО были на подходе. Г. Лебер с его «непровоцирующей» обороной пришелся не ко двору. Хорошо, что для проводов популярного среди солдат бундесвера министра не придумали операцию погрязнее.

С Г. Апелем, пришедшем ему на смену, контакта не получилось. Один раз он принял меня в министерстве обороны, всем видом показывая, что делает одолжение, плюс пара малозначащих разговоров мимоходом на каких-то мероприятиях с широким составом участников. Что из этого следует? Или дует на холодное, видя пример Г. Лебера, или с участием ФРГ вызревает нечто, что девальвирует восточную политику В. Брандта – В. Шееля? Держи ухо востро.

Как самому себе подставить ножку

В. Брандт среди первых зарегистрировал смену в показаниях политического барометра – осенью 1973 г. стрелка дрогнула и с позиции «ясно» поползла в сторону «переменно». Внешне ничего не предвещало ухудшения погоды в Северном полушарии. Напротив, после визита Л. И. Брежнева в Федеративную Республику (май) и Соединенные Штаты (июнь) горизонты, по всем признакам, просветлели. Администрация США почти без заминок выговаривала слова «мирное сосуществование». Понятие «одинаковая (равная) безопасность» как будто не вызывало изжоги. Было даже подписано соглашение, нацеливавшее Москву и Вашингтон на совместные (или параллельные) усилия по предотвращению опасности ядерной войны. Что же стряслось?

Приезд генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в ФРГ (18–22 мая 1973 г.) стал апофеозом советско-западногерманского сближения на базе начальной, назовем ее оригинальной, концепции поворота лицом к Востоку, провозглашенной социал-либеральной коалицией. Если бы в Москве не мелочились и придерживались не арифметической (двух соглашений и одного протокола хватит!), но политической мерки, то договорной навар от этого визита мог бы быть погуще и поразнообразнее. Если бы достало прозорливости не присягать «или – или» – акцент на сотрудничество с ФРГ либо с США, – то удалось бы содержательнее определиться по ряду аспектов европейской безопасности и контроля над вооружениями. В целом, однако, встреча в Бонне продемонстрировала – обе страны на верном пути к добрососедству, граница, сквозь Германию рассекшая Европу, не обязательно должна оставаться синонимом вражды.

В политике редко случается, чтобы всем было хорошо. И в Федеративной Республике, и на запад от нее, и за океаном давали себя знать недовольные. Лексика разная, мелодия схожая – Западная Германия была создана во имя борьбы до победного конца, ей не положено отклоняться от этой возложенной на нее миссии. Отношения ФРГ с США и другими союзниками по НАТО должны всегда иметь приоритет перед отношениями с СССР и его союзниками.

Если по гамбургскому счету, этого и следовало ждать. Быстро сказка сказывается, не скоро дело делается. Лишь три с половиной года минуло, как западные и с ними восточные немцы занялись, позаимствуем образ у Дж. Ф. Даллеса, мучительной переоценкой ценностей. Болезни входят в нас пудами, а выходят

золотниками. Пристрастия тоже.

У какого государственного визита нет, как у Луны, невидимой стороны? Как встретить гостя? Формально он не первое лицо государства. Где размещать? Резиденция совпосла слишком мала. Здание посольства в Роландсэке – его и показывать стыдно. Значит, советская территория отпадает. Что предложат хозяева? Гостиницу. Соображения престижа и безопасности приходят в столкновение. Наши прощупывают, не найдется ли чего на территории ведомства канцлера? Там есть бунгало, которым В. Брандт не пользуется. Я твердо рекомендую не ставить ни себя, ни канцлера в неловкое положение.

Оказалось, что лучше Петерсберга в Бонне и его округе ничего и нет. Столица ФРГ несла на себе печать временности. Прием Брежнева укреплял мысль: на будущее стоит запастись более солидным вариантом, чем наспех румянить и пудрить старицу перед выводом на бал.

Для охраны высокого гостя были стянуты многочисленные наряды полиции из многих земель ФРГ. Утверждали, что это была крупнейшая полицейская операция такого рода за всю историю государства. Без нерасчетных ситуаций не обошлось.

Об одной позаботился сам Л. И. Брежнев. На площадке, что на самой макушке Петерсберга, ему показывали кабриолет «Мерседес-Бенц», аналогичная машина предназначалась гостю в подарок. Ни слова не произнося, генсекретарь сел за руль, включил зажигание и понесся на глазах у опешившей охраны вниз по серпантину и, развернувшись, тем же манером вверх. Выключил мотор, захлопнул дверь, провел рукой по капоту:

– Добротная машина.

Минуты тягостной неизвестности доставил он хозяевам и своему сопровождению. Дорога непростая даже для профессионалов. Хорошо, что покрытие сухое и встречных машин не попалось, да водительские навыки у Брежнева были отменные.

В другом случае нарушителем регламента выступил я. Кавалькада лимузинов пробирается из Петерсберга через улочки Кёнигсвинтера в направлении ведомства канцлера. Вдоль маршрута множество людей приветствует советского лидера. Дети, молодежь, женщины, старики. Брежнев ворчит:

– Что меня держат и возят, словно заключенного. Никому руку не пожать из простых людей, в глаза не посмотреть.

Обращаясь ко мне, говорит:

– Останови машину, или я открою дверь и выскочу на ходу.

– Леонид Ильич, в здешнем монастыре не наш устав.

Генсек мрачнеет, порывается проверить, заблокирована ли ручка двери. Я на всякий случай по переговорному устройству

прошу служащего безопасности, сидящего рядом с водителем, сделать так, чтобы дверь изнутри не открывалась. Брежнев спрашивает:

– О чем ты лопотал по-немецки?

– Интересовался, можно ли открыть крышу машины.

Брежнев оживился.

– Вот молодец, ловко придумал. Скажи, чтобы открыли. Хоть так пообщаюсь с народом.

Делать нечего. Дверь, как мне ответили, не блокируется, а Брежнев уже готов катапультироваться. Прошу открыть крышу.

Генеральный секретарь поднялся в рост. Плечи расправлены. Лицо сияет. Кинохронике с телерепортерами подарок. У охраны сердце опять в пятки ушло. Из следующей за нами машины мне знаками показывают, чтобы я прекратил безобразие. Потерпите чуточку. Проехали Кёнигсвинтер. Брежнев, довольный, как напроказивший ребенок, говорит:

– Ну спасибо, удружил. Будет хоть что-то незаорганизованное вспомнить. А то скачешь с одного мероприятия на другое как заводной.

Прошу закрыть крышу. При въезде в Бонн Брежнев порывается снова встать. Я воспротивился – на скорости небезопасно, к тому же вот-вот будем на месте.

Кортеж въезжает на территорию резиденции канцлера… И тут Брежнев распахивает дверь. Толпа кидается к замедлившей ход машине. Сразу несколько человек хватают его за руку. Не подоспей молодцы из охраны, выволокли бы гостя наружу или руку ему напрочь вывернули.

С. Н. Антонов, начальник нашей службы безопасности, с претензиями ко мне:

– Куда ты смотрел? Ведь любой мог снять Леонида Ильича с первого выстрела, когда он стоял в машине. И теперь. Смотри, рукой трясет, еще не сумеет подписать бумаги.

– Вот именно теперь. Ты же видел, как он распалился. Не открой крышу, сиганул бы наш генсек в дверь. Но чтобы дверь контролировать, забота не моя.

С генералом Антоновым, крепко обожженным и все же выбравшимся в войну живым из танка, мы знакомы не один год и неплохо понимали друг друга. Отвечая за безопасность генерального секретаря, он не впадал в холуйство. Общаясь с теми, в ком не сомневался, давал объемные характеристики и Брежневу, и присным.

Подписание соглашений. Уже расписавшись своим каллиграфическим почерком, генеральный спрашивает при мне Громыко:

– Я не приметил, как в соглашении обозначено – за Советский Союз или за правительство?

– Все правильно, Леонид, не беспокойся.

Беспокоился Брежнев не зря. Мидовским юристам договоры во сне снились, но им почему-то в голову не пришло, что ни как генеральный секретарь, ни как член Президиума Верховного Совета СССР гость не вправе был без особых полномочий выступать «от имени правительства», а там именно так значилось. Это, между прочим, к вопросу о сообразительности Брежнева.

С охраной и радетелями, не ведавшими меры в «заботах» о благополучии Брежнева, вернее – генерального секретаря, мне пришлось повздорить еще раз, когда они уперлись и ни в какую не принимали приглашение правительства Северный Рейн – Вестфалия на завтрак в Шлоссберг, отстоявший всего в получасе полета на вертолете от Бонна. В. Брандт попросил меня помочь, чтобы выезд за пределы столицы ФРГ все же состоялся.

– Это нужно лично мне. Я связан словом. Это нужно и Брежневу, чтобы не создалось впечатления – сиднем просидел пять дней в Бонне, обложенный тысячами наших полицейских и двумястами своих телохранителей.

Поздно вечером захожу в комнаты, отведенные лично Брежневу. Посиделки на Венусберге изрядно затянулись.

Генсек интересуется, каковы отклики на советско-западногерманскую встречу в Федеративной Республике и на Западе вообще.

Мы снабжали его информацией неустанно. Помощники генсека А. М. Александров и А. И. Блатов исправно несут свою службу – от них Брежнев получает привычный телеграфный паек со всего мира. Так что его вопрос об откликах больше для вводки в разговор.

Брежнев благодарит посольство за организацию визита.

– Ты не подстраиваешься, и я это ценю. Очень хорошо, что немцы тебя уважают. Перед отлетом в Москву надо бы поговорить, как действовать дальше.

– Пока же, зная, что вам советуют другое, еще раз докладываю личную просьбу Брандта. Примите приглашение министра-президента правительства Северный Рейн – Вестфалия Х. Кюна. Канцлер придает этому значение. Он обещает, что политику в замке сервировать не станут, а с вертолета, на котором Брандт полетит вместе с вами, удастся увидеть хотя бы малую толику Федеративной Республики.

Брежнев дает указание позвать Громыко, Патоличева, Бугаева. Министр гражданской авиации в отлучке. Являются двое его коллег по правительству. Генсек сообщает, что Брандт просит

вернуться к приглашению Кюна. Как поступим?

Громыко говорит:

– Ведь решили. Что еще рассматривать. Тебе ни к чему летать на немецких вертолетах. Мало ли что надо Брандту. Программа и без того насыщенная.

Генеральный избалован вниманием и принимает его как должное, но показная опека ему претит. Не приглашая Патоличева высказаться, он сухо прощается:

– Идите отдыхать. Утром посмотрим.

Министр по дороге мне выговаривает:

– Что вы суетесь не в свои дела? Если с Брежневым что-нибудь случится, с кого будет спрос? С вас, что ли?

Не знал я, что незадолго до поездки в ФРГ Брежнев перенес операцию и врачи якобы предостерегали против «вибраций». Таким образом, вертолет, и без того, по советским понятиям, «рискованное транспортное средство», превращался в противопоказание здоровью. Подброшенный кем-то надуманный довод Громыко стилизовал в постулат.

Наутро, приехав, как и во все остальные дни, в 8.15 в Петерсберг, узнаю, что Брежнев отдал распоряжение – лететь. Поджидаем, когда он выйдет из своих апартаментов. Громыко сызнова читает мне нотацию, а появление Брежнева встречает тирадой:

– Вчера выдался трудный день. Леонид, ты заслужил несколько часов отдыха. Опять же вертолет.

– Решено. Я лечу. Кому надо задержаться в Бонне, пусть остается.

Эпизод сам по себе пустячный. Земля не содрогнулась бы, поддайся Брежнев уговорам «доброхотов» и останься в Петерсберге. Но присмотр устанавливался все более глухой. Мультиплицированное внушение способствовало распаду личности подопечного. Через полтора года советский лидер впадет в сумеречное состояние. Благодаря усилиям Е. И. Чазова и других профессоров будут наблюдаться ремиссии, впрочем, с каждым годом все более краткие. Кому-то сие было удобно и надобно.

Перед прибытием генерального секретаря в ФРГ и по ходу визита больше всего нервотрепки задал опять-таки Западный Берлин. Четырехстороннее соглашение не всегда спасало. Каждая сторона тянула его, как одеяло, на себя. На Берлине сорвалось научно-техническое соглашение, что тоже намечалось заключить в дни пребывания Брежнева в Бонне. В проекте совместного советско-западногерманского заявления раздел, относящийся к Западному Берлину, эксперты взяли в скобки, передав на

арбитраж министрам иностранных дел. Но статс-секретарь П. Франк посчитал, что знаки препинания в четырехстороннем соглашении не должны уподобляться полосе с препятствиями, и встал насмерть.

Назавтра подписание заявления. Брандт уполномочил Бара встретиться с Громыко, чтобы изыскать выход. Министр принимает Э. Бара в моем присутствии.

Э. Бар замечает:

– Мы тоже участвовали в переговорах и знаем, какой смысл вкладывался в каждое слово и положение соглашения по Берлину.

– Федеративная Республика в переговорах не участвовала.

– Возможно, я выразился не совсем точно. Федеративная Республика не была сторонним наблюдателем при выработке соглашения.

– Федеративная Республика не имела отношения к четырехсторонним переговорам.

А. А. Громыко совершает обряд закрытия не худшей главы в советско-западногерманском взаимопонимании с издевательской интонацией. Ради чего? Отыгрывается на мне за состоявшийся полет в замок? Ставит заслон новым нашим «сговорам»? Мстит за унижения, перенесенные в процессе ратификации Московского договора? Подтверждает, что Западный Берлин остается «любимой мозолью»? С меня довольно. Визит, конечно, закончим на приличной ноте, но чтобы дальше выносить причуды министра – нет, увольте.

Э. Бар замолк. Громыко в свою очередь не торопится что-либо предлагать. Незвано встреваю в то, что беседой не назовешь:

– Может быть, нам с Баром прикинуть развязку? Ни о каких новых урегулированиях речи не идет. Нужно емко и конструктивно передать политическое отношение СССР и ФРГ к действующим договоренностям.

– Вот-вот. Все, что требовалось решить, – подхватывает министр, – четыре державы решили. Теперь принятые решения надо выполнять. Собственно, ничего другого не требуется записывать в совместном заявлении.

– Весьма важным было и остается, как сказать то, что нужно сказать. Иначе заявление свелось бы к перечню обсуждавшихся вопросов. Если мое соображение кажется лишним, тем лучше, у меня других забот предостаточно, – теряю я терпение.

– Возражений, чтобы вы с Баром приложили руку к проекту совместного заявления, у меня нет. Получится – хорошо. Не получится – обойдемся без упоминания Западного Берлина.

– Без западноберлинского пассажа совместного заявления не будет, – отрезает Э. Бар. – Я себе не очень представляю, когда мы

с послом сможем отключиться от других дел и засесть за формулировку по Берлину.

– А ночь на что? – желчно замечает Громыко.

На этом «содержательная» встреча с министром закончилась. Мы договариваемся с Э. Баром встретиться, если удастся, попозже вечером и в любом варианте зарезервировать время следующим ранним утром.

Не помню, чтобы мы сходились в тот же день. Детали встречи в 7.30 утра 21 мая запечатлелись. Формулировка «строгое выполнение и полное применение» (соглашения от 03.09.1971 г.) далась со второго или третьего захода. После все образуется. Наше предложение получит одобрение П. Франка. Пожевав слова, его примет Громыко.

Можно печатать недостающую страницу совместного заявления и подтверждать, что подписание документа состоится в назначенный ранее час. Время поджимает. Бар звонит кому-то и просит подослать вертолет. Пока мы делимся впечатлениями о том, как складывается визит. Едва ли не основной его результат, на взгляд Э. Бара, в упрочении доверия между двумя лидерами. Если с умом капитализировать этот фактор, многое можно сделать.

– А что с вашим министром?

– Вам с Рашем казалось, что я прикидываюсь, предрекая нелогичную реакцию моего министра. Вчера вы убедились, как дело обстоит. Для себя я выводы сделал. Зря я соглашался на Бонн. В прежней должности было легче приносить пользу делу. Сегодня или завтра, как удастся, я официально поставлю вопрос о возвращении в Москву. Урок, мне заданный, – ратификацию договоров, я исполнил, пусть не наилучшим образом. С меня довольно.

– Мы с Брандтом обменивались мнениями по поводу ваших сомнений. Ваше отсутствие в Москве ощущается, и даже очень. Но кого пришлют на должность посла в Бонн?

– Свято место пусто не бывает.

Пора лететь. Десять – двенадцать минут, и мы в Петерсберге. Панорама Рейна неутешительная. Сверху видно, как ему достается от людского неразумения. Словно саваном, он накрыт пленкой нефти – куда хватает взор. Старик бурлит, не сдается, но где ему против соединенного беспредела четырех наций.

Вечером генеральный секретарь дает обед в честь федерального канцлера. Гостей будет много, хотя желающих попасть в число приглашенных еще больше. Особо сановитые из немцев придирчиво удостоверяются, за каким столом и с кем рядом их посадят. Например, Ф.-Й. Штраусу показалось, что

председатель ГКП Г. Мис размещен слишком близко к нему. То, что главный мировой коммунист приглашает, не отвращало, а свой портит аппетит. Мороки с приемами всегда много, а тут – в неудобном помещении, сверхплотно уставленном столами, и еще с сугубо национальным меню. Ладно, бог не выдаст, кто-то не съест.

Днем по программе мы предоставлены сами себе. Громыко приглашает разделить с ним ланч. Вот он, его величество случай, чтобы внести кое-какую ясность. Министр, сбросив давление, в уравновешенном состоянии.

Никаких сложных тем не трогает, все больше о погоде, природе и человечестве. И так до момента, пока не подали чай.

– Визит, похоже, удался, – говорит он. – Конечно, на ФРГ свет клином для нас не сошелся, но приличный тонус в отношениях с ней желателен. Даже очень. На европейском направлении нашей политики особенно. Московский договор заложил основы. Само собой, однако, дело вперед не пойдет. Следует и дальше считаться с попытками сбить ФРГ с правильного пути. Мы рассчитываем на энергичную помощь со стороны посольства.

– Согласен с вами. Процесс модернизации наших отношений с ФРГ будет сложным и долгим. Пока больше намечено, чем сделано. Визит подтверждает, что двигаться вперед можно и более высоким темпом. Было бы грешно не воспользоваться этим. Думаю, что в интересах, как вы выразились, «энергичной помощи со стороны посольства» стоило бы сменить в Бонне посла. Данные мне при назначении поручения я в меру способностей выполнил и убежден, что дело только выиграет, если с достигнутой отметки его поведет другой дипломат.

– Отказываюсь понимать вас. Отношения с ФРГ на подъеме. Встреча в верхах открывает новые горизонты. Отчего такое настроение? Не понимаю.

– На мой взгляд, совсем неплохо, когда новый посол получает от предшественника не расстроенные дела. Мной руководят трезвый расчет и забота о деле. Помимо этого есть еще личные планы, для которых время имеет не второстепенное значение.

Громыко избегает конкретизировать, на какие личные планы я намекаю. Допускаю, что они так или иначе достигли его слуха, ибо особой тайны из желаний сойти с дипломатической орбиты я не делал. Но чтобы посол предпринимал подобный демарш во время визита генерального секретаря? С него станет, возьмет и обратится напрямую к Брежневу, сопроводив заявление об отставке вредными комментариями.

– Решительно с вами не согласен. Но раз вы ставите вопрос, будем его рассматривать.

Министр пережил минуты растерянности в тот же день или на следующее утро, когда при нем и Н. С. Патоличеве генеральный говорит мне:

– У меня на этот раз не получится встречи с сотрудниками посольства. Ты поблагодари их от моего имени за работу. Скажи, мы видим, как вы здесь крутитесь. Может, у тебя есть какие-то вопросы, где я помогу?

Министр ел меня глазами. Весь в ожидании – стану я излагать аргументы в пользу смены посла или нет? Мне театр ни к чему. Обещание рассмотреть мое обращение насчет отставки дано. Расстанемся не на склочной ноте. Поэтому поднимаю совсем другую тему:

– Товарищи в посольстве будут вам признательны за оценку их труда. Во всех звеньях представительства много людей достойных, несущих службу по совести. Они работают, правда не зная, за какую зарплату.

После небольшой паузы я продолжаю:

– Вы, Леонид Ильич, привыкли, что послы обращаются к вам с просьбами о приведении зарплаты в соответствие с растущими ценами. Я же просил бы не урезать окладов нашим сотрудникам.

– Как так?

Кто-то когда-то привязал зарплату за границей к доллару США. Немецкая марка девальвируется, соответственно нам тут же понижают денежное содержание, как если бы от курса доллара зависели потребительские цены в ФРГ. Есть и другие бюрократические шедевры. С 1926 г. уровень зарплаты за рубежом ориентирован на так называемый «бюджетный набор». Пару месяцев в году два сотрудника посольства и торгпредства тем и занимаются, что рыщут по магазинам, чтобы задокументировать, сколько стоят галоши, кальсоны и т. п. Многие товары, к коим пристегнут набор, здесь исчезли из обихода, но наших чиновников это не волнует. Давай эрзац. Зато не предусмотрено трат на книги, газеты, кино, радио, телевидение. Бриться положено раз в неделю. Мыться и того реже. Лекарства, очки – вне сметы. Каменный век.

Брежнев не верит своим ушам.

– Ты шутки шутишь.

– Нет, он верно докладывает, – поддерживает меня Громыко.

– Если верно, то отчего мы выставляем себя на посмешище?

– МИД и МВТ много раз порывались отменить устаревший порядок, но Министерство финансов…

Генеральный секретарь прерывает Громыко:

– Страшнее Минфина зверя нет? В течение месяца доложить предложения мне лично. Безобразие. По пустякам не в состоянии

договориться в правительстве. Все тащат наверх.

Месяца через полтора метод исчисления зарплаты во всех советских загранпредставительствах был изменен. Кто-то выиграл от этого. Были и потерпевшие. Но меньше стало приписок и обманов, которые как ржа разъедают, подогревают другие пороки.

С рассмотрением моего заявления о возвращении в Москву Громыко не спешил. Он мог воспользоваться тем, что летом 1973 г. я сломал себе позвоночник, и аккуратно отправить меня на покой по болезни. Громыко не захотел прибегнуть к удару ниже пояса.

Почему я сам не взял медицину в союзники? Отвечу без утайки. Врачи предлагали выйти на пенсию по инвалидности. С подобным статусом наука, любая другая более или менее активная деятельность оказывались для вас закрытыми. В сорок семь лет от роду – рановато. Надо было восстановиться и уже потом опять приниматься за свое.

Громыко получал от меня регулярные напоминания о том, что просьба об отзыве остается в силе: в 1974 г. (после сложения В. Брандтом обязанностей канцлера), в последующие годы по разным поводам и без поводов. Начальник секретариата министра В. Г. Макаров докладывал мои письма Громыко, а тот распоряжался – оставлять без ответа.

Зайдем с другого фланга. Летом 1975 г. ставлю в известность Л. И. Брежнева – я не считаю нужным и полезным свое дальнейшее пребывание в Бонне. Он воспринимает обращение спокойно. Судя по всему, министр что-то говорил ему.

– А как ты видишь свое будущее?

– Если вы предоставите мне определить его, то выбор падет на науку.

– Иноземцев в науку, Арбатов туда же, теперь ты. Тепло и никакой ответственности. Придумаем для тебя что-нибудь другое.

На следующий год разговор с генеральным о моем будущем получился более продолжительным и конкретным. Меня пригласили перейти в ленинградский Эрмитаж. Генеральный секретарь был чужд искусству, изобразительному в особенности. Для него оно являлось родом баловства и утех. Отвергнув идею с Эрмитажем, Брежнев «твердо обещает решить мой вопрос» после того, как я проведу его второй визит в ФРГ. Потом спрашивает:

– А каковы у тебя отношения с Громыко?

– Однозначно не обрисуешь. То как, будто лучшего желать нельзя, то…

– Незачем тебе по возвращении идти в МИД. Давай условимся так: сразу после повторной моей поездки в ФРГ я тебя отзываю и

сам предложу тебе работу.

– Согласен, но, прежде чем затверждать мое будущее, хоть намекните, куда спровадите.

В 1978 г., встретив Брежнева, я ехал с аэродрома в отведенную гостям резиденцию – замок Гимних в одной машине с Громыко. Генеральный в курсе, что я настаиваю на немедленном отзыве. Не вредно будет освежить мое требование также в памяти министра.

– Семь лет в Бонне более чем достаточно. Если по часам, отданным работе, то здесь год за два надо считать.

Министр в раскованном настроении.

– Декабристы сидели дольше.

– Готов досиживать в Сибири.

– Раз вы такой настойчивый, будем решать. Правда, вот Анатолий Федорович два десятилетия в Штатах – и ничего. Москва без него не завяла.

– С Добрыниным дело ясное. Без него Вашингтон не может.

Во второй день визита, будучи наедине с Брежневым, говорю ему:

– Вы человек слова. В 1976 году вы твердо обещали отозвать меня с дипломатической работы после вашего нового визита в ФРГ. Помощники, видимо, сообщили вам, что мое намерение сменить род занятий твердо, как никогда.

– И без помощников я помню и подтверждаю свое обещание. Считай, что вопрос решен.

Я не видел Брежнева с полгода, и перемены к худшему бросались в глаза. Чаще всего он пребывал во взвинченном состоянии, и сопровождающие лица, включая Громыко, старались не попадаться ему на глаза. Не по летам старый человек, числившийся лидером великой державы, отдавался в общество телохранителей и обслуги.

Перечить ему, по медицинским соображениям, не полагалось. Все дела обделывались за спиной генерального. Оставалось поймать момент, чтобы заручиться его формальным «добро». Подступало время какого-то мероприятия, остатками воли Брежнев взнуздывал себя, читал заготовленные А. М. Александровым и А. И. Благовым бумажки. Даже под задававшиеся по ходу бесед вопросы тут же строчились ответы, которыми вооружался главный гость.

Л. И. Брежнев смутно чувствовал, насколько нелеп гибрид театра теней с театром масок, и после каждой из встреч возбуждался еще больше, чтобы затем погрузиться в апатию. Не хочется сказать – в депрессию.

Сначала я не очень сориентировался, чего ради Громыко

охотно меня отряжал к генеральному. Раньше мои уединения с ним вызывали жестокую ревность. Теперь они могли сойти за громоотвод. И по человеческим, и по политическим мотивам я не уклонялся от схимны. Без разговоров по душам еще труднее было бы готовить Брежнева к исполнению тягостных для него обязанностей. Но стоило придать нашим беседам политическую окраску – и как это ему удавалось засекать! – министр встревал: «не утомляйте Леонида Ильича», «не сбивайте его с толку» и пр.

О ракетах средней дальности разговор впереди. Тут о сущей мелочи.

Программой предусматривалось посещение Брежневым родного города Г. Шмидта – Гамбурга. Я обращаюсь к нему:

– Леонид Ильич, гамбуржцы народ своеобычный. Они орденов не принимают, а иногородцы, кто там поселяется, имеющихся не носят. Не сочтете ли вы целесообразным принять во внимание эту традицию? Думаю, такой жест был бы оценен.

– Спросим главного нашего протокольщика – Громыко.

Министр не находит ничего лучшего, как заявить:

– У них свои традиции, у нас свои. Чего тебе, Леонид, стесняться показывать свои честно заслуженные награды?

Брежнев носил в эту пору на груди целый иконостас, навлекая на себя бесконечные насмешки. Д. Ф. Устинов и К. У. Черненко за запевал, А. А. Громыко, Ю. В. Андропов, М. А. Суслов за ассистентов подбрасывали ему все новые побрякушки. Лишь бы не мешал.

Что случилось летом – осенью 1973 г. и обусловило закат разрядки, прежде чем она успела в должной степени проявить себя? Не субъективен тот, кому все безразлично. Я не намерен делать вид, что тогда или после мне все было известно. Это будет одно из мнений, которое, однако, я готов защищать.

Спросим себя для затравки: могут ли быть договоренности надежным индикатором состояния международных отношений и в особенности их перспектив, если они замыслены как маневр, обслуживающий закамуфлированную конфронтацию? Не спешите заметить, что ответ содержится в самом вопросе. Обратимся к свидетельствам маститого архитектора политики в администрации Р. Никсона.

Тяга к разрядке, согласно госсекретарю Г. Киссинджеру, вызывалась тремя разностепенными интересами: во-первых, «тактическими соображениями», связанными со стремлением переиграть Советский Союз, поскольку США не были в состоянии достаточно быстро продвигать свои стратегические программы и требовалось как-то «остановить советское наращивание» без заключения «постоянных соглашений, которые ограничивали бы

модернизацию американского арсенала»; во-вторых, избежать ядерной катастрофы; в-третьих, необходимостью ослабить нажим американских сторонников мира.

«Под прикрытием разрядки, – напишет Г. Киссинджер десятилетие спустя, – фактически продвигалась наша политика, состоявшая в том, чтобы сократить и, где возможно, устранить советское влияние на Ближнем Востоке». Г. Киссинджер не претендует на исчерпывающий ответ. О многом другом, им недосказанном, мы узнаем со слов американских военных, дипломатов, ученых, журналистов. Конечно, тоже в отрывках. Впрочем, достаточных, чтобы прийти к неутешительному заключению.

Рассуждая о мирном сосуществовании, о партнерстве, а на пике разрядки – о равной безопасности, США ни на йоту не отдалились от ставки на силу, и вероломство составляло один из элементов ее. В своей изменчивости американская политика соперничала с вирусом гриппа. Для нее «ядерный мир» являлся (отошлю вас к Г. Холлингсу и соавторам книги «Покорение войны») не стабильным и постоянным состоянием, а лишь «перемирием без урегулирования». Холодную войну Р. Никсон переименовал в холодный мир, в котором США должны продолжать мыслить категориями «победы».

Москва устала на рубеже 60–70-х гг. от напряженности. Она искала хотя бы передышки и охотно пошла навстречу поданным из Вашингтона сигналам – ядерная катастрофа поглотит всех, ее предотвращение должно стать общей заботой двух сверхдержав. Мы соблазнились яблоком, не ведая, что, в отличие от библейского, оно было насквозь червивым. У американского замысла был дальнего задела умысел.

«Под прикрытием разрядки…» – цинично признается Г. Киссинджер. Но разрядка не манекен на витрине, не броский газетный заголовок. Это – система межгосударственных обязательств. Их положено выполнять, а не прикрывать ими свой срам. Следовательно, действуя вопреки совместным декларациям, в коих фиксировался, в частности, взаимный отказ от курса на военное превосходство, в обход временного соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений, договора о противоракетной обороне, соглашения о предотвращении ядерной войны, США распинали право и мораль, за приверженцев и защитников которых себя выдавали.

Читая мемуары Г. Киссинджера, я много раз спрашивал себя: зачем он представляет себя таким неискренним, испорченным, двуличным. «Нельзя быть злодеем другим, не будучи для себя негодяем» – так и просятся сюда строки Б. Пастернака.

Отказываюсь и сегодня верить, что в момент проставления подписей, к примеру, под соглашением о предотвращении ядерной войны помощник президента по национальной безопасности думал то, что написал пятью-шестью годами спустя: Советскому Союзу нужен был жест, и США уступили его настойчивым просьбам, не придавая договоренности никакого значения и не имея в виду ею руководствоваться.

Когда увесистый том «Годы в Белом доме» увидел свет, я первым делом впился не в страницы, где автор повествует о выработке с участием К. Раша урегулирования по Западному Берлину или иным способом упоминает меня, но именно в раздел, касавшийся соглашения о предотвращении ядерной войны. И вот почему.

Большую часть лета 1973 г. мне суждено было провести в больнице. Позвоночник сломан. Лежу неподвижно на вытяжке. Всякие думы колышут голову, благо времени незанятого хоть отбавляй. Режим установили строгий. Даже читать в первые недели не разрешено. Сотрясение мозга вдобавок к позвоночнику. Остается лишь вспоминать.

Перебираю каждую деталь визита Брежнева в ФРГ и сопоставляю его с другим событием – только что завершившейся поездкой генерального секретаря в США. Масштаб разный. Это очевидно. Но взаимосвязь явлений тоже налицо. Вчера заключением восточных договоров Федеративная Республика задавала темп эволюции подходов Запада. Теперь Соединенные Штаты возвращают себе инициативу и как будто вырываются вперед. Соглашение о предотвращении ядерной войны может стать рубежным для всего мирового развития. В нем, если выделить суть, выражено неверие в политику концентрированной силы.

После совместных констатаций 1972 г., что ядерный конфликт чреват катастрофическими угрозами для человечества, подписание соглашения выглядело логичным. Озадачивала быстрота перемен. Но если Советский Союз созрел для них, говорил я себе, отчего надо сомневаться в способности США подняться над чертополохом холодной войны?

Американцам, возможно, труднее. Политика с позиции силы – визитная карточка Соединенных Штатов. Преодоление экстремальной формы насилия внутри – рабства – потребовало гражданской войны. Ныне же под вопрос ставился примат силы, причем в самом грозном, ядерном издании, а с ним догма об американской исключительности. Достанет ли у Р. Никсона пороха и мужества удержаться на новой высоте?

Думается, на этом соглашении Никсон и сломался.

Объяснения постфактум – «русские очень просили», неловко было им отказать; соглашение, как и поцелуи, США ни к чему не обязывает – дурной тон или никудышная политика. Либо то и другое, вместе взятые. К этим объяснениям прибегли в ответ на критику соглашения с СССР извне (в частности, Францией) и возмущение консерваторов дома. Спасая положение, администрация начала сбрасывать из гондолы то, что жгло руки или кололось, и набирать привычный балласт.

Более конкретный вид, по нашим данным, принимали концепции ведения ограниченных ядерных войн («хирургических ударов», «обезглавливания» противника). Форсировалась доработка крылатых ракет различного базирования и баллистических ракет средней дальности с расчетом на их завоз в Европу. Проблематичным или почти бесперспективным делалось включение в процесс ограничений и сокращений оперативного ядерного оружия, а также военно-морских и авиационных систем передового базирования. Венские переговоры о сбалансированном сокращении вооружений и вооруженных сил в Центральной Европе обрекались на бесплодие. В обход договора по ПРО широким фронтом велись НИОКР по элементам борьбы с ракетами.

Спору нет, самое негативное воздействие на политику разрядки, отношение США и других стран НАТО к Советскому Союзу имел новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. В Белом доме отлично знали, что советское руководство сделало все от него зависящее, дабы удержать А. Садата от прыжка через Суэц. Оно не убоялось даже поставить на карту сотрудничество с Египтом. А что в Вашингтоне? Нагнетали в прессе антисоветскую истерию, как если бы за случившимся стояла Москва, и выжидали, будучи (как и мы) уверены, что садатовская авантюра лопнет, и рассчитывая на фоне омрачившихся отношений Египта с СССР разыграть гамбит с Каиром.

Уже в разгар вооруженной схватки, унесшей новые тысячи жизней и повергшей мир в панику так называемой «нефтяной блокадой», Л. И. Брежнев обращается к Р. Никсону с предложением, смысл которого сводился к следующему: США и СССР объединяют свои усилия ради политического урегулирования на Ближнем Востоке и озаботятся тем, чтобы оно стало фактом, если для этого даже понадобилось бы прибегнуть к давлению на своих друзей. Вашингтон уклонился от ответа. Мирное урегулирование без вытеснения Советского Союза из региона ему ни к чему. Стартовала дипломатия «малых шагов». Ей предшествовали или ее сопровождали угрозы взяться за «ядерную дубину».

Израильтяне позволили египетским генералам завести свои войска в глубь пустыни, окружили их, а сами предприняли рейд на Каир. А. Садат, категорически отказывавшийся внимать советам из Москвы, просил о помощи: у Египта нет сил прикрыть свою столицу, выбрасывайте советские заградительные десанты.

Командование Советской армии – а вдруг политическое руководство решится! – приводит в мобильную готовность часть воздушно-десантных соединений. Соединенные Штаты, прознавшие об обращении египетского президента к СССР и связавшие с ним данные аэрокосмической и радиоэлектронной разведок о передвижениях в южных военных округах СССР, подняли по тревоге свои стратегические ядерные средства. Справедливости ради надо упомянуть и о том, что Вашингтон в понятных выражениях объяснил Тель-Авиву, почему он должен сдержать свой пыл.

Соглашение о предотвращении ядерной войны испустило дух на первом же перегоне. Презрев свои же декларации, лидеры США публично угрожают прибегнуть, если потребуется, к ядерному оружию, дабы воспрепятствовать перекрытию нефтяных кранов на Ближнем и Среднем Востоке, и объявляют весь регион сферой американских «жизненных интересов». Впервые за последние двадцать лет опять заговорили об использовании ядерного оружия против неядерных государств, к тому же не обязательно в вооруженной конфронтации.

Если верить западногерманским политикам, при определении концепции разрядки Запад упустил проработать проблематику «третьего мира». Между тем в условиях относительного спада военной опасности соперничество за рынки развивающихся стран, за источники энергии и сырья, находившиеся в «третьем мире», обретало качественно новое измерение. «Третий мир», как некогда при Дж. Кеннеди, получал наивысший приоритет. Подвижки в социально-политической расстановке сил там в ущерб атлантическому сообществу и его друзьям так же нетерпимы, как в Европе. Естественно, перемены с противоположным знаком должны были приветствоваться и поощряться.

Заколебался соучредитель социал-либеральной коалиции В. Шеель. Не возьмусь утверждать, что колебания не вызрели раньше, но в 1973 г. министр в приливе откровенности вдруг говорит мне:

– Разладу я предпочитаю согласие. Социал-демократы, однако, ошибаются, считая, что во имя согласия я вытерплю все. Есть пределы, за которыми сотрудничество с ними может оказаться немыслимым.

Разговор происходил в ресторане «Арагви». В. Шеель пожелал занять свободный вечер дегустацией грузинских яств. Московская часть визита министра протекала как-то бесцветно. А тут еще Брежнев заартачился:

– МИД распоряжается моим временем и навязывает прием каждого министра иностранных дел, приглашаемого в Союз. Совсем недавно мы виделись с В. Шеелем в Бонне и обсудили все вопросы.

Гостю подноготную не сообщишь. Он же находит, первым попав под новый распорядок, что советский лидер замкнул свой интерес на В. Брандте, а его, отвечающего за внешнюю политику, блокирует. Обиды, скопленные при переговорах по Московскому договору и западноберлинскому соглашению, быльем не поросли. Вкупе с добавлявшимися вновь они выплескивались через край. Да и наша сторона, не исключая посла, шаблонно переносила советскую монокультуру выработки решений на западногерманскую почву.

Директор ресторана зовет меня пройти в его кабинет. Звонок от Брежнева. Генеральный спрашивает, как В. Шеель, не очень ли он огорчен тем, что из программы выпала их беседа. Просит передать министру иностранных дел заверения в уважении и пообещать, что при ближайшем случае будет рад продолжить с В. Шеелем боннский диалог.

Приветы переданы в самом лучшем виде. Настроение В. Шееля несколько просветлело, но не в такой степени, чтобы пропало желание философствовать о смысле жизни вообще и политической в особенности. Министр не подвергает сомнению концепцию обновления отношений с Восточной Европой, как таковую, однако не слишком доволен практическими ее плодами. По впечатлению Шееля, добившись признания границ, ГДР, ничтожности мюнхенского соглашения с самого начала, СССР и некоторые его союзники избавились от своих комплексов и их больше ничего не поджимает. Не ошибитесь, давал понять гость, но раскрывать скобки не стал.

Надо разобраться, куда стрелки клонятся, а не бежать докладывать начальству – коалиция дает течь. В. Шеель же, видимо, считает, что предостережение лишь выиграет, если оно закончится многоточием. По пути в Ленинград и в самом городе разговоры на самые разные темы, только не об эффективности политики. В выступлении министра внутренних дел ФРГ Г.-Д. Геншера на традиционной встрече либералов в отеле «Трех королей» в январе 1974 г. Советский Союз не попал даже в число возможных партнеров ФРГ. О потенциальной дружбе, что, расщедрившись, сулили нам пару лет назад, ни гугу. Курс

боннского корабля привязывался к западным маякам. Восточные огни маркировали главным образом передний край опасностей. Я счел необходимым обратить внимание Москвы на эту переакцентировку, учитывая, что Г.-Д. Геншер презентовал свои размышления в качестве будущего председателя СвДП. В. Шеель готовился сменить Г. Хайнеманна на посту федерального президента.

1974 г. ознаменовался серией крупных перемен. Скандал с агентом разведки ГДР Гийомом, внедренным в окружение В. Брандта, побудил последнего покинуть пост канцлера. Уотергейт перечеркнул политическую карьеру Р. Никсона. Назовем два этих имени, и станет ясно – в их отсутствие маршруты движения мировых дел не могли не измениться. Открытым оставалось лишь когда и как.

Когда Брандт проявлял осведомленность в весьма внутренних делах ГДР, он, напомню, совсем не исключал, что кое-какие боннские секреты выуживают восточногерманские рыбаки. Эту сентенцию я замкнул на себя – тебя слушают везде и повсюду, выбирай выражения, если не в состоянии молчать. О существовании чиновника по имени Гийом мне не было известно вообще, и, только увидев его фотографии в газетах, понял, что за человек в приемной провожал меня раз или два пристальным взглядом, когда я переступал порог кабинета канцлера.

Первая мысль – кто-то вознамерился завалить В. Брандта. Если правда, как сообщалось, что Гийом обнаружил слежку за несколько недель до ареста, то почему он не нырнул на нелегальное положение или не бежал в ГДР? Почему не было даже попытки сделать это? Тогдашние и позднейшие разъяснения насчет рискованности такого варианта меня не убеждали.

Г. Венер сразу нацелился на смену В. Брандта. Стало быть, один из оппонентов канцлера обнаружил себя. Кто другой или другие?

Из Берлина поступает обращение Э. Хонеккера – принимая во внимание расположение и доверие В. Брандта к В. Фалину, попросить посла срочно встретиться с канцлером и постараться убедить его не драматизировать произошедшее. Запрос из Москвы, что можно было бы сделать с нашей стороны?

Поагитировать В. Брандта индульгировать руководство ГДР равнозначно тому, чтобы подставляться самим. Давать ему советы? Он советов не просит, и помимо прочего мы плохо знаем реальную картину. Не помешает личное послание Брежнева, которое подтверждало бы неизменность симпатий к В. Брандту и готовность поддерживать и впредь с ним отношения, какое бы решение канцлер ни принял.

Пока рядим да мерим, В. Брандт объявляет о сложении полномочий главы правительства. Сообщение попало в эфир за полночь. Еду в посольство. Отстучал телеграмму. Надо бы вслед и вторую написать – о собственной отставке. Не поймут и обязательно пришпилят ярлык – смалодушничал. Пусть будет по-другому, и о моем зафиксированном уже на бумаге намерении отбыть из Бонна узнает сначала В. Брандт. Беру лист бумаги и изливаю, что у меня на душе. В конверт – и в правление СДПГ, где теперь будет находиться бюро бывшего канцлера.

Послание от Брежнева не заставило себя ждать. Генеральный глубоко сожалел по поводу случившегося. Он заверял, что советская сторона не подозревала о существовании этой мины замедленного действия, иначе порекомендовала бы разрядить ее. Воздавалось должное вкладу В. Брандта в нормализацию отношений ФРГ с Советским Союзом и другими социалистическими странами, выделялась мысль о необходимости, несмотря ни на что, продолжить начатое дело.

Брандт принял меня в штаб-квартире СДПГ. Пертурбации последней недели стоили ему лет жизни. Сопереживание получает отклик.

– Надо позаботиться о том, – говорит он, – чтобы от случившегося наши межгосударственные отношения не пострадали. Что касается ГДР, то печка выгорела. Мешать не буду, но на меня здесь не рассчитывайте.

Говорится это тихо и бескомпромиссно. Печка выгорела, но еще пылает жаром. И нельзя было корить Брандта за то, что он держал себя как человек и только где-то в третью очередь как политик. Хорош был бы я, откликнись на просьбу Э. Хонеккера!

Председатель ставил советское руководство в известность, что социал-демократическая фракция будет рекомендовать на пост канцлера Г. Шмидта.

– Убежден, что он в состоянии обеспечить преемственность на главных направлениях политики. Особенно на первых порах Шмидту понадобятся поддержка и добрая воля советской стороны. Хочу надеяться, что он их встретит.

Через день меня приглашает к себе Шмидт в качестве и. о. руководителя правительства. Будущий, пятый по счету, федеральный канцлер собран больше, чем обычно. Говорит короткими фразами. Порывист в жестах, в каждом движении головы.

– Неожиданно свалились новые обязанности. Меня вполне устраивала прежняя должность, и откровенно жаль, что много внимания займут теперь другие дела. Но президиум партии и фракция решили, что так нужно.

– Думаю, что не потороплю время, если поздравлю вас и пожелаю вам успехов в новом политическом качестве. Если читать немецкую публицистику, то предстоящее избрание вас канцлером не является столь уж неожиданным. Биограф предсказал вам эту перемену, и именно в 1974 году.

– За добрые пожелания спасибо. Успехи, при прочих равных условиях, пропорциональны прилагаемым усилиям. Информируйте, пожалуйста, ваше руководство, что мои усилия будут направлены на закрепление и развитие позитива правительства В. Брандта – В. Шееля. Какой бы вздор ни заполнял газеты в эти дни, в Москве должны знать, что в Бонне меняются действующие лица, а не политика. Хочу рассчитывать, что советская политика по отношению к ФРГ тоже не изменится из-за персональных перемен здесь.

– Москва, несомненно, с удовлетворением примет к сведению эти ваши высказывания. В свете случившегося ее немало занимал и занимает ввиду противоречивых комментариев вопрос, как сложится дальнейший внешнеполитический курс ФРГ. Некоторые заявления официальных лиц побуждали к размышлениям задолго до аферы Гийома.

Шмидт предлагает раскрыть последний мой тезис. Делает бирюзовым фломастером пометки на осьмушках бумаги. Он напомнил этим В. В. Кузнецова, у которого была привычка так же замечать имена, темы, даты на крохотных листках, тут же исчезавших в правом кармане пиджака.

– Условимся так: если у вашего правительства или у вас возникнет недоумение, устранить которое в моей власти, то я в вашем распоряжении. Со своей стороны попросил бы вот о чем. Брандт сообщил мне, что вы планируете вернуться домой. Смена посла в нынешней ситуации тоже дала бы повод для политических спекуляций. Я заинтересован в том, чтобы вы задержались у нас на разумное время.

– Верно, что мною возбуждено ходатайство об освобождении от посольских обязанностей. Это случилось еще год назад. Следовательно, с отставкой Брандта или уходом Шееля с поста министра мои планы не связаны. Наши с вами контакты имеют более древнюю генеалогию, чем социал-либеральная коалиция, и, надеюсь, нет причин, чтобы они сникали.

Г. Шмидт замечает, что советский посол – первый из дипломатов, с которым он беседует в новом положении и до того, как принес присягу в бундестаге. Это говорит само за себя. Он записывает мой приватный телефон и сообщает свои координаты, по которым я смогу найти его в любое время, если возникнет неотложная потребность.

Поутру на другой день я у Г.-Д. Геншера по его приглашению. Впервые ступаю на территорию, где размещаются разнородные, но сплошь серые здания МВД. За семь лет мне не удалось дознаться, отчего правительственные постройки, старые или новые, в Западной или Восточной Германии – за малым исключением – все на одно лицо и в один цвет. Добавьте чуть зелени, и перед вами униформа, в которой волей-неволей чувствуешь себя солдатом.

С Г.-Д. Геншером мы в последний год не встречались. Внешне все вроде бы по-прежнему, если оставить без внимания уставший вид министра. Хлопот и забот у него – врагу не пожелаешь. И свои, и чужие, и не поймешь, откуда сваливающиеся экстремисты. Уголовщина молодеет. Наркобизнес собирает все новые жертвы. Как непросто сохранить веру в гуманное начало, если каждодневно и ежечасно на тебя обрушивается лавина изуверств и извращений.

Министр вводит меня в курс перемен у свободных демократов. В. Шеель в связи с избранием его президентом складывает председательские функции в партии. На этот пост выдвигается его, Геншера, кандидатура. Руководитель МВД и председатель СвДП неважно сочетаются. Он наследует поэтому также правительственное кресло В. Шееля.

Г.-Д. Геншер отмечает, что В. Шеель в своем качестве министра иностранных дел выражал взгляды всей фракции либералов, так же как В. Брандт представлял и проводил в жизнь политику социал-демократической партии. Обоих руководителей, кроме того, держало в рамках коалиционное соглашение, утвержденное депутатами двух правительственных фракций в бундестаге, и, пока соглашение сохраняет силу, ни канцлер, ни глава дипломатического ведомства не могут переложить политический руль.

Другими словами, но примерно то же самое, что я услышал от Г. Шмидта. Слушаю министра, не нарушая вопросами его монолога.

На дипломатическом поприще, продолжал Геншер, многое придется постигать заново. Чтобы не попасть в полон чужих оценок, надо будет засесть за документы. На восточном направлении он лучше ориентируется, так как коалиционная политика здесь определялась с его непосредственным участием. Советский посол сам тому свидетель.

Геншер предложил установить тесный контакт сразу после того, как он примет дела в МИДе. Предложение принимается.

Летом 1974 г. состоялось несколько рабочих встреч попеременно то у министра в офисе, то в моей резиденции.

Геншер держался увереннее и был интереснее при встречах с глазу на глаз. Где-то с августа паузы между встречами растянулись, и постепенно я уравнялся с большинством дипкорпуса в Бонне. В чем-то, предполагаю, не оправдались ожидания партнера, где-то развели нас эволюции в политике ФРГ, на которые я смотрел не отрешенно.

Г.-Д. Геншер быстро поднимется в заметную фигуру на внешнеполитической арене. Но справедливо и уместно отметить, что он взялся везти дипломатический воз, оснастившись своим определенным кредо. Оно раскрылось не сразу, не в один прием обрело контуры. Обобщу суть, как она виделась мне тогда.

Борьба вокруг восточных договоров расколола западногерманское общество, подчеркивал Геншер при наших встречах, и одну из своих главных задач он видит в том, чтобы воссоздать национальное единство во внешней политике.

– Почему общенациональный консенсус по коренным международным проблемам возможен в США или Финляндии, что мешает выработать его немцам?

– Советский Союз первым приветствовал бы, если бы дело оздоровления обстановки в Европе на основе признания существующих реальностей пользовалось поддержкой всех основных политических групп ФРГ, включая ХДС/ХСС. Нам чуждо стремление стравливать отдельные партии, особенно когда речь идет о строительстве прочного мира для всех европейцев. И идея общенациональной политики не вызывала бы сомнений, будь известно, на какой основе единство образуется. Кто кому ради национального согласия уступает? Одно – если оппозиция принимает точку зрения правительства, освященную к тому же волей избирателей на декабрьских выборах, другое – начни правительство двигаться навстречу ХДС/ХСС. Неизбежно встанет вопрос: за счет чего и кого?

Геншер – опытный юрист и искушенный политик. Он избегает говорить о взаимных уступках и компромиссах. По его словам, ХДС вышла из поражения на выборах 1972 г. обновленной. Даже Ф.-Й. Штраус принял позицию «договоры должны исполняться». В интересах коалиции и отношений ФРГ с СССР, а также с другими социалистическими государствами, чтобы внутриполитические споры не переносились на практику.

Всем строем рассуждения министр дает понять, что основы для сотрудничества с ХДС/ХСС на практике не надо создавать. Они уже существуют. Это – известная резолюция бундестага, пристегнутая к закону о ратификации Московского договора. Но слово «резолюция» тоже не произносится.

Все остальное – частности и детали.

Не написано еще текста договора или закона, вокруг которых нельзя было устроить симпозиума интерпретаторов. И не только каждая новая эпоха оснащает нас другими очками для прочтения вчера содеянного, но и всякий новый интерес. Если ФРГ начнет толковать Московский договор не из самого его текста и тем же займется Советский Союз, то, считай, оставаться нам долго в приготовительном классе для повторения пройденного материала.

Национальный консенсус Геншера привязывался мною почти целиком к восточноевропейскому направлению политики ФРГ, что было не точно. О январской (1974) директиве Р. Никсона я тогда не знал. Возможно, что-то было известно о ней союзникам по НАТО, хотя не уверен. Но кризис вокруг Португалии стоял перед глазами.

«Сверхдемократический» режим Салазара атлантистам не досаждал. Волнения обуяли, когда выявилось, что диктатуру свергли не просто офицеры, но офицеры левых убеждений. Вашингтонские ястребы ратовали за контрпереворот с поддержкой его извне. Умеренные полагали, что подорвать позицию левых военных и вытеснить их из политики удастся посредством расстройства экономического положения в Португалии. В. Брандт, он был еще канцлером, брался, кроме того, привести в действие рычаги социал-демократии, чтобы возвращение Лиссабона в лоно ортодоксального атлантизма совершилось без буквальных аналогий с Пражской весной.

Сведения, готов допустить, в чем-то сгущенные, наводили на противоречивые думы, но не заслоняли нимба разрядки. Переговоры в Вене о сокращении войск и вооружений худо-бедно велись. Подготовительная работа к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе обнадеживала. Теплилась жизнь на советско-американских встречах, обсуждавших будущий договор ОСВ-2. В общем, не к чему было паниковать.

Из Москвы информации с гулькин нос, и меньше всего о наших намерениях. О том, что США не являлись тогда непарным шелкопрядом – с середины 70-х гг. Советский Союз тоже стартовал с десяток новейших военно-технических программ, – мне станет известно лишь по возвращении домой осенью 1978 г. «СС-20» не в счет. Об этой «чудо-ракете» слышали даже дети благодаря шуму, раздутому западной пропагандой.

Л. И. Брежнев рассказывал мне, как он пробивал владивостокскую договоренность с Дж. Фордом (ноябрь 1974 г.) об основах ОСВ-2. Против постоянного урегулирования, не включавшего в себя средства передового базирования, выступили советские военные. Американские ракеты и самолеты,

расположенные на базах вокруг СССР, выполняли стратегические задачи и обладали признаками (короткое подлетное время, точность, способность поражать цель с высот ниже радарной видимости) оружия первого удара. Советскому Союзу, аргументировали военные специалисты, навязывается договор, который закрепит превосходство США.

При рассмотрении этого вопроса на заседании политбюро министр обороны А. А. Гречко прилюдно обвинил генерального секретаря, который выступил в пользу ОСВ-2, бравшего проблему военных баз в скобки, в предательстве интересов страны. Если подобный договор будет заключен, то военные снимают с себя ответственность за безопасность СССР, заявил министр.

– Да, он так и выразился, – возмущался генеральный, – предаются интересы Советского Союза. Уже после Владивостока звонил и извинялся. Мол, погорячился. Я ему в ответ: так не пойдет. Назвал предателем при всех, а берешь слова назад втихую.

Л. И. Брежнев не уточнил, имел ли разговор с маршалом Гречко продолжение. Это и не существенно. Важнее другое. В ноябре 1974 г. политбюро не дало генсекретарю полномочий на договоренность с Дж. Фордом. Встречаться можно, но лишь чтобы переубедить президента США.

– А если Форд не примет нашего требования? Разрядку коту под хвост? – спрашиваю я.

Брежнев продолжал возмущаться:

– Молчат соратники. Спорить с военными не хотят. Времени в обрез. Либо ставить в известность Вашингтон, что не получается встреча, либо действовать под свою ответственность. Ладно, лечу, а там посмотрим. Свяжусь из Владивостока с членами политбюро, может быть, передумают. И знаешь, через силу, но уговорю.

Как передают очевидцы, Брежнев около часа объяснялся с Москвой. Частично на простонародном наречии. Сорвал голос. Раскипятился почти до апоплексического удара. Согласие «в принципе» вырвал. Так или иначе, это было его финальное фронтовое сражение.

Дальше – серия глубочайших срывов, которые проф. Е. И. Чазов диагностирует как «тяжелую астению». Замечу, что в своей книге «Здоровье и власть», изданной в 1992 г., Чазов правдивее и, безусловно, честнее, чем кто-либо до него, рисует Брежнева, человека и политика, его звездный час и траекторию падения. Позволю себе не согласиться лишь с двумя моментами.

С частным – неумеренное потребление (в «ударных дозах») снотворных и психотропных средств Брежневым отмечалось до того, как он стал пациентом академика Чазова. В 1964 г., во

время поездки тогда председателя Президиума Верховного Совета СССР на пятнадцатилетие ГДР, меня поразило, в каких дозах врач Н. Г. Родионов назначал ему «успокоительные», в частности, для послеобеденного отдыха. Недоумения я не скрыл и в ответ услышал: «Так надо».

И с существенным – перелом в Л. И. Брежневе-собеседнике, возможно не одномоментно, произошел в 1975 г. Он показался мне столь контрастным, что я заключил – у генерального инсульт. Выражение глаз стало иным – злые и подозрительные, пропал юмор, сместились интересы. Проблески наблюдались, и в том заслуга медиков. Чего, однако, не было, так это подъемов.

В одной из записок М. С. Горбачеву я высказывал несогласие с тем, как подавались Л. И. Брежнев и его время в официальных материалах и пропаганде. Среди прочего отмечал, что после 1975 г. Брежнев являлся лишь номинальным руководителем партии и страны. Фактически правили другие. С них должен был бы быть в первую голову и спрос за кризис, в который все глубже погружались государство и система. Реакции не последовало – не понравилось. Ведь в числе «других» были сам М. С. Горбачев, Э. А. Шеварднадзе, А. А. Громыко и пр.

Повторю во избежание недоразумений: в идиотию Л. И. Брежнев до конца дней своих не впадал, памяти не утратил, иногда даже припекал подхалимов. Посещая в 1978 г. музей 16-й армии в Баку – она держала оборону на Малой земле под Новороссийском, – раздраженно буркнул мне:

– Если судить по экспозиции, 16-я решала судьбу войны.

В ноябре 1981 г., когда я отказался от настоятельного предложения политбюро ехать послом в Японию, Брежнев по телефону советовался со мной о возможных других кандидатах. Сам назвал несколько имен, сопровождая их меткими, на мой взгляд, характеристиками. Тогда же в связи с подготовкой своего визита в ФРГ он по делу интересовался состоянием советско-западногерманского сотрудничества и его перспективами.

– Не послушали меня, – бросил он в сердцах, реагируя на мой прогноз, что скоро «Першинги-2» появятся на территории Федеративной Республики, – попробуй теперь переиначь.

Кого и что переиначь, осталось за кадром. Он переживал упадок разрядки – своего любимого внешнеполитического детища, но ничего поделать уже не мог. Если бы даже захотел.

Удобное место привлечь ваше внимание к истории «двойного решения» НАТО. Заказ на разработку ракеты средней дальности «Першинг-2» был выдан американской промышленности в 1968 г. Четырьмя годами позже США, согласно заслуживавшим доверия сведениям, вступили в контакт с ФРГ и Англией на предмет

размещения на их территориях нового ракетно-ядерного оружия и координации усилий для продвижения соответствующего решения в Атлантическом союзе. Переговоры с нами об ограничении стратегических наступательных вооружений не мешали Вашингтону развивать эту еще невидимую общественности активность, а настояния советской стороны на том, чтобы из процесса разоружения не выпало оружие передового базирования, лишь подстегивали темпы.

Во Владивостоке Брежнев дал согласие на подготовку договора ОСВ-2, имея в виду, что ОСВ-3 и последующие договоренности не заставят себя ждать и проблема промежуточной «серой зоны» найдет там свое решение. США не связали себя твердыми обещаниями насчет расширения сфер договоренности и позаботились о том, чтобы их союзники здесь также не заангажировались.

Объективно Соединенные Штаты ставились перед альтернативой: допустить становление реального военного паритета между Западом и Востоком, который рано или поздно потребовал бы урегулирований по оружию средней дальности, или прервать этот процесс, пока он не стал необратимым. Президент Дж. Форд склонился ко второму. Со ссылкой на предвыборные соображения он положил почти готовый проект договора ОСВ-2 на лед. Избирательную кампанию 1976 г. президент провел под знаком отказа от политики разрядки, выдвижения дополнительных требований к СССР, укрепления военной мощи США.

Пикантная деталь: коррективы в военно-политическом курсе Соединенных Штатов, на которые вынужденно или с готовностью адаптировались их союзники, еще не сопрягались с какими-либо сдвигами в политике Москвы. Ссылки на Эфиопию и Анголу также возникнут позже. Козырная карта – замена выработавших ресурс СС-4 и СС-5 мобильными, трехзарядными «Пионерами» (СС-20) – дается в руки только в 1976 г. 17 января 1974 г., к примеру, когда Р. Никсон подписывал президентское распоряжение № 242, советские «Пионеры» не салютовали «всегда готов» и не до конца еще было ясно, когда они смогут отсалютовать.

Новый президент США Дж. Картер, подобно многим проповедникам, говорил «а», а большую часть алфавита держал в уме. В декабре 1976 г. наше посольство сообщало в Москву, что от преемника Дж. Форда следует ждать рецидивов в духе холодной войны.

Наша сторона предприняла попытки сохранить преемственность в советско-американских отношениях. Брежнев,

выступая в январе 1977 г. в Туле, выдвинул «достаточность» как базовый принцип будущей военной политики СССР. Дж. Картер на это приглашение к сдержанности не отозвался. Затем наши военные вместе с МИДом добавили жару.

Тема военной безопасности и ее возможных моделей регулярно всплывала на моих встречах с канцлером Г. Шмидтом. Понятие «театр военных действий» для Европы абсолютно не годится – тут разночтений нет. Без военной разрядки политическая разрядка нежизнеспособна – на сей счет точки зрения по-прежнему согласуются. Г. Шмидт не говорит о партнерстве в безопасности. В качестве возможной практической цели ему видятся понижение уровней военного противостояния и, как необходимая задача, устранение наиболее ярких диспропорций в составе вооружений, определявших погоду на континенте. По мнению канцлера, не нормально, что ФРГ, занимающая ключевое положение в стратегии США и НАТО в целом, фактически отстранена от решения стратегических проблем в уравнении Запад – Восток. Отсюда интерес к оружию «серых» зон.

Кое-что из речений Г. Шмидта мне знакомо по его размышлениям периода Хардхёэ. Немало, однако, и нового. Увязка фрагментов мирового развития в целое – Европа, Африка, Ближний и Средний Восток, советский «прорыв» в Мировой океан и новая трактовка баланса сил. Банальностей по поводу «коварства» СССР не слышно. Это оттеняет предвзятость и нарочитость критики МИД ФРГ в наш адрес из-за событий в Эфиопии и Анголе или на том же Ближнем Востоке, хотя канцлера никто не заподозрит, что он равнодушен к советскому «проникновению» в сферы западного влияния.

До нашумевшего выступления в Лондонском институте стратегических исследований я не слышал от канцлера намеков, не говоря уже о прямых предостережениях, связанных с замещением устаревших советских РСД современными СС-20. Если не полагать намеком возвращение время от времени к теме оружия «серой» зоны и необходимости придания ведшимся тогда переговорам большей универсальности. Судя по собственным пояснениям Г. Шмидта середины 80-х гг., лондонский призыв предназначался сначала Картеру и затем Брежневу. Но в Вашингтоне истолковали его «примитивно» (Г. Шмидт): вместо включения проблемы оружия средней дальности в каталог переговоров с СССР президент США предложил установить в европейских странах НАТО, которые на это согласятся, американские РСД нового поколения.

Он же, Г. Шмидт, в интервью «Вашингтон пост» (февраль

1983 г.) признал: «С конца эпохи Форда – Киссинджера в американской политике произошло несколько резких поворотов. В результате у общественности сложилось впечатление о намерении вести ограниченную ядерную войну».

Сформулировано деликатно: «впечатление». И почему Шмидт говорит об общественности? Ему лучше, чем человеку с улицы, было известно не только о «нейтронном» психозе Дж. Картера, но и о директиве президента, ориентированной на обустройство Европы под планы реальной ядерной войны. Не уверен, вошла ли в обиход уже в то время такая нюансировка, как «ядерные войны малой интенсивности». Но и без этого дополнительного дробления атома ни у кого не могло быть сомнений – гонка вооружений выводится на более высокий и опасный виток спирали.

От Шмидта я знал, что после трудных раздумий и долгих колебаний он принял идею Дж. Картера о «нейтронизации» территории ФРГ. Канцлеру пришлось развить всю недюжинную свою энергию, чтобы заручиться поддержкой этого проекта кабинетом. Депеша из Вашингтона, что Картер подвешивает «нейтронную бомбу» и отзывает просьбу о принятии в Федеративной Республике этого оружия, шокировала Шмидта.

– Я усвою преподанный урок. Другой раз подобные штучки со мной не пройдут, – заметил он в разговоре со мной.

Не нарушу, полагаю, доверительности моих контактов с коллегой В. Пиантковским, сообщив, что польские друзья получили информацию о ревизии позиции Картера в споре по «нейтронному оружию» за полсуток до публичного объявления об этом. Ввиду важности и срочности предмета В. Пиантковский поднял меня среди ночи, специально приехав к нам в посольство. Он, должен заметить, был одним из самых знающих и солидных дипломатов в Бонне.

Картер, повторю, узрел в лондонском выступлении Шмидта то, что ему хотелось увидеть, и повязал западногерманскую сторону по рукам и ногам. А Л. И. Брежнев или, вернее, А. А. Громыко, Ю. В. Андропов, Д. Ф. Устинов, они уловили, чем пахнет?

С Устиновым обменов мнениями о РСД я не вел и его посылок раскрыть не могу. О позиции Андропова слышал из вторых рук. Как будто были у него не только за, но и против нашей линии, по существу игнорировавшей сигналы из ФРГ. Точку зрения Громыко в состоянии воспроизвести в подробностях, высказанных лично мне.

– Нет никаких оснований думать, – докладываю я, – что Шмидт блефует. Он не оспаривает, что идет замена устаревших

систем, готов даже принять это объяснение при условии, если новое качество и скрытое в нем количество не нарушат устоявшегося соотношения сил в Европе, автономно от макробаланса между СССР и США. Уход от обсуждения темы РСД с западными немцами был бы подарком тем кругам в Вашингтоне и НАТО, которые были и остаются против общеевропейской безопасности.

– Вы предлагаете менять наши ракеты на воздух.

– Я предлагаю предотвратить появление новых угроз нашим интересам. Когда «воздух» превратится в «Першинг-2», разговаривать будет поздно.

– В политике понятия «поздно» не существует.

Примерно в это же время я потерпел очередную неудачу в попытках пригласить советское руководство хотя бы взвесить, насколько наша военная концепция согласуется с меняющейся европейской действительностью. Мои размышления преподносились на фоне информации о проработке в НАТО способов действий, в частности, на случай антирежимных волнений в Польше, ГДР или в других странах ОВД.

Это было после подписания Заключительного акта Хельсинки. Провозглашенный отказ от вмешательства в чужие внутренние дела не мешал атлантистам планировать вмешательство за гранью фола. Особые расчеты связывались с совершенствованием методов вовлечения больших масс населения в уличные демонстрации, расстройства с их помощью структур поддержания общественного порядка, а также «мирного» блокирования в местах расквартирования в странах Организации Варшавского договора советских войск и сужения тем самым возможностей их использования в поддержку союзных властей.

Я предлагал радикально сократить численность вооруженных сил участников Варшавского договора и изменить их построение, имея в виду, что отражение внешних угроз эффективно приняли на себя стратегические силы. Снова выступал за то, чтобы высвобождающиеся средства и ресурсы были направлены на решение социальных проблем и повышение жизненного уровня населения.

Громыко счел эти мои соображения «несвоевременными». Ситуация в странах Организации Варшавского договора подсказывала, на его взгляд, если не расширение военных и карательных институтов, то никак не их свертывание. «Такого же мнения, – утверждал министр, – Юрий Владимирович (Андропов)».

С Л. И. Брежневым этой общей темы я больше не затрагивал. Он детальной информацией не владел и, начни я такой разговор,

наверняка первым делом спросил бы: «Что думают на сей счет Громыко, Андропов и Устинов?» Но от РСД уйти было невозможно. Мне представлялось нечестным, щадя его здоровье, скрывать от Брежнева свои озабоченности.

Не удивляйтесь, придавленный немощью человек рассуждал в чем-то более здраво, чем его дееспособные министры.

– Ты прав. Вопрос есть. США хотят говорить за Европу. Нужно ли это нам? Сомнительно. Шмидт, ты думаешь, держит про запас приемлемую нам развязку?

– Канцлер настаивает на том, чтобы Советский Союз обозначил предел, до которого мы собрались идти с развертыванием СС-20. 50, 100 или больше появится наших ракет? В зависимости от ответа будет определяться окончательная позиция Шмидта.

– Громыко в курсе?

– Разумеется. Но министр не принимает к рассмотрению точек зрения, не совпадающих с его собственной.

– М-да.

Мы продолжили наш диалог с Брежневым в ходе его второго визита в ФРГ (май 1978 г.). Я подводил генерального секретаря к мысли, что обстановка не только требует, но и благоприятствует прояснению и сопоставлению намерений друг друга. Фронты не затвердели бесповоротно, на что указывал также следующий симптоматичный эпизод.

За три-четыре дня до прилета Л. И. Брежнева в Бонн поступает телеграмма: вам поручается согласовать с западногерманской стороной окончательный текст совместного заявления по итогам предстоящей встречи на высшем уровне; за основу должен быть взят проект, обговоренный в рабочем порядке (прилагается); исходите из того, что существенные отклонения от проекта для нас неприемлемы.

Как снег на голову. До этого момента Центр ни сном ни духом не посвящал меня в процесс подготовки заявления. Из телеграммы явствует, что дело на чем-то споткнулось. На чем?

Связываюсь с послом Руфусом. Он после рано унесенного болезнью Зане курирует в ведомстве канцлера наши дела. Посол многозначительно рекомендует обратиться напрямую к Шмидту, который, правда, находится в Гамбурге. Звоню канцлеру домой. Он подтверждает, что возникли осложнения, и приглашает незамедлительно встретиться с ним.

Смотрю расписание рейсов на Гамбург. Шмидта принимает ближайший терминал. Генконсул В. А. Коптельцев встречает меня, и с аэродрома вместе к канцлеру. Худа без добра не бывает – по программе Г. Шмидт устраивает завтрак в честь Л. И.

Брежнева у себя дома. Меня будут спрашивать, как и что в этом доме выглядит. Смогу поделиться впечатлениями.

– Случилось непредвиденное. Я направил Бара в Москву обменяться мнениями по поводу узловых положений заявления (декларации). Он на свой страх и риск сочинил с вашим МИДом проект. Геншер в претензии за то, что его обошли. Кроме того, он возражает против сути ряда положений. Я не собираюсь ссориться со своим заместителем из-за какой-то бумаги, без которой можно было бы и обойтись. Но, естественно, вы оказали бы услугу также и мне, если бы сумели по-хорошему уладить недоразумение с Геншером.

Громыко готовится восторжествовать? Поставил меня перед почти неразрешимой задачей и не моргнув глазом скажет своим коллегам по политбюро: то, что я знал один, теперь очевидно всем – не справляется этот посол с элементарными обязанностями. Министр проделал нечто подобное с Н. Т. Федоренко, нашим постоянным представителем при ООН, М. Н. Смирновским, послом в Великобритании, И. И. Ильичевым, когда отзывал его из Дании, освобождая место Л. Орлову. Настал мой черед.

Интересуюсь у Шмидта, каким идеям он придает значение и что хотел бы видеть непременно отраженным в заявлении? Федеральный канцлер не великий гурман до дипломатической кондитории. Его пожелания не обильны, но вооружения «серой» зоны, подлежащие включению в переговоры, он не упустил упомянуть.

Я почти добрался до сердцевины обещанного вам эпизода. Еще минуту-другую терпения.

Из дома Шмидта связываюсь с бюро Геншера: мне бы нужно встретиться с министром иностранных дел по безотлагательному делу, прошу назначить время и место. Пару минут спустя получаю ответ – сегодня, в 20.00 у Геншера дома, что под Бонном. Чтобы поспеть на нужный самолет, надо немедля прощаться с канцлером.

– Нет, мы не завершили с вами разговора. В Бонн полетите, если не возражаете, на самолете, обслуживающем правительство, а дополнительный час, который в нашем распоряжении, используем для уточнений, где мы находимся и что можно ждать от визита вашего руководителя.

Отложив в сторону злосчастное заявление, мы заканчивали встречу гораздо содержательнее, чем ее открывали. Лишний раз я убеждался, что с Г. Шмидтом нужно было выводить наши отношения на более глубокую воду, и немалую пользу могло бы принести органическое неприятие им тягомотины. Если бы это

зависело только от него, Шмидт двигал бы вперед отношения с СССР не словами, а делами.

Но Громыко смотрел на Шмидта с резервом. Канцлер, по-видимому, не придал значения одному случаю и, возможно, даже забыл его. А мой министр помнил и лелеял.

Участники заседания СБСЕ в Хельсинки на уровне глав государств и правительств (июль 1975 г.) встречаются между собой. Шмидт и Геншер беседуют с Брежневым и Громыко. Федеральный канцлер с иронией замечает, что советско-германские отношения развивались бы плодотворнее, если бы «А. А. Громыко и А. П. Бондаренко держали себя погибче».

Брежнев устал и ждет, когда кончится официальщина и можно будет соснуть. Ему не до шуток. «А. А. Громыко пользуется полным доверием советского руководства и выражает его позицию» – так отозвался генеральный секретарь на реплику Шмидта. Сказал как отрезал. Стороны застегнули на мундирах все пуговицы и принялись начищать их до блеска.

До ухода с поста главы правительства ФРГ Шмидт не был прощен. Громыко вел его по списку своих оскорбителей и предвзято воспринимал все, что исходило от канцлера. По моим наблюдениям, он не был опечален развалом социал-либеральной коалиции. Как-никак с ней кончалась эра Г. Шмидта.

Объяснение с Геншером было для меня не простым, но, смею думать, оно позволило что-то снять из наносного и второстепенного. Канцлер, судя по всему, подробно рассказал ему о нашей гамбургской беседе, о том, насколько я сам ошарашен историей с заявлением и в какое незавидное положение поставлен указаниями Громыко. Мы условились с Геншером сделать все от нас зависящее для достойного выхода.

На переговоры со мной министр уполномочил статс-секретаря ван Белля, которому помогал министериаль-директор Г. фон Браунмюль. Составление нового проекта заняло около суток. Советник посольства В. Н. Попов и я были едины в оценке, что наши западногерманские коллеги держались подчеркнуто кооперативно. Две формулировки мы оставили не до конца прочерченными, да и то, если по правде, чтобы дать Громыко возможность заявить – последний мазок в картине принадлежал ему.

Ван Белль вносит предложение сделать в проекте запись по вооружениям «серой» зоны. Даю на это согласие, но, зная некоторые особенности подходов Громыко, оговариваю, что запрошу подтверждение из Москвы. Подтверждение поступило. Взяв, однако, в руки текст подписанного заявления, вы убедитесь – отсутствует в нем упоминание о «серой» зоне. Что же стряслось?

Сторона ФРГ изъяла его.

Как тогда было принято, проекты советско-западногерманских политических документов пропускались через консультационный фильтр трех западных держав. США, как мы узнали, «порекомендовали» опустить указанную запись. Их поддержали представители Англии и Франции. Переговоров с Советским Союзом по оружию средней дальности чурались. Они были противопоказаны планам размещения в Западной Европе систем средней дальности, восполнявших «пробелы» в глобальной стратегической сети Соединенных Штатов.

Мне не удалось докопаться, кому я был обязан принятием в Москве проекта записи о «серой» зоне. От Громыко слышал, что «политбюро одобрило проект без единого замечания». Возможно, гладко прошло и потому, что предварительно проговорил все необходимое с помощниками Брежнева, благо за несколько дней до начала государственного визита в посольстве установили специальную телефонную связь с Москвой. Не исключено.

Эпизод с «серой» зоной стал для меня поводом, чтобы вернуться к проблеме РСД в разговорах с Брежневым и Громыко уже в ФРГ. Министр любил, поскольку в его власти, сохранять различные варианты. Соответственно я упирал больше на сужение поля для маневрирования, чем на доводы по сути, которые Громыко уже слышал от меня и отклонил. Результат не изменился. Вычленение из уравнения автономного интереса ФРГ его не вдохновляло.

В два захода я тщился расшевелить Брежнева. Задел его слабую струну – приверженность разрядке. Перед встречей в доме Г. Шмидта применил допинг.

– Ситуация напоминает канун Владивостока. Тогда вы переломили инерцию и отстояли единственно правильное в тех конкретных условиях решение. Ныне мы поставлены перед необходимостью упредить развитие с необозримыми последствиями. Если вы дадите канцлеру удовлетворяющий его ответ по количеству наших СС-20, уверен, худшее останется позади.

– Валентин, ну что ты на меня наседаешь. Убеди Громыко.

Сказано это безнадежным тоном. Разве не видишь, что «для них» я больше не авторитет? Зевсом он никогда не был, а теперь чем-то походил на шекспировского Лира.

Г. Шмидт долго не захлопывал дверь, не запирал ее на ключ. Еще один шанс он предоставил советской стороне летом 1979 г., когда по дороге на Дальний Восток (или обратно) специально делал остановку в Москве. На аэродроме в Шереметьево канцлера приветствовали А. Н. Косыгин и А. А. Громыко. Главный предмет

беседы – «довооружение» Запада перед лицом «сверхвооружений» Востока. Шмидт добивался – или Советский Союз раскроет, куда он клонит чашу весов, или ФРГ поддержит «профилактические защитные» контрмеры НАТО. Наши представители сыграли в молчанку.

В 1981 г., не имея никаких полномочий, я поставил перед Шмидтом вопрос так: что ждет он от СССР, какие минимальные акции на нашей стороне должны быть предприняты, чтобы отпала вторая часть уже состоявшегося двойного решения НАТО? Федеральный канцлер к ответу не был готов.

– Для этого надо проконсультироваться с США и другими союзниками.

Бывает же такое везение! Именно в сей момент Шмидта приглашает к телефону генерал Роджерс, главнокомандующий войсками НАТО в Европе. Канцлер оставляет меня одного в своем кабинете. Возвращается с озабоченным лицом. На мой вопрошающий взгляд не реагирует.

От лучшей девушки Франции нельзя требовать больше, чем она имеет, говорят галлы. Мы сами были виноваты. Ни к чему затягивать неловкость. Ссылаясь на то, что мне еще добираться до Висбадена, где меня ожидает пастор Нимеллер, прощаюсь со Шмидтом и с надеждами на избавление.

Очень важно в политике и дипломатии обозначиться в счастливый момент, когда удачно сходятся не только светила на небе, но и звезды различной величины на Земле. Еще важнее для политиков и дипломатов вовремя уйти. Это и много труднее, ибо зависит в основном от тебя самого. Если уже поджимают обстоятельства, считай, что ты запоздал и убираться тебе придется, склонившись как Пизанская башня.

Мой пример показателен. Настоял бы на отставке в 1973 г., спокойно жил бы с чувством исполненного долга. В 1978 г. меня впору было бросать в карцер вместо дьяка или подьячего, что огорчал великого князя вестью о солнцевороте. Оставалось помышлять о недопущении худшего. Добрососедство отдалялось, как мираж в пустыне, – чем ближе, тем дальше.

Все в руцех Божьих, заметит фаталист. Не могу я с ним согласиться. Конфронтация не судьба, а выбор. Это доказали 70-е годы. Конкретные политики породили разрядку, подняли ее на высоту большинству на загляденье. Они же ее и сгубили. Сбили, как жаворонка в небе. Чтобы не пел о радости жизни слишком громко и не обещал перемен слишком щедро.

Разрядка, если верить ее недругам, не оправдала надежд, оказалась малоэффективной. Для понимания происходящего и происходившего больше дает сравнение не позиций двух сторон,

а подходов одного на разных этапах развития. Каких надежд? Заявленных в момент формулирования политики, не оправдала? Или расчетов, вытащенных из тайников или запасников? А может быть, из-за элементарных просчетов? Отсутствие эффективности в отдельно взятый отрезок времени не есть показатель генеральной негодности и неправильности, так же как и сенсационный прыжок в высоту или безумный – в бездну не являются посылкой для выведения некой общей закономерности. Тем более что эффективность в политике чаще всего категория производная от желаемого и желательного.

Рассказ о годах, проведенных в Семигорье, был бы оскоплен, не принеси я благодарности Й. Эртлю и проф. В. Майхоферу, профессору, д-ру К. Шиллеру и К. фон Донани, министрам Г. Фридерихсу и О. графу Ламбсдорфу, Г. Яну и Г.-Й. Фогелю, министрам-президентам земельных правительств, бургомистрам городов, больших и малых, руководителям партий, профсоюзов, общественных организаций, которые почтили меня гостеприимством и вниманием, оказали неформальное содействие и помощь при выполнении обязанностей посла.

Не найди я у них понимания, не ответь на дружеское расположение искренней готовностью быть полезным, верностью данному слову, моя работа потеряла бы в отдаче и привлекательности. Тот факт, что большинство партнеров не утратили ко мне интереса, когда я стал сугубо частным лицом и попал дома в немилость, подтверждает мой принцип: жизнь без пользы другим лишена смысла.

Искренне горжусь дружескими контактами, которые у меня установились с деятелями культуры, искусства, науки, директорами и хранителями музеев. Сожалею, что прямые обязанности оставляли мало времени моим душевным привязанностям.

С красной строки слово покаяния и признательности Г. Бёллю. Покаяния за то, что не сумел сохранить его писем ко мне. Хранил их в служебном сейфе, наивно полагая, что это самое надежное место. Пропали они в августовские дни 1991 г. вместе с некоторыми другими дорогими мне документами и реликвиями. Пропажа – вычет из наследства гуманиста и писателя, и я в ответе за это.

Мотив и сюжет одного из писем мог помочь восстановить Лев Копелев. Он, очевидно, помнил, как нашел в своем почтовом ящике весточку от писателя Г. Бёлля без штемпеля на конверте. Может быть, их было даже две. Друг из ФРГ советовал бросить все и выезжать за рубеж. Ко мне Г. Бёлль обращался с просьбой донести его послание до Л. Копелева, минуя лишние глаза, и

помочь, если получится, с разрешением на выезд. Просьбы были выполнены.

Наш советский бюрократ преуспел в умении вредить стране и системе. Работы художников-нонконформистов ни на какие выставки и в салоны не попадали, музеи их не покупали, ибо они не считались «произведениями искусства». Но попробуй иностранцы купить у этих художников этюды, эскизы, картины и вывезти приобретенные за рубеж. Министерство культуры тут же заявляло свои возражения, мотивированные необходимостью оберегать «…от расхищения художественный фонд страны». Чаще пришлось помогать Г. Наннену. Но пару раз за содействием обращался ко мне Бёлль.

Его привлекало творчество Б. Биргера. Картины опального московского художника были развешаны в кёльнской квартире Г. Бёлля. После того как писатель огорчил наше высокое начальство от политики и литературы, пакостники принялись досаждать ему, как никогда прежде.

Уладили с Биргером. Тут же снежный занос на пути перевода на русский бёллевской «Катарины Блюм». Наши «культуртрегеры» уперлись – и ни в какую. Выручил мой «особый канал».

Когда мы только познакомились с Бёллем, он предложил условиться вот о чем:

– Мы поймем друг друга, если не будем подлаживаться и подыгрывать вы мне, я вам. Считайте меня толстовцем, что ли. Я был и останусь противником любой власти, вашей в том числе. Не потому, что у меня с вашей властью особые разногласия в политике или в чем-либо еще. Просто я на стороне слабых и угнетенных, а они – страждущие во всех странах без исключения.

Воспоминание о Г. Бёлле пригласило автора закончить повествование о своей боннской главе. Из неизбежно фрагментарного изложения выпали многие события. Незаслуженно опущенными оказались имена достойных людей. Опущенными, но не забытыми. В этом не должно быть сомнений.

Если хотите знать, что о вас скажут после смерти, заметил сатирик, поставьте себе памятник при жизни. Но ежели ждать недосуг, то спешите садиться за мемуары – это из моей коллекции наблюдений. Самые рискованные по степени возрастания опасности – воспоминания из области искусств, военных заслуг и политических провалов.

Советское руководство семьдесят лет упрямо держалось принципа: когда обнажается истина, посторонних просят удалиться или удалить. Секретилось все или почти все. Ну ладно – количество и конструкции ракет, самолетов, танков, кораблей. Это можно понять. Но где объяснение тупому нежеланию предать

гласности подлинные документы, проливающие свет не на преступления режима, а на вполне респектабельные решения?

Например, в мае – июне 1945 г., еще перед Потсдамской конференцией и до капитуляции Японии, Сталин подписал приказ о демобилизации. Увольнению в запас подлежало более девяти миллионов военнослужащих, личный состав армии и флота сокращался вчетверо. Приказ не был рассекречен ни по завершении его выполнения в 1947 г., ни при Хрущеве или Брежневе. Мои попытки вытащить его из архивов в годы перестройки результата не принесли. Между тем это было важно не для одной истории, но и для внесения ясности в вопрос: кто и кому угрожал, кто и почему развязывал холодную войну.

Предположим почти невероятное – у лидеров СССР от Сталина до Горбачева имелись веские причины для молчания, для такой постановки информации, что и высшее руководящее звено не владело сведениями о важнейших этапах советской политики в прошлом или настоящем. Даже в момент расцвета гласности в Советском Союзе первое лицо, и исключительно оно, решало, кому в политбюро, Секретариате, правительстве и сколько информационных капель прописать. И если прав Ф. Бэкон со своим «человек может ровно столько, сколько он знает», то дележ информации наверху в известной степени тождествен распределению самой власти.

Конечно, познания, приходящие с властью, не обязательно и не всегда имеют под основой знания. Выступая арбитром истины, власть лишает последнюю смысла, бессмыслицу же выставляет не на осмеяние, а на поклонение, непредсказуемость выдает за добродетель, эхо – за поддержку.

Выпало ли в прошлом человеку пережить всемирный потоп, достоверно не установлено. Вот что сегодня цивилизация захлебывается – это факт. Она тонет в шквале фальсификаций и инсинуаций. «Неумение найти и сказать правду – недостаток, который никаким умением говорить неправду не покрыть» *(Б. Пастернак.* Воздушные пути). Искусство не лгать хотя бы себе самому стало трудным и рискованным как никогда, но оно вместе с тем единственный способ не раствориться во всеобщей лжи.

Многие из читателей, наверное, помнят повальное увлечение в Европе модой на эхо. В Альпах и других местах просаживались состояния в погоне за участками, долинами, ущельями, где эхо звучало особенно отчетливо и повторялось многократно.

В Советском Союзе пестовали культуру политического эха. «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Гардиан», «Цайт», «Шпигель», «Монд» или «Република» помещают положительный комментарий о СССР и его вожде или с помощью ножниц

превращаемый в таковой. Прелестно. Миллионными тиражами такой комментарий воспроизводится в наших газетах. Смотрите, нами восхищаются, завидуют, что у нас такие успехи, такой лидер.

А как обходились с критикой? То, что радиоголоса круглосуточно вещали на 15–20 миллионов постоянных слушателей в СССР, журналы и газеты так или иначе, но тоже достигали сотен тысяч читателей в стране, переводилось, снабжалось грифом «совершенно секретно» и в опломбированном пакете развозилось курьерами по «малому кругу». Случалось, что этот круг состоял из одного человека – генерального секретаря.

Монополизация информации и ее производных, возможно, является худшим из всех подвидов деспотизма. Ведь даже самые мощные прожекторы не высветят суть явлений, лучшие зеркала не отразят обратную сторону вещей. Но заведенный диктатором Сталиным «порядок» продолжался при отце русской демократии М. С. Горбачеве. Он оберегался с той же, если не большей, тщательностью, ревностью, мелочностью.

Что ни говорите, самые великие деспоты – мы сами по отношению к самим себе. Едва заведется неординарная мысль, мы гоним ее, как бастарда, прорежется благой порыв, мы давим его, как досаждающее насекомое. Самая великая провинность утопистов – намерение открыть человека в человеке. На языке хулителей утопий это называлось «выведением новой породы людей». И многие заглатывали фальшивку, не пробуя ее предварительно на вкус.

Вы не спрашивали себя, как так получается: малыши, не умеющие связать и пары слов на своем языке, отлично понимают иноязычных сверстников. Они умеют объясняться с братьями меньшими, а те с доверием идут им навстречу. Не потому ли, что у всех живых существ общие предки – дети? Открывая мир, ребенок, как правило, не стремится его разрушить и подчинить. Но вскоре заложенный от рождения позитив меркнет, стирается, пропадает. Его замещают и вытесняют каноны, те самые, что не отдельных индивидуумов лишают индивидуальности, но целые эпохи. Иными словами, мужая, ребенок не только приобретает, он многое теряет.

По моим понятиям, человека развращают и богатство, и бедность; и опасность, и безопасность; и информация, и дезинформация. Уберечь бы дитя от порочного круга соблазнов, с него бы началась та самая «новая порода» человека. Не придумывать и выводить нечто невиданное, а не портить то, чем одаривает нас природа.

Изъяны и издержки цивилизации – открытая книга с

античных времен. «Урожай самых мудрых и прекрасных наблюдений над человеческими нравами снят, и нам остается лишь подбирать колосья…» – констатировал в конце XVII в. Жан де Лабрюйер. Что мир наш крайне несовершенен по любым параметрам, ныне уверено громадное большинство людей. Техника, особенно военная, переживает за неполные полвека третью революцию. Но как пять или больше тысяч лет назад, кто-то за кого-то определяет, чему быть и чего не сметь. Мужчины решают за женщин, реже наоборот, старики – за молодежь, «великие» нации – за «малые», сильные – за слабых. Чужую беду руками разведу. Свою под сукно спрячу.

В политике люди – приматы. Орудия насилия менялись, а философия насилия будто застыла. Как в XXIV в. до н. э. при фараоне Пиопи I, так и в конце 2-го тысячелетия н. э. властители цепляются за понятия «опустошения и замирения». Кто он, к чему себя предназначает человек, который стал могущественнее человечества со всем его прошлым, настоящим и будущим? Быть варваром из варваров или продолжателем дела Прометеева?

У человека, как и у ракеты, им сотворенной, самое опасное заключено в голове. Если верить апологетам силы, то спасет, не обязательно помилует, оружие. Атомным теперь китам надо доверить нести Землю дальше. Лазерному или инфракрасному глазу следить из космоса за порядком на ней. Меньше всего заботит, что главными жертвами войн, ведись они роботами, останутся народы. А последнее слово техники все человечество может вообще не услышать.

Диалектика момента в крутом изменении соотношения между желательным и данным. Вместо того чтобы вывести рассудок на господствующие высоты в себе самом, человек все еще присматривает таковые на местности или на военно-политической карте.

Чтобы обнаружить новую звезду во Вселенной, нужны более совершенные телескопы. Чтобы открыть опасность там, где вчера еще теплилось сотрудничество, достаточно закрыть глаза на факты. В отличие от прежних поколений мы материально оснащены для того, чтобы не гадать, не двигаться на ощупь, чтобы знать наперед. Все, что было позавчера или вчера, устарело, оно, как и все, что мы делаем и говорим сегодня, не может быть эталоном для завтра и послезавтра. Завтра выдаст собственные ответы и выдвинет новые проблемы. Бессмысленно придумывать вечные рецепты. Задача политики видится в другом – в переводе на язык действий потребностей развития и самой жизни, в недопущении того, чтобы небрежение возможностями сейчас не делало неразрешимыми проблемы завтра.

«Мысль изреченная есть ложь» (Ф. Тютчев). Но смолчать, может быть, почти равнозначно тому, чтобы предать. Неизреченное предостережение против опасности суть преступление прежде всего перед потомками. Мы программируем их будущее без их спроса, навязываем, передавая оружие как эстафету, привычный нам образ мысли и жизни.

Что-то не оформилось до конца, не всему сразу нашлось точное слово. Самое сложное – обозначить место национальным интересам в системе международных координат. Деидеологизация внешней политики через отношения между народами вместо отношений между государствами? Мысль почти сказочная, но не слишком обещающая.

Меня, конечно, не меньше, чем других, касается афоризм: верить в прекрасное гораздо проще, чем не делать плохого. Редкую мысль удавалось довести до ума, не всякую даже выразить внятно. Порой сознательно приходилось выражаться неясно, чтобы исподволь приблизиться к истине, не спугнув тех, кто присвоил право гонять всех и почти каждого от Понтия к Пилату.

В 1972 г., отвечая на вопрос председателя немецкого олимпийского комитета В. Дауме, что понравилось и что не понравилось мне на Мюнхенских играх, я высказал сомнение в правильности концепции олимпийских соревнований как таковых. Они превращены в продолжение конфронтации между нациями и подстегивают национализм, а надо бы с их помощью добиваться противоположного. Как? Распустив на время Игр любые национальные команды, организовав соревнования по возрастам. Повторил то же самое пятью годами позже в связи с заседанием Международного олимпийского комитета. С одинаковым нулевым результатом.

Называйте, как хотите, – пацифизм, романтизм, идеализм. Они и в спорте не проходят, а тут высокая политика. Говорят, с возрастом больше понимаешь, меньше чувствуешь. Не знаю, не знаю. Из Бонна я возвращался в Москву с обостренным восприятием необходимости отказа с обеих сторон от доктрин взаимного гарантированного уничтожения в пользу доктрин гарантированного совместного выживания. Сегодня и на будущее общим знаменателем в политике должно стать достижение не баланса сил, а баланса интересов.

Для этого, однако, надобно совершить конверсию всего мышления, а не только военной экономики. Для этого политике предстоит вернуть себе утраченную нравственность. Нравственность в толстовском смысле: нравственно то, что служит на пользу моему «я». Это – нравственность дикости.

Нравственно то, что служит на пользу тому кругу, который есть мой. Это – нравственность варварства.

Нравственно то, что служит на пользу всему человечеству. Это – нравственность общечеловеческая.

Москва на рубеже десятилетий. Служба на олимпе

Не частый случай в тогдашней практике – советскому послу, возвращающемуся из-за рубежа, дается выбор. А. А. Громыко предлагает стать его заместителем. Исключено. Надо лишь придумать удобную отговорку. В общем, это не сложно – моей судьбой занимается генеральный.

ТАСС. Пост главы агентства держат вакантным для меня почти полгода. Министерская должность. Относительная самостоятельность. Контакт со всеми руководителями. Что еще надо? Привести в норму нервы и в порядок мысли. Кроме того, именно близость к руководству в его великолепной разношерстности меня не вдохновляла. Для этого требовался другой стан.

Эрмитаж и наука – заранее отпадали. Оставался Отдел международной информации ЦК КПСС.

На секретариате (1978), где среди других рассматривался вопрос о моем назначении, М. А. Суслов вдруг предлагает:

– Давайте поручим товарищу Фалину руководство ТАСС партийным решением.

К. У. Черненко вполголоса замечает:

– Леонид Ильич за то, чтобы товарищ Фалин работал в аппарате ЦК.

Суслов:

– Уважим мнение генерального секретаря.

Мое отношение не в счет, им можно пренебречь, а вот мнение повыше!

После окончания заседания Черненко уводит меня к себе. Поздравляет с назначением первым заместителем заведующего Отделом международной информации, интересуется, когда я смогу приступить к новым обязанностям. Мне предстоит еще распрощаться с официальными лицами, коллегами, партнерами, друзьями в Бонне, сдать там дела, подвести кредит-дебет в посольских финансах.

– Надо бы поставить Громыко в известность о принятом решении. Как бы подипломатичней это сделать? – спрашивает Черненко.

– С Громыко я уже распрощался. Более уместным был бы, по-видимому, звонок министру Суслова, который вел секретариат.

– Очень удачная мысль. С Сусловым министр дискутировать не захочет, а Михаил Андреевич не страдает многословием.

Сейчас же, пока Суслов не отправился на дачу, и переговорю с ним.

Набирается нужный номер:

– Михаил Андреевич, неплохо бы известить Громыко о назначении товарища Фалина в ЦК. Министр хотел получить его к себе в замы. Протокол заседания Громыко так и так прочитает, но лучше, если о нашем решении он узнает сегодня и от вас.

Суслов отреагировал неожиданно покладисто:

– Вы хотите подсластить пилюлю. Согласен. Звоню товарищу Громыко.

Не успели мы перекинуться парой фраз с Черненко, ответный звонок Суслова:

– Говорил с товарищем Громыко. Он сказал, что был подготовлен к решению товарища Фалина оставить дипломатическую службу. Если бы его назначили в ТАСС, товарищ Громыко счел бы это подходящим вариантом. А так он принимает решение секретариата к сведению.

Обращаясь ко мне, Черненко замечает:

– Вот ты и заглянул одним глазом во внутренний круг и уловил, как в нем все непросто. Попробуй разбери – мнение ли это Громыко, или Суслов дает понять, что зря к нему самому не прислушались. В Бонне тебе, знаю, досталось. У нас свои условности. Будь осторожен, особенно в первых шагах. Если что непонятно и захочешь перепроверяться – звони или заходи. Леонид Ильич наказал помочь тебе освоиться.

Никогда не поздно начать жизнь сначала. Это новое начало складывалось у меня так. Вчера вечером прилетел. Сегодня распаковался и самое необходимое разложил по видным местам, чтобы не искать. Назавтра отправляюсь в МИД, чтобы пожать коллегам руки на прощание. Еще надо сдать диппаспорт, какие-то бумаги, билеты, иначе зачислят в должники. Клади минимум два-три дня.

Через приемную министра меня разыскал заведующий отныне в ЦК моим отделом Л. М. Замятин:

– Ты почему не в ЦК?

– Начнем с «доброго утра». Далее, мне надо подбить бабки в МИДе после двадцатилетней работы.

– Во-первых, не утро, а день. Во-вторых, ты сотрудник ЦК и нужен здесь. В-третьих, ничего тебе лично оформлять не надо, на это есть клерки. Если нужна машина, высылаю и жду.

Тональность начальственная, манера экзальтированная, прилипшая к Замятину в последние годы. Слышал я немало предостережений. Говорили, что не везет мне с шефами. Не привык брать на веру то, что напоминает хулу. Неужели придется

и ему напомнить, что вежливость и такт никого пока не сделали беднее? Или байку ему рассказать для вступления: если подчиненный поднимает голос на начальника, подчиненный нервный человек; когда начальник шумит на подчиненного, значит – начальник хам.

Второй раз я в служебном кабинете Замятина. Хозяин приветлив. От телефонного затмения ни пятнышка. Он убеждает в полезности дать знать мидовским чиновникам, что их понукания кончились, они теперь от меня зависят.

– Что это дает? С МИДом неплохо бы наладить рабочее сотрудничество. Без него отделу будет трудно, – говорю я.

– Пусть МИД налаживает с нами сотрудничество. Отдел только формируется и должен сразу получить статус, сравнимый с международным отделом или отделом пропаганды, а может быть, и повыше. Мы подчинены непосредственно генеральному.

Это кое-что да значит, возражает заведующий и потом извещает, почему, собственно, меня разыскивал: А. М. Александров интересовался. У него какие-то вопросы или поручения.

Действительно, есть просьбы. Захожу к нему на шестой этаж, где с Александровым мы провели вместе много-много часов.

– Леонид Ильич просил передать, что одобряет ваш выбор. На днях генеральный намерен вручать награды космонавтам. Нужен материал для его краткого выступления. Церемония награждения дает удобный повод представить вас общественности в новом качестве. И последнее. В конце месяца Леонид Ильич отправляется в Баку. Если вы не возражаете, я назову вас в группу официальных сопровождающих.

Коротко и ясно. Открываю дверь, чтобы направиться к себе. Александров говорит:

– Да, Леонид Ильич прикидывает, кого определить в послы на Рейн. Пока остановился на Лапине. Что бы вы сказали?

– Лапин оставляет противоречивое впечатление. Умом не обижен. Интересы разнообразные. Свое мнение имеет и за него постоит. Но характер! Подчиненные стонут. И так было всегда и везде, где бы он ни работал. Не по злобе из людей делает мокрое место, а из-за неуемной сварливости. Пока над ним поблизости есть кто-то, конфликты удается сдерживать в рамках. Но в посольстве он будет в трех лицах: бог, царь и воинский начальник. Не уверен также, что сам Лапин согласится на Бонн. После Пекина он тяжело болел и еле-еле выкрутился. Сейчас хорохорится, но тот сбой не отпустил его психологически.

– Если не Лапин, то кто?

– Двух кандидатов могу назвать без колебаний – Баранова и

Блатова. Если они не на выданье куда-то еще, стоило бы взвесить.

– Блатова не отдаст генеральный. Баранов не готов к загранпоездке по семейным обстоятельствам. Он просил его кандидатуру не называть.

С. Г. Лапин, замечу, действительно не принял сделанного ему предложения, правда без ссылок на здоровье.

Так начался первый день и с ним четыре с четвертью года моей работы в Отделе международной информации ЦК. Ничего существенного к политическому мышлению они не добавили. Нового, положительного. Немало из приобретенного прежде капитала было пущено на ветер. Это время омрачили трагические конфликты, эволюции в союзных странах, брожение и недовольство у нас дома.

Свой первый урок я видел в том, чтобы помочь сотрудникам, поставленным координировать внешнеполитическую пропаганду и знакомить руководителей СМИ, ведущих обозревателей с секретными материалами, избавиться от штампов, найти себя в водоворотах фактов. Скоро у меня сложилось представление о том, кто на что тянет. Люди разные. Это даже на пользу. Настораживало другое – слишком пестрые они по творческим данным.

Отдельную ячейку составляли аппаратные кочевники. Десятилетиями они вращались по внутрипартийной орбите. При самом призрачном видении мира никогда не ощущали потребности в смене очков или хотя бы в просветлении окуляров. Не скажу, что таких большинство, но все же более чем достаточно.

Минуло какое-то время. За рутинными делами меня застиг звонок Ю. В. Андропова:

– Ты собрался собственную политику в ЦК проводить?

Спрашиваю, чем навлек на себя недовольство.

– Мы возбудили судебное преследование Уитни. Суд нашел его виновным в распространении заведомо ложных сведений и приговорил к штрафу. Вокруг Уитни создается атмосфера, понуждающая его убраться из Союза. А ты? Принимаешь корреспондента в здании ЦК и даешь ему интервью. Как это понимать? Один придумал или с Замятиным?

– Замятин ни при чем. Понимать же надо следующим образом. За конкретную ошибку или проступок Уитни наказан. Эта ошибка, как я полагаю, не столь тяжела, чтобы оправдать превращение Уитни во врага и с ним тех, кто делает «Нью-Йорк таймс». Вам известно, что Уитни – родственник Рестона? А что есть Рестон в американских СМИ, комментировать ни к чему. Мне Уитни неплохо знаком по Бонну, и я не считаю, что приговор

тбилисского суда должен менять мое отношение к нему. Сообщение, которое Уитни опубликовал после беседы в здании ЦК, советским интересам не вредит.

Андропов недовольно сопит в трубку. Потом со словами «Ну смотри, смотри» обрывает разговор.

Связываюсь с давно и хорошо знакомым генералом КГБ. Интересуюсь, отчего в его председателе перемены, и явно не к добру.

– Нервничает. Со здоровьем у него неладно. Стал обидчивым и еще более подозрительным. На тебя зуб имеет. Кто-то донес, будто ты нелестно о нем отзывался. Было такое?

– Вздор. Ты прекрасно знаешь мое высокое мнение о Юрии Владимировиче. Даже если я с ним в чем-то не соглашаюсь, то не несу разногласий на торжище, да еще в задевающей его самолюбие упаковке. Кто интригует и зачем?

– Зачем – вычислить нетрудно. А вот кто? Тут есть над чем задуматься. И знай, Юрий Владимирович не сразу отойдет от обиды, даже без реального повода обижаться.

Мой первый личный контакт с Андроповым (он был в то время послом в Венгрии) восходил к тяжелым временам 1955–1956 гг. На Комитет информации был возложен труд анализировать расклад сил в венгерских событиях. Советский посол проявил интерес к комитетским материалам. Позднее, когда он возглавил отдел ЦК, встречи стали более частыми и содержательными.

В 1961 г. А. Ф. Добрынин и я готовили, по поручению Андропова, для Хрущева материал по Китаю для выступления на каком-то совещании. Заказчику сочинение показалось занятным, и он позвал меня для разговора обо всем и ни о чем. Так случается, когда хотят узнать не что человек вычитал, а как он размышляет.

Обнажили музыкальный пласт.

– Из советских композиторов кому отдаете пальму первенства? – спрашивает Андропов, он еще был со мной на «вы».

– Прокофьев вне конкуренции.

– А к Шостаковичу какое отношение?

– Спокойное. Ленинградская симфония – явление. Но большинство других монументальных опусов маэстро не слышу.

– Но его оперная и песенная музыка! – восклицает несогласный Андропов.

На следующее утро – телефонный звонок на квартиру.

– Валентин, а квартеты Шостаковича вы принимаете?

– В своих камерных произведениях он, возможно, из современников сильнейший. Потом, Юрий Владимирович, если я

чего-то в его музыке не понимаю, это свидетельство не против автора, а против слушателя.

На том и сошлись.

Андропов не был похож на типичных функционеров. По интеллекту он резко выделялся против других членов руководства, что, пока Андропов пребывал на третьих-вторых ролях, ему не всегда было во благо. Безапелляционность суждений и наглое поведение коллег его обезоруживало, обижало, побуждало замыкаться в себе. Отсюда весьма сложные отношения у Андропова с другими членами политбюро, когда он сам вошел в его состав, а также с ведущими министрами.

По моему ощущению, Андропов сформировался как человек и политик под воздействием нескольких жизненных катаклизмов. Случай спас его, едва ли не единственного в партийном руководстве Карельской Автономной Республики, при погроме, учиненном по следам «Ленинградского дела». Потом Венгрия. Жестокости восстания и его подавления призраками преследовали Юрия Владимировича до последнего вздоха. Тогда же неизлечимо заболела его жена. Опять не стало дома. Работа – единственное прибежище от самого себя.

Перемещение в Комитет государственной безопасности Ю. В. Андропов принял как тяжкую ношу. Верно знаю, что он немало сделал для изгнания из органов безопасности бесовского сталинского духа. Но, вращаясь в замкнутом, отрицательно заряженном пространстве, Андропов сильно менялся сам.

Недоверчивость, подозрительность, мнительность никогда не облегчают взаимопонимания и понимания в широком плане. А если на человека к тому же обрушивается недуг? И этот человек – политик? Со второй половины 70-х гг. Андропов был привязан к искусственной почке и как человек трезвого ума знал о своем стремительно укорачивающемся веке.

В 60–70-х гг. я регулярно встречался с Андроповым. Это позволяло наблюдать его в динамике. Как уже отмечалось, он сдерживал пыл Громыко и способствовал успеху переговоров по Московскому договору. Противодействие Андропова шапкозакидательству во внешней политике затем привело к открытому столкновению на политбюро с нашим министром. Громыко порекомендовал «каждому заниматься своим делом». Андропов обронил на это: «Во внешней политике у нас разбирается лишь один товарищ Громыко». Председатель и министр продолжали перезваниваться по делам, на заседаниях политбюро и разных комиссий каждый излагал свое мнение. Исчезло, улетучилось тепло из их отношений, не думаю, что прежде во всем наигранное.

Я не разделял позиции Ю. В. Андропова по так называемым диссидентам. Ни по существу, ни по исполнению. Спорил с ним об этом, доказывал, что как общая линия, ничего не решая, она переносит трудности со вчера на завтра. Информировал председателя о методике, применяемой в аналогичных ситуациях развитыми капиталистическими странами, предлагал позаимствовать у них некоторые правовые нормы, отказавшись от идеологизированных понятий («антисоветская деятельность» и т. п.) в наших законах.

Не обрывал отношений с режиссерами Ю. Любимовым или Г. Товстоноговым, когда их отлучили от «двора». «Единственный из советских послов», по словам М. Ростроповича, я встречался с опальным музыкантом, когда он был лишен нашего гражданства. Вернувшись в Москву, приложил много усилий к тому, чтобы расчистить путь к примирению с М. Ростроповичем и другими деятелями культуры и науки. Без успеха. В разговорах с секретарями ЦК отмечал, что о соотечественниках мы почему-то вспоминаем достойно, когда их прах надо переносить в нашу землю.

После объяснения касательно К. Уитни и вовсе загрустил. Если пребывание в аппарате ЦК сведется к перемыванию костей, чужих и собственных, на что мне такая планида? Сидеть и исполнять гимн «как изволите»? Каждый шаг, не подкрепленный дюжиной прецедентов и парой увесистых цитат в свидетельство непорочности «реального социализма», будет отзываться ударом обуха по загривку. Не смогу. Поздно мне струиться. Буду искать случая возобновить тему Эрмитажа. Жаль, что казус с К. Уитни не возник раньше, до поездки с Л. И. Брежневым в Баку.

Путешествие на поезде в Баку и обратно оказалось, против ожидания, поучительным. По маршруту в каждом крупном центре остановка и встреча с областным (краевым) партийным и советским начальством. Моя задача – составлять о встречах краткие сообщения для прессы. Поэтому положено быть рядом с генеральным и засекать, что говорится.

Ночью на станции Минеральные Воды уникальный момент: там сошлись вместе четыре генеральных секретаря – Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, К. У. Черненко и М. С. Горбачев. Они сепарировались от свиты. О чем вели речь, не знаю, но явно не для печати. Со стороны заметно, что говорил в основном председатель КГБ и своими сообщениями не поднимал настроения Брежнева.

Прибытие в столицу Азербайджана. Сплошной театр, раскинувшийся на тысячах гектаров. У генсекретаря поначалу подъем. На вечернем приеме, устроенном в его честь, он взялся

даже декламировать стихи. Сбивается. Александров со своей необъятной памятью подсказывает продолжение. Все – наступает перелом. Брежнева раздражает каждая мелочь. А тут Алиев, бросая вызов тбилисской велеречивости, стелет генеральному один риторический ковер цветастее другого. Несколько раз гость перебивает хозяина: «Хватил, Алиев». Но тот заплутался в восточных узорах. «По домам. На сегодня достаточно». Брежнев поднимается – и к выходу.

За мной выпуск всех материалов прошедшего дня для ТАСС. Утром они должны быть в центральных и республиканских газетах. Звонок К. У. Черненко:

– Верно меня соединили, товарищ Фалин?

– Он самый.

– Леонид Ильич распорядился урезать речения Алиева на две трети. Витийства выкинуть. Если без них прямая речь не получается, давать в изложении. Проследи, чтобы и в республиканских газетах не проскочила отсебятина. Никому не передоверяй. И еще – объясни Гейдару Алиевичу, почему его выступления подсокращаются. Дай легонько понять, что ты действуешь по указанию генсека. Леонид Ильич очень раздосадован, но сам Алиеву выговаривать не хочет, чтобы не обидеть.

Начинаю с объяснений с Алиевым. Он подковал блоху в сей же миг – необходимые указания республиканскому агентству даются.

Корреспонденты ТАСС помогают редактировать текст. Проходим его от корки до корки. Снова на проводе Черненко. Услышав, что с Алиевым все улажено и что скоро материал будет выпущен, благодарит, но просит не снимать все с контроля.

Наутро как ни в чем не бывало хозяин в резиденции Л. И. Брежнева. Тот просматривает газеты. Обращаясь к Алиеву, замечает, что «корреспонденты ТАСС» умело передали и суть, и теплоту вчерашних мероприятий. От того, что местами информация стала компактнее, репортаж выиграл. Хитро подмигнул мне и ждет реакции Алиева. Азербайджанский лидер вторит гостю.

Все на полном серьезе. Как и следующее затем обсуждение «кардинального вопроса»: обратно летим или едем поездом?

– Советники, как скомандуем? – спрашивает Брежнев нас.

Александров и я – за самолет: погода душная и неотложные дела в Москве скопились.

– Не умеете командовать. Едем поездом. Дела никуда от нас не убегут.

На этом и расстались. Александров ворчит: назвали бы

железнодорожный вариант, глядишь, вскоре садились бы в самолет и к вечеру были дома. Спрашиваю, давно ли у Брежнева погас интерес к настоящему делу. Александров предложил «посплетничать», вернувшись в Москву. За семь лет, что я провел за рубежом, многое изменилось. Если без щепетильностей – подурнело.

Обратный путь. В купе у генерала Ю. В. Сторожева, начальника 9-го Главного управления, председатели республиканских КГБ. Они просветили нас об истинной национальной обстановке на Кавказе. В сельских районах фактически две власти, два суда, два образа жизни. Разрыв желаемого с действительным увеличивается. На календаре осень 1978 года. Место действия – Кавказ, регион, в который, между прочим, входит или к которому примыкает Ставропольский край, где секретарствует М. С. Горбачев. Заметьте это, пожалуйста.

Встречи и прощания с местными лидерами выглядят в повторе комично и ненужно. Вся разница – по пути с юга на север они проводились в основном днем.

Дел в Москве действительно не занимать. Еще по дороге в Баку шифровальщики в поезде не успевали обрабатывать телеграммы о кэмпдэвидском «замирении». Американские умельцы предварительно так обработали А. Садата и М. Бегина, что, узрев друг друга, те лобызались, словно соскучившиеся в разлуке любовники.

Антишахская революция в Иране. США обвиняют советскую сторону в поощрении антиамериканской истерии и натравливании толп народа на их граждан.

Афганистан. Сгущаются тучи. Реформы, исполненные лучших намерений, приносят огорчительные результаты. Наши советники часто советуют, пренебрегая тем, что у нас с афганцами разные не часовые, а вековые пояса. Но где умудренность собственных афганских лидеров? Апрельскую революцию делали старшие и высшие офицеры, выпускники западных колледжей и университетов. Многие из них – выходцы из знатных семейств и получили завидное образование.

В отдел стекается подробная информация о переброске, прежде всего Соединенными Штатами, оружия в район Пешевара, где оно передается формированиям, совершающим рейды в Афганистан. Поименно известны агенты ЦРУ, занимавшиеся распределением военного имущества и организовывавшие боевую подготовку моджахедов. На наши призывы к Вашингтону прекратить эскалацию конфликта штампованный ответ: мы ничего не видим, не слышим, не знаем.

На Дальнем Востоке температура ползет вверх. США

тестируют, как привлечь Китай к военному сотрудничеству, разумеется, против СССР. Китайско-вьетнамская напряженность скоро выльется в столкновение.

Ангола. Эфиопия – Сомали. Южный Йемен. Мозамбик. Намибия. Ливия – Чад. Продолжать не хочется.

Оружия везде навалом. Советского в том числе. Здравого смысла дефицит. Его ждут, как дождя в Верхнем Египте, – десятилетиями.

Владивостокская договоренность с Дж. Фордом, вычленившая из пакета оружие передового базирования, проявляла свои шипы. Расчет, что рамочное соглашение удастся в темпе превратить в договор ОСВ-2, за которым последует ОСВ-3, обязательно охватывающий системы средней дальности, не сбывался. Ликвидировать отставание можно броском вперед.

Не воспользоваться ли инициативой Картера – Вэнса? Новая администрация США крепко прошлась по проекту договора ОСВ-2, как он совместными усилиями был положен на бумагу. Поправки отличались несбалансированностью. Это нельзя не отметить. Впрочем, несбалансированностью не большей, чем в 1988–1989 гг., когда мы на договоренность решились. Но в ту пору советская сторона, а если не безымянно – Д. Ф. Устинов и А. А. Громыко держались обеими руками за старую печку, от которой привыкли танцевать, за проект конца 1975 г.

Какие-то надежды теплились у канцлера, когда он вытащил меня для беседы из Тутцинга. Ничего знаменательного для передачи ему я не имел. Наш отдел выходил на Л. И. Брежнева. Но генеральный, визируя бумаги, ничего уже не решал. Чем больше бумаг ему подсовывалось, тем меньше он сознавал, что за этими бумагами. Едва ли не последняя возможность что-то подправить давалась Г. Шмидтом, специально завернувшим в Москву летом 1979 г. Но, повторю, Косыгин и Громыко сделали вид, что мы обойдемся без взаимопонимания с Федеративной Республикой.

В 1979 г. президент США Дж. Картер поставил вместе с Брежневым подпись под договором ОСВ-2, загодя зная, что США не введут его в силу. Иначе зачем было президенту тут же объявлять, что ОСВ-2 не повлияет на американские планы модернизации, особенно систем средней дальности. Что он имел в виду? Торпедировать ОСВ-3? Факт остается фактом – большинство военных программ США, легализованных при Р. Рейгане, зачиналось в президентство Дж. Картера.

В начале декабря 1979 г. к нам поступили сведения из окружения президента, что Картер решил помедлить с внесением договора ОСВ-2 в сенат. Позднее в разговоре со мной генерал

Скоукрофт, советник в делах безопасности Картера и его преемников, усомнился в достоверности этой информации. «Вряд ли президент принял бы такое решение без нас или чтобы мы не узнали о том, что нам полагалось знать».

Не буду утверждать, что на верхних этажах в Москве знали лучше, чем на нижнем в Белом доме. Но так или иначе, этим сведениям в Кремле верили. И как было не поверить в свете решения сессии совета НАТО 12–14 декабря о размещении в ФРГ «Першингов-2» и в ряде других европейских стран крылатых ракет наземного базирования? Само «двойное решение» должно было толковаться на фоне знаменательного заявления Дж. Картера 13 декабря. Оно не получило, как мне представляется, освещения и оценки, каких заслуживало.

На чем возводился процесс ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений? На принципе паритета и отказе обоих партнеров от курса на достижение военного превосходства. 13 декабря Картер выдвинул заявку на превращение Соединенных Штатов в военную державу номер один. Президент односторонне объявил обширные районы мира сферой «американских жизненных интересов» и выразил решимость Вашингтона продвигать новые военные программы независимо от результативности ведущихся переговоров по разоружению.

Играла ли смена курса в Вашингтоне роль при принятии решения о советской интервенции в Афганистан? Этого мы можем не дознаться никогда. Почему Ю. В. Андропов изменил свою точку зрения поздней осенью? Весной, во время «мятежа» в Герате, поднятого отрядом моджахедов, проникшим из Пакистана, президент Тараки и премьер Амин обращались к Советскому Союзу с просьбой о помощи войсками. При ее обсуждении в руководстве председатель КГБ четко обозначил позицию:

– Никого не спрашивая, афганцы поднялись на революцию. Им теперь ее и защищать. Если свою революцию они не в состоянии отстоять, значит, совершали ее преждевременно. Поддерживать политически, экономически, поставками оружия – «да», воевать за афганцев – «нет».

Соответствующий ответ ушел в Кабул по радиотелефону. Специально этим каналом, чтобы США, если у них вдруг не пропадет желание слушать чужие разговоры, поняли, куда дело клонится.

В конце лета 1979 г. соотношение сил в Афганистане сместилось не в пользу режима. Не только и не просто военных сил. Лозунги Апрельской революции остались в массах

непонятыми. Что могли сказать слова «социализм», «эмансипация», «гегемония пролетариата» и так далее безграмотным, забитым, нищим людям, составлявшим девять десятых населения, разбросанным на четырех пятых территории государства? Отменили ростовщическую задолженность, забыли, однако, создать кредитный институт на замену. Дали землю. А чем ее обрабатывать, поливать, засеивать? Опять не предусмотрели. Зато отняли муллу, который если и не помогал, то утешал. Превратили весь Афганистан в сплошной враждующий лагерь и поле сражения. Нет, прежде было спокойнее.

От кого теперь защищать революцию и с кем? Вопрос должен был бы стоять даже категоричнее, чем в марте. У меня идут дискуссии с М. В. Зимяниным. Он согласен, что нас втягивают в авантюру с более чем сомнительным финалом.

19–20 декабря 1979 г. звонит Андропов. Его интересует мой прогноз в связи с «двойным решением» совета НАТО. Даю в недипломатических выражениях оценку линии советского МИДа. Для собеседника это не новость, и он уточняет, можно ли что-то еще предпринять. Отвечаю зло – поставить свечку в соборе.

– Думаешь, компромисса не найти?

– Тех, кто был готов к нему, мы оттолкнули.

– Ладно, продолжим разговор попозже, когда ты остынешь.

Прошу Андропова не класть трубку, у меня есть вопрос к нему:

– Хорошо ли взвешены последствия решения войти в Афганистан? Англичане не управились там за тридцать восемь лет, ведя борьбу один на один. Техника боя изменилась, но не люди. Люди в Афганистане те же, и живут они так же, как век назад.

На другом конце провода тишина, оборванная голосом с непривычно жесткой интонацией:

– Откуда тебе известно, что есть решение о вводе войск в Афганистан? Что известно тебе, вполне может стать известно другим, хотя о сути происходящего положено пока знать лишь нескольким высшим руководителям.

– Не суть важно откуда. Важно, что это – правда. Правда, однако, и то, что любого иностранца, вмешивающегося в междоусобицы, плохо принимают в Афганистане. Там терпят по традиции лишь вмешательство золотом.

– Как это не важно, откуда ты знаешь! Моя задача, как председателя КГБ, охранять государственные секреты. Все может крайне осложниться из-за нескольких безответственных болтунов. Предупреждаю, если в разговоре с кем-либо ты заикнешься о том, что обсуждал со мной, пеняй на себя.

Ирония ситуации в том, что о предстоявшем драматическом сломе я узнал от самого… Андропова. Случилось это так. Меня вызвал Черненко и вручил два проекта общего отдела, чтобы при нем внести, если необходимо, редакционную правку. В одном проекте, помнится, обобщались итоги заседаний политбюро за истекавший год.

Зуммер телефона первой связи. Когда трубка не прижата плотно к уху, вы невольно становитесь пассивным соучастником беседы.

Голос Андропова:

– Все развивается по графику. Подтягиваем силы в районы накопления. Погода только неустойчивая, и прогноз не очень. Авиация не то что нужный город, страну может проскочить. Как бы это не сдвинуло сроки.

Афганистан не назывался. Из реплики Черненко – «служил на границе, зимой туманы бывают такие, что долины с горами сливаются» – более чем ясно, что о южном соседе ведется разговор, особенно если вы немножко знакомы с биографией секретаря ЦК.

Черненко смотрит в мою сторону. Прикладывает палец к губам – ни звука.

Будем продолжать обслуживать американскую стратегию? В голове плохо умещалось, что кто-то, знакомясь с информацией, которая в обрывках перепадала отделу, мог этого не понимать. Или ты сам недотепа? И не знаешь чего-то исключительного, что придает совершенно иной ракурс происходящему не в Афганистане, а вокруг него. Масштабы вовлечения в конфликт США, Пакистана, Египта, Саудовской Аравии, Ирана, ряда европейских стран наталкивали на любые предположения.

Не знал я в тот момент легковесного обещания Д. Ф. Устинова управиться к весне – «в Афганистане нет военного противника, который в состоянии нам противостоять». И невольно наползают варианты: что дальше? СССР повторит индокитайский прецедент? Или объявит пояс стран с неустойчивыми режимами вдоль южных границ сферой своих жизненных интересов? Где остановятся США? Региональный конфликт поползет вглубь и вширь?

Последовательность событий в общественной памяти зачастую смещается до неузнаваемости. Видимость явлений, их упаковка, может стать важнее сущности. Для этого миллиарды долларов, марок, франков, рублей перевоплощаются в мириады клише, обволакивающих сознание. Все нежелательное и неприемлемое – от вызовов и проступков другой стороны. Закат разрядки, слышалось со всех сторон, – это Афганистан. Без

Афганистана все вроде бы обстояло сносно. Постепенно даже «двойное решение» начало восприниматься как шаг по предотвращению новых Афганистанов, сделанный после Афганистана. Так удобнее, но не вернее.

Рецидивы болезни ничуть не уступают в опасности начальному недугу. Холодная война под дирижерством Дж. Картера обретала свою специфику. Не удалось нанести поражение Советскому Союзу в военно-технологическом соперничестве – прижмем его в экономике вообще и продовольственном секторе в особенности. Вводится эмбарго на продажу нам зерна. Кукуруза взвешивается в мегатоннах. «50 г мяса в день меньше на столе советского рабочего» приравнивается поборниками холодной войны к политической победе.

В конце 1981 г. в НАТО держат совет: где дополнительно навязать социалистическим странам гонку вооружений, чтобы окончательно расстроить их экономику? Сошлись на том, что самой многообещающей может быть «модернизация» обычных вооружений в Европе. Она требует в пять – семь раз больше средств, чем гонка в ядерной области. Возделывалась почва для трансформирования американской «Армии-2000» в атлантическую «Фофа».

Что ни говори, вступление в 80-е гг. ничем не напоминало бравурных увертюр Вагнера. Мы приглашались вслушаться в финал Шестой симфонии П. И. Чайковского.

Разворачивались события в Польше. Я пишу аналитическую записку. Ее лейтмотив – польская действительность обнажает процессы, в разной степени зреющие во всех социалистических странах. Движение «Солидарность» – звонок нам самим. Чтобы разобраться в причинах происходящего у соседей, надо как следует вникнуть в происходящее в базисе Советского Союза. Только устранив питательную среду массового недовольства у себя, можно надеяться помочь одолеть ее у других.

Заведующий отделом согласен. Ноги в руки, записку в карман, и он у Черненко. Тот дальше первых абзацев читать не стал.

– Вы мне ничего не показывали, я ничего не видел. Записку уничтожить. Мы не Польша, и ничего подобного у нас быть не может.

А. П. Чехов увековечил подобный тип мышления: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Насколько беззаботнее пребывать в сверхуверенности! Ну, если не в состоянии усомниться сам, терпи сомневающихся вблизи себя. Или хотя бы допусти: мир так велик, что нет такого, чего не было бы, как учит китайская мудрость.

Что будет со страной, со всеми нами, если Брежнев настоит на том, чтобы ему наследовал Черненко? В 1980–1981 гг. генеральный носился с этой идеей и в одном из разговоров с Черненко – сообщаю вам факт, а не слух – сказал:

– Костя, готовься принимать от меня дела.

Не исключаю, что те же слова в это же самое время слышал от него и кто-то другой. При всех дворах практикуются подобные игры. Но Черненко выделялся особой преданностью Брежневу, не давал ни малейшего повода заподозрить себя в желании подпиливать ножки трона, на котором восседал немощный генеральный, и это могло перевесить.

Сам постиг или обстоятельства его к этому побудили – осталось нерасшифрованным, но в конце концов Брежнев остановился на Андропове. Оптически решение сделать его кронпринцем оттенялось переводом Андропова на роль второго секретаря в ЦК КПСС и первого при встречах и проводах.

И опять хитросплетения. Председателем КГБ назначается генерал В. В. Федорчук с Украины. Все, кто хочет на эту тему высказаться, в недоумении. Выпускавшему из рук бразды власти Брежневу понадобился во главе ключевого института не политик, а око над политиками. Кто он, гость из Киева? Опричник или?..

Судите сами. Переселившись в бывший кабинет Суслова, Андропов некоторое время остерегался вести в нем, особенно вблизи телефонных аппаратов, разговоры, задевавшие персоналии. Он даже объяснял в доверительной беседе почему: со сменой председателя КГБ новые люди пришли также в правительственную связь. Похоже, Андропов обладал кое-какими познаниями насчет возможностей, которыми располагала эта служба для негласного снятия информации.

«Похоже» – не то слово. У Ю. В. Андропова на определенном этапе развились вкус и некритическое отношение к «техническим средствам» познания чужих душ. Конкретный пример.

Звонок председателя КГБ:

– Фалин, в отделе работает Португалов?

– Да, работает.

– Ты уверен, это правильно, что он у тебя работает?

– Таких вопросов до сих пор как-то не возникало.

– А у меня возникают. Мои ребята записали в ресторане разговор Португалова с одним немцем. Я познакомился с записью – не наш он человек.

– Может быть, вы разрешите ознакомиться с записью и мне?

– Пожалуйста. Я пришлю тебе текст.

– Нет, Юрий Владимирович, пришлите мне запись на языке. Я предполагаю, что разговор велся по-немецки.

– Что, есть разница?

– Еще какая! В переводе родную мать можно не узнать.

– Вопрос снимаю. Только скажи своим сотрудникам, чтобы искали другие места для откровенничаний помимо ресторанов.

Примерно в это же время я стал невольным сослушателем еще одного телефонного разговора Андропова, теперь уже с Зимяниным.

– Михаил Васильевич, ты знаешь такого-то (называется имя человека, до недавнего времени он был послом)?

– Да, конечно.

– Мы решили закрыть ему выезд за рубеж в длительные командировки с женой. Представляешь, днями в одной компании зашла речь о том, что отдельным диссидентам удается совсем неплохо устраиваться в эмиграции. Так этот субъект заявляет: умный человек на Западе не пропадет. Себя, наверное, тоже в умниках числит. Прими, пожалуйста, к сведению, к тебе могут обращаться ходатаи.

Тогда же повели подкоп и под меня. Из США в Москву прибыл известный ученый. Американское посольство просит принять его в отделе ЦК. Что интересует профессора? Как функционирует высшее звено власти. Прекрасно. Есть возможность объяснить, почему при больном лидере далеко не всегда, правда, но в принципе возможны нормальные решения.

Как потом слышал, сведения, почерпнутые профессором из нашей беседы, привлекли внимание администрации в Вашингтоне. А у нас по руководству было разослано донесение КГБ, что американцы «разведывают механизмы принятия решений в Советском Союзе». Имя мое не упоминалось, но, прочитав материал в копии, я знал, кто может попасть в подручные чужой разведки.

Не было ли здесь связи между недоверием, поселившимся у Андропова, и сделанным мне с нажимом предложением отправиться послом в Токио? При первом же разговоре, который вел со мной секретарь ЦК И. В. Капитонов, я выдвинул три возражения: больная мать и нездорова теща, незнание языка и культуры страны, бессмысленность нахождения в Токио при заскорузлости тогдашних наших подходов к Японии. Не помогло. На политбюро постановили – посылать. И если бы не Брежнев, решивший перепроверить в личном разговоре со мной, как я в действительности настроен, лететь бы мне за тридевять земель. А может быть, я упустил свое счастье?

Из-за непродуктивного собеседования по Афганистану в конце 1979 г. желание выносить какие-либо свежие идеи на суд Андропова, честно говоря, пропало. Официальные контакты

сохранялись. Как правило, по его инициативе и сплошь на каверзные темы. Чаще всего после разговора оставался осадок. Обидно было за человека. Проходит или уже прошло его время? Если отставить экономику, где ему было далековато до Косыгина, он на голову был выше остальных и лучше большинства в моральном плане. Обидно и за мою невезучую страну. Андропов приблизился к вершине власти, когда пробил ему час прощаться с жизнью. Физический недуг снедал личность.

Академик Г. А. Арбатов и обозреватель «Известий» А. Е. Бовин интенсивно старались после возвращения Ю. В. Андропова на Старую площадь снять некоторые заусенцы в его ставшем предвзятом отношении ко мне. В октябре 1982 г. у меня состоялись с ним две встречи, достаточно содержательные, чтобы здесь остановиться.

Но прежде – внешнее впечатление о человеке, которого я не видел три-четыре месяца. Очень он изменился. Андропов прочитал по глазам мой невысказанный вопрос и заметил:

– Врачи рекомендовали пройти курс похудения. С пуд сбросил. Как будто на пользу.

Лицо белое, спорит в цвете с седыми волосами. Непривычно тонкая шея, окаймленная ставшим вдруг необъятным воротничком сорочки. Голова кажется еще более крупной. Глаза тоже другие. Они не улыбаются, если даже Андропов шутит. Мысль из них не ушла, но добавилось озабоченностей и печали.

– У нас в распоряжении двадцать – двадцать пять минут, – говорит Андропов.

Докладываю отдельные вопросы, требующие санкции секретаря ЦК или его информирования. Две темы не обойдешь – Афганистан и Польшу.

Памятуя предыдущие обмены мнениями, концентрируюсь на обобщении разведматериалов Генштаба и КГБ. Подвожу аккуратно к выводу – мы увязли в Афганистане, американцам легче продвигать свои планы в других районах мира.

Ю. В. Андропов в реакции лаконичен:

– Думайте, Вашингтон собирался предложить нам разменять Афганистан на Никарагуа. Мы на это не клюнули.

Собеседника больше занимает, или он считает уместнее, говорить со мной о Польше. В период войны, замечает Андропов, надо было готовить платформу для национального согласия в Польше. Соскользнули на обычную схему, хотя она подходила для поляков еще меньше, чем для других. ПОРП в плачевном состоянии и не скоро оправится.

Со своей стороны подбрасываю тезис о типичных для всех европейских социалистических стран кризисных явлениях. На

данном этапе Польша выражает их в наиболее яркой форме.

Андропов смотрит на часы:

– Мы превысили все лимиты, но разговора не завершили. Предлагаю встретиться послезавтра. Резервирую на это час. Для меня было бы интересно послушать твои оценки как по среднесрочным внешнеполитическим проблемам, так и по состоянию наших внутренних дел.

В названный день, хотя и не в назначенный час (секретарь проводил внеурочное совещание, судя по участникам, по Афганистану), я опять в кабинете Андропова. Он более приветлив. Выходит из-за стола, здоровается за руку, предлагает чай. И с места полный газ:

– Выкладывай, что надумал.

Ситуация подходящая, чтобы изложить озабоченности по поводу состояния советского общества, организационного и идейного уровня деятельности партии, функционирования госаппарата. Трезвоним о «монолитном единстве», когда вовсю идет дезинтеграция.

– Вы приезжаете в ЧССР, Польшу, ГДР. Собираются молодежь, люди среднего возраста, старики. Кто-нибудь запевает, абсолютное большинство знает слова песни и мелодию, поют вместе. А что у нас? Текст «Интернационала» на съезде раздаем, без бумажки члены партии и его не споют. Дезинтеграция берет начало с детских садов, школ, университетов. Можно год долдонить о равенстве и справедливости, но если летом, скажем, в строительном отряде на целину или в Нечерноземье едут все, за исключением дитя министра или заведующего отделом ЦК, то, считайте, два семестра в воспитательном отношении пропали зазря.

Андропов перебивает меня:

– Могу обогатить твои наблюдения собственным опытом. Придя в КГБ, я установил порядок, что в учебные заведения комитета принимаются юноши и девушки с девятнадцатилетнего возраста. Помогло. Ведь отбоя не было от звонков пап и мам. У всех чада прирожденные чекисты, и после средней школы, семнадцати – восемнадцати лет от роду, их пристраивали к нам в систему. Продолжай, пожалуйста.

Прохожусь по формализму. Все превратились в исполнителей при отсутствии руководителей. На секретариате обсуждаются какие угодно вопросы, в том числе важные для прогресса в конкретных отраслях промышленности (порошковая металлургия, новшества в технологии сталепрокатки, добыча угля), но только не собственно партийные дела и задачи. Структура аппарата ЦК копирует структуру Совета министров. Перед XXVI съездом я

пытался через К. У. Черненко привлечь внимание к перекосам и необходимости устранить их. Безуспешно.

Почему секретариат не волнует, чем мы кормим народ духовно? Наши радио и телевидение ведут себя так, будто они владеют монополией на эфир. Реальная жизнь стала давно и совсем иной. Перевыполнением планов в прессе мы прилавков не наполним, а людей раздразним.

Что волнует население больше всего? Состояние в здравоохранении, жилищная проблема, положение женщин, молодежная политика, просвещение. В аппарате ЦК этим занимаются безвестные обществу секторы или отдельные инструкторы. Спорт подчинили отделу пропаганды и смотрим на него соответственно.

Андропов прерывает мой монолог:

– Считаешь ли ты правильным, что средней школой занимается отдел науки?

В свою очередь спрашиваю собеседника:

– Когда секретариат рассматривал состояние средней школы или выносил на пленум вопрос о молодежи?

– Насчет молодежи могу сказать – в 1937-м или 1938 году. Я кое-что заметил из твоих откровений. Инициатива по ряду направлений должна исходить не от меня. Теперь сменим тему. Что ждет нас неприятного во внешней политике?

Время завоза американских РСД в Европе определяется сроками их технической готовности. Складывается качественно новая для страны обстановка, пора думать, чем и как отвечать. Усомнился в целесообразности визита Громыко в ФРГ в отсутствие четких представлений, как быть дальше.

– Есть деликатный вопрос, – продолжаю я. – В 1983 году сорокалетие Катыни. Точнее, сорок лет с момента, когда Катынь превратилась в нарицательное понятие. Готовясь к печальному юбилею, необходимо по архивам прояснить как минимум: а) что же Сталин и Берия заявляли полякам в 1941–1943 годах и что обсуждал Хрущев с Гомулкой в 1956 году; б) что из архивов Смоленского, Харьковского и других УВД попало в руки немцев и дальше на Запад и дает основания не принимать советскую версию случившегося; в) что нового установили сами поляки и что не может быть опровергнуто повторением аргументов 1943 года. Конечно, правильнее всего было бы поднять наши первичные документы. Если верить молве, Хрущев предлагал Гомулке воздать должное Сталину за Катынь. Вряд ли такое предложение делалось, если оно вносилось, беспричинно.

– Вопрос серьезный. В одном ты прав – поляки не дадут этой дате пройти незаметно.

– Катынь дает нам самим повод поднять аналогичную проблему перед поляками. Что сталось с десятками тысяч советских военнопленных, попавших к Пилсудскому в 1921 году? Куда они пропали? Наша сторона интереса к прояснению их судьбы странным образом не проявляла.

– Я посоветуюсь и дам тебе знать. Набросай на бумаге то, что ты говорил о молодежи, в общем в первой части сегодняшнего разговора и личным пакетом мне.

В один из ближайших дней поутру мной интересуется М. В. Зимянин:

– Можешь зайти?

– Когда вам удобно?

– Прямо сейчас, пока мы оба не завязли в делах.

Небольшого роста, щуплый, подвижный, как ртуть.

Большую часть войны партизанил в Белоруссии. С партийной работы попал в дипломаты. Будучи послом во Вьетнаме, Зимянин энергично противодействовал тому, чтобы эту страну постигла полпотовская драма. Многие годы редактировал «Правду». Мы с ним знакомы с 1964 г.

– У Андропова, – говорит Зимянин, – есть поручение тебе лично. Приближается сорокалетие Катыни. Надо подготовить соображения, как дальше вести эту проблему и, в частности, реагировать на возможные польские обращения. Свяжись с Огарковым (Генштаб) и Бобковым (КГБ) на предмет мобилизации данных, которые при необходимости могут быть обнародованы. Созыв – за тобой, вопрос неотложный.

Из слов Зимянина видно, что он не посвящен в наш разговор с Андроповым. Мне остается сделать вид, что задание – новость.

Начальник Генштаба сомневается, что у них по Катыни обнаружится что-либо стоящее. Но необходимые поручения дает. Относительно советских военнослужащих, пропавших без вести в польско-советской войне 20-х гг., поднимут архивы.

Ф. Д. Бобков готов принять поручение к исполнению, но в КГБ этот участок за В. М. Пирожковым. Чтобы не вышло накладок, просит уточнить и подтвердить.

Ставлю в известность Зимянина. Высказываюсь за подключение к розыску документов общего отдела ЦК и МИД СССР. Условливаемся, что после доклада Андропову все запустим в работу.

Дальше произошло давно ожидаемое и тем не менее непредвиденное: умер Л. И. Брежнев. Руководству не до Катыни. Андропов занял пост генерального секретаря и вскоре, по-моему 14 ноября, связывается со мной по телефону:

– Выполнил твое поручение и поставил на политбюро вопрос

о целесообразности поездки Громыко в Бонн. Министр считает, что доводы за перевешивают. Никто спорить не взялся. Я решил, что мне брать чью-либо сторону не резон. Пусть едет, если собирается добиться проку.

Что мне сказать? Что наши отношения с Громыко потеплеют еще больше? Что не любое мнение, высказанное доверительно, следует авторизовать? Что пока не имею ответа по Катыни? Не для телефона все это.

– Примите поздравления и пожелания вам сил на посту генерального секретаря. Что касается визита министра в Бонн, я сделал то, что требовала совесть, и остаюсь при своем.

Иду к Зимянину. Надо бы ускорить подключение КГБ и общего отдела ЦК к исследованию катынских документов и материалов. Несколькими часами спустя получаю санкцию на контакт с В. М. Пирожковым.

С этим заместителем председателя КГБ у меня телефонное знакомство со времени истории, когда офицер по безопасности в Бонне собрался установить слежку за мной. Приглашаю Пирожкова к себе на следующий день. Он обещает прихватить с собой «пару досье».

А вечером у меня встреча с председателем КГБ В. В. Федорчуком. Совсем на другую тему.

Я был на последней встрече Брежнева с Кармалем и вынес из нее твердое убеждение – мы загнали себя в трясину. Из «помощников» нас сделали наемниками. Ради кого и чего проливается кровь наших солдат и самих афганцев? Неужели во всем Афганистане не найдется патриотически настроенных людей с современным мировоззрением, которые способны говорить с нами, не отвешивая поклонов и не стараясь перекладывать на иностранцев свои заботы? Когда восточный вельможа говорит «ваше мнение мне приказ», я ему не верю.

Председатель КГБ слушает, но своего отношения никак не раскрывает. Меня интересуют, если уж на то пошло, не его суждения об обстановке, а данные о конкретных афганских деятелях, известных в стране честностью и непреклонностью убеждений. Чаще других компьютер памяти выдает два имени: генерал Кадыр (парчамовец, Х. Амин замучил его почти до смерти в тюрьме) и Ахмад Шах Масуд из вооруженной оппозиции.

Федорчук спрашивает, почему я обращаюсь именно к нему. Отвечаю в не менее прямой форме:

– К кому же мне, простите, обращаться? В комитете скапливается вся информация, сидят бригады аналитиков, вы лучше знаете, что готовится с территории Пакистана.

– Я человек новый в КГБ. Нельзя сказать, что мне удалось

пролистать горы донесений, в том числе по линии внешней разведки. Политические решения, к которым подводит наша беседа, не в компетенции комитета. Без Андропова тут не обойтись.

– Ясно, что смена вех в Афганистане – задача политического руководства, и ни у кого в мыслях нет присваивать его функции. Но если есть потребность и намерение высказать какие-то рекомендации, то надо сначала исследовать факты, все в совокупности, и это не только наше право, но и обязанность.

Председатель замечает, что о генерале Кадыре он слышал лестные отзывы. Но к окончательным суждениям не готов. Предлагает продолжить обмен мнениями после того, как он заслушает своих специалистов. Новой встречи у нас не получилось.

В. М. Пирожков принес не документы, а известную нацистскую «белую книгу» по Катыни и текст доклада Комиссии академика Бурденко. Не понял, что от нас требуется? Объясняю задание генерального и прошу в этой связи раскрыть, чем владеет КГБ.

Как ни в чем не бывало, Пирожков извлекает из атташе-кейса подборку публикаций с аннотацией на русском языке, появлявшихся в разные годы в Польше, Англии и за океаном, копии материалов, фигурировавших в Нюрнберге, и т. п. Примирительно констатирую:

– Очень хорошо, что в комитете тщательно учитываются и собираются все материалы, публикуемые в печати. Это тоже полезно знать при формировании уточнений и дополнений к прежней позиции. Но пересказом известного мы не отделаемся. Ряд вопросов остается неотвеченным и перед поляками, и перед самими собой. Сталину в 1941 году было известно, что польских офицеров нет в живых, известно задолго до появления сообщений об обнаружении захоронений в Катынском лесу. Что из этого следует? Что следует из заявления Берии в том же 41-м году полякам: «Мы совершили трагическую ошибку»?

В ответ Пирожков делает неожиданное признание:

– В КГБ хранится совершенно секретное досье. Оно запечатано с резолюцией «вскрытию не подлежит». Вы предлагаете обратиться к его содержанию?

Гость сказал больше, чем имел право говорить. С этой минуты я знаю: документы существуют. Они не исчезли. Их прячут. Более строгим грифом секретности могло быть только «после прочтения сжечь». Зная нравы комитетских работников старой школы, реагирую следующим образом:

– Мне документальное хозяйство КГБ и правила обращения с

ними не знакомы. Стало быть, я не в состоянии рекомендовать, какие из бумаг и откуда извлекать. Этим займетесь вы в пределах полномочий, которые у вас имеются или могут быть вам даны.

Прошу Пирожкова посоветоваться с коллегами, как ему выполнить свою часть задания Ю. В. Андропова. Мне же, за отсутствием секретных материалов, остается руководствоваться неоспоримыми фактами в их взаимосвязи. Они приглашают к раздумьям.

Первая встреча с В. М. Пирожковым тоже стала последней. Все рухнуло буквально на следующий субботний день.

В понедельник звонит М. В. Зимянин:

– Не слишком ли ты глубоко хватил по Катыни? Держись в рамках.

Пирожков превратно доложил по команде наш обмен мнениями? Дошло до него, что проговорился, и теперь перестраховывается? Оказалось, что первым бросил камень, от которого пошли круги, другой.

Со мной связывается Г. А. Арбатов:

– Надо бы посоветоваться. Я в курсе, что ты завтра летишь на Пагуошскую встречу в Женеву. До отъезда обязательно необходимо увидеться.

«Надо», «необходимо» и голос необычный. К концу дня заеду к моему старому товарищу в институт.

Г. А. Арбатов, бывалый конспиратор, проводит меня в зал ученого совета, где нет телефонных аппаратов.

– Ты что затеял с Катынью? Не представляешь даже, в каком гневе Андропов.

– Ничего не понимаю. Он же сам поручил мне проинвентаризировать и проанализировать все доступные материалы, а также определить, есть ли подоснова у высказываний, приписываемых Сталину, Берии и Хрущеву.

Излагаю содержание своих бесед с генеральным, Зимяниным, Пирожковым, а также с Огарковым.

– Теперь уже я не понимаю. В субботу мы были с Сашей Бовиным у Юрия Владимировича. Он обрушился на нас: «Вы расхваливали Фалина. А он? Задумал мне ножку подставить. Только что был у меня… и рассказал, что, пользуясь служебным положением, Фалин открыл собственное расследование Катыни. Эта проклятая история бьет по мне, как по бывшему председателю КГБ, хотя, когда все случилось, я сам был мальчишкой. Нет, этого я ему не спущу. Найдем Фалину высокую должность, но в ЦК он работать не должен».

Наверняка Андропов с пристрастием допросил председателя КГБ и его заместителя, хотя прямо из слов Арбатова это не

вытекало.

– Не уверен, что привело генерального в большее негодование: Катынь или Афганистан. Остается ждать. Вы бессильны как-либо воздействовать на события. Если только…

Говорю Арбатову, что налицо единственный способ устранить недоразумение – лично объясниться с генеральным. С моей колокольни, никого не украшает, когда один навет, даже совершенный в превратной форме, перевешивает двадцать пять лет отношений.

– Мы завтра же пробьемся с Сашей к Андропову и восстановим истинную картину. Спускать доносчику нельзя, – горячится Арбатов.

– Не тратьте нервы. Меньше всего я хотел бы вас с Сашей подставить. Андропов изменился, и не к лучшему. Стал мнительным и мстительным. Но я был бы признателен, если бы вы передали Юрию Владимировичу следующее: чтобы все встало на положенные места, достаточно пяти минут, и я настаиваю на встрече по возвращении из Швейцарии, где пробуду не более трех дней.

Аудиенции мне не дали. 29 декабря 1982 г. А. И. Блатов доверительно известил меня, что на подпись М. С. Горбачеву направлены бумаги о моем отчислении из ЦК и назначении первым заместителем председателя Комитета Гостелерадио СССР. С ходу звоню Зимянину и прошу о встрече.

– Верно ли, что есть указание о моем отчислении из аппарата ЦК?

– Да, такое решение принято. Ты назначен к Лапину первым заместителем.

– Юрий Владимирович может решить, продолжать мне работать в ЦК или нет. Но чем заняться после увольнения из ЦК, буду решать сам. Ни в какой Комитет Гостелерадио я не пойду. Сразу ставим точки над «i».

– За свою жизнь я тысяч сорок партийных работников проводил на государственную и другую работу. Ни разу осечки не было.

– Считайте, что на сорок тысяч первом вам не повезло. Хватит. Я не железнодорожный вагон, который без конца переставляют с рельсов на рельсы. Вы хотя бы знаете, с чего весь сыр-бор?

– Юрий Владимирович не комментировал нам своего решения.

– В аппарате ЦК нашелся человек, который изобрел такую форму доноса, что задание генерального по Катыни стало выглядеть как подкоп под него.

– Наверное, у Юрия Владимировича случился провал в памяти. При его нагрузках это неудивительно.

– Возможно. Но сути не меняет.

– Моя настоятельная тебе рекомендация – не конфликтуй. Тебе предлагается возглавить серьезное дело – службу радиовещания на зарубеж. Семнадцать тысяч сотрудников. Не артачься.

– Меня на будущее может заинтересовать только работа без единого подчиненного и с одним, не более, начальником. Желательно порядочным.

– Существует ли такая?

– Теоретически да. Политический обозреватель в «Известиях» или «Правде».

– Ничего обещать не могу. Буду докладывать. Боюсь, не понравится все это.

– Пустое занятие – нравиться начальству. Куда важнее – ясность отношений. Я найду способ внести ее и в отношения с генеральным.

Возвращаюсь к себе. Первым делом надо навести ажур в сейфе, чтобы ни одна бумага не затерялась или не появилась лишняя, тебе неведомая. Затем рассортировать книги – свои в коробки, библиотечные сдать. Черновики, наброски, по той же Катыни, – уничтожить.

Настаивать на приеме у Ю. В. Андропова? Прямой разговор со мной ему удовольствия не доставит. Признать, что был не прав, он не может. Не тот характер. Придумывать, глядя тебе в глаза, отговорки? Совесть не позволит. Воспользуюсь, пока не отключили, АТС-1. Обычно аппарат выведен на него самого.

Набираю номер. Андропов берет трубку.

– Здравствуйте, Фалин.

В данный момент я интересуюсь лишь формулировкой отчисления из аппарата ЦК. Если мне отказано в политическом доверии, я складываю не только отдельскую должность, но и мандат в Центральной ревизионной комиссии, и депутатские обязанности в Верховном Совете РСФСР. Андропов:

– Что ты пылишь! Все, что требуется, Зимянин тебе скажет.

– Он уже сказал, но не то, что требуется мне. Я добиваюсь ясности. Вы поверили в навет, потому что отсутствовало должное доверие ко мне. На нет и суда нет.

– Все?

– Нет, не все. Отечеству я отслужил. Четыре десятилетия. Дальше буду делать то, что хочу. Назначений, заранее со мной не согласованных, не приму. А попытаетесь меня ломать, услышите: «Вы не царь, а я не раб». Теперь все.

Таким было мое прощание с живым Андроповым.

Приглашает к себе Черненко. Он в совершенном неведении. Про Катынь слышит впервые от меня.

– Я переговорю с Юрием Владимировичем. Ведь из ничего вся история раздулась.

– Генеральный сам решает, с кем ему работать. Навязываться кому-то в сотрудники или советники не в моих правилах. А после сегодняшнего нашего с ним объяснения пути обратно отрезаны. Убедите его в другом – отказаться от варианта с Гостелерадио. Ни на уговоры, ни на давление я не поддамся.

– Попытаюсь. Я тебя просил зайти еще вот почему. Предстоит идеологический пленум ЦК. Сложный момент в жизни партии и страны. Надеюсь на твою помощь и участие в подготовке доклада, с которым поручено выступить мне. Независимо от того, где ты будешь дальше работать. Скооперируйся с Благовым. Он в курсе.

Я вам уже сообщил, что наш труд с А. И. Благовым пропал безвестно.

Довольно-таки унизительная процедура ухода из ЦК. Вокруг разверзся вакуум. Те, кто вчера старался попасться вам на глаза, прячутся за колоннами или делают вид, что не замечают. Бесчисленные коробки с книгами. Вы их накопили, сами и таскайте. Небольшую разминку перед общим исходом августа 1991 г. я, таким образом, прошел в январе 1983-го.

На три с лишним года (1983–1986) я переквалифицировался в штатного журналиста – политического обозревателя газеты «Известия». Более ста публикаций в «Известиях». Кроме того, статьи в журналах. Активная научная работа. Защита кандидатской диссертации и написание докторской.

Короткий и единственный с 1950 г. период, когда появилась возможность заниматься своим, личным. Предложения со стороны – вести отдельную программу на телевидении, взять на себя какие-то обязанности в ССОДе, преподавать в Дипломатической академии – отклоняю. Под прошлым черта подведена твердо и неколебимо. Исключение – для прежних коллег из-за рубежа, посещающих Москву. Сам отказываюсь от любых поездок за границу, кто бы ни приглашал. Все свободное время отдается научной работе.

Приход к власти М. С. Горбачева был принят мною спокойно. Разумеется, можно приветствовать, что пост генерального достался не старцу, который самостоятельно и двигаться не в состоянии, не то что думать. Вступительным заявлениям нового генсека нельзя отказать в свежести стиля и мысли, а поездка в Ленинград даже позвала – не застрянь в скептиках.

Но подождем дел. Самым громким поначалу суждено было

стать антиалкогольной кампании. Мой спонтанный отклик на ее объявление – холостой залп, в основе эмоции, а не трезвый расчет. Это было сказано в присутствии редакторов в известинской кантине и спровоцировало оживленный диспут. Его итог можно подвести словами: по-старому оставлять нельзя, но действовать следовало бы иначе.

Споры в нашей среде вызывали и другие, шаги не скажешь, инициативы и импульсы нового руководства. Известинцы живо реагировали на них, на подвижки даже в интонациях, но, справедливости ради отметим, без захлеба, показных восторгов и заискивания. Это преломлялось, отражалось, присутствовало на страницах газеты, которую ежедневно читали примерно двенадцать миллионов человек.

В марте 1986 г. я покидал коллектив «Известий» с тяжелым сердцем. Уступил уговорам А. Н. Яковлева и М. В. Зимянина да напору Е. К. Лигачева. Вполне допускаю, что «известинские» метаморфозы 1990–1991 гг. и мое видение тогдашней ситуации не совместились бы. По этой причине я отклонил, между прочим, настойчивые предложения президента принять на себя редактирование газеты. Как бы то ни было, в роли политического обозревателя «Известий» на мою долю выпало бы несравнимо меньше разочарований, чем в большой политике с ее деланым блеском и нравственной нищетой.

Предполагаю, что М. С. Горбачеву моя кандидатура в качестве председателя правления агентства печати «Новости» (АПН) была представлена за шестьдесят часов до открытия XXVII съезда. Так, по крайней мере, следовало из слов Е. К. Лигачева. Уловив, что последний наслышан лишь о моей «крупной размолвке» с Ю. В. Андроповым, и не более того, я спросил его:

– Не получится ли так, что завтра меня утвердят председателем АПН, а послезавтра руководство поверит очередной кляузе? Я навидался всякого. Побывал при Сталине во «французских резидентах», при Андропове был почти пристегнут к некой «германской мафии», не знаю, каких только музеев и частных собраний не ограбил. Может быть, для безопасности у вас на примете есть кто-то другой, к тому же горящий желанием возглавить АПН? Меня должности не прельщают. От них суета и заботы.

Лигачев молвил с серьезным выражением лица:

– Все основное, что нужно знать о вас, нам известно. Будем считать, что в прошлом с вашей помощью мы разобрались. После обеда я буду докладывать кадровые вопросы Горбачеву. Мои сотрудники известят вас о дальнейшем.

Известили – генеральный остановился на моей кандидатуре.

Мне выписаны гостевые документы на съезд. Работники управления делами ЦК, провожавшие меня в январе 1983 г. словно зачумленного, – подчеркнутая предупредительность и вежливость. Реабилитация? Никто не будет требовать от тебя доказательств, что ты не беглый каторжник? Стоит ли реабилитация риска и нервотрепки, неизбежных с погружением в среду, где правят бал тщеславие и алчность?

Перестройка: замысел, осуществление, итог

Что ни автор – у каждого особая точка зрения и собственная точка отсчета. В голос заговорили политики, стоявшие у колыбели нового начала и придумавшие своему замыслу привлекательное и чуть интригующее имя «перестройка».

Н. И. Рыжков, бывший председатель Совета министров СССР, опубликовал книгу-исповедь, окрестив ее «Перестройка: история предательств». Е. К. Лигачев, с 1985 по 1990 г. второй человек в руководстве партии, озаглавил свои наблюдения и размышления «Загадка Горбачева». Сам же и разгадал ее. «М. С. Горбачев предал партию, народ, встал на путь антикоммунизма и ликвидаторства, изменил делу марксизма-ленинизма, открыв путь капитализму в нашей стране».

Вице-председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Б. И. Олейник выступил с памфлетом «Князь тьмы». Это почти мистическая интерпретация деяний М. С. Горбачева-Люцифера, ниспосланного обращать любое добро во зло.

А. Н. Яковлев в книге «Обвал» не задержался на полпути. Для него случившееся – опровержение Ленина и большевизма, Маркса и его утопии. Ибо наукой, полагает «архитектор перестройки», не может быть проекция того, «чего нет в природе». А в природе нет справедливости, и иллюзорно думать о «построении общества социальной справедливости и равенства людей». Сменил марксизм на социал-дарвинизм?

Э. А. Шеварднадзе, если принять на православную веру его заявления 1992 г., внутренне настроился на перестройку задолго до официальной перестройки. Оказывается, «истинность социализма» померкла для него еще тогда, когда первый секретарь ЦК компартии Грузии рвался в регенты хора, славившего кормчего, который увлекал народ «ввысь, в чистое небо, к прозрачным, светлым вершинам коммунизма». Ныне слово «прозрачные» меняется на «призрачные».

Недолго ждать откровений и главного героя перестройки. По ряду признаков, основная трудность, над которой бился и бьется М. С. Горбачев, заключена в дилемме: как выгоднее себя подать – «я тебя породил, я тебя и убил», с намеком на перестройку, или «вы меня породили, а я вас убил», имея в виду коммунистическую партию и советскую власть.

Экс генеральный секретарь партии и экс-президент Советского Союза, тоже приобретшего с его помощью эпитет

«бывший», обозначил социал-демократию в качестве ближайшего своего идейного привала. Другой бы заметил, вопреки яковлевской критике марксизма, что бытие определяет сознание. А мне подумалось, когда весть об очередном чудесном перевоплощении проникла на страницы «Шпигеля», неужто и социал-демократию взялся развалить изнутри?

В отличие от тех, кто все прежнее презрел в угоду новым прозрениям, мне многое по-прежнему неясно. Каюсь, больше всего в жизни я преуспел в накоплении вопросов и сомнений. Они касаются почти всего и вся, не исключая и смысла самой жизни. Не помню, упоминал или нет о своей аллергии на ультраортодоксов и ура-патриотов. Безразлично, из какого инкубатора. Во все времена от них исходило отрицание поиска, а с ним движения к новому качеству.

Возможно, еще не пробил час для однозначных выводов, отчего замысел, зажегший столько радужных надежд, и конечные результаты попыток реформировать «реальный социализм» полярно разошлись. Непродуктивны и коварны потуги сводить всю сложность произошедшего и происходящего к идеологическим или любым другим порознь взятым категориям. Каждая играла свою роль, но предмета не исчерпывала.

Тем, кому опыт перестройки – аргумент в подтверждении расхожего тезиса: эксперимент М. С. Горбачева доказал неосуществимость реформирования социализма в деле, несложно испортить настроение. Для этого достаточно поставить вопрос: был ли мальчик?

Какой строй существовал в Советском Союзе? Именно существовал, а не как он назывался. Что собрались М. С. Горбачев, А. Н. Яковлев и другие перестройщики перестраивать? Берег земли обетованной они обозначили: «гуманный социализм», украшенный всеми институтами народовластия. Но от какого берега отчаливали? Насколько широка, глубока и быстра была вода, разделявшая оба берега? Не удосужились открыть свои глаза, принявшись втирать очки другим.

Найдите объективный ответ хотя бы на эти вопросы, и вы постигнете суть или приблизитесь к ней. Перестройщики, похоже, рассуждали о социализме в его оптимальной на данном уровне развития производительных сил и политико-правовой культуры редакции. Но отталкивались ведь от берега, который был социализму седьмой водой на киселе. Тактически лозунг «перестройка» имел оправдание, привлекая на сторону нового курса максимально широкий круг людей. В стратегическом смысле этот лозунг вводил в заблуждение. Он создавал впечатление преемственности и продолжения, тогда как

перестройка должна была быть разрывом. Не переводом количества в более высокое качество, а новым качеством, создающим иное количество.

Эта мысль была высказана мною летом 1986 г. на совещании, которое проводили М. С. Горбачев, Е. К. Лигачев, А. Н. Яковлев и другие партийные руководители с большой группой главных редакторов, ведущих комментаторов, писателей и политологов.

– Китайцы, – отмечал я, – справились с наследием Мао за три года. «Культурная революция» получила единственно верную и принципиальную оценку: военно-феодальная диктатура. Мы же тридцать лет после XX съезда, на котором был развенчан Сталин, не отважимся сказать всю правду о сталинизме. Не размежевавшись с прошлым, мы не продвинемся в будущее.

Меня перебивают Горбачев и Лигачев:

– Невозможно одновременно делать будущее и заниматься прошлым.

– Можно и должно.

В. Коротич:

– Правильно.

М. С. Горбачев:

– Нельзя перегружать телегу так, чтобы конь споткнулся.

Настаиваю на своем:

– Нельзя идти вперед, увязнув одной ногой в прошлом.

Позднее генеральный предложит положить на бумагу мои соображения о расставании со сталинизмом. Отписал свою «норму» – около 20 страниц. Костяк позиции сложился давным-давно. В канун и в ходе XXVII съезда я агитировал А. Н. Яковлева за то, чтобы воздержаться от принятия так называемой «новой редакции» партийной программы или по меньшей мере не выпячивать в ней темы преемственности. Безуспешно. В записке Горбачеву, построенной как тезисы для возможного публичного выступления, развивалось несколько, на мой взгляд, важных положений.

Сталинизм не просто культ личности. Это – система взглядов, власти, практики, несовместимых с марксистскими представлениями о социализме и демократическими идеалами Октября. Только решительный и безоговорочный разрыв со сталинской идеологией, пронизавшей все поры нашего государственного и общественного устройства, расчистит путь к социалистической перестройке, народовластию, торжеству закона. Сущность совершающихся в стране процессов не должна зависеть от черт характера – добрый он или злой – генерального секретаря, а также малых вождей и столоначальников.

Читал ли записку Горбачев? Читал, и даже вслух, своим

помощникам. Отзывался вроде бы одобрительно. Но этим все и кончилось. Возьмите доклад генерального секретаря по случаю семидесятилетнего юбилея Октябрьской революции. Вопреки всем внешним невзгодам и сталинской диктатуре наперекор – процесс социалистического строительства в Советском Союзе не прерывался. Прибавим демократии, гласности, порядка – и система заработает подобно заново смазанному часовому механизму.

Между тем в 1987 г., когда перестройка опять объявлялась продолжательницей «социалистических преобразований» семи десятилетий – от Сталина до Брежнева, от Ленина до Черненко, ей давался последний шанс поднять идеологическое забрало. Возможно, было даже поздно. Размежевание со сталинизмом, с его изуверской сутью должно было стать прологом перестройки, идейной и нравственной сердцевиной XXVII съезда КПСС. Не стало.

Вместо этого принятие эстафеты от Н. С. Хрущева. В «новой редакции» партийной программы опущены лихое обещание построить за двадцать лет коммунизм и прочие «мелочи». Если бы не опустили, что изменилось бы? Поскольку назначенная дата свидания с коммунизмом истекла, утверждали бы, что «в основном» построили и заняты на «отделочных работах»? Или порешили с такого-то числа «реальный социализм» полагать «реальным коммунизмом» (можно и по-другому – «развитой социализм» считать «недоразвитым коммунизмом»)? Нам ведь к головостоянию не привыкать. Давно забыли, что слушать надо не эхо, а рождающий его звук.

Хрущеву понадобилось три года, чтобы приглушить в себе трепет перед тенью диктатора и под покровом ночи рассказать на ухо делегатам XX съезда, какой он был злодей. К XXII съезду он собирался докопаться до нижних кругов сталинского ада и предать гласности сводные данные о совершенных «под водительством Сталина» преступлениях. Пишу об этом со знанием, ибо помогал одной из рабочих групп в просмотре немецких документов по «заговору М. Н. Тухачевского». Собирался и отказался. На то имелись причины.

Главное – Хрущев не был человеком, готовым сводить счеты с самим собой. Отводя правду от себя, ему не оставалось иного, как приглаживать Сталина.

Но преемникам Хрущева, что им мешало параллельно с критикой волюнтаризма наследника Сталина проинвентаризировать по совести само наследство? Брежнев не только не продолжил десталинизацию, но принялся ее притормаживать, а после разгона пражских «еретиков» скатился к

неосталинизму.

В качестве генерального у Ю. В. Андропова руки не дошли до «феномена Сталина», если допустить, что он склонялся это сделать. После полутора десятков лет председательствования в КГБ объективно он был подготовлен поставить сталинизму точный диагноз.

К. У. Черненко высший политический пост достался благодаря… его недееспособности. Я, пожалуй, соглашусь тут с послесоветским А. Н. Яковлевым, К. У. Черненко – «ослепляюще яркий сигнал катастрофы системы, ее нежизнеспособности». Яковлев упустил заметить, что сигнал этот зажигался не без помощи Горбачева. Он голосовал на политбюро за Черненко.

Не будем, однако, без меры тревожить покой усопших. Здравствующим слово.

Читаешь их новейшие, пышущие страстью откровения – оторопь берет. Они прозрели, лишь потеряв все посты, – так получается? Кем были нынешние ниспровергатели самих себя, обвинители марксизма и большевизма, разоблачители «бесчеловечности государственного атеизма», когда струнили меня, к примеру, за уклонения в АПН? За те же интервью Б. Н. Ельцина в «Московских новостях» и некролог Виктору Некрасову.

Что они на самом деле думали, бездеятельно наблюдая за рушившимися национальными святынями в момент, когда на сей предмет не модно было распространяться? Кто из них присоединился к моим попыткам в 1979–1980 гг. спасти и восстановить храм Рождества Богородицы, где похоронены Пересвет и Ослябя, герои Куликовской битвы русских с монголо-татарами? Что предприняли они в 1986 г. после моего призыва отметить тысячелетие крещения Руси как национальный праздник? Да, позже, уже в 1987 г., А. Н. Яковлев поддержал мою записку на имя генерального с предложениями (отмечу – предварительно неофициально обговоренными с патриархом Пименом и другими высокими представителями духовенства) по достойному празднованию тысячелетия. Меня даже защитили от некоторых сверхретивых «атеистов». Те удовольствовались в конце съедением действовавшего заодно со мной председателя Комитета по делам религиозных культов К. М. Харчева.

В политике, идеологии, музыке, как и в медицине, помимо верно, решающе важно – вовремя. Я мог бы еще объяснить промедления, метания и вихляния с выработкой концепции глубоких экономических реформ. Принять – нет. Допустить, что они шли от боязни оступиться или от знания турбуленций, неведомых большинству, – да. Но где объяснение нежелания в день рождения перестройки внятно заявить:

– Сталинское иго не «специфическая фаза» социализма; Сталин и социализм несоединимы; нет ничего более противоестественного, чем понятие «сталинская модель социализма». Игры в «развитой», «реальный» и прочие варианты социализма сродни попыткам опровергнуть неопровержимое – Сталин выступал как абсолютное отрицание социализма и в теории, и на практике.

Все мы любим вычислять, кто есть кто. Хуже с разбирательством, кто есть и для чего я сам. Разобраться, чтобы для начала поставить опыт на себе, прежде чем посягать со своей теорией на ближних. Для того чтобы вынести приговор Сталину и всей совокупности его действий, воззрений и догм, не требовалось сверхчеловеческого дара постижения. Хватило бы идейной искренности и честности в диалоге, прежде всего с самим собой.

Вы справедливо можете поинтересоваться, а что общественная наука? Общественная наука была убита у нас с конца 20-х – начала 30-х гг. Социологи, философы, экономисты концентрировали внимание не на фактах, а на цитатах из классиков и речениях их наместников, находившихся при исполнении обязанностей. Да и как особенно винить обществоведов, если в большинстве своем они были начисто отрезаны от первичной информации, питались из соски смесью различной калорийности, что готовилась под надзором идеологических шеф-поваров. Перестройка внесла движение и в эту область, сначала робкое, потом лавинообразное, как случается при перемещениях маятника из одного крайнего положения в другое.

Не выдавая желаемое за действительное, я хочу и могу констатировать: униформированная официальная идеология никогда не исчерпывала реальные умонастроения в обществе. Только при неуемном самомнении можно было уверить себя, будто, предавая анафеме другие философские течения и изводя их приверженцев, удастся запретить людям думать или заставить их думать «от» и «до». Меньше всего были в состоянии преуспеть в этом занятии продолжатели сталинизма без Сталина.

Самое раннее и, по-моему, самое емкое определение сталинскому феномену принадлежало в КПСС М. Н. Рютину. В манифесте, написанном им в августе 1932 г., говорилось: «Подлинный ленинизм отныне перешел на нелегальное положение, является запрещенным учением. Этим характеризуется вся глубина теоретического кризиса в партии». И дальше: «Сталин убивает ленинизм под знаменем ленинизма, пролетарскую революцию под флагом пролетарской революции и

социалистическое строительство под флагом социалистического строительства».

Сравните рютинский приговор с паллиативными формулировками XX и последующих съездов, с расплывчатыми оценками первых пяти из неполных семи лет перестройки, и это высветит практически все.

На рубеже 20–30-х гг. Сталин совершил или, правильнее, завершил контрреволюционный переворот в стране. Одновременно он покончил с партией, которая делала Октябрьскую революцию. Но неотвеченным в манифесте М. Н. Рютина остался вопрос, как и когда падение началось.

Мои представления разнятся с трактовками А. Н. Яковлева, высказанными вслух в 1992 г. и, по сути, отказывающими социалистической идее в праве на жизнь в принципе. Столь же чужда мне апологетика посылки о «непрерывности социалистического восхождения», бывшей до 1990 г., в том числе при А. Н. Яковлеве в качестве верховного идеолога, официальной догмой.

Будучи избранным секретарем ЦК, я опубликовал в журнале «Известия ЦК КПСС» статью с изложением своей позиции по Сталину и взглядов на судьбы социализма в нашей стране. Чтобы меня принимали таким, каков я был. М. С. Горбачев в это время еще говорил о «сталинщине» как заблуждениях в пределах «социалистических» исканий.

С мнениями спорить бессмысленно и в чем-то вредно. Смысл имеют дискуссии на базе фактов и вокруг фактов. Последние, несмотря на перехлесты, свойственные любой революции, не перестают быть фактами.

Октябрьская революция не являлась ни «заговором», ни «сектантским переворотом». Ее демократическая природа не оспаривалась даже самыми отъявленными противниками. Неприемлемыми и вызывающими для оппонентов казались «плебейский разворот» демократии, антимилитаристская и социальная направленность первых программных документов Октября, а не режим или структура власти сами по себе.

К власти в Советской России пришло многопартийное правительство. Большевики и эсеры выступали в нем коалиционно, олицетворяя единство интересов рабочего класса и крестьянства. Их союз был залогом недопущения гражданской войны. С двумя крупнейшими партиями сотрудничали различные группы меньшевиков, анархисты, украинские социалисты. Вооруженные силы страны возглавили в основном военные специалисты – не партийцы. Главнокомандующие И. И. Вацетис и С. С. Каменев – беспартийные, из 20 командующих фронтами

только три большевика, из 100 командующих армиями – 83 вне партии.

Кризис начальной конструкции и ее распад стали следствием не споров о социально-экономическом будущем. Их вызвал отказ эсеров поддержать заключение в марте 1918 г. Брестского мира. В знак протеста против принятия Лениным «кайзеровского диктата» они вышли из состава Совета народных комиссаров (правительства), позже скатились к открытой вооруженной борьбе против большевиков, что и обусловило запрет в июле 1918 г. партии социалистов-революционеров.

Как свидетельствует один из самых яростных врагов Октябрьской революции, глава британской миссии в Петрограде и позднее в Москве Локкарт, большинство населения восприняло социальные перемены в России спокойно и даже с симпатией. Тревогу за личную безопасность и имущество испытывали больше перед уголовными элементами и анархистами. И так до осени 1918 г., когда все переменилось с началом Гражданской войны и интервенции, которым, с ложной скромностью замечал Локкарт, «мы способствовали».

Воспользуемся подброшенной Локкартом терминологией – империалистические державы «поспособствовали» тому, чтобы Октябрьская революция, развивавшаяся до сентября – октября 1918 г. преимущественно в мирном русле и при активном вовлечении в политические процессы широких масс, перешла в кровавую бойню.

Формально и интервенты выступали не против социально-экономических реформ, которые в тот период не вырывались за общедемократические понятия. Войска Соединенных Штатов привело в район Архангельска, по официальной вашингтонской версии, «беспокойство» по поводу наступления германских кайзеровских войск на Петроград. На Дальнем Востоке американцы высадились под «впечатлением слухов», будто немецкие военнопленные восстали где-то под Иркутском. Ох уж эти «отвлекающие заявления»! Оказывается, защищали Россию, готовы были признать ее и революционную. Даже на экономическую помощь не поскупились бы, если бы… Если бы большевики подвизались продолжать войну против Германии «до победного конца».

Прислушайся Ленин к президенту США Вильсону, обещавшему дружбу и поддержку за военный союз против кайзеровской Германии, все обернулось бы счастливо? Простили бы в этом случае большевикам «перегрев демократии», который совсем не нравился госсекретарю Лансингу, между прочим дядьке Дж. Ф. Даллеса? Оставляю гадать другим. Я вырвал несколько

эпизодов из летописи былого единственно с целью подчеркнуть древнюю истину – не судите по началу о конце и по финалу о начале.

Осенью 1918 г. первый в новейшей истории режим «прямой демократии», при котором почти все выбиралось и решалось не «от имени» большинства, а самим большинством, сменился «военным коммунизмом». Это считалось временным отступлением от программы Октября, ориентированной на неуклонное вытеснение государственности народовластием. Но воистину нет ничего более постоянного, чем временное. Вынужденный сход с генеральной линии стал на деле отказом и даже отречением от основных идейных и нравственных составных социалистической «утопии», понимавшей себя вначале отнюдь не как тотальное ниспровержение предшествовавшего опыта, а как более высокую ступень демократизма, свободы личности, свободы народов.

«Военный коммунизм» из состояния, вызванного стечением внешних и внутренних факторов, из способа спасения превратился в способ существования. Со своей собственной философией, специфическими институтами, иным устройством власти, отношений между социальными группами и классами, нациями и народностями. Ленинская «новая экономическая политика» была кратковременным отступлением от тяжелой поступи «военного коммунизма», топтавшего и выкорчевывавшего ростки социализма под флагом социалистического строительства, подавлявшего и физически уничтожавшего носителей социалистической идеи. Нэп пережил Ленина на два-три года.

Для меня осенью 1918 г. прервался социалистический процесс в Советской России. Под ним я понимаю созидание шаг за шагом норм и условий социальной, национальной, человеческой справедливости как господствующей морали и практики. Прервался более чем на шесть с половиной десятилетий. Перестройка посулила связать оборванную нить. Этим она привлекла к себе массы. Предав надежду, перестройка казнила самое себя и открыла простор для контрреволюции и реставрации.

Каждый день и каждый час промедления с отречением от Сталина как антипода социализма был преступлением против социалистической альтернативы. Либо дисквалификация сталинизма как антинародной диктатуры и предательства социалистической идеи, либо размежевание с социализмом. Отцы перестройки упустили время разобраться, какое прошлое покидает наше общество. Это «упущение», совершенное при зачатии нового, обусловило большинство тупиков и провалов

перестройки, бесславный ее финал.

Здесь, возможно, уместно констатировать, что, не справившись с перезревшей задачей – расставанием со сталинизмом, перестройщики подставили под удар строй, беременный социализмом. Они уступили совершать антисталинский переворот противникам социализма, вооружили их простым и доходчивым аргументом – существовавшие до 1991 г. система и строй с коммунистической партией в качестве станового хребта не способны на новое, им место на свалке.

Получила даже хождение спекуляция, что сама политика перестройки являлась продуктом антикоммунизма. Своего рода троянским конем советской селекции. Эксперты «в штатском» еще до крушения Советского Союза брались уличить М. С. Горбачева, Э. А. Шеварднадзе, А. Н. Яковлева в намеренной «изменнической деятельности». Имей они тогда под рукой «автобиографические» публикации экс-президента и его «идейных друзей», наверняка это доказали бы, ибо свою философскую метаморфозу все трое ведут сейчас чуть ли не с восклицания Цезаря: «И ты, Брут!» Если принимать нынешнюю продукцию печатного станка за чистую монету, то их ортодоксия 80-х гг. была лишь прикрытием антимышления. Век учись, дураком помрешь.

Хрущев не мог перешагнуть сталинизм. Редкому политику дано перешагнуть собственную тень. Но Горбачеву дарилась возможность заявить: сталинизм – не мое. Еще и еще раз спрашиваю себя: почему же он ею не воспользовался? Коль есть желание докопаться до грунтовых вод, набирайтесь терпения. Крупным помолом тут не обойтись. Горбачев – личность сложная и многоплановая. Не подайся в политики, он нашел бы себя в театре. В общедоступном, хотя не обязательно в художественном.

Осенний пленум ЦК КПСС 1987 г. Б. Н. Ельцин неожиданно для всех, кроме генерального, заявляет о своем намерении выйти из состава политбюро. В несколько путаном, что объяснимо волнением, обосновании Ельцин говорит, в частности, о возникновении нового культа личности – культа Горбачева. Рядовым членам партии было позволено ознакомиться со стенограммой произошедшего вокруг «культа» диалога лишь годы спустя. А жаль. Желающему думать он говорил очень многое.

М. С. Горбачев отверг упрек в насаждении своего культа личности. Утверждался «авторитет», и ничего больше. Культ личности, в трактовке генерального, – это не восхваление, а целая система злоупотреблений властью, беззаконий и т. п. Нет беззаконий и преступлений – нет культа личности, нет, присутствовало в подтексте, «сталинщины».

Заношу в блокнот: из культа личности мы делаем культ или

ширму, прикрывающую нежелание кончать с оккультизмом. Значит – дальше XX съезда не пойдем? Выходит – не просто от невнимания к чужому мнению, а от неприятия его, как в песок, уходили все мои усилия восстановить в правах правду?

После выдвижения М. С. Горбачева на пост генерального секретаря я не ловил себя, признаюсь, на мысли, что опять необъятная власть сосредоточивается в руках одного человека. Не было тоски по «триумвирату», наследовавшему Н. С. Хрущеву, или безвластию при кажущемся всевластии Ю. В. Андропова и К. У. Черненко. Как и многим другим, концентрация власти представлялась мне тогда даже целесообразной, чтобы взять энергичный старт, развернуть наступление по широкому фронту, обеспечить последовательность этапов, ломать сопротивление консерваторов в той же партии.

Завышенных ожиданий в первые месяцы, повторяюсь, у меня не было. Это не мешало с одобрением принимать к сведению достаточно многое в умении М. С. Горбачева находить нужные слова и ударения в разговорах на публику по сложным проблемам, в готовности слушать, сначала не перебивая, точку зрения других. За уверенной манерой и логичностью изложения виделись осмысленный прошлый опыт и проработанная концепция на много ходов вперед. Иначе нельзя. Надежды – слишком шаткая почва для грандиозных проектов.

На второй год Горбачев поднял перестройку на уровень «революции в революции». Захватывающий дух лозунг, в котором вожди и массы заново находят друг друга. Но из-за той же гласности срам скрывать все труднее. В поле зрения попадает все больше признаков, что в делах, особенно внутренних, перестройка уподобляется путнику, блуждающему в тумане. Кончилась, не начавшись, революция в революции, на смену пришла нескончаемая импровизация в импровизации.

Горбачев, заметит в 1992 г. А. Н. Яковлев, был «непредсказуем». «Вы никогда не могли понять, что у него на уме». Сегодня не менее трудно предсказать, как он будет толковать свое прошлое.

На решающем – внутреннем направлении политики сработал заряд, присущий сталинской организации власти: кризис личности проявляется как кризис системы. То, что обещало начальный успех перестройки в ее оригинальной задумке, стало ее роком. То, что при любой общественной системе покроенная под личность организация государственного руководства таит большой риск, в нашем советском случае мультиплицировалось сращиванием базиса с надстройкой, превращением экономики в инструмент и служанку политики. Обратная сторона

взаимозависимости – катастрофа политическая – потянула в пропасть экономику. С ней рухнули интеграционные узы, которые – хорошо ли, худо ли – поддерживали относительную стабильность многонационального образования, каким являлся Советский Союз.

На пике всевластия М. С. Горбачев сетовал на то, что в 1985 г. слабо знал, насколько плачевна кондиция страны, был не в состоянии объять необъятные трудности. Слов нет, наша статистика весьма приблизительно отражала картину, в частности, в народном хозяйстве. Из инструмента учета, контроля и регулирования она выродилась в макияж, с помощью которого наводился румянец на хворый и унылый лик общества, терявшего репродуктивную способность.

Если генеральный секретарь верил бодрическим статистическим рапортам, то его впору причислить к маниловым, которых обессмертил Н. В. Гоголь. Такие прекраснодушные водились на Руси в прошлые эпохи, а ныне вымерли почти без остатка. Только не должен был верить, получая еженедельно на свой рабочий стол секретную и сверхсекретную цифирь о язвах и пороках во всех областях жизни, очевидных и без статсводок для девяти десятых населения.

Поставим вопрос так: найдется ли владелец или управляющий фирмой, который, находясь в здравом рассудке и трезвой памяти, займется санированием своего дома, не заглянув предварительно в бухгалтерские книги, не разобравшись в наличных ресурсах и квалификации персонала? Заявления о том, что перестройке зажгли зеленый свет, не проштудировав исходные данные, вызывают законный протест, а не сочувствие к тем, кто, независимо от мотивов, принялся крушить старое, не ведая, во что отольется новое.

Ближе к истине другая трактовка. В театре абсурда, десятилетиями ставившем пьесу «Советские слоны – самые счастливые слоны в мире», существовали свои условности и пристрастия, капризные примадонны и твердокаменные режиссеры, сценарные и закулисные интриги. И если актер или политик день изо дня вращается в кругу абстрактных понятий и ценностей, дышит искусственным воздухом, питается из ложки, для него одного предназначенной, то с какого-то момента он начинает считать, что абстракции и есть настоящая жизнь, а действительность теряет очертания, походит на абстракцию.

Невежество, что известно самое позднее со времен Спинозы, не извинение и не аргумент. Незнание, однако, освобождает от мук сомнений при принятии решений или отсутствии таковых. Незнание, слитое с безграничной и неконтролируемой властью,

равно почти стихийному бедствию, поскольку действия (бездействие) выверяются не по фактам, а по субъективным причудам и мнениям. Это скверно везде и всегда. Это недопустимо опасно в любом современном государстве, где все взаимоувязано и переплетено. Так переплетено, что любое неловкое вмешательство чревато опасными для жизни осложнениями.

Нескончаемый каталог неудобных вопросов. Не ответив на них, не поймем, что же стряслось. Имело ли руководство в Советском Союзе в 1985–1991 гг. альтернативы, и если да, то почему пренебрегло вариантами? Было ли переливание различных групп крови единственным способом лечения? Являлась ли сталинская организация всевластия, которую М. С. Горбачев сохранял и пестовал, совместимой с целями и демократическим духом перестройки? Не менее важно исследовать, достигло ли постсоветское общество в его упадке конечной станции, или впереди – новые потрясения?

Не от меня одного ускользнул реальный масштаб противоречия между целями перестройки и средствами их достижения. Сталинизм не подлежал реформированию. Он должен был быть изведен под корень. Это однозначно и было очевидно для меня за тридцать лет до перестройки. Перестройка прибавила опыта – сталинскими методами сталинизм не поддается искоренению, подобные методы лишь плодят метастазы сталинизма.

Продолжаясь при Горбачеве, сталинская система отравляла любой живительный родник. Но этим заблуждения не исчерпывались – мы идеализировали нового лидера, награждали его качествами, которые в нем были едва намечены, и умаляли недостатки, определившие в час истины подлинное лицо.

Гром не грянет – русский мужик не перекрестится. В этом смысле я, конечно, русский. После пленума ЦК КПСС, на котором М. С. Горбачев стал над всеми первым, партийный функционер из Ставрополья доверительно прокомментировал событие так: купили кота в мешке, еще намаетесь. «Не уязвленное ли самолюбие говорит?» – подумалось мне тогда. Хуже, чем было, не будет. Оптимист мог бы поправить – бывает и хуже. Если бы поправил, все равно я не поверил бы. Личные впечатления мешали думать о новом лидере плохо.

Пусть это были поверхностные впечатления, но все же… Впервые я встретился с ним в 1975 г. Горбачев накоротке заглянул в посольство, когда по приглашению ГКП совершал поездку по Федеративной Республике. Разговор о разном. Мне понравились два момента – собеседник не корчил, что сплошь и

рядом случалось с приезжими, утомленного всезнанием жреца и не спешил отвергнуть тогдашние мои доводы, вызвавшие недовольство Центра, в пользу отмены традиционного приема в посольстве по случаю Дня Победы.

По наблюдениям в конце 70-х – начале 80-х гг. М. С. Горбачева на заседаниях политбюро и секретариата во мне крепло мнение, что перестарков в руководстве страны подпирает свежая генерация, соскучившаяся по настоящему делу. Он навлекал на себя косые взгляды коллег, когда неловко нарушал идиллию взаимопрощения.

Конкретный случай. 1982 г. Секретариат обсуждает вопрос о состоянии энергетики. Два министра – Братченко и Непорожний – вешают на уши лапшу. Ведущий заседание Черненко предлагает указать министрам-коммунистам на необходимость «большего внимания», «повышения требовательности» и прочее. Слово просит Горбачев.

– Я не согласен. Секретариат рассматривает данный вопрос в третий раз. Никаких перемен к лучшему первые два обсуждения не принесли. Пора не уговаривать, а спрашивать с министров.

К. У. Черненко и остальные секретари приуныли. Все так удачно складывалось, и надо же.

– Что ты, Михаил Сергеевич, предлагаешь?

– Я за то, чтобы строго следили за выполнением принимаемых решений, коль беремся за какой-то вопрос. Кто их нарушает, должен отвечать в партийном порядке.

– Может, условимся так: последний раз предупредим коммунистов Братченко и Непорожнего. Не поможет, накажем по всей строгости.

Никто не возражает. Горбачев к штурму неба не готов, но флаг показал.

Мне весьма не понравился «компромисс»: М. С. Горбачева – в генеральные секретари, А. А. Громыко – в председатели Президиума Верховного Совета СССР. Еще больше раздражало, как все это обставлялось. Чтобы члены политбюро не разодрались, участники пленума ЦК должны были добровольно подвергнуться оболваниванию.

Когда Громыко взошел на трибуну и в роли повивального деда принялся петь дифирамбы Горбачеву, я заметил сидевшему по соседству Арбатову:

– Добился-таки министр своего. Пусть наполовину.

После смерти Брежнева министр потребовал разделения постов генерального и председателя, с чем и подступился к Андропову. Тот не забыл – «каждый должен заниматься своим делом». Громыко пришлось довольствоваться креслом первого

заместителя председателя Совета Министров. В ожидании кончины Андропова Громыко нацелился на пост генерального секретаря. Устинов и другие поставили ему заслон из умиравшего Черненко – лучше никакой генеральный секретарь, чем Громыко.

Не безразлично ли, какой номинальный пост достанется теперь Громыко? Но ханжество. Все отлично понимали, «интересы дела» тут ни при чем. Они замыкают, а не возглавляют длинный ряд амбиций и интриг. Может ли быть счастливым начало, замешенное на неправде и неискренности?

В 1988 г. Лигачев намекнул, что выдвижение Горбачева не было заранее решенным делом. Тремя годами раньше прошел слух, что имелись другие претенденты.

Чаще называлось имя В. В. Гришина. По-видимому, он не только претендовал, а что-то и предпринимал. Поэтому, когда фигуры расставлялись на доске для новой шахматной партии, ему не нашлось места.

Будущий генеральный должен был раздать кое-какие обещания и даже клятвы. Какие и кому? Догадки строились разные. Нелогичное поведение Горбачева по отношению к тому же Лигачеву наводило не только на недоумение.

Из всех долгоигравших генеральных секретарей Горбачев показал самый стремительный разбег. Сталин боролся за беспрекословное лидерство больше пятнадцати лет. Хрущеву понадобилось четыре года, чтобы разбросать своих соперников. Брежнев справился с «триумвиратом» за декаду, но это была для него уже пиррова победа. Горбачев стал признанным и большинством принятым лидером в считанные месяцы.

Могут сказать, повезло человеку. На фоне десятилетних сумерек в Кремле, а хуже смуты в толпе бывает лишь смута в верхах, Горбачев смотрелся совсем неплохо. Невторостепенное значение имели личное обаяние нового лидера, умение, не залезая за словом в свой или чужой карман, отвечать на вопросы, дискутировать почти на любую тему с трибуны, в кулуарах, на улице. Отученные от общения с живыми советскими богами люди готовы были поверить в Горбачева, почти как в мессию, и свернуть горы.

Смущала склонность Горбачева окружать себя «заслуженными» функционерами, воплощавшими эпоху, которую предстояло сменить. Не настолько, однако, смущала, чтобы серьезно спрашивать себя: опять говорят одно, думают другое?

Во внутренней политике, даже больше, чем во внешней, все – означает, как правило, ничего. Обещания все переустроить, очистить от скверны бюрократизма спорили с… нескончаемыми обещаниями возлюбить ближнего, поставить человеческое выше

догм. Уже не скептики, а симпатизанты тоже вспоминали Козьму Пруткова: дай отдохнуть и фонтану.

Не хочу утверждать, что пустозвонство было отвлекающим маневром. Скорее оно тоже не было продуманным, просчитанным в последствиях, подкрепленным запасными окопами. И ведь что удивительно: Горбачеву были тут свойственны моменты почти пророческого прозрения.

Март 1986 г. Едва завершился XXVII съезд. Генеральный секретарь проводит «узкую» встречу с главными редакторами «Правды», «Коммуниста», еще нескольких газет, руководителями информационных агентств. Осевая мысль его высказываний – мобилизация масс на претворение в жизнь программы перестройки. Дважды с нажимом Горбачев произносит:

– Только не заболтать перестройку. Это реальная опасность. Нельзя позволить заболтать перестройку!

К кому он обращался: к нам или приструнивал себя? Кто с бесподобным упоением возвышал слова в убеждения, а убеждения девальвировал в слова? Кто, все теряя, находил истинное свое призвание в словах, которые под конец вдохновляли разве что пересмешников? Почти каждую революцию подстерегает свой пустоболт, свой Керенский. Александр Федорович заболтал Февральскую революцию. Керенским Октябрьской революции суждено было стать Михаилу Сергеевичу.

Но это случилось не вдруг. Я решительно не согласен с теми, кто с позиций конечного знания приписывает Горбачеву стремления, которых у него, судя по всему, не было. Ничто пока не поколебало моей точки зрения, что история давала не только Горбачеву шанс заложить базис общества социальной справедливости, но и Советскому Союзу новые возможности в его лице. Беда и вина за крушение – на обеих сторонах.

М. С. Горбачев впечатлял своей незаурядностью не только в беспросветно заурядных обстоятельствах, вознесших его в подоблачную высь. Он мог развиться в выдающуюся личность, если бы не страдал пагубным для политика нарциссовым синдромом. Его окончательно испортила власть. Абсолютная власть портит абсолютно.

Самое трудное из испытаний, отмечал я в одной из записок генеральному, – испытание властью. Лишь избранные выдерживают его. Мною предпринимались попытки – устно и письменно – донести до сознания Горбачева, хотя бы заронить зерно сомнения, на пользу ли ему самому, скажем, монументальные репортажи о домашних и зарубежных поездках с вынесением на экраны телевизоров каждой буквы и слога, жеста, театральных улыбок и пауз. Информационный феодализм с

человеческим лицом? Не понимал, не принимал, заносил мои интервенции мне же в минус.

Мне довелось с близкого расстояния наблюдать, как теряли себя Хрущев, затем Брежнев или тот же Андропов. Под конец они мыслили главным образом чувствами и еще, пожалуй, болезнями. Нравится – не нравится, утешает – раздражает превращались в критерии правильности и праведности.

Если бы коллеги по политическому руководству при начальном же поползновении первого на авторитарный стиль одергивали его, а при втором случае указали на дверь, то со Сталиным кончилось бы у нас идолопоклонство. К сожалению, в систему не были встроены защитные механизмы против произвола сверху, а расчет на человеческую порядочность – он не для политики и политиков.

М. С. Горбачев изловчился почти сразу сделать внешнюю и военную политику своим исключительным доменом. Остальным здесь давались в лучшем случае совещательные права. И в социально-экономических делах, то есть в решающих составных внутренней политики, генеральный не спешил делиться властными функциями. Но обставлялось все донельзя «демократически».

Политбюро заседает с утра до ночи, обсасывая каждый пункт повестки дня. Не так, как под занавес при Л. И. Брежневе: пятнадцать – двадцать минут на 20–30 вопросов. Горбачев дает каждому члену политбюро высказаться. К обсуждениям могут привлекаться эксперты. Им не возбраняется излагать мнение, не заглядывая в святцы. Чем активнее дискуссия и больше разброс оттенков, тем председательствующему удобнее, подводя итог, провести свою линию. А если Горбачев задумывал что-то отклонить, то в общем было безразлично, как и что говорилось.

Опять оговорка: дебют, миттельшпиль и эндшпиль партии М. С. Горбачева были более чем разностильными. Под конец сам стал слоном в чужих гамбитах. Но в дебюте генеральный ощущал потребность слушать и слышал, допускал, что может чего-то не знать или знать с изъянами. Ко мне, например, обращались вопросы, касавшиеся Центральной Европы и Германии или как очевидца обсуждения некоторых тем при Хрущеве и его преемниках.

Готовлю для Горбачева материал к интервью Р. Аугштайну. Предлагаю заложить в ответ на ожидавшийся вопрос по А. Д. Сахарову (он еще находился в ссылке в Горьком) новый подход ко всей этой истории. Генерального интересовало, с чего повелся конфликт Сахарова с властью. Много тут туманного, замечает он. Мой пересказ монолога Хрущева из 1961 г. был для него

новостью.

То же относится к серии разговоров, сопутствовавших, в частности, изданию в США сборника выступлений Горбачева и его книги о перестройке. По тексту последней у меня возникла пара десятков замечаний. Подавляющее большинство их было «с благодарностью» принято.

Но когда он не хотел слушать, до его сознания достучаться было нельзя. То ли вы мешали какой-то интриге, то ли портили настроение.

Полетом в Москву с посадкой на Красной площади М. Руст вызвал больше переполоха, чем в свое время Ч. Линдберг, одолевший Атлантику. Чего не наслушались наши маршалы и генералы, особенно от Горбачева и Ельцина. Скольких офицеров недосчитались вооруженные силы? Словно локальная война прокатилась.

На второй же день после случившегося в интервью гамбургской газете я предложил спустить эпизод на тормозах: «Надо поблагодарить М. Руста; он доказал, что советская система ПВО не такая сверхнепроницаемая». Мое предположение-рекомендацию, что молодой пилот скоро вернется домой, не захотели услышать. Ладно, воспользуюсь возможностью писать Горбачеву напрямую.

Воспроизвожу смысл записки: М. Руст производит впечатление человека, захваченного идефикс, что нередко в переходном возрасте. Серьезных доказательств наличия заговора, «тщательно спланированной провокации» нет. Напротив, данные, заслуживающие доверия, говорят, что М. Руст действовал в одиночку, не ставя цели причинить Советскому Союзу политический, военный или престижный урон. Не в наших интересах переигрывать. Лучше использовать этот случай, чтобы продемонстрировать широту и гуманизм нашей новой политической философии.

Далее я указывал на опасность того, что дальнейшее пребывание под следствием и судебный процесс способны усугубить неадекватность поведения юноши. Если по запоздалом освобождении будет диагностировано, что он не совсем здоров, то расстройство может быть связано с испытаниями, выпавшими на долю М. Руста уже в Советском Союзе. По совокупности мотивов целесообразно обследовать его с участием экспертов ФРГ или передать М. Руста в руки западногерманской юстиции для решения вопроса о его ответственности в зависимости от заключения медиков Федеративной Республики.

А. С. Черняев согласен. Он критически смотрел на депеши нашего посольства в Бонне, всячески нагнетавшего жажду

отмщения. Записка идет к генеральному.

На следующий день встречаюсь с большой группой западногерманских журналистов, сопровождавших федерального президента Р. фон Вайцзеккера в его поездке по Советскому Союзу. Тема М. Руста – в центре внимания. Мой комментарий не остается незамеченным.

– Сейчас, возможно именно в эти часы, решается судьба М. Руста.

Большинству присутствующих захотелось понять мои слова так: решается вопрос об освобождении М. Руста. Ни во временном смысле, ни по сути я ни на йоту не отклонился от истины. Но излишняя точность обыденно воспринимается неточно. Судьба М. Руста действительно решилась, но совсем иначе, чем я предлагал и ожидал.

В момент моей беседы с журналистами заседало политбюро. Председательствующий открыл рассмотрение темы М. Руста вопросом, как и почему материалы дознания, которое проводится следователями КГБ, попадают «посторонним лицам». То, что вообще должен знать помимо следователей один генеральный, известно председателю АПН.

Оказалось, что анализ следственной группы КГБ перекликался с ходом моих рассуждений, а вывод, что М. Руста следует не судить, но передать властям ФРГ, почти совпадал. Допустить, что объективное исследование, производимое независимо друг от друга, может дать сходные результаты? Нет, этого Горбачев не захотел, хотя не ошибся бы, потому что у меня не было выхода на следователей.

С изрядным запозданием дошло до меня, что не М. Руста били. Им пороли Вооруженные силы Советского Союза. С них сбивали «спесь», приручали. В армии курс М. С. Горбачева порождал немало кривотолков, непонимания, скрытого противодействия. Со своим бархатным предложением я попал в суконный ряд.

На следующий день после заседания политбюро мне звонит А. Н. Яковлев. Интересуется, на каком основании я «распространяю обещания насчет скорого освобождения М. Руста». «Генеральный тщательно избегает обнадеживать президента ФРГ». Принято решение «передать дело в суд».

Уточняю: обещаний, что М. Руст будет освобожден, не давалось. Говорилось, что «решается его судьба». Политбюро, исходя из ошибочных посылок, приняло вчера ошибочное решение. Я сделал все от меня зависящее, чтобы его предотвратить, но не преуспел.

А. Н. Яковлев «по-товарищески» просит дела М. Руста больше

не касаться. Генеральный «почему-то» считает, что на него оказывается давление, и реагирует обостренно.

Встретившись с родителями М. Руста в Гамбурге весной 1988 г., я с чистой совестью мог сказать, что сочувствую быстрейшему их воссоединению с сыном. Единственное, чем мог утешить родителей, – это сообщением, что сыну созданы относительно сносные, щадящие условия отбывания наказания, и главное – что время работает на освобождение их Маттиаса. Наградой мне была узумбарская фиалка.

Другой случай совершенного несогласия с М. С. Горбачевым, пришедшийся на тот же год, касался секретных протоколов к советско-германским договорам 1939 г. Это долгая история с предисловием и послесловием. Постараюсь передать ее максимально компактно.

В 1968 г., вскоре после перемещения в 3-й Европейский отдел МИДа, меня пригласили войти в редакторский коллектив, который готовил сборник документов «Советский Союз в борьбе за мир накануне Второй мировой войны». Вместе с И. Н. Земсковым, тогда начальником историко-дипломатического управления министерства, мы вышли на Громыко с предложением предать гласности «приложения» к договорам с Германией, которые заключались в 1939 г., и тем подвести черту под непрекращавшимися дискуссиями о «секретных протоколах».

Реакция министра: «Данный вопрос вне моей компетенции; должен посоветоваться в политбюро». Через неделю он извещает Земскова, к которому был особо расположен, что наше предложение признано «несвоевременным». Громыко не заявлял, что секретных протоколов не существовало и что распространяемые за рубежом фотокопии являются «фальшивками». «Несвоевременно» – на этом ставилась точка.

Держим совет и решаем: наш сборник оборвется на 1 сентября 1939 г. В сносках надо избежать категоричности по поводу того, что было и чего не было. Не создавать впечатления, что публикуемыми документами советские архивы исчерпываются.

В 1978 г. возникла мысль о переиздании документально обогащенного сборника «Советский Союз накануне…». Опять редакционная группа. Новое наше с Земсковым обращение – теперь к члену политбюро Громыко. Он откликается сразу и кратко: нет. Решаем, что переиздание сборника без протоколов нецелесообразно.

Обострение ситуации в прибалтийских республиках в 1986 г. стало для меня поводом поставить вопрос о заблаговременной подготовке к пятидесятилетию критически важных событий

1939 г. Отправляю энергичную записку А. Н. Яковлеву. Вместе с Л. А. Безыменским, В. Я. Сиполсом и рядом других видных специалистов мобилизуем доступные документы и материалы, тщательно исследуем фотокопии протоколов и историю их происхождения. Командирую с этой целью Безыменского в Федеративную Республику. По результатам вводим в курс дел А. С. Черняева.

Так или иначе, состоялось слушание данного вопроса на политбюро. Нас, зачинщиков, на него не пригласили. Поэтому я лишен возможности сообщить, какие оттенки имелись в «да». Насколько мне известно, выступавшие с разной степенью определенности склонялись в пользу подтверждения существования протоколов. В том числе Громыко. Несколько членов руководства участия в дискуссии не приняли. Горбачев подвел итог – пока перед ним не положат оригиналы протоколов, он не сможет взять на себя «политическую ответственность» и признать, что протоколы были. Ищите и обрящете.

Это говорилось Горбачевым после доклада заведующего общим отделом В. И. Болдина: оригиналы хранятся в архиве ЦК. Судя по отметке, накануне дискуссии в политбюро он показал их генеральному. Но эта «подробность» всплыла пять с лишним лет спустя. Для всех. Мне же она открылась в 1989 г.

Еще в 1988 г. хорошо знакомый сотрудник общего отдела дал мне понять, что «если архивы основательно копнуть, многим нынешним загадкам найдутся отгадки». Как их копнешь, когда Болдину дан строгий приказ никого не подпускать к «особым документам» на пушечный выстрел? Попробуем в обход.

Вместе с руководством историко-дипломатического управления МИДа, где хранится оригинал советско-германского договора о ненападении 1939 г., прошу провести криминалистическую экспертизу, чтобы установить, отпечатан ли текст договора и русский альтернат протокола, как он известен в фотокопии, на одной или разных пишущих машинках. Лаборатория Московского уголовного розыска выдает заключение – договор и протоколы имеют идентичный шрифтовой почерк; возможность подделки практически исключена.

При ближайшей же возможности докладываю результаты исследования Горбачеву. Третий в разговоре – А. Н. Яковлев. Вас, как в тот момент и меня, реакция генерального секретаря, наверное, обескуражит:

– Думаешь, что ты сообщил мне нечто новое?

Произнес с улыбкой-усмешкой и заторопился в свой рабочий кабинет.

– Оригиналы протоколов в общем отделе, и Михаил

Сергеевич их видел, – обращаюсь я к Яковлеву. – Всякие сомнения отпадают.

Нарастали другие сомнения в нашем лидере. Даже членов политбюро он вводит в заблуждение. О каких решениях, выверенных на объективных данных, можно думать? Опять в ходу «двойки», «тройки» и их всепобивающий «туз»? При чем тут демократизация и гласность? Мы не имеем права лгать. Правда – единственный шанс для перестройки.

I съезд народных депутатов СССР (май – июнь 1989 г.) создает комиссию по советско-германским договорам 1939 г. А. Н. Яковлев за председателя, меня, угодившего в это время под нож хирургов, заочно выбирают в его заместители. На тринадцатый день после операции, невзирая на протесты врачей, отправляюсь, как просит Яковлев, в Кремль, чтобы участвовать в учредительном заседании комиссии. Никому не нужные подвиги, если учесть последующее.

Не без труда, но и не без воли к сотрудничеству рабочая группа составляет проект сообщения, с которым, кроме украинского коллеги, согласились все члены комиссии, включая В. Ландсбергиса. Предлагается опубликовать это сообщение примерно 20 августа, еще до того, как комиссия официально представит свой доклад съезду депутатов. А. Н. Яковлев не против, но:

– Вы понимаете, что последнее слово принадлежит не мне.

Все поняли. За это нам намылили шею. Мол, следовало своими деланными возражениями вывести из-под удара «нет» первого. Почему нет? «Не нравится», «не убеждает» – и все. Никакие уговоры не помогли. Дух сообщения не устраивает. Каким он должен стать, чтобы устроил? Думайте.

Вырвали у генерального согласие на интервью А. Н. Яковлева «Правде», в котором он дезавуирует политический произвол Сталина, не подтверждая окончательно, что протоколы существовали, и не выражая отношения к их юридическому статусу. Последнюю часть работы я взял на себя, дав несанкционированное интервью «Известиям», протоколы имелись. Один из наших услужливых послов тут же просигналил телеграммой: на опасное предприятие я толкаю – требую правды.

Финал известен. На основе несостоявшегося сообщения комиссия подготовила доклад съезду народных депутатов и проект решения, осуждавшего произвол Сталина по отношению к прибалтийским государствам, объявлявшего изначально ничтожными секретные протоколы к договорам 1939 г. с Германией. В выступлении А. Н. Яковлева эти и другие моменты были политически, юридически и морально обоснованы. Съезд

большинством голосов утвердил проект, но только со второго захода – после ознакомления депутатов с обнаруженными в «личной папке» Молотова дополнительными доказательствами существования протоколов.

А как вел себя Горбачев, председательствовавший на съезде? Он ничем не выдал, что в его власти было сделать тайное явным. Вместе с тем не мешал, чтобы расчеты с прошлым все же состоялись. Самое главное – не занять позицию по трудной странице истории, на ней капитала не заработаешь. Пусть разгребают другие.

Нечто схожее происходило с Катынью. Во время визита в Польшу Горбачев и польский руководитель Ярузельский условились устранить «белые пятна» в отношениях между двумя странами. «Белыми» по традиции почему-то именуются самые мрачные и грязные, которые не стирает даже время. Создана специальная комиссия. Ее обещали допустить к неопубликованным архивным документам и материалам. Советский сопредседатель академик Г. Л. Смирнов, зная понаслышке о моих хождениях по катынским мукам, обменивается мнениями о том, как подступиться к каверзному вопросу.

Сообщаю Смирнову, что мне было ведомо. Желаю, чтобы ему повезло больше. Советую использовать учрежденную комиссию также для прояснения судьбы пропавших в Польше в 1920–1921 гг. без вести наших военнопленных. И это пятно тоже должно быть устранено. Не для баланса, разумеется. Ушли в небытие десятки тысяч людей.

Незадолго перед тем АПН завершило издание книги «Память». Сигнальные экземпляры ее направил каждому из членов политбюро – убедитесь, польский друг, писатель Я. Пшимановский, взяв на себя обязанности наших организаций, разыскивает и идентифицирует захоронения советских солдат, павших в боях с гитлеровцами в 1944–1945 гг. на территории Польши. Намыкались мы, помогая Я. Пшимановскому, с нашими непревзойденными бюрократами и формалистами. Общение с ними было сродни добровольной каторге.

Если можно, попросил я Г. Л. Смирнова, избавьте меня от советско-польских «черных» пятен. И без них в глазах рябит. Что в памяти скопил, сказал. Но недаром говорится: человек предполагает, Господь располагает. Смешанная комиссия на Катыни забуксовала. Смирнов снова у меня:

– Что порекомендуешь делать?

– Доложить генеральному с предложением сказать правду.

– А в чем правда состоит?

– В том, что мы до сих пор говорили неправду. Дальше слово должно быть предоставлено документам.

Записка Смирновым отправлена. Реакции на нее нет. Нет и термина, о котором просил Горбачева академик Смирнов, чтобы подробно обрисовать ситуацию.

Президент В. Ярузельский не упускает случая напомнить генеральному секретарю ЦК КПСС о важности устранения неясностей по Катыни. Он просит меня посодействовать нахождению развязки.

– Убедите Горбачева, что годы не смягчают проблемы, а лишь обостряют ее. Горбачев ничего не приобретает от затягивания разбирательства, все мы вместе многое теряем. Если это в ваших возможностях, помогите.

После стычки с Андроповым я зарекся заниматься Катынью. Что в моих силах, я сделал, чтобы раскрыть глаза остальным. Или ты хозяин своему слову – сам дал, сам берешь обратно? Ведь достойный человек и по делу к тебе взывает.

Не знаю, как бы я самоопределился, если бы к моему помощнику В. А. Александрову не обратился историк Ю. Н. Зоря и не сообщил, что, исследуя фонд НКВД в Центральном государственном архиве (ЦГА), он натолкнулся на документы конвойных войск, транспортировавших польских офицеров из Козельска к месту их убийства – в Катынский лес. Документы датированы апрелем – маем 1940 г.

Начальник Главного архивного управления при Совмине СССР, прослышав, что всплыла Катынь, тут же распорядился перевести дела конвойных войск в режим «специального хранения». Ученым доступ к ним заказан. Придется злоупотребить служебным положением. Официально запрашиваю из ЦГА в распоряжение Международного отдела ЦК КПСС подборки интересовавших меня документов. Поручаю Ю. Н. Зоре сравнить списки военнопленных поляков, составленные при их вывозе из Козельска, со списками опознанных жертв при их эксгумировании из захоронений. Совпадения вышли потрясающие.

Пишу последнюю из серии записок Горбачеву по Катыни – налицо неопровержимые индикации, что расстрел польских офицеров – преступление Берии и его подручных. Необходимо сообщить об этом президенту В. Ярузельскому с принесением наших сожалений в связи со случившимся. Договариваюсь с А. Н. Яковлевым настаивать на вынесении решения по существу, иначе генеральный придумает какую-нибудь увертку.

Не сразу, но предложение принимается. Президенту В. Ярузельскому выпадает нелегкая миссия – принять весть, которая

любого нормального человека должна наполнить горечью и возмущением. Что должен был думать генерал В. Ярузельский, с боями прошагавший в войну через пол-России, прежде чем вновь вступил на землю Польши? Что чувствовали другие наши польские друзья, услышав признание – сорок пять лет мы им лгали?

Незадолго до этого последнего и так трагически окрашенного свидания с В. Ярузельским я беседовал с известным польским кинорежиссером А. Вайдой. Он быстро освоился в моем кабинете, и от культуры мы незаметно перешли к политике. Где политика и отношения с Советским Союзом, там для поляка – Катынь. Для А. Вайды это неизбежно: в Катыни убит его отец. У меня в сейфе лежат папки из ЦГА. В списке обреченных на злодейскую казнь значится Вайда – видимо, отец гостя. Не имею права сообщить ему это, заверяю лишь, что скоро драма высветится. Я твердо знал, что услышит от меня М. С. Горбачев.

На пленуме ЦК увидел главу КГБ В. А. Крючкова и поведал ему, сколько времени и нервов отняло изучение Катыни по косвенным свидетельствам и материалам.

Между тем в КГБ имелось когда-то «не подлежащее вскрытию» дело. Председатель комитета заметил:

– И имеется. В нем есть все.

– И приказ, на основании которого все совершалось? Кем подписан?

– Приказ тоже. Никуда не денешься, придется каяться.

Крепко подвел я В. А. Крючкова. Через день, самое позднее два мы с А. Н. Яковлевым докладываем М. С. Горбачеву дела по моему ведомству. Как и условлено с Яковлевым, в конце преподношу генеральному известие – в КГБ хранятся исходные документы, относящиеся к Катыни, Харькову и Бологому. Придется посылать дополнительное сообщение В. Ярузельскому.

– Мне Крючков ничего о таких документах не докладывал, – говорит генеральный секретарь.

Для него тема исчерпана. Тебе ясно дали понять – не лезь не в свои сани. Меня же интересует Горбачев. Для этого следует переговорить с Крючковым.

– Генеральный что, не совсем в курсе насчет катынских документов?

– Каких документов? Наверное, мы недопоняли друг друга.

Вот теперь ясно – председателю КГБ припечатали уста с резолюцией «вскрытию не подлежат». Понадобился «путч», чтобы вся правда вылезла наружу. К этому времени она перекочевала с площади, некогда носившей имя Ф. Дзержинского, в президентский сейф в здании, некогда служившем резиденцией

Святейшему синоду.

Надеюсь, я донес до вас мысль: Горбачев умел на разный лад улыбаться, и не только улыбаться. Он совершенствовался в искусстве управлять при помощи слов поведением людей, а из самих слов плести маскировочные сети, в которых прятал намерения. Пока не поиздержался настолько, что остались слова-трели, слова для слов, слова для самоутешения и самообмана.

Не намеревался я заниматься историографией «эпохи Горбачева». О лидере перестройки неизменно высказывался подчеркнуто уважительно и лояльно. Даже когда накопились и укоренились сомнения, выводил его из-под слишком злой критики, как на партконференции в Могилеве, встречах с активом в Одессе и Ленинграде, дискуссиях в московских райкомах. Вопросы и недоумения доверял только коллегам по секретариату, да и то в официальной обстановке, чтобы никто не записал меня в когорту хамелеонов.

И сегодня я далек от желания чернить экс генерального секретаря. Потому я не ставлю Горбачева из 1985–1987 гг. на одну доску с Горбачевым из политического небытия, в которое он впал самое позднее в 1990 г. По той же причине не провожу знака равенства между внешней и внутренней политикой перестройки, а качество каждой из них не склонен оценивать паушально. Исправить случившееся нельзя. Созданная Сталиным система не стоила того, чтобы ее оплакивать. Извлечь уроки ради отведения новых бед от народов, за которые они не в ответе, вот что надобно.

Со всеми оговорками относительно двусмысленности позиции по сталинизму, легковесности в проработке серьезных вопросов (антиалкогольная кампания, решения об индивидуальной трудовой деятельности, кооперации и др.), забеганий в обещаниях надо признать – за первые месяцы, может быть, в первый год новое руководство создало заделы для реформирования общества. Наметился психологический перелом, люди стали стряхивать апатию. Казалось, вот-вот состыкуются воля к обновлению сверху с нежеланием внизу жить по-старому. И тогда, в отличие от прежних заходов на модернизацию системы, предпринимавшихся после смерти Сталина и сразу после смещения Хрущева, пессимисты были бы посрамлены – предпосылки успеха совместились бы.

Обратимся к надежным цифрам. В 1985 г. остановился относительный и абсолютный экономический откат. В 1986 г. национальный доход вырос на 4 процента (против 3,9 плановых), производительность труда – на 4,9 процента (по плану предполагалось 4,1), промышленное производство – на 4,9

процента, или на треть больше, чем в среднем в год в XI пятилетке.

Несмотря на все сохранявшиеся диспропорции, перекосы, неувязки, даже вопреки чернобыльской катастрофе, экономика оживилась. За 1986–1988 гг. национальный доход прибавил на 11,6 процента, объем промышленной продукции – на 13,3 процента, капитального строительства даже на 36 процентов.

Как и почему наметился сдвиг? Перемены в настрое людей я бы выделил особо. Рядом с ним по справедливости надо поставить более эффективное функционирование основных звеньев управления. Само правительство меньше командовало и больше работало, не вытягиваясь в струнку, когда им пытались командовать с политических вышек.

Раз дело пошло, не мешай тем, кто дал ему толчок, закрепить положительную динамику, набрать обороты. Все сразу не получится, это было ясно без экспериментов. Не создано такой экономики, которая одолевала бы структурный кризис с сегодня на завтра и безболезненно. А советская экономика прежде должна была стать сначала экономикой, покончить со всеми видами внеэкономической зависимости и подчиняться законам экономического развития. Я тоже приложил руку к критике затратного характера советского хозяйства и доказательству необходимости всемерного развертывания товарно-денежных отношений, совершенствования механизма рынка. В 1987 г. соответствующее решение было даже одобрено пленумом ЦК.

У западных наблюдателей своих забот полон рот. Проблематика советской экономики смотрелась, как правило, при свете из своего окошка. А то подметили бы некое совпадение. В 1965–1966 гг. А. Н. Косыгин круто взялся за ремонт хозяйства, и наметились подвижки. Если так дальше пойдет, примут Косыгина за благодетеля. Но при тогда принятой системе власти благодетелем мог быть лишь генеральный секретарь. В идеальном варианте без сотоварищей.

В епархии Н. И. Рыжкова случились перемены к лучшему, причем в концепции поэтапной перестройки экономики профилирующим был почерк команды главы правительства. У успеха – как же иначе! – должно быть несколько отцов. Со временем приемный отец выдвигается в главные, не смущаясь тем, что говорил с ребенком на разном наречии.

Из всех сфер деятельности, к которым прикасался М. С. Горбачев, наиболее беспомощным он проявил себя именно в области экономики. Здесь у него было больше всего очевидных метаний и провалов, выданных и неоплаченных векселей. Заведомо несостоятельной и самой дорогой по издержкам

являлась линия на переиначивание экономики неэкономическими методами. Все программы «500 дней», придуманные для ублажения неискушенного слуха, – они отсюда.

Я не хочу и не могу утверждать, что деятельность правительства Н. И. Рыжкова заслуживает сплошь или даже преимущественно положительных оценок. На мой взгляд, закон «Об управлении государственными предприятиями», введенный в силу 1 января 1988 г., в отрыве от других реформ усугубил напряженность в хозяйстве и спровоцировал расстройство финансовой системы. «Демократизация на рабочем месте» с ее выборностью менеджеров, аннулированием взаимозависимости между заработной платой и производительностью труда, с неустраненным монополизмом производителя породила стихию рынка в отсутствие рынка.

Или «реформа» СЭВа, чтобы не утомлять ваше внимание излишним числом иллюстраций. Да, крайне несовершенной была система взаимных расчетов в этой организации. Неэквивалентность цен на сырье, энергоносители и готовые изделия обходилась Советскому Союзу в 80-х гг. в среднем по 6–8 миллиардов долларов потерь в год. Но волевой, одномоментный перевод взаимных платежей на свободно-конвертируемую валюту – в ее отсутствие – тоже не был выходом из положения. Международный отдел ЦК пытался пригласить взвесить издержки, а не одни приобретения. Желающих прислушаться не сыскалось.

Уже приходилось отмечать, что в дебюте М. С. Горбачев имел за собой большинство партии. Я сознательно не говорю, что он вел за собой весь или почти весь партийный аппарат. В самом начале, возможно, и основная часть аппарата была с ним, но затем генеральный упустил его. Или Горбачев уступил партаппарат, когда делился полномочиями при венчании на власть, второму человеку в партии и отобрать затем не сумел?

Уже летом 1986 г. поползли слухи о возможности переворота. Они повторялись из года в год с разной степенью интенсивности, но в то лето были внове. Ко мне в АПН запросились китайские корреспонденты. Не для интервью. Но чтобы донести возникшее в Пекине беспокойство и перепроверить собственные прогнозы дальнейшего хода событий.

Пружинами недовольства чаще всего называли военных и партконсерваторов. Сам Горбачев приоткрыл занавес. Выступая в Ташкенте, он подчеркнул, что аппарат – еще не партия. Холодная война в КПСС развернулась. Михаил Сергеевич не просто поссорился с Егором Кузьмичом. Генеральный секретарь вошел в клинч с так называемым «партактивом», чтобы в конце концов

потерять интерес ко всей партии.

Отдаление Горбачева от партии и партии от Горбачева ускорилось после XIX Всесоюзной конференции КПСС. По крупному счету на ней состоялась не реформа политической системы, а ее переоформление, уже без партии в качестве «ведущей и направляющей». Вести и направлять отныне должен был не институт, а человек, но также единолично. Если принимать буквально лозунг «Вся власть Советам!», то лидер по советской линии.

Еще какое-то время станут прятать, на какой режим правления нацелились. Соединение двух начал, советского и партийного, должно погасить подозрения, нейтрализовать ожидавшееся сопротивление использованию в интересах Советов партийного аппарата. Не о национализации партийных зданий и прочего имущества шла речь, а знаний и опыта КПСС, иначе говоря – о национализации ее кадров. Без кадров и инфраструктур Советы оставались тем, во что их деградировал Сталин, – фиговым листом.

Отказ партии от реальной власти в отсутствие дееспособного преемника означал демонтаж всякой власти, в особенности на среднем и нижнем уровнях. Разверзался вакуум. Его наполняли анархия, местничество, сепаратизм всяких цветов. Никакое наращивание властных атрибутов и полномочий у первого лица не могло компенсировать выпадение структурных звеньев на периферии и в центре.

Сложение КПСС функций, присвоенных в период «военного коммунизма» и раздутых до небес в годы Второй мировой и холодной войн, было совершенно необходимо в интересах дела и самой партии. Но опять-таки иначе по мысли и по исполнению. Здесь, возможно, многое скажет само за себя признание Э. А. Шеварднадзе, сделанное в 1991 г. и характеризующее политическую квалификацию обновителей в целом:

– Нам было ясно, что нужна коренная перестройка, но никто не представлял себе, с чего начинать.

В подобных обстоятельствах мудрые советуют – начинайте с себя. Политики – это особая примета данного племени – ищут подопытных на стороне.

Я обронил замечание, что плохое исполнение плохо продуманного умножало издержки. Исполнительная власть возвращена правительству, законодательная – Советам, судебная – судам. Правильно сделано, хотя пришло с запозданием по меньшей мере лет на сорок – сорок пять. КПСС отныне только политическая организация, и не единственная. Тоже не трагедия, если не думать категориями удобств. Что же мешает партийным

лидерам самим поставить вопрос об изъятии из Конституции 6-й статьи, ставившей КПСС над вся? Почему из членов ЦК только мы двое с А. И. Вольским голосуем на съезде депутатов за включение соответствующего пункта в повестку дня?

Решения партконференции не формальность. Аппарат ЦК, как церковь, отделили от государства. Международный отдел, к примеру, вычеркнут из списка получателей мидовских сообщений. Слушайте, наравне с остальными, радио. Если скучно, включайте телевизор. В очереди на международные телефонные разговоры ЦК после кооперативов, ибо взяток не дает.

Правда, политбюро какое-то время действует как ни в чем не бывало. Тот же министр иностранных дел в качестве члена политбюро не прекращает размечать себе и коллегам телеграммы и прочие дипломатические депеши. Возможно, политбюро готовится превратиться в совещательный орган при будущем президенте? Так или иначе, политбюро и аппарат ЦК зажили в различном режиме. Генеральный в узком кругу не скрывает, что смотрит на ЦК и аппарат партии в целом как оппозиционные себе структуры. По его восприятию, «недружественно настроенными» были в своей массе также делегаты XIX конференции и позднее XXVIII съезда КПСС. Это отношение М. С. Горбачев перенес затем на последний состав политбюро.

Апрель 1991 г. Заседание политбюро, четвертое, от силы пятое с июля прошлого года, да и то созванное по настоянию секретариата и руководителей ряда республиканских компартий. Назавтра пленум ЦК. Лучше внести ясность в позиции и отношения загодя.

– Что у вас? – бросает переполненный раздражением генеральный.

– У меня есть поручение украинской парторганизации выяснить, на какой основе ведутся переговоры о союзном договоре в Ново-Огареве, – говорит первый секретарь ЦК КПУ СИ. Гуренко. – Придерживаетесь ли вы, Михаил Сергеевич, вотума, вынесенного семьюдесятью шестью процентами избирателей на референдуме 17 марта (1991 года)? Мы, члены политбюро и республиканские руководители, никакой информации, кроме газетной, не имеем. А из сообщений прессы понять что-либо трудно.

– А много ли вы поймете, если я что-то расскажу? – задирается М. С. Горбачев.

– Нам, провинциалам, конечно, не тягаться с вами, восседающими в ареопаге. Но я прибыл в Москву с однозначным поручением организации, которую представляю, – настоять на ответе на поставленный вопрос, – не сдается Гуренко.

– Можете сказать, что я исхожу из итогов референдума.

– Пусть для вас не будет неожиданным, что я подвергну вашу деятельность острой критике завтра на пленуме ЦК, – заключает Гуренко тягостный диалог.

Еще несколько членов политбюро выступили с чуть смягченными или даже более резкими заявлениями. Генеральный ерзает в кресле, ограничиваясь полемическими репликами. Посматривает на часы.

– Ну, в общем ясно. Свое мнение вы высказали. Я выступаю в Ново-Огареве как президент. Теперь пора отправляться в соседнее здание, где нас ждут секретари обкомов и крайкомов.

«Я президент, и не ваше дело давать мне советы, тем более что-либо предписывать. Генеральный секретарь я лишь по совместительству» – так истолковали поведение М. С. Горбачева на политбюро его участники. Новых встреч в этом составе уже никто не ожидал. Их и не было.

Переходим в шестой подъезд. Малый конференц-зал полон. Физически ощущаешь, как накалена атмосфера. Горбачев продолжает гнуть свое. Что он задумал – расколоть пленум и с ним партию? Иначе не объяснить его аррогантного поведения и интонаций.

Кто интересовался историей международных отношений, вспомнит, наверное, как после одного из заседаний Версальской мирной конференции, реагируя на вопрос «как дела», его участник ответил:

– Блестяще. Разошлись по всем пунктам.

Столь же блистательно протекала последняя встреча генерального секретаря с региональными партийными лидерами. В зале даже не возмущение, а удивление.

Ко мне в кабинет заходят секретари из Свердловска и Черноземья. У всех одно на уме: что с Горбачевым? Он вызывает на конфликт – принимать ли вызов и когда? Объясняю, что секретариат терзают те же заботы. Президент теряет почву под ногами и ищет виноватых. В данном случае виновными оказываются те, с кем у него не складываются отношения или к кому у него предвзятый подход. Но разрыв в нынешних условиях навредит делу. Исходя из этого каждый должен самоопределиться, что делать, как и когда.

На пленуме дошло до столкновения. Горбачев заявил о готовности сложить с себя обязанности генерального. Предложение обсудить этот вопрос собрало 13 голосов, девять десятых выступили против. С моей точки зрения, тогда же высказанной иностранным журналистам, а также самому М. С. Горбачеву, значение произошедшего не в итогах голосования.

Пала одна из самых забуревших традиций, ставивших должность генерального секретаря над партией и законом. Для меня это был долгожданный признак того, что демократизация внутри партии достижима.

Я не преувеличил, заметив, что секретариат терзало беспокойство по поводу происходившего в стране, партии и с Горбачевым. Пусть другие скажут за себя. Меня лично не устраивало положение «слепых, слепым ведомых». Проект союзного договора, обсуждавшийся в Ново-Огареве, предусматривал превращение Советского Союза в конфедерацию или содружество суверенных независимых государств. Допускались различия не только в законах, но и в социально-экономическом и политическом устройстве.

Возникал принципиальный вопрос: писаны ли для демократов демократические правила? Три четверти избирателей проголосовало за союз, а не содружество. Что, нужны были пресловутые 99,9 процента, чтобы воля снизу стала директивой для верхов? Результаты референдума по другим вопросам, выносившимся на суд народов в тот же день 17 марта 1991 г., – например, о введении президентского режима правления в России и ряде других республик, были приняты как руководство к немедленному действию. Научились расщеплять не только атом, но и народную волю?

Кого представляет на переговорах в Ново-Огареве президент СССР? М. С. Горбачева выдвинула на президентский пост коммунистическая партия. Он оставался генеральным секретарем этой партии. Почему же ни политбюро, ни секретариату, ни пленуму ЦК не известно, в какие игры Горбачев играет, чего добивается? Ничего толком не знали вице-президент и члены разных советов вокруг президента.

Мне, может быть, повезло даже больше, чем многим остальным. Хотите узнать, как было включено в название слово «суверенные»? В конференц-зале особняка номер три, что в Волынском, М. С. Горбачев, А. Н. Яковлев, Н. Я. Петраков, Г. Х. Шахназаров и я. Какой повод свел нас, не запомнил. Но основной разговор шел о трудностях переговоров с Б. Н. Ельциным и руководителями других республик относительно будущего Союза. Сплошные тупики, замечает Горбачев, начиная с названия. «Социалистические» не приемлют, за «советские» предстоит изрядно побороться.

Петраков говорит, что можно было бы заменить «социалистические» на «суверенные», тогда обеспечивается преемственность, хотя бы в аббревиатуре. Президенту идея явно по вкусу: «А что, можно попробовать».

Мое замечание, что референдум не закончился: в марте он выявил в прямом голосовании волю народа, сейчас тот же референдум проверяет готовность государственного руководства уважать эту демократическую волю, М. С. Горбачев пропускает мимо себя. Он начинает, как любил выражаться, «гонять» слово «суверенитет». Панихида по гуманному социализму открылась. Доперестраивались.

Допустим, даже не сообщество, а конфедерация. Какие последствия это будет иметь для КПСС? Советский Союз исчезнет. Допустят ли суверенные независимые республики, чтобы на их территории действовала партия (партии), руководимая из какого-то центра? Сомнительно.

На секретариате в июле 1991 г. я поставил вопрос так:

– Информации из Ново-Огарева нет. Если, однако, дело идет к конфедерации или еще более рыхлому межгосударственному образованию, то в повестке дня упразднение КПСС. Мы по мандату XXVIII съезда здесь что-то с серьезными минами обсуждаем, а нас, возможно, уже не существует? Я не в том возрасте, чтобы быть у неизвестности на побегушках. Либо нас просветят о том, что происходит, либо пора сворачивать наши сидения.

Конечно, мне было известно, что информация о заседаниях секретариата в тот же день, если не час, докладывалась Горбачеву. О его отклике на данный мой демарш я узнал от спикера президента.

– Что твой Фалин на меня бочку катит? – спросил президент в передаче В. Н. Игнатенко незадолго до отбытия на юг. Других мыслей в голову ему не пришло, – скажем, президентом чего и генеральным секретарем в какой партии он собирался состоять? Или все наперед уже решил?

На языках почти всех народов есть поговорка: в гору семерым под силу, с горы один столкнет. Потом и кровью скольких поколений становилась Россия и позднее держался Советский Союз? 27 миллионов 600 тысяч наших сограждан пали во Второй мировой войне, чтобы остановить коричневую чуму, угрожавшую цивилизации, и чтобы продолжался Советский Союз. Как саркастически заметил кто-то из демократов в Верховном Совете России, то, что оказалось не под силу Наполеону, Гитлеру и военному атому, когда США монопольно им владели, между делом совершил Горбачев. Порушил гигантскую страну и, глядя, как брат на брата, народ на народ с топором пошли, уверяет, что вернул людям свободу.

Объективно варианты имелись. Но почти каждый конкретный случай знал критическую массу и момент, после которых от

желаний проку было мало.

Возьмем национальные отношения. Если Горбачев считал национальную проблему в стране раз и навсегда решенной, тем хуже для него. Если не считал, то не вправе был заявлять, что конфликты в этой области застали его врасплох. По пухлости стекавшихся к нему бумаг он мог, не читая, судить: неладно в межнациональных отношениях, причем в самых различных углах Союза.

Национальная проблема не поддается «окончательным» решениям, как никого нельзя навсегда одарить здоровьем. Пока нация живет, эта проблема – процесс. Верное вчера и сегодня вполне может стать неверным завтра. И еще. Для особенно малочисленных народов и национальных меньшинств «закон больших чисел» или «метод подобия» неприменимы, а попытки навязать их окриком чаще всего переводят сравнительно легкий недуг в тяжелую хворь.

И до Нагорного Карабаха было не до дремы. Прибалтика, репрессированные при Сталине народы, национализм в Якутии, Бурятии, Молдавии, еврейская эмиграция. Диктатор действовал методом «прореживания». Союзная перепись 1926 г. дала самое большое число учтенных этнических общностей – 196. В словаре 1937 г. под именами собственными велось 109 национальностей и еще 56 попали в графу «прочие». Итак, всего 165. После переписи 1939 г. решили выделить 57 наций и 58-ю упомянуть среди «прочих». В опубликованной редакции называлось 50 «самых многочисленных наций». Голубой мечтой Сталина было, похоже, «выковать» некий абстрактный народ о 15 диалектах (по числу республик). И сливал бы, сплавлял, депортировал, «совершенствуя» свои национальные догмы из 1912 г.

И после подобных манипуляций брались с серьезным видом рассуждать – в Советском Союзе нет национальной проблемы! Как не было, по утверждению ленинградской участницы телемоста с Соединенными Штатами, секса.

Кто первым положил глаз на карабахский ландшафт и в каком веке? Археологию познание седой старины обогатит, но мало что оно даст для несилового решения сегодня. Не шибко поможет розыск, с чего гром грянул уже в период перестройки. Сильва Капутикян и Зорий Балаян были при сем, не отвертятся. Но попробуй они затушить огонь – ничего не получится.

А ведь был шанс. На короткое время, но все-таки давался. После погромов в Сумгаите, на волне раскаяния, азербайджанское общественное мнение готово было принять, а армянское удовлетвориться в качестве «переходной модели» административным переподчинением Нагорного Карабаха

непосредственно союзному центру. Е. М. Примаков, С. А. Ситарян и я предлагали это Горбачеву.

Национальная проблематика состояла под надзором Е. К. Лигачева. Он насчитал 18 потенциальных Карабахов, которые рванут, стоит применить щадящую терапию хотя бы в одном месте и единственный раз. Проявим твердость – и все вернется в норму, таким был его прогноз. Горбачев не возражал и, больше того, сам вовлекся в нажимные акции.

Результат – самострел. Поползла опухоль иррационального национализма и насилия. Потенциальные очаги стали реальными вооруженными конфликтами. Тысячи убитых, сотни тысяч беженцев, и конец безумию в этом тысячелетии не светит. Не слишком ли дорого обходятся своеволие и упрямство? В перестройку Нагорный Карабах маркировал негативный слом не в частном случае, а крушение того, что до этой поры рекламировалось как «национальная программа социализма» и призвано было доказать достижимость национальной справедливости в государстве многонационального типа.

76–78 миллионов в Советском Союзе на 1990 г. жили в республиках с другим «коренным населением». После распада Союза они оказались в эмиграции, за границей, часто на положении батраков, лишенных гражданских и политических прав. Даже те, кто живет в новоявленной загранице во втором-третьем или десятом поколении. Двойного гражданства наша политическая культура не наработала, языковые и прочие цензы в момент крушения «империи» приобрела. Остается уповать на то, что не появится еще один националистический мутант – русский фундаментализм. Он был бы не лучше других. В любом черно – или красносотенном исполнении.

С экономикой не менее сложно. Меня так и подмывает настрочить целый трактат с цифровыми и прочими выкладками. Но, во-первых, многое уже известно. Во-вторых, нет места. Поэтому самым экономным образом об экономике.

Начну с констатации – утверждения о «неэффективности» экономической модели, существовавшей в Советском Союзе, основанной на подмене понятий. Экономика, в отличие от политики, сначала наука, потом искусство. В ней почти все можно проверить и доказать, пусть вдогонку. Опять же в отличие от политики.

Поставим вопрос так: смогли бы государства с рыночной экономикой любой разновидности выйти на современный уровень благосостояния, прежде всего в потребительском его прочтении, тратя ежегодно пятую часть национального продукта на оборону? Для США это значило бы утроение военных расходов, для ФРГ –

увеличение в четыре-пять, а для Японии – почти в пятнадцать раз. Берем только эту сторону дела. Оставляем в стороне умение внедрять достижения научно-технических революций, использовать международную интеграцию, преимущества контроля над финансовыми потоками, рынками и источниками сырья. Не будем вдаваться даже в суть, почему Советский Союз завяз в гонке вооружений, как она начиналась и кем. Условливаемся – ищем не политических виновников, а исследуем экономическую суть.

Полагаю, ответ созрел. При любой системе хозяйствования пирогом нельзя насладиться дважды – один раз в военной сфере и тут же в гражданской. Процитирую слова президента Рузвельта, сказанные в военном 1942 г.: «Гонка вооружений и здоровая мировая экономика несовместимы». Я постоянно приводил оценку Рузвельта в дискуссиях с Хрущевым, Громыко и Брежневым. Кто-то из них заметил даже:

– Гляди, не марксист, а разбирался.

К чему я клоню? Горбачев, Яковлев и другие «марксисты-ленинцы», начавшие перестройку, даже во внутренних разработках стеснялись признаться, где собака зарыта. Еще в самом начале 80-х гг. я надоедал начальству предложениями – надо объявить, сколько в действительности СССР расходует на оборону. Мы обманываем не только других, но и свой народ. Скрывая правду, мы занимаемся контрпропагандой – получается, система не работает или ее экспоненты неумехи, раз из экономических трудностей страна не вылезает.

Если не прислушиваются к доводам по сути, то, может быть, проймут такой: мы подставляем себя опасности, говорил я Брежневу. Что стрясется, если президент США примет советское предложение о сокращении военных бюджетов в равных долях или одинаковых абсолютных величинах? Ужами будем извиваться, заявит Вашингтон: согласны, урезаем военные расходы на «19 миллиардов рублей». У американцев останется на мелочи под двести миллиардов, а у нас кукиш.

Привнести бы хваленую гласность в экономическую главу перестройки, с этого и начать. Но попробуем вместе вспомнить, когда Горбачев санкционировал передачу приблизительно верных цифр по нашим военным расходам американцам и затем своему парламенту? В 1989-м или 1990 г. До того момента их не всем членам политбюро было положено знать. Продолжала действовать установка, которую Хрущев выразил в разговоре с иностранным гостем в словах:

– О сем ведают министр финансов и Господь Бог.

Не конверсия, не решительная и радикальная

демилитаризация экономики, не внеочередная интенсивная разработка реалистических новаторских программ, возвращающих народное хозяйство из головостояния на ноги, а «ускорение», «повышение эффективности», «наведение порядка». Тоже нужно, слов нет. Самый большой дефицит обнаружился в годы перестройки у нас на дисциплину и порядок. Однако ускорение, эффективность, порядок, не привязанные к наведению лучшего порядка, большей эффективности, настоящего ускорения в главном – в приоритетах, заводили за Можай.

90 процентов основных средств в промышленности было сосредоточено в добыче сырья и энергии, производстве исходных материалов и средств производства, в оборонных отраслях. Здесь было занято почти 80 процентов инженеров и рабочих, выпускалось (по стоимости) около 70 процентов товаров и услуг. На потребительские отрасли производства падало менее четырех процентов капитальных средств. Продолжать ни к чему. Разбейтесь в порошок, но, не меняя пропорций, диктуемых стратегией, никакой гуманизации экономики ни на капиталистический, ни на социалистический манер не выйдет.

Кое-что предпринималось. Мне чуждо любое передергивание. Здравоохранению подкинули, Е. И. Чазов настоял, миллиард-другой сняли со счетов Министерства обороны. Загрузили военные отрасли заказами также для легкой и пищевой промышленности, подправили в пользу потребительского сектора планы импортных закупок. Отрадными и в чем-то обнадеживающими казались тенденции в темпах роста – в 1988 г. группа «Б» обошла группу «А» по приросту на два процента. Это давалось нелегко, если учесть, что четыре пятых легкой и пищевой промышленности работало на заграничном оборудовании.

Статистика регистрировала проценты и доли процентов – предвестники перемен. Но ситуация на потребительском рынке, в жилищном строительстве, медицинском обслуживании населения не менялась. Во всяком случае, к лучшему. Соприкасаясь с разогретыми обещаниями ожиданиями, рапортные достижения уподоблялись в массовом сознании каплям, падающим на раскаленные камни.

Реально и абсолютно военные расходы страны стали сокращаться на рубеже 1988–1989 гг. Уходил в историю четвертый год перестройки, так и не произведя на свет убедительной практической программы конверсии военного производства. Ни комплексной, ни по родам оружия. Нельзя же, в самом-то деле, принимать за программу планы-задания военным предприятиям и министерствам на конструирование и изготовление определенных видов гражданского технологического оборудования и производственных линий. А в отсутствие системного подхода ничего не стоило заявлять: через два или три года или… (как накатит) «оборонка» станет трудиться на нужды человека.

По глубине милитаризации советская экономика не знала равных среди крупных стран. С середины 70-х гг. я при каждом удобном и неудобном случае повторял, что мы ведем гонку вооружений не против Соединенных Штатов, а против самих себя. Экономическая перестройка должна была открыться выдергиванием стоп-крана милитаризму, ставшему идеологией в идеологии и государством в государстве.

Военно-промышленный комплекс – понятие, с легкой руки Д. Эйзенхауэра, распространенное, но к Советскому Союзу применимое лишь отчасти. Если по справедливости, а не просто каждой сестре по серьге. Поэтому, обращаясь к термину «государство в государстве», я имею в виду не вооруженные силы, не конструкторов вооружений, не оруженцев, превращавших их идеи в металл. Немало из них знал лично и отдаю должное интеллекту и гражданской позиции большинства.

Самые отъявленные милитаристы, как правило, – цивилисты. Офицеры и генералы в большинстве своем не так склонны к бесшабашным суждениям, как иные не обученные армейскому делу, не нюхавшие пороху люди на гражданке. Воинствующие цивилисты не просто освещают прожекты генеральных штабов, но частенько предписывают военным образ мышления и поведения; случается, именно они задумывают осады, блокады, «стратегии устрашения» и «истощения», холодные и горячие войны, с особой легкостью превращая тысячи и миллионы убитых и раненых в шеренги статистических выкладок. Ими целые страны и континенты отдаются в полон милитаризму. Армии редко завоевывают собственные народы.

Почему М. С. Горбачев не провел грани между желательным и совершенно необходимым, внешним и внутренним в самом трудном варианте конверсии – конверсии не военного производства, но стратегического мышления, мышления не на оперативном, а политическом этаже? В Рейкьявике – отдаю

должное – он сказал наконец-то то, к чему примеривался еще Н. С. Хрущев: Советский Союз не будет впредь идти по стопам США в военно-технологическом соперничестве, этой сердцевине гонки вооружений. Сказал. Отлично. Но совместились ли слова и дела? Есть вопрос.

Полагаю, что и здесь упустил Горбачев свою фортуну. Она давалась ему. Конечно, имелись поводы поеживаться на сквозняках. Маховик набрал слишком большие обороты, чтобы остановиться вдруг. Но должно было быть ясно одно – без демилитаризации страны в самом широком смысле, без конверсии ее экономики мечтам о материальном возрождении Советского Союза и создании достойных человека условий жизни не суждено было сбыться.

Не знаю, удалось ли мне понятно выразить свою мысль: экономическое будущее перестройки и, стало быть, ее судьба были завязаны на способность и готовность политического руководства совершить гражданский подвиг – бросить вызов милитаризму. Задача труднейшая, нерешаемая в один присест, но в определении отношения к ней не терпевшая недоговоренностей, двурушничества, попыток обхитрить жизнь.

Все остальное было тоже важно, даже до чрезвычайности. И обращение к рыночным механизмам хозяйствования со всемерным поощрением конкуренции и ликвидации монополизма, и реформирование сверху донизу системы государственного регулирования, и пересмотр под углом зрения экономической целесообразности отношения к международным хозяйственным образованиям. Важно и необходимо – без них экономика оставалась бы затратной, живущей от чиновничьей милости. С переменами в механизмах хозяйствования тянуть также никак было нельзя.

В экономике есть свой порог остойчивости. Не удастся вывести корабль не то что на нужный курс, а элементарно удержать на плаву, если остойчивость потеряна. Она не может быть не потеряна из-за несоразмерных изъятий из производительной сферы на контрпродуктивный милитаризм, которые обескровливают и народное хозяйство, и весь национальный организм. Она не может быть восстановлена простой заменой дирижистского способа хозяйствования на рыночный. Хотя бы потому не может, что всякому рынку противопоказан милитаризм, как и милитаризму – рынок. При любой системе милитаризм был и останется внерыночной категорией.

Уместен иной вопрос: не поздно ли было в 1985 г. думать о ремонте советского дома, не упустили ли время для этого? В

ноябре 1990 г. я участвовал в написании «программы из 8 пунктов», которая на ура прошла в Верховном Совете СССР и, что почти уже не случалось в то время, получила хорошую прессу. Через год с лишним Горбачев станет открещиваться от нее как «нелиберальной». Мол, «насоветовали советники».

Советники, я в их числе, рекомендовали занять ясную позицию по коренным вопросам, волновавшим население. Беспощадную критику президента в парламенте, прозвучавшую 16 ноября, мы охарактеризовали как последнее предупреждение – либо Горбачев должен действовать, либо сдать власть. Нельзя оценивать положение в экономике, разгул беззакония как нечто чрезвычайное и выжидать, отделываясь полумерами.

Горбачеву не пристало, однако, уступать советникам свое авторство по ряду ключевых пунктов программы. Замена Совета министров Кабинетом, подчиненным непосредственно президенту, расширение полномочий Совета Федерации и «упразднение» Президентского совета, создание Совета безопасности, координация деятельности правоохранительных органов – это его идеи. Форма «упразднений» и «учреждений» нас смущала, и мы рекомендовали предварительно обсудить намеченные меры с Н. И. Рыжковым и другими коллегами по руководству. Но президент нас не послушал. Редактируя проект, он даже огрубил формулировки: «Хотели решимости, так я покажу!»

Не возьмусь отстаивать тогдашних рекомендаций. Без этого всплеска 17 ноября горбачевская глава могла завершиться на год раньше. Без путча и всякой всячины.

В «программе из 8 пунктов», чем она и привлекла интерес, проставлялись сроки, когда и что должно было конкретно начаться или случиться. К примеру, создание структуры для борьбы с организованной преступностью или контрольной палаты, призванной следить за выполнением законов и президентских указов. Но прошли объявленные одна-две недели, месяц на исходе. Конь не валялся.

Беру в декабре 1990 г. слово на съезде народных депутатов. В центр ставлю тему законности и, обращаясь к Горбачеву, говорю, что на президенте лежит двойная обязанность: самому блюсти законы и заботиться о том, чтобы закон уважался всеми. Подтекст предельно ясен, но не нравится сидящему за моей спиной лидеру – не способен, отдай пост тому, кто сможет.

Еще одной иллюзией меньше. Почитай, последней. Ставлю заместителя генерального секретаря ЦК КПСС В. Л. Ивашко, коллег по Секретариату в известность, что 1 августа 1991 г., когда исполнится пятидесятилетие моей трудовой деятельности, я

ухожу на пенсию. Еще до этого вступаю в контакт с К. Кёрбером. Предлагаю, как уже упоминал, создать советско-немецкую группу для совместного осмысления истории Второй мировой войны. Пора отказаться от продолжения былых сражений на страницах книг и журналов в пользу максимальной объективизации исследования.

Из рассказа почти выпала внешняя политика периода перестройки. Не забыл. Оставил на конец. Тем более что в летописании перестройки она и дальше будет стоять особняком. Внешняя политика составляла заповедную зону Горбачева и во всех своих достижениях или неудачах несет на себе его личный почерк.

Премьер-министр Великобритании М. Тэтчер частенько повторяла, что первой разглядела в Горбачеве, посетившем ее страну в 1984 г., будущего реформатора. Мне представляется, что в этой поездке Горбачев сам опробовал себя в новом качестве и утвердился во мнении – не боги горшки обжигают.

Тогда же Горбачев вкусил от пряностей международных дел, уловил, что на этой стезе зреет обильный урожай, решил, что при нем внешняя политика Советского Союза будет иной. Какой? Даже имея концептуальные наработки Института мировой экономики и международных отношений, вряд ли ответил бы. Пока знал одно – это будет его внешняя политика, ориентированная на его видение перспектив, не цепляющаяся за традиции. В международной сфере последние часто не что иное, как инерция мышления.

Новая политика требовала нового исполнителя – своего министра иностранных дел. Если бы Громыко даже захотел остаться главным дипломатом, Горбачев нашел бы ему другую почетную должность, но со Смоленской-Сенной площади непременно убрал бы.

Из числа возможных преемников Громыко я исключал всех заместителей министра и всех послов. Яковлев и Арбатов не казались мне реальными претендентами, хотя кое-какие спекуляции на их счет имелись. Требовался новичок. Из него легче получится нужный дипломат.

Как-то не возникала параллель с концом 30-х гг. Тогда брали преподавателей из высшей школы, чаще технической – и сразу в руководители мидовских департаментов или в послы. Из некоторых вышли толковые внешнеполитические работники.

Новичок оказался более чем новым. Одно качество Э. А. Шеварднадзе наверняка сгодится – работоспособность. В конце концов оно поспособствовало в ФРГ Геншеру в хорошем темпе стать из внутреннего убедительным внешним министром. Почему

министр внутренних дел Грузии не может превратиться в министра иностранных дел Советского Союза? Особенно ни перед кем не отчитываясь, кроме генерального секретаря.

Предвзятости не было. Будучи немножко в курсе, какие мысли «гонял» Горбачев в диалогах с Яковлевым, желал генеральному и его внешнеполитической команде успеха. Кое-что в этих мыслях перекликалось с моими представлениями, неосуществленными задумками, выводами, которые я твердо сделал для себя. Не получилось у меня, не сумел или не пробил. Попутного ветра другим.

В первую голову это касалось выхода Советского Союза из гонки вооружений. Друзья помнят мой своеобразный счет: танк – минус сельская школа, бомбардировщик – непостроенный госпиталь, стратегический ракетный комплекс – потерянный университет, плавучий монстр «Тайфун» – годовая жилищная программа Москвы. В 1982 г. я развивал в разговорах с генерал-полковником Н. Ф. Червовым, обеспечивавшим в Генеральном штабе разоруженческие переговоры, свою модель паритета. Она перекликалась с размышлениями бывшего руководителя военного ведомства США Р. Макнамары, знакомству с которым я обязан Пагуошскому движению.

Суть сводилась к следующему: если военный атом – политическое оружие, а не оружие театра войны, то СССР и США для «сдерживания» реально нужно по нескольку сот стратегических боезарядов. Все остальное – лишнее. Поэтому Советскому Союзу стоило бы проявить инициативу и предложить Вашингтону выйти в ближайшие три – пять лет на паритет не по фактически достигнутому максимуму (10–12 тысяч боезарядов), а по прагматическому минимуму – не более одной тысячи боезарядов на каждой стороне. Причем так, чтобы США и СССР по собственному усмотрению определяли, какие системы и каких видов базирования они в означенных пределах будут иметь. Разница в мегатоннаже учитывалась. Предусматривалось его сбалансирование с учетом точности (КВО) и ряда других технических параметров в течение примерно десяти лет.

Эту модель можно поставить в ряд с другими моими фантазиями. Об одной из них я обещал вам рассказать.

Я уже работал в «Известиях». По старой памяти некоторые из бывших коллег порой навещали меня в редакции или дома, делились новостями. В. В. Загладина (Международный отдел ЦК КПСС) тревожит быстрое ухудшение военно-политической обстановки в Европе и не самые благоприятные тенденции развития на Дальнем Востоке. А тут еще СОИ. Что можно было бы сделать?

Ставлю Загладина в известность о признании, услышанном мною от Громыко в 1972 г.: если бы иначе не получалось, то передача Федеративной Республике Западного Берлина не была бы чрезмерной платой за ее новую политику. Это для собеседника сюрприз. Не вернуться ли к идее министра сейчас?

Насколько я слышал, В. Брандт взвешивал целесообразность актуализации темы германского мирного урегулирования, единого для двух государств или параллельного, вбирающего свои особенности для каждого из них. Как с Западным Берлином? Третьего мирного договора быть не может, а с изъятием Западного Берлина – урегулирование не урегулирование. Может быть, предпочесть факты юридическим фикциям? При условии, понятно, что и Федеративная Республика проявит понимание к советским интересам. «Першинги-2» не должны появиться на западногерманской земле. Франция в свое время вышла из военной организации Североатлантического союза. Почему этот путь должен быть закрыт для ФРГ, да еще при одновременном капитальном решении проблемы Западного Берлина? Три державы взбеленятся? Но это будет их забота.

Загладину мои соображения импонируют. Он берется прощупать почву в беседах с западногерманскими политиками и затем, без ссылок на меня, доложить политбюро.

Конец не венчал, а убил дело. Громыко прослышал о загладинских зондажах. Немедленно издается директива, запрещающая кому бы то ни было обсуждать с кем бы то ни было из немцев тему мирного урегулирования в любом варианте и контексте.

Отвлекся. Сопоставляя свои представления о контроле над вооружениями и по разоружению, я находил начальную планку, как ее поставил Горбачев, не завышенной. Вызывало известные недоумения другое: наша гибкость частенько отдавала приспособленчеством.

Готов посмеяться анекдоту. Помните? Нужны взаймы 150 долларов. У приятеля 150 нет, есть 50. Давай 50, а 100 будешь должен. Политике не обязательно быть пресной. Шутка в ней не помеха, случается, она помогает развязывать узелки. Хуже, когда шутка, подаваемая в форме серьезного предложения, завязывает новые узлы.

Но политика непременно должна оставаться честной. В жизни не бывает, чтобы одна сторона всегда и во всем была виновата, даже если в политике, в отличие от физики, отрицательное не отталкивает отрицательное, а притягивает. Не будем этого забывать.

15 января 1986 г. Горбачев выступает с эпохальным

заявлением о поэтапной денуклеаризации Земли. Я уже упоминал, что авторство идеи принадлежало тогдашним начальнику Генерального штаба С. Ф. Ахромееву и первому заместителю министра иностранных дел Г. М. Корниенко. Маршалу оно стоило в конечном счете жизни, дипломату – его поста.

Собирали, как обычно бывало, интересные идеи к съезду партии. Даны задания МИДу, Минобороны, институтам. Дипломаты никак не вырвутся из рутины. Их идеи не тянут на сенсацию, как требовал М. С. Горбачев. На кого снизошло в тандеме Ахромеев – Корниенко, я в беседах с обоими не счел тактичным уточнять, но в том, что сотрудничали они со вкусом, сомнений не было. Если бы Корниенко догадался подать плод к столу от имени двух министров или, еще лучше, с визитной карточкой одного Э. А. Шеварднадзе, то все и образовалось бы. Не догадался и тут же был окончательно занесен в «громыкинские реликты».

Горбачеву идея Ахромеева – Корниенко пришлась по душе. Больше того, он распорядился превратить идею в песню и исполнить ее еще до съезда. Теперь в дело включился А. Н. Яковлев. Возникло заявление 15 января, по праву привлекшее всеобщее внимание.

Удаление Г. М. Корниенко явилось первым практическим результатом заявления 15 января. Вторым стала встреча на высшем уровне в Рейкьявике.

О своем участии в разработке внешнеполитической части концепции нового мышления я кое-что поведал. Сама концепция звала строить политику внутри страны на законе и фактах, а вовне – на фактах и праве. Баланс интересов – основа согласия между государствами. Социальный, национальный, человеческий баланс в делах домашних – способ предотвращения конфликтов в самих государствах, обеспечения их динамичной стабильности. Не увязав все частное, мы не придем к целому, упустив из виду целое, не спастись в частном.

Удалось оттенить и прописать в докладе, а также в заключительном слове генерального на съезде ряд мыслей, некоторые наметить. К великому китайскому соседу пошло солидное примирительное послание. Тема «третьего мира», отношений Север – Юг впервые была поднята на уровень глобальной проблемы. Ныне я нашел бы, как ярче и полнее выделить ее судьбоносный для цивилизации характер. Многие положения доводил до ума Яковлев. Его рукой сделаны принципиальные обобщения особенностей эпохи, настоятельно взывающих к несиловому, политическому прочтению самой

проблемы военной безопасности.

Через год-два внешняя политика обрела для Горбачева самодовлеющее значение. Успех в ней отдалял и, как, вероятно, калькулировал генеральный секретарь, даже предотвращал крах. В погоне за успехом во что бы то ни стало теряется грань, за которой согласие с другими становится расхождением с собственным долгом.

Прежде чем я это проиллюстрирую, чуть подробнее о технологии внешней политики периода перестройки. Чем походила и чем отличалась она от времен Хрущева или Брежнева? Совпадения налицо. Первые лица в партии были первыми во внешней политике. Парламент существовал для проформы. Правительство? При Хрущеве, когда он соединял посты первого секретаря и председателя Совета министров, игнорировать правительство мог только он сам. При Брежневе правительство еще занималось тем, что вело войны. Некоторыми функциями, впрочем достаточно расплывчатыми, обладало политбюро. В силу самого своего названия оно было формально обязано стоять на страже того, чтобы внутренняя и внешняя политика не сходила с идейных рельсов, устанавливавшихся съездами, пленумами и в спорных случаях «классиками». Формально, потому что политбюро далеко не всегда и не во все посвящали.

Теперь об отличиях. Н. С. Хрущев был человеком настроения. Идеологические «вольности» сам практиковал и от других терпел. Л. И. Брежнев подкрутил идеологические гайки, но занимался этим чаще с чужой подачи. Особое усердие в гонениях на инакомыслящих показывали в ту пору М. А. Суслов и Ю. В. Андропов, В. В. Гришин и Г. В. Романов.

При Хрущеве я на заседаниях политбюро не присутствовал. Как строились там обсуждения, знаю понаслышке. Чему был сам свидетелем – Хрущев без всякого политбюро принимал решения, способные испепелить Землю. Политбюро выполняло роль контрольной палаты в отношении не первого секретаря, а других членов политического руководства, МИДа и всех прочих ведомств, соприкасавшихся с международными делами, координировало их деятельность, подравнивало ее под первый номер. До изгнания в 1957 г. «антипартийной группировки» В. М. Молотова было несколько иначе. Молотов пускался в дискуссии со Сталиным и легко не уступал Хрущеву.

Брежнев чрезмерных амбиций по части внешней политики первые годы секретарства не выказывал. Лет пять «триумвират» не был химерой. Его размывали изящно. Косыгин посещал, по-моему, английскую выставку в Москве. Вместе с ним там были Д.

С. Полянский и еще кто-то из членов политбюро. В сообщении для печати мы с Л. М. Замятиным употребили формулу «А. Н. Косыгина сопровождали Д. С. Полянский…». Звонок в отдел печати МИДа со ссылкой на поручение Брежнева. Допущена «крупная ошибка»: все члены политбюро равны, поэтому один не может «сопровождать» другого. Косыгин и Подгорный нивелируются с остальными. А первый – он и есть первый.

До 1974 г. включительно обсуждения на политбюро происходили преимущественно в деловой атмосфере. Некоторые препятствия Брежнев брал с нескольких заходов или не одолевал их вообще. В силе был консенсус. Рамки принятых решений генеральный не зауживал. Если Хрущев не давал министру иностранных дел подняться выше исполнителя, то при Брежневе, еще не приосанившись в политбюро, Громыко присвоил себе право интерпретатора внешнеполитических позиций и намерений в обширном диапазоне. После 1975 г., когда генеральный царствовал, но не правил, политбюро напоминало печать, коей в твеновском «Принце и нищем» кололи орехи.

Перестройка вырвала политбюро из дремы. Поубавилось решений, и зацвели дискуссии. С какого-то этапа, однако, если брать внешнеполитическое направление, политбюро – в основном пиквикский клуб при генеральном. Первый все чаще употребляет выражения «пока я генеральный, этого не будет» или «не позволю, чтобы…». Тогда-то дистанция между первым и непервыми, формально в правах равными с ним, увеличивается до масштабов каньона. Вопрос времени, когда разрыв произойдет.

Еще самодержавнее поведет себя президент М. С. Горбачев. Верховный Совет, заявит он, не полномочен выносить обязательные для него решения или контролировать его действия, ибо президент подотчетен лишь съезду депутатов. Советы Федерации и безопасности состояли при нем. Президент мог интересоваться их мнением до события или, если ему удобнее, после. А мог терять к ним интерес вообще.

Оставаясь генеральным секретарем партии, Горбачев был подотчетен пленуму ЦК и политбюро. «Демократизируя» партию, он пошел на избрание генерального XXVIII съездом и поставил себя над Центральным комитетом. Никакой регулярности в созыве политбюро. Каждый из национальных партийных лидеров потянул в свою сторону. Лебедь, рак и щука, как в басне И. А. Крылова. Разделяй и властвуй? И совсем не похоже на правящую партию, собиравшуюся бороться за власть. Фактически партия начала рассыпаться до крушения государства.

Повторю в несчетный раз, не был Горбачев изначально без руля и ветрил. Звезды на небе ему благоплескали, и сам он

поднимался подчас до откровений. Они останутся, не угаснут вместе с автором.

Разоружение. Не должно было оставаться по-прежнему с гонкой вооружений. Отсюда как императив: надо под новым углом зрения продумать подходы к разоружению. В целом и в частностях. Переговорам по разоруженческой проблематике пора обрести позитивную цель. Являясь продолжением конфронтации и выдавая «доказательства» невозможности согласия, они обслуживали гонку вооружений, ставили под сомнение саму идею политических решений, продлевая век насилия.

Советские арсеналы и новые военные программы убедительнее всего доказывали, как много лишнего даже в необходимом. До поры до времени почти никто не рисковал покуситься на «оперативно-техническое» или «глобально-стратегическое» обоснование «оборонных потребностей». Начальник Генштаба Н. В. Огарков рискнул и вскоре стал бывшим начальником. Н. К. Байбаков, председатель Госплана, выдавал сигналы бедствия, но не он решал. Н. Н. Иноземцев, еще пара ученых и практиков из государственного аппарата со ссылками на чужой опыт показывали, как сила легко переходит в слабость, когда она голая сила. Среди них странным образом не было, замечу походя, никого из «убежденных сверхпацифистов» закатной поры перестройки. Видно, они собирались с духом.

Стало быть, предстояло осмыслить категорию необходимого. Здесь требовались ересь и одновременно логика. Остроумный француз написал целую книгу о том, как в одной политической постели могут сниться разные сны. Логика кричала, что слова и дела у нас не увязываются. Но ее отказывались слышать. Может, теперь услышим?

Каждая из сверхдержав владела ядерным потенциалом, способным двадцать пять – тридцать раз погасить всякую жизнь на планете Земля. Что переменится от того, если убойная мощь утроится или, напротив, как предлагали Р. Сагдеев и А. Кокошин, будет сведена к пяти процентам от достигнутого уровня?

Воевать нельзя, человечество отвоевалось. Навсегда. В любых сочетаниях и мотивациях. Независимо от того, какие новые военные технологии будут изобретены или способы их применения придуманы. Человечество лишило себя бессмертия. Не класс, не строй, не государство, не отдельная нация – человек, порвавший с законами природы и надругавшийся над ними. Его спасение – в возврате к нравственным ценностям, в осознании того, что он часть целого и может иметь будущее, лишь не отказывая в будущем остальным, что владение оружием, особенно оружием массового поражения, делает его противником

не противника, но всего человечества и самого себя.

Советский Союз первым из ядерных держав выразил готовность уравняться в статусе с подавляющим большинством мирового сообщества. Непреходящая заслуга М. С. Горбачева в том, что мечте он придал крылья, красивую идею ядерного разоружения перевел в конкретные практические предложения, адресовался с ними сперва к себе, потом к другим.

В Рейкьявике руководители СССР и США, если судить по внешним приметам, упустили счастье безъядерности на формулировке, касавшейся СОИ, а не ядерных систем как таковых. Увы, это обманчивое впечатление. Не совместились военно-политические и философские представления. Для успеха требовалось партнерство в безопасности, а Соединенные Штаты и Советский Союз пребывали в состоянии войны. Одни по старинке числили ее холодной войной, другие – Каспар Уайнбергер, министр обороны США, к примеру, – созрели для «войны в мирное время», в которой оружие «врага» поражается не примитивным прямым попаданием, а технологическими изощрениями.

На знаменитой пресс-конференции в Рейкьявике М. С. Горбачев сказал то, что нужно: Советский Союз не будет впредь обслуживать американскую стратегию, задавшуюся целью довооружать нас до смерти. Обмениваясь с нами мнениями еще в исландской столице и по возвращении в Москву, Горбачев горячо отстаивал принцип равенства в безопасности, не сводя его вместе с тем к арифметике. На каждый чужой зуб своих не напасешься. Но есть пределы.

Понятно-понятно. Не устоять нам на осуждении СОИ и отрицании осуществимости проекта на данном уровне знаний. Но если втянемся – конец.

Генеральный напряженно ищет пути к продолжению диалога с Р. Рейганом. «Нулевой» американский представляется ему неприемлемым, поскольку создает для Советского Союза, по терминологии Вашингтона, окна уязвимости. Ведь он исключал военно-морские и авиационные средства передового базирования США, а также брал за скобки ядерные силы Великобритании и Франции.

Пройдет чуть времени, и Горбачев известит нас, что решил поставить на кон наши «Пионеры» на «определенных условиях». Потом условия одно за другим сброшены, а под конец генеральный отдал даже то, о чем его не просили, – советские РСД на Дальнем Востоке и оперативные ракеты повышенной дальности в Европе. Американцы подивились, что бы это могло означать? Но потом посчитали – раз дают, ничего не требуя

взамен, надо брать.

Я не смог прояснить, что вызвало смену румба в позиции Горбачева. Военные ссылались на приказ сверху. А. Н. Яковлев заметил:

– Генеральному виднее, нужны ли нам «дорогие игрушки» типа СС-20.

– Но заводы клепали их три года уже при Горбачеве, – говорю я.

– Ничего не поделаешь, инерция, – парирует Яковлев, напомнивший мне в этот момент Луку из горьковской пьесы «На дне».

Потом взялись всерьез за стратегические наступательные. Уже не связывая с денуклеаризацией Земли или (с паршивой овцы хоть шерсти клок) прекращением ядерных испытаний. Наконец, венские переговоры по обычным вооружениям, выводившие советские войска в ГДР примерно на отметки, которые я себе представлял в 1970-м или в 1976–1977 гг. Лед тронулся, радуйся.

Договоренности ставят Советский Союз перед необходимостью менять не просто доктрину и оперативные планы, но сами несущие материальные конструкции своей оборонной системы. США и НАТО в целом обходятся поправками по эшелонированию. Есть вопрос?

Другой вопрос – как быть со все дальше расходящимися асимметриями в военно-морских вооружениях и ВВС? Мы уходим из «третьего мира»? Тогда понятно. Соединенные Штаты могут считать, что на главном своем направлении они близки к победе.

Третий вопрос – если в обычных вооружениях Советский Союз односторонне разоружается, то в чем великая мудрость оформления пока безответной нашей доброй воли международными договорами с контролем, который нам же и предстояло оплачивать?

В межведомственной комиссии – ей было поручено координировать параллельно протекавшие переговоры по разоруженческой проблематике, а также увязывать подходы Минобороны и МИДа – постоянно разгораются бои местного, регионального и глобального масштаба. Меня, видевшего всякое на международных форумах, подчас удивляет острота полемики, которую ведут чаще других Э. А. Шеварднадзе и начальник Генерального штаба М. А. Моисеев. Один заявляет:

– Ведите переговоры с США сами, если будет принята позиция Министерства обороны.

Другой снимает с себя ответственность за безопасность страны, если предпочтение отдадут «капитулянтской» линии

МИДа.

Как развивались события, когда не удавалось притереть подходы дипломатического и военного ведомств? Комиссия составляла доклад на имя Горбачева, в котором называла развязку или предлагала «верховному главнокомандующему» стать арбитром. В большинстве случаев Горбачев брал сторону Шеварднадзе без раскрытия мотивов своего решения.

Межведомственная комиссия, ее председателем был Л. Н. Зайков, должна была присматривать, кроме того, за точным исполнением советскими делегатами директив на ведение переговоров. Наиболее серьезные отклонения допускал Шеварднадзе. Неоднократно он принимал требования США, противоречившие имевшимся у министра полномочиям, с оговорками («лично готов согласиться», «требует дополнительного подтверждения» и пр.) или без оговорок, «забывая» отразить этот факт в отчете. Поэтому эксперты комиссии были вынуждены густым гребнем прочесывать протоколы и при возникновении сомнений что-то уточнять с помощью переводчиков и по другим каналам.

Горбачев реагировал на нелояльность министра неодобрительно. Иногда Шеварднадзе предлагалось самому выкручиваться. Но чаще всего потерянному вслед не смотрели. Мудро, если бы речь не шла о государственных интересах особой важности и элементарной порядочности.

Что имел в виду С. Ф. Ахромеев, говоря мне о «сознательном» небрежении генерального секретаря и президента советскими оборонными интересами? В безадресной предсмертной записке, датированной 24 августа, он написал: «Не могу жить, когда гибнет мое Отечество и уничтожается все, что считал смыслом жизни».

Я хорошо знал Ахромеева. Вместе в конце 70-х гг. мы отрабатывали не один документ, в частности в связи с принятым Советским Союзом в одностороннем порядке обязательством об отказе от применения первым как ядерного, так и обычного оружия. Ахромеев высказывался против военного вмешательства в Афганистан. Именно он забил в Генеральном штабе тревогу по поводу планов НАТО раскрутить в целях изнурения СССР гонку высокотехнологичных обычных вооружений. Заключение Ахромеева гласило: как было, дальше быть не может.

Человек чести и исключительной личной честности, маршал внес весомый вклад в модернизацию нашей военной доктрины и, без преувеличения, выработки нового военного мышления. Трагедия Ахромеева – дополнительная причина для глубокого и системного анализа перестройки.

Полагаю, что могу опустить до другого случая рассказ о нашем выходе из Афганской войны. В бесславности он спорил с началом интервенции. Политических деятелей, прямо или косвенно причастных к роковым решениям конца 1979 г., поразил склероз. Им на память приходили лишь чужие имена, а крепкие оценки войны как преступления плохо вязались с недавними выражениями совсем иного свойства. Впрочем, стать умнее никому не запретишь.

Не знаю, ждете ли вы от меня покаяния, столь модного на пепелищах. Хотя бы по поводу работы в Международном отделе ЦК КПСС. Дам справку – я принял поручение перестроить отдел, исходя из того, что партия перестала быть государственной и воплощением истин в последней инстанции. Оценить, что у меня получилось и что нет, можно, лишь сравнив Международный отдел 1987–1988 гг. с отделом 1990–1991 гг.

Любому объективному человеку многое скажут два факта. Из 208 партнеров, с которыми отдел поддерживал связи, более 115 были либеральными, социал-демократическими, центристскими, консервативными партиями и организациями. Многие из них сами, уже в мое время, проявили инициативу к установлению контактов с КПСС.

Еще до моего избрания секретарем ЦК (июль 1990 г.) я распорядился впредь до рассмотрения вопроса в комплексе на политбюро, которое единственно и могло распоряжаться «фондом солидарности», остановить прежнюю практику поддержки родственных и дружественных партий. Верно, что с незапамятных времен такая поддержка практиковалась и практикуется повсюду в мире. На помощи из-за рубежа оперились в годы перестройки бесчисленные партии и целые «народные движения» в бывшем Советском Союзе. Это дополнительный повод многое продумать заново. Всякое использование «специальных каналов» для передачи нашей помощи было прекращено, сама необходимость в этих «каналах» отпадала ввиду отсутствия факта помощи.

Уйди вовремя, как собирался, не возникало бы повода даже писать об этом. Но если бы на излете лет не попал в секретари ЦК партии, не смог бы со всей ответственностью засвидетельствовать: не было у Международного отдела счетов в зарубежных банках или переводов через этот отдел на какие-то заграничные счета партии вообще. За свои три года даю гарантию.

Много внимания во время работы в Международном отделе, как до этого и в АПН, забирала германская проблематика. Информация из различных и независимых друг от друга источников сходилась в критическом пункте: ситуация в ГДР

неуклонно и с ускорением дестабилизировалась. Профессор Р. А. Белоусов прогнозировал в середине 80-х гг., что к концу десятилетия страны СЭВ ждет экономический крах со всеми политическими и социальными последствиями. Этот прогноз докладывался мною на политбюро в 1986 г.

В 1987–1988 гг. я доводил до сведения М. С. Горбачева и А. Н. Яковлева, что явления распада в ГДР зашли значительно дальше, чем принято считать. Отмечал, что, по мнению собеседников, хорошо ориентирующихся в обстановке в республике, момент для перелома упущен и всякое непредвиденное событие может вывести развитие из-под контроля «в любые ближайшие три месяца».

Настораживающие сведения не стали наверху толчком к всестороннему и глубокому анализу. Руководство, возможно, было осведомлено о подспудных тенденциях в ГДР и других восточноевропейских странах или полагало мою информацию излишне сгущенной, не требующей немедленной реакции.

С завидным спокойствием Горбачев отнесся к соображениям Г. Киссинджера, шедшим в том же направлении. Бывший госсекретарь предрекал бурные перемены в Центральной и Восточной Европе и высказывался за то, чтобы США и Советский Союз координированно и упорядоченно выходили из холодной войны. Мы сидели с ним рядом во время выступления Горбачева на Генеральной Ассамблее ООН (декабрь 1988 г.). Г. Киссинджер не ожидал услышать о столь масштабных политических и идейных переменах в советской позиции, иначе, заметил он, дал бы несколько другие рекомендации Дж. Бушу, который в тот же день встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС.

– Выступление вашего лидера открывает предпосылки для партнерства наших стран в переустройстве отношений Запад – Восток в целом. Во взаимных интересах, чтобы переход в новое качество не принял стихийные и конфликтные формы и две державы смогли выработать неизбежные сдвиги в расстановке сил в свои глобальные концепции.

Г. Киссинджер выразил заинтересованность обменяться мнениями с М. С. Горбачевым и А. Н. Яковлевым лично, чтобы изложенные им соображения были переведены в практическую плоскость. Я устроил ему встречу с Яковлевым тогда же в Нью-Йорке, а разговор с генеральным был перенесен в Москву. Катастрофическое землетрясение в Армении прервало визит Горбачева в США. Зато в Москве давалась возможность переговорить более обстоятельно.

Свыше трех часов два политика провели вместе. Не знаю, кого и что больше не понял Горбачев: Киссинджера, факты или

самого себя? Меня расстроили его слова:

– Киссинджер никак не избавится от своих реакционных идей. Он весь в прошлом.

Странно, но суть ускользнула от генерального. Приверженец завета князя Меттерниха – каждому говори свою правду, Г. Киссинджер наверняка расставлял акценты иначе, чем беседуя с Яковлевым или со мной. Но акценты не отменяли хода мысли, на мой взгляд конструктивного.

Три года спустя случай свел нас с Киссинджером в зале ожидания на Шереметьевском аэродроме под Москвой. Пятьдесят минут было отведено на воспоминания о прошлом и… о будущем. О будущем говорю потому, что упущенный шанс не забывается. Он свербит, если, конечно, слово не было пустым звуком.

– Не принял Горбачев моих предложений. Советскому Союзу давалась возможность организованно отойти на новые позиции, а не бежать. Контролировать процессы в одиночку вы уже не могли. Разделить с нами ответственность не захотели. Чем объяснить нелогичность поведения вашего президента, как вы полагаете?

– Когда политик уже не очень ориентируется в реалиях происходящего, он сам перестает быть реальностью. Обстановка развивается без него и против него. А если политик к тому же эгоист? Чем меньше его принимают другие, тем легче он нравится сам себе, больше верит в гороскопы. Вы в эти гороскопы не укладывались.

Г. Киссинджер повторяет сожаление, что его соображения, «продиктованные лучшими намерениями», были превратно истолкованы.

Отсутствие четкой позиции у Горбачева беспокоило нас больше, чем политиков на Западе. Его выступления в ООН или Страсбурге запустили на высокие орбиты не слова. Это тот случай, когда слова сразу взрослеют и не слушаются родителей, начинают жить собственной жизнью, в которой «предкам» не всегда сыщется койка в углу.

Поездка в Китай – очень хорошо. Почти шесть тысяч километров самой протяженной в мире межгосударственной границы станут мирными. Они могут опять соединить нас в добрососедстве, от которого никто не проиграет. Тревожит предвзятый подход Горбачева к экономическим преобразованиям в КНР. Все, на его вкус, не так. Все нам не годится. Все это он лучше знает и понимает, чем руководители Китая. На заседаниях политбюро генеральный прогнозирует – реформы в китайской деревне уже уперлись в «естественные пределы» или вот-вот упрутся, а в промышленности китайцы больше отдают, чем

зарабатывают, и скоро будут вынуждены искать нечто новое.

Тяжелые волнения на площади Небесного Спокойствия, совпавшие по времени с визитом М. С. Горбачева в Пекин, наверное, утвердили советского лидера во мнении – сначала политические реформы, потом экономические. Политика ему ближе, ибо делается, он в этом уверен, преимущественно лозунгами и концепциями. Демократизация, гласность, отмена всех табу работают и на пустой желудок. Ладно работают, на взгляд сытого, не разумеющего голодного.

События в Пекине – мне дополнительный повод напоминать, что перемены в Восточной Европе нельзя сводить к «специфике» Польши или Венгрии. В кризисе – послевоенный порядок, нами насажденный и не лучшим образом адаптированный к местным условиям «друзьями». В кризисе – вся система отношений в «социалистическом содружестве». Нужно быть готовым к взрыву, хотя не совсем ясно, где рванет вначале.

По моим представлениям, больше всего стенки котла истончились в ГДР. Антирежимные выступления могут быть подавлены. Но к чему это приведет? Наши войска останутся в казармах. Их неучастие в подавлении волнений и даже мятежа не есть, однако, нейтралитет. Нейтралитета в любом из возможных конфликтных вариантов быть не может. Мы не спасемся от обвинений в том, что Советский Союз на стороне насилия. Одно-единственное остается – пытаться убедить Э. Хонеккера: если изменения неотвратимы, лучше самому их возглавить.

Генеральный секретарь ЦК СЕПГ Э. Хонеккер делает остановку в Москве по пути в Магнитогорск. Полвека назад он участвовал в закладке металлургического комбината, съевшего тем временем железорудную гору и вгрызающегося уже в земное чрево. Горбачев в дипломатических выражениях, но ясно дает понять, что нужны реформы, и незамедлительно. Э. Хонеккер впервые без заикания произносит «перестройка». Не исключено, замечает он, что она подходит для Советского Союза. ГДР, однако, живет в других условиях, требующих иных действий.

Объяснились. По-видимому, Э. Хонеккер счел за достоверный сигнал, будто Горбачев или Шеварднадзе, находясь в США в конце 1988 г., списали ГДР со счета, и предупреждал: он намерен держаться до упора. Наш генеральный в свою очередь не оставлял сомнений, что 1953 г. мы не повторим. Из обязательств по взаимной помощи выпадал «внутренний враг».

«Предали», «отвернулись» от ГДР? Если верить Э. А. Шеварднадзе, советское руководство «списало» ГДР где-то в 1986 г. Не до конца, правда, раскрывает, кого понимает под «руководством», которое будто обсуждало эту тему. Судя по

многочисленным беседам с М. С. Горбачевым и А. Н. Яковлевым в 1986–1988 гг., они не разделяли мнения «руководства», о котором говорит Шеварднадзе. Может быть, бывшему дипломату приходит на память точка зрения посла Л. И. Менделевича, возглавившего в МИДе управление планирования, когда я отклонил известное вам предложение министра? С Менделевичем мы могли залезать в самые сокровенные дебри и сравнивали оценки также перспектив, которые имелись у ГДР. Мой коллега считал, что республика не доживет до 2000 года.

Допустим, Шеварднадзе перенял оценку посла. Отчего же его вывело из равновесия мое интервью Д. Загеру в 1988 г., да в такой степени, что советским посольствам в Берлине и Бонне вменялось дезавуировать «частное мнение председателя АПН»? Считалась установочной другая оценка: история решит проблему единства Германии через пятьдесят лет. Я рекомендовал Горбачеву не обозначать полувековой лимит, довольствоваться отсылкой к истории. Но он остался при своем. Вот если бы Шеварднадзе тоже усомнился, что пятьдесят лет поддаются обзору, генеральный, возможно, прислушался бы.

А интервью с Д. Загером было, право, стаканом воды, да и то неполным. Бурю в нем поднимать не стоило. Всего-то я позволил себе усомниться в том, что четырехстороннее соглашение по Берлину есть конечное слово премудрости. Как юрист по образованию, я даже обязан был усомниться. С Древнего Рима повелось считать «самым плохим решением то, которое нельзя изменить». Спрашиваю секретаря ЦК А. Ф. Добрынина, побывавшего заездом в Бонне и тоже «опровергавшего» меня, читал ли он то, что опровергал? Нет, не читал. Но посол Квицинский, имея указание Центра, очень просил.

Э. Хонеккер официально пригласил М. С. Горбачева участвовать в праздновании сорокалетия ГДР. Ехать – не ехать? Надо ехать, даем совет, но не столько на торжества, сколько для встречи со всем руководством республики. Ведь пока генеральный вел просветительную работу лишь с первым, а тот, как мы догадывались, информировал коллег, не клянясь ни на Библии, ни на «Капитале» К. Маркса, что передает сущую правду. Если встречу с руководством в полном составе твердо обещают – ехать.

И этот вариант едва не сорвался. Массовый уход граждан ГДР на Запад через Венгрию, затем Прагу и Варшаву, демонстрации в Дрездене, Лейпциге и других городах настраивали не на празднества. Не до торжеств. Но не ехать тоже нельзя. Это была бы антихонеккеровская демонстрация.

Остальное большинство видело и, наверное, помнит. От

аэродрома Шенефельд до резиденции для почетных гостей в Нидершёнхаузен улицы запружены людьми. Они встречают генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР плакатами, приветственными возгласами «Горби, Горби!». Приветствия в адрес лидера перестройки тождественны отпору политике «размежевания» Э. Хонеккера. А он рядом в машине с советским гостем и должен это пропускать через себя. На всем протяженном маршруте я заметил лишь один плакат, обращенный к лидеру ГДР, его держал средних лет мужчина метров за двести до поворота к резиденции: «Эрих, действуй, как до сих пор!»

Не хотели втягиваться в демонстрации и сами их повели. Дальше не легче. Факельное шествие по Унтер-ден-Линден. Сколько их, девушек и юношей, женщин и мужчин – 40 или 50 тысяч? Со всех округов ГДР. Отборные активисты из СНМ и СЕПГ. И опять непрерывающееся «Горби, Горби!». Э. Хонеккер стоит на трибуне с окаменевшим лицом. Гостю из Москвы он не рад.

Министр госбезопасности, член политбюро ЦК СЕПГ Э. Мильке, я оказался от него неподалеку, задает риторический вопрос:

– Ну, что вы теперь скажете, товарищ Фалин?

А что, действительно, мне было сказать? Что 41-й годовщины у ГДР не будет или если суждено быть, то совсем в иных обстоятельствах? Не оценит. Отвечаю:

– Есть над чем задуматься.

Понимай как хочешь.

Возвращаемся в Нидершёнхаузен. Горбачев идет с нами в парк.

– Что будем делать? Свыше наших сил заставить людей молчать, но Хонеккер на пределе. Если он не управляет собственным активом, то нетрудно представить, каковы настроения в массах. Чего-то мы недоучли.

Г. Х. Шахназаров и я высказываемся за то, чтобы выдержать программу. Назавтра утром возложение венков в Трептов-парке, парад, беседы с Э. Хонеккером и со всем руководством. Присутствие на приеме можно сократить и улететь домой на один-два часа раньше намеченного. Пребывание советского гостя в Берлине, к которому немцы проявляют уважение, какая-то гарантия того, что недовольство режимом не проявится в агрессивных формах, политические рамки не перехлестнет.

– Выискали спасительную соломинку. Ладно. Завтра что-то прояснится. Должно проясниться.

Возложение венков. В Трептов-парке много молодых немцев. Здесь уже не только возгласы «Горби!», но призывы помочь «освежить» атмосферу в республике.

Сразу после военного парада беседа с Э. Хонеккером. Вместе с ним Г. Миттаг. Нам дается понять – вот доверенный человек первого и его вероятный преемник. Хозяин хмур. Не получается праздника. Он знает, что услышит, и уверен, что гость тоже не ждет ничего нового. Большого смысла во встрече нет, как почти в любом обмене зачерствевшими монологами.

Горбачев тщательно продумал, что и как сказать. Он подобрал добрые слова, оттеняющие значение ГДР в социалистическом содружестве, Европе и мире, а под занавес: «Того, кто опаздывает, наказывает жизнь». Но ГДР – суверенное государство, СЕПГ – независимая партия, и вы сами определитесь, как дальше.

У хозяев никаких вопросов. Да, все наперед ясно.

Э. Хонеккер держится лейтмотива – руководству ГДР виднее, что приемлемо или неприемлемо в республике. Если все считать, то, по его словам, жизненный уровень в ГДР не уступает западногерманскому. Рабочий класс, все трудящиеся, молодежь на стороне политики СЕПГ. Трудности есть, но они привносятся в республику извне. Г. Миттаг согласно кивает, сам в разговор не включается.

Можно переходить в соседний зал, где собрались политические и государственные руководители ГДР. Почти все.

Наш генеральный выпукло и чуть пространнее излагает то, что только что слышал от него Э. Хонеккер. В оптимистическом ключе рассказывает о демократических переменах в Советском Союзе, раскрепощении общественного сознания. Где-то к месту переключается на другую тему, иначе это было бы уже совсем не про нас. ГДР, в описании М. С. Горбачева, также смотрится пристойно. Но вывода не меняет: «Того, кто опаздывает, наказывает жизнь». Минут пятьдесят говорил – складно, убедительно, эмоционально. Горбачев умел собраться и выдать насыщенный текст.

Присутствующие ждут, что будет дальше. Гробовая тишина. Ее прерывает тихий и более высокий против обычного голос Э. Хонеккера. Смотря перед собой, он благодарит гостя за «информацию» о советском опыте. Несколько замечаний о ГДР и припасенное за «Горби» ведро дегтя. Передаю, как запомнил:

– Недавно я побывал в Магнитогорске. Городские власти пригласили меня совершить небольшую экскурсию, посмотреть, чем люди живут. Сам я воздержался от экскурсии, а вот сопровождавшие товарищи съездили. Вернувшись, рассказали, что в магазинах на полках даже соли и спичек нет.

Сказал и окинул взглядом сидевших за столом. «И вот те, кто довел до ручки собственную страну, напрашиваются к нам в

учителя». Фраза не произнесена вслух, но ее слышит каждый.

Следующая прогулка в парке Нидершенхаузен. Горбачев подводит итог:

– Готовимся к худшему? Все возможное мы сделали. То, чего от нас ждут, – поддержки Э. Хонеккера с позиции силы – не дождутся.

Мы с Г. Х. Шахназаровым также полагаем, что дни режима, который ассоциируется с Э. Хонеккером, сочтены. Высказываем вместе с тем (наивную) точку зрения, что, в отличие от ПОРП или ВСРП, у СЕПГ есть резерв из функционеров среднего и низшего звена, мыслящих по-современному и хороших организаторов. Если проводы Э. Хонеккера и его команды не затянутся и стихия не захлестнет республику, то политический кризис еще может разрешиться политически.

Дискуссия продолжалась уже в самолете, где мы оказались около 20.00 после холодного прощания с супругами Хонеккер в банкетном зале Дворца республики. Хозяин с облегчением принял предложение не покидать других гостей и не провожать М. С. Горбачева на аэродром. И хорошо, что не поехал провожать. Говорить было бы не о чем. А новый сюжет, подкинутый тем временем жизнью, радости ни одной стороне не доставил бы. Силы безопасности только что разогнали демонстрацию на Александерплац. «Наказание опоздавших» началось.

Меня на выходе из Дворца республики остановил Э. Кренц:

– Ваш сказал все, что должен был сказать. Наш ничего не понял.

– Советский гость сделал и сказал даже больше, чем положено ждать от гостя. Все остальное зависит от вас самих, – заметил я. – Ничего другого заявлено не было, хотя домыслов после возникло предостаточно.

Вы, конечно, приметили, что дважды, если не трижды, я говорил о твердом решении Горбачева: какой бы оборот ни приняло развитие, пока и если оно носит внутренний характер, советские вооруженные силы останутся в стороне. Точку зрения генерального я разделял без оговорок. Причем не находил нужным делать из этого тайны.

30 сентября 1989 г. В. Момпер, тогда правящий бургомистр Берлина (Западного), услышал это от меня четко и внятно – советские войска во внутриполитические события в ГДР вмешиваться не будут. Он затем верно передал мои слова в своей книге. Сие замечание тоже в дар любителям «неточностей».

Э. Хонеккер потерял власть в том же октябре. А 9 ноября безоговорочной, по сути, ликвидацией границ ГДР совершился самороспуск восточногерманского государства. Теперь условия не

ставила, а раскатным голосом диктовала Федеративная Республика, и самые жесткие – ее правительство.

Как это могло случиться? На новых руководителей нашло затмение, и они не понимали, во что выльются слова, прочитанные Г. Шабовским на митинге в Берлине, – «граница открыта»?

Ликвидирована граница, ранее оберегаемая как передний край обороны Варшавского договора. Советские войска ставились перед совершившимся фактом. У Советского Союза есть еще определенные права и обязанности, в частности касавшиеся Западного Берлина. Он, СССР, какую роль здесь сыграл?

В конце ноября у меня появится возможность поинтересоваться у новых партийных лидеров Э. Кренца и Х. Модрова, кто и как принимал решение об «открытии границы». Ответ последовал уклончивый: «Так получилось».

Соответствующий вопрос с комментариями я задавал Горбачеву. Не сказал бы, что и его сообщение в ответ отличалось определенностью:

– Знаем мы одного…

Позже удалось реконструировать картину. «Так получилось» – получилось со слов В. И. Кочемасова, вот как.

В. И. Кочемасов, наш посол в ГДР, докладывает в МИД СССР: руководство ГДР хотело бы посоветоваться насчет возможности введения послаблений в режиме на границе с Западным Берлином. Первый заместитель министра А. Г. Ковалев по телефону дает послу указание сообщить в ответ на обращение, что определение режима границы является внутренним делом ГДР. Посол не довольствовался устным указанием и потребовал, ввиду весомости проблемы, письменных инструкций. Три или четыре дня Москва молчит. Потом поступила телеграмма, подтверждавшая – пограничный режим есть внутреннее дело ГДР.

Кто подписал депешу: А. Г. Ковалев или Э. А. Шеварднадзе? Деталь, однако ею затверждался прецедент: совместные решения, в частности Организации Варшавского договора – хорошие или плохие, для принципа не имеет значения, – можно отменять односторонне и явочным порядком.

В это время, между прочим, уже существовал кризисный штаб при Горбачеве. Он был создан по моему настоянию. На первом заседании, в котором участвовали А. Н. Яковлев, Э. А. Шеварднадзе, Д. Т. Язов, В. А. Крючков, А. С. Черняев, Г. Х. Шахназаров и я, Горбачев поставил вопрос:

– Что можно сделать, за исключением использования наших войск?

Помощники генерального за то, чтобы предоставить ГДР

своей судьбе, смириться с тем, что объединенная Германия будет включена в НАТО, думать больше о спасении собственного лица.

Министр обороны Язов слушает. Крючков докладывает, что в республике устанавливается двоевластие: ФРГ, ее правительство и партии, о средствах массовой информации и говорить нечего, ведут себя на территории ГДР как дома.

Высказываю свое мнение. Сегодня не та обстановка, чтобы выдвигать предварительные условия объединения. Вместе с ГДР мы пожинаем плоды близорукой позиции. Внутренние параметры единства будут определять сами немцы. За нами же сохраняется право, не меньшее, чем у кого бы то ни было, сказать свое слово насчет внешних предпосылок процесса. Не противиться объединению. Иное было бы глупо. Но речь должна идти именно об объединении двух суверенных государств, учитывающем международные обязательства каждого из них, а не о поглощении большим меньшего, об объединении, не противоречащем законным интересам других европейских государств и мирному порядку в Европе в целом. Соответственно неверно настраиваться на фатальную неизбежность распространения сферы действия НАТО на Восточную Германию.

А. Н. Яковлев в основном разделяет мой анализ. В практических выводах он осторожнее. Но все-таки Яковлев за действия, а не за созерцание.

Шеварднадзе слов не экономит, а зафиксировать позицию не спешит. Испытывает внутренние колебания или хочет сначала послушать, что скажет Горбачев? «Внимательно следить за развитием положения», «целесообразно войти в контакт с французами», «избегать заявлений, которые свяжут нам руки» – разве это позиция?

Не позиция, но она корреспондирует с настроем генерального секретаря. Развитие приняло собственную динамику. Встать поперек – не получится. Как извлечь из перемен плюсы? Объединение Германии не должно приблизить НАТО к нашим границам. Как лучше действовать для этого? Надо думать.

Заседание кризисного штаба кончилось на ноте – всем думать. Если судить по тому, что в почти полном составе он собирался еще – максимум два раза, с мыслями было небогато или их стеснялись выносить дальше «четырех глаз». Я не в состоянии рассказать вам, как и где вырабатывались директивы для Шеварднадзе, почему оставлялись без внимания соображения Министерства обороны и мои записки.

Свой взгляд на происходившее я в определенных выражениях излагал в беседах с представителями как ФРГ, так и ГДР, США, Англии и Франции, встречаясь с журналистами. Оправдан ли был

мой подход или в свете последующих событий неверен? Не хочу никому навязывать оценок. Одно несомненно: я не вихлял.

Объединению – да, аншлюсу – нет. Социально-экономический статус будущей единой Германии определят сами немцы. Внешние, то есть военно-политические условия, сопутствующие объединению, призваны выработать совместно четыре державы и два германских государства, причем еще до слияния ФРГ и ГДР. Преобразовательные процессы в Германии должны протекать мирно, а все решения строиться на балансе интересов сторон. Использование силы в любой форме недопустимо, и немцам надлежит особо позаботиться о том, чтобы безопасности советских войск ничего не угрожало. Эти войска должны покинуть Германию как друзья.

Не всем нравилось? Далеко не всем. Кто-то принимал меня за «консерватора». Другие упрекали в «недостатке гибкости» или даже в правовом «догматизме». Кое-кто (из советских парламентариев) был готов объявить незаконным само наше присутствие в Германии. Подобные год-два спустя перевернутся в ниспровергателей Победы. 9 мая 1992 г. они потребовали отказаться от возложения венков к памятникам «сталинским фанатикам» и отмены дня не «их победы».

Наветы огорчали. Дезориентировало и озадачивало, что Горбачев в моем присутствии говорит или соглашается с одним, а министр иностранных дел делает нечто иное, и его не поправляют или поправляют так «щадяще», что Шеварднадзе принимает критику за поощрение. Два примера.

Идет согласование формулы переговоров. «Четыре + два» или «два + четыре»? Министру иностранных дел СССР дано «твердое» указание отстаивать первый вариант. Не потому только, что ответственность за «всю Германию» лежит на четырех державах и до последнего времени Федеративная Республика постоянно требовала подтверждения этой ответственности. Следовало учесть точку зрения Парижа и Лондона, которые не хотели превращаться в статистов. Но главное и основное – формула «четыре + два» правильнее расставляет приоритеты. На первом месте в германской проблеме безопасность Европы; достигается удовлетворительное решение по этому аспекту – не заставит себя ждать решение другого.

Э. А. Шеварднадзе возвращается со встречи министров шести государств. Гарцует, как джигит на белом коне, доволен и заряжает всех новыми надеждами. А. С. Черняев готовит заявление для прессы от имени президента. Оно содержит пассаж о принципиальном значении того, что переговоры будут вестись по формуле «четыре + два». На всякий случай помощник

президента звонит министру и зачитывает ему свой проект. Тот отзывается одобрительно, но просит внести одно «уточнение»: министры остановились на формуле «два + четыре».

А. С. Черняев разговаривал со мной сразу после собеседования с руководителем дипломатического ведомства.

– Возмутительно. Михаил Сергеевич специально обращал его внимание, что для нас приемлема только формула «четыре + два». В телеграммах со встречи и по прибытии ни намеком не проговорился, что нарушил директиву. Представьте, я не позвонил бы в МИД, и заявление вышло в первоначальной редакции! Интуиция подсказала – перепроверься. Спросил, как же так? Хотите знать, что Шеварднадзе ответил? «Геншер очень просил, а Геншер хороший человек».

Сошло раз. Сойдет и второй. Ни с кем не согласовывая, по крайней мере президент не признавал, что с ним обговаривалось, Э. А. Шеварднадзе рассекает сиамских близнецов – внешние и внутренние аспекты объединения. Внутренние условия могут быть отрегулированы, а само объединение – стартовать независимо и до того, как удастся договориться по внешним аспектам.

Формула «два + четыре» вступила в действие. Советская сторона ставилась в безвыходное положение. Если мы вздумаем настаивать на чем-то, что Бонн или три державы не приемлют, то не будет «окончательного мирного урегулирования», по крайней мере с нашим участием.

Не это ли держал на уме М. С. Горбачев, когда кончал долгий телефонный разговор со мной в ночь перед решающими переговорами с канцлером Г. Колем на Северном Кавказе словами «боюсь, что поезд уже ушел»?

До отправления поезда, однако, коротко о встрече с президентом США Дж. Бушем, об обсуждении на ней германской проблемы.

В Белом доме мы сидим за столом, видевшим много гостей и выдержавшим в прошлом весомые решения. Два президента исходят из того, что мировая политическая карта скоро лишит прописки ГДР, на арену выйдет единая Германия. Открытым остается вопрос, как быть с правопреемством? Будет ли она, наследуя обязательства ФРГ и ГДР, членом двух организаций или останется, погашая эти обязательства, вне блоков? Советский Союз готов на любой из этих вариантов. США не приемлют ни одного. Их позиция – вся Германия в НАТО, и только в НАТО. А если на этой позиции не сойдемся?

Горбачев предлагает мне изложить правовые, военные и политические мотивы неприемлемости для советской стороны

проатлантического решения. Президента СССР я, кажется, убеждаю. Дело за «малым» – убедить президента США. Американские руководители не оспаривают наших аргументов. Для них Германия в Атлантическом союзе аксиома, не требующая доказательств. Без Германии не будет союза, и вовсе не из альтруизма сочувствие к объединению немцев.

Но если ставки столь высоки, то подвижки в пределах НАТО возможны? Наш президент полагает, что у Дж. Буша есть еще невысказанные идеи. Вернувшись в резиденцию, он говорит мне:

– Мы с тобой были очень правы, что не послушались Эдуарда (Шеварднадзе). Трудно вычислить, что конкретно, но американцы имеют запасной вариант или даже варианты по условиям членства Германии в НАТО.

К июльскому (1990) приезду Г. Коля я написал Горбачеву строгую записку. Эта встреча – решающая и последняя возможность отстоять наши интересы. Не мелочиться, но нескольких принципиальных позиций советская сторона должна держаться твердо.

Президент готовится к последнему раунду объяснений с канцлером урывками. XXVIII съезд забрал много энергии и все время. Но деваться некуда. Г. Коль на пути в Москву, после драки размахивать кулаками будет поздно. Связываюсь с Горбачевым и прошу найти для меня десять – пятнадцать минут.

– В данный момент не могу, но твердо обещаю вечером тебе позвонить.

Вечер давно перешел в ночь. Через четверть часа начнутся новые сутки. Звонок.

– Что ты хотел сказать мне?

– В дополнение к написанному считаю долгом зафиксировать ваше внимание на трех моментах:

а) нам навязывают аншлюс. Он имел бы тяжелые последствия. Все моральные и политические издержки, а при механическом слиянии двух разнородных экономик, социальных структур и прочем они неизбежны и значительны, взвалят на Советский Союз и его «креатуру» в ГДР. Распространение юридических норм одного государства на другое сделает нелегальным все, что совершалось в ГДР на протяжении сорока лет, и превратит несколько сот тысяч человек в потенциальных подсудимых.

– Понятно, что дальше?

– …б) неучастие объединенной Германии в НАТО. Самое меньшее, на чем необходимо стоять до конца, – это ее неучастие в военной организации союза (по примеру Франции) и неразмещение на немецкой территории ядерного оружия.

Согласно опросам, восемьдесят четыре процента немцев за денуклеаризацию Германии;

в) все вопросы, касающиеся нашего имущества и собственности в ГДР, а также материальных претензий к Германии, вытекающих из войны, должны быть отрегулированы до подписания политических постановлений. Иначе, по опыту Венгрии и Чехословакии, мы втянемся в бесплодные и обременительные для отношений дебаты. Наши эксперты должны научиться считать не хуже американских, а также приготовить свою ведомость по экологическим издержкам нападения Германии на Советский Союз, если немцы на это напрашиваются.

М. С. Горбачев задает несколько уточняющих вопросов, в частности по правовому статусу нашего имущества, особенностям процедур присоединения земель ГДР к ФРГ на основании статьи 23 боннской конституции, последствиям неучастия государства в военной организации НАТО. Потом говорит:

– Сделаю, что могу. Только боюсь, что поезд уже ушел.

Напомню, генеральный секретарь М. С. Горбачев всячески уклонялся от «тяжелой политической ответственности» за признание восходивших к правлению Сталина фактов существования секретных протоколов 1939 г. и катынского преступления. Став президентом, он в пару присестов решил германскую теорему. На удивление Г. Коля и Г.-Д. Геншера, всего мира, включая государственные и другие институты собственной страны.

Ни Верховный Совет или правительство, ни Совет обороны или Президентский совет или Совет Федерации (о политбюро ЦК КПСС, понятно, и речи не могло быть) не давали М. С. Горбачеву полномочий на принимавшиеся им решения. Президент не ставил парламент, правительство, советы даже в известность о своих планах и намерениях. Члены Президентского совета были удостоены права завизировать достигнутые на переговорах с руководителями ФРГ результаты.

Отвлекаясь от содержания северокавказских договоренностей, которым долго не сыщутся параллели в современной истории, подход к одной из сложнейших мировых проблем был крайне спорным и по исполнению предосудительным. Решали за союзное государство – ГДР, даже не удосужившись пригласить его или спросить. С союзниками по Варшавскому договору не консультировались. Четырехсторонняя ответственность была обойдена, три державы проигнорированы.

Советский Союз и меньше всего его наследники могли и могут влиять на выполнение достигнутых договоренностей. Под каким углом зрения ни рассматривать действия М. С. Горбачева и

Э. А. Шеварднадзе, они не выдерживали критики – ни с позиций законности, ни верности договорным обязательствам, ни элементарного долга.

При последней нашей встрече весной 1992 г. В. Брандт рассказал мне:

– Когда завязалась история с Хонеккером, я спросил Коля, затрагивалась ли в Архызе тема освобождения бывших руководителей суверенного государства ГДР от юридического преследования и что было решено. По словам федерального канцлера, он предложил Горбачеву назвать, против кого не должно возбуждаться уголовных дел. Но советский лидер ушел от обсуждения, заявив, что немцы сами разберутся.

В свете этого рассказа Брандта мне стал более понятен его комментарий по поводу «нежелания» Горбачева встретиться с ним во время посещения Гамбурга в 1992 г.: «совесть у бывшего советского руководителя не чиста».

В первый момент у Г. Коля и Г.-Д. Геншера в Архызе, наверное, перехватило дыхание – не только от разреженного воздуха. Что последует за шуткой, на которые советский президент был под настроение большой мастер? Когда обнаружилось, что Горбачев и его министр иностранных дел ударились в политический мазохизм всерьез, надо было разобраться, не данайские ли дары преподносят? В одном федеральный канцлер, безусловно, не ошибался – такие мгновения, чем бы они ни порождались, надо ловить. Дважды они не повторяются.

Услышав по радио сообщение о сговоре в Архызе, я схватился за перо: немедля заявление об отставке и на трибуну парламента. Мне понадобится три – пять минут, чтобы поднять депутатов на протест.

Ты уже собирался раз хлопнуть дверью после выступления Нины Андреевой в «Советской России», принятого тобой как поворот в прошлое. Выяснилось, тогда я специально звонил на юг А. С. Черняеву, что генеральный был лишь читателем газетной публикации. А если сейчас тебе что-то неизвестно? Умный военачальник установил – не наказывай подчиненного в день совершения им проступка, ибо твое наказание будет несправедливым. Не всегда поддаются прочтению с ходу мысли и поступки начальства. Остынь.

От внимательного чтения строк и междустрочья настроение не улучшается. Поезд действительно ушел, оставляя на память прощальный гудок. Верховный Совет отклонит творение Горбачева – Шеварднадзе, это можно устроить. Но что затем? Больше, чем отдали, отдать невозможно. Вернуть ничего не

вернешь. Докажем, что мы гордые? Этим страна занимается с тех пор, как назвали Москву Третьим Римом.

Или сделаем Архыз визитной карточкой нашего «исторического оптимизма»? Не концы, мол, отдаем, а меняем Третий Рим на безоблачное третье тысячелетие. Вопреки всем щелкоперам и маловерам. Нет, генеральный секретарь М. Вернер, вы были не правы, утверждая, что «НАТО достигло всех своих целей без единого выстрела». Прав генеральный секретарь М. С. Горбачев – «восторжествовал здравый смысл». Спасибо, просветил. До него как-то не догадывались, что общечеловеческие ценности тождественны атлантизму.

Отказываюсь от сделанного мне через председателя Комитета по иностранным делам А. С. Дзасохова предложения быть адвокатом архызских договоренностей в Верховном Совете СССР. Придется подчиняться обстоятельствам и ратифицировать. Как ни раскладывай пасьянс, придется. От отвержения потеряем больше. Свою задачу вижу не в том, чтобы втирать депутатам очки и уверять – перед ними дипломатический шедевр. Надо показать, что не одобрить нельзя. Пусть с оговорками, но закон о ратификации должен пройти парламент.

Запад прочно убедил себя, что в Москве все происходило по мановению волшебной палочки. Даже при Сталине так не было, а в период распада, когда депутатами, как и всем обществом, двигали нигилизм и возмущение, вы и на час вперед не могли ничего наверное предсказать. Найдись на пленарном заседании Верховного Совета кто-нибудь, кто громко заявил бы примерно так: «В Архызе реализовались планы Берии, сдававшего ГДР еще в 1953 году» – и, правда на несколько лучших условиях, завис бы пакет договоренностей вместе с его авторами.

Не все у нас представляют себе треволнения, возбужденные публикацией в «Известиях ЦК КПСС» полного текста обвинительного заключения по делу Л. П. Берии. Мы с В. А. Ивашко тщательно проверяли, как появилась публикация, и не раньше, не позже, именно в тот момент. Не повторяется ли история с фильмом «Поручик Киже», показанным в 1961 г. по советскому телевидению в день решения о выносе тела Сталина из мавзолея и предания его земле?

Устроим баню договоренностям в комитетах Верховного Совета СССР, отхлещем по первое число. Не обязательно исповедоваться и говорить все, что наболело, но ни в коем случае не фальшивить. Выпустим пар, после этого можно идти на пленум.

Решено – сделано. Объяснения с представителями МИДа выдались нелицеприятные. Когда у главного эмиссара со

Смоленской-Сенной Ю. А. Квицинского на совместном заседании комитетов по иностранным делам и по обороне иссякают аргументы за, он бросает мне: «Это вы со своим письмом о немецком единстве всему виной». Слабый и неправый всегда ищут не причину, а виновных.

В воскресенье несколько часов принадлежат семье. В тот день утром телефонный звонок:

– Валентин, от кого угодно ожидал, но не от тебя. Ты что, решил валить договоренности? Передо мной стенограмма твоего выступления на комитетах, в пух и прах разносишь. Я же с тобой советовался, ты фактически участвовал в достижении согласия.

Перебиваю Горбачева:

– К договоренностям в Архызе я отношения не имею. Там был выбран наихудший из наличных вариантов. Плохое называть отличным не намерен. Обстоятельства, однако, требуют, чтобы Верховный Совет не отвергал пакета. Для этого все эмоции должны быть излиты, споры отспорены в комитетах. Если кто-то попытается накинуть узду на депутатов, выступающих в комитетах, и перенести недовольство и напряженность на пленум, я ни за что не поручусь.

– Ты берешь на себя большую ответственность. Смотри не ошибись.

Закон о ратификации германских договоренностей прошел Верховный Совет уютным большинством. Президент удостоил меня при встрече «спасибо».

– Твой тактический план был, по-видимому, верным. Отклонение договоренностей имело бы необозримые последствия для нас.

– А последствия ратификации все обозримы? – не удержался спросить я.

– Основные, основные.

В ходе дебатов в комитетах я приподнимал значение нового советско-германского договора о добрососедстве и сотрудничестве, подписанного в Бонне 10 ноября 1990 г. Не будь ограничений по срокам действия, он заслуживал бы названия истинного мирного договора между Советским Союзом и Германией. Одобрение этого договора стоит того, чтобы не отвергать остальное содержимое пакета. Я говорил это не из оппортунизма. Ноябрьский договор в какой-то степени примирял меня с произошедшим.

Вы можете спросить, что предопределяло мое негативное отношение к концепции Горбачева – Шеварднадзе? Вернее, не к концепции, а к экспромту президента, спешившему на уходивший без его ведома поезд?

Если немцы так богаты, чтобы органическому воссоединению предпочесть идеологическое, партийно-политическое, заплатив 500 или больше лишних миллиардов марок и принеся тяжелые социальные жертвы, это в конце концов их дело. Народы моей страны, однако, имели право на такое решение проблемы безопасности, которое не просто декларировало бы окончание эры противостояния Запад – Восток, но приглашало бы носителей этого противостояния на покой.

Выпадение ГДР ликвидировало Варшавский договор, разом разрушило все его инфраструктуры. НАТО теряло противника? Если «угроза», с которой сорок лет боролись, исчезла, то не логично ли было бы примерно в том же темпе свернуть военные приготовления на Западе? Не усиление – относительное и абсолютное – НАТО, а переход как минимум к «оборонительной обороне» и энергичные шаги с целью создания общеевропейской системы коллективной безопасности.

Между тем включение в сферу НАТО ГДР наращивало потенциал блока в геометрической прогрессии. Это ли не приглашение к серьезным размышлениям? Была бы сила, противник сам сыщется. Чтобы меньше стало вражды на Земле, должны пройти радикальный курс похудения все без исключения арсеналы. Разоружение на одной стороне – не выход из положения. В лучшем случае оно дает передышку.

Мне представлялось, что неучастие Германии в военной организации НАТО и неразмещение на ее территории ядерного оружия побудили бы Североатлантический союз и США к модернизации своих военных доктрин. Не прихорашивание, а пересмотр. Сделать вид, что тектонические сдвиги в Европе лишь подтверждают «правильность политики НАТО», – значит заранее нацеливаться на развитие «успеха».

До какой черты? Когда-то цель формулировалась следующим образом: дезинтеграция Советского Союза, создание на его месте дюжины государственных образований, каждое из которых в экономическом и военном отношении будет зависеть от поддержки извне. Как теперь? У меня были, таким образом, веские причины считать, что президента и мое видение будущего разнилось все больше.

Перестройка не состоялась ни внутри, ни вовне. Тоталитарный режим сменился на авторитарный. Различия есть. Упрощения ни к чему, они только осложняют извлечение корня. М. С. Горбачев не претендовал на бессрочную власть. Злодеем он не был и топору предпочитал микрофон. Но отмеренным ему куском времени Горбачев желал насладиться сполна и всласть.

В апреле 1991 г., когда Горбачев поздравлял меня с

шестидесятипятилетием, я заметил:

– Скоро обозначится более интересная дата, чем появление на свет. 1 августа – полвека, как я тружусь. Для одного человека в нашей стране это предостаточно.

– У тебя такая же трудовая биография, как у меня. Я сел на комбайн тоже в пятнадцать лет.

– Это дает мне дополнительное основание рассчитывать на ваше понимание.

– Сработаем к концу года новую программу – тогда решим.

Месяцем раньше или позднее, велика ли разница? Мне просрочка в двадцать дней обошлась дорого. Если верить резолюции Верховного Совета, я стал участником «заговора». Годы спустя так и осталось непроясненным – какого. Это не помешало учинить, невзирая на мой депутатский иммунитет, обыск у меня дома. В прессу лансировались слухи, инсинуации, фальсифицированные документы. Каждый день и каждый год жизни должен был быть опоганен.

Пятьдесят пять лет назад я уже видел подобное. И толпы, кричавшие «позор», и травлю в прессе, и полное бесправие тех, кого травят. Сталинские охотники за «врагами народа» могли бы возрадоваться – есть поросль. Еще в чем-то уступают в изощренности, но с опытом и она придет.

Известие о «необычных событиях» в Москве застало меня на даче, где мы с женой проводили отпуск. Весной в столице уже играли с бронетехникой, опять, наверное, испугались демонстраций, был мой первый комментарий. Будь что-нибудь серьезное, догадались бы, наверное, сообщить. А час спустя звонок по радиотелефону: в 10.00 надо быть на Старой площади, созвано заседание секретариата.

По дороге, запруженной танками, да с объездами быстро не получается. Когда я вошел в зал заседаний, секретариат уже отсовещался. Прошу повторить для меня, что случилось, что с М. С. Горбачевым, почему чрезвычайное положение именно сейчас?

Ответ председательствующего, члена политбюро О. С. Шенина:

– Не задавайте и вы вопросов, на которые не получите ответа.

Зайдем с другой стороны. Просьба осветить детали происходящего. Реакция: принимаемые меры – дело прежде всего государственное.

Чрезвычайное положение вправе объявить только Верховный Совет. Когда он будет созван, если это вообще предусматривается? Ответ: депутаты в отпусках, раньше чем через неделю их собрать не удастся.

Необходим внеочередной пленум ЦК, чтобы определиться с

позицией партии. Реакция – против созыва пленума возражений нет, но участие в нем генерального секретаря не гарантируется.

Нет, без генерального пленум ничего не прояснит. Продолжим обсуждение вечером.

Секретариат шел без В. А. Ивашко (он после операции в санатории), Г. В. Семеновой (она в отъезде), Б. В. Гидаспова не вызвали из Ленинграда. Гиренко появился пятью минутами позже меня, его вытащили из больницы. Еще двух или трех членов секретариата не разыскали.

Никто ни словом не обмолвился, что до моего прихода обсуждалась телеграмма в ЦК республиканских компартий и обкомы о поддержке мер ГКЧП, поскольку они «не противоречат Конституции». О существовании телеграммы я узнаю к концу следующего дня.

Расходимся. Спрашиваю одного из членов политбюро, что за этими странными действиями стоит? Ответ расплывчатый.

– Не кажется ли вам, что все напоминает не чрезвычайное положение, а любительскую оперетту?

Иду к себе в отдел. Меня извещают, что лидер бельгийских социалистов убедительно просит о встрече. Ему в тот же день возвращаться домой, и на аэродроме его атакуют журналисты. Что говорить?

Спитальс у меня в кабинете. Я не скрываю, что несколько часов назад меня вызвали из отпуска. Пока располагаю сведениями самого общего характера.

– Что касается роли КПСС в событиях, то можете исходить из следующего: принятые меры носят государственный характер, партия и ее руководство к ним не причастны.

Наш разговор с бельгийским коллегой состоялся 19 августа в полпервого по московскому времени.

«Заговорщик» В. А. Ивашко ведал о том, что будет названо путчем, не больше, чем я. Судя по намекам прокуратуры, обобщенным в высоколитературном произведении «Кремлевский заговор», из руководства ЦК к подготовке «чрезвычайного положения» был причастен лишь О. С. Шенин. Еще одного секретаря посвятили в тайну в ночь на 19 августа. Но об этом заговорят после издания Верховным Советом своей резолюции и вслед за тем, как Б. Н. Ельцин запретит – «для разрядки» – деятельность партии, ее аппарат будет разогнан, собственность конфискована, деньги, снятые с ее счетов, пущены на ветер.

Обвиняемые по делу ГКЧП добавят к сказанному, что имелся еще один секретарь, которого держали в курсе подготовки к «путчу», – М. С. Горбачев. До 18 августа, утверждают они, генеральный сотрудничал с путчистами и лишь в самый

последний момент свернул на обочину. Очной ставки В. А. Крючкова с бывшим генеральным устраивать не захотели, ибо истиной не интересовались.

23 августа у меня состоялся последний разговор (по телефону) с М. С. Горбачевым. Я должен был обратить его внимание на то, что ряд докладывавшихся генеральному секретарю вопросов так и остался нерешенным; теперь Горбачеву самому придется позаботиться о сохранности документов.

Горбачев сначала дает выход эмоциям – рассказывает о днях, проведенных на положении пленного в Форосе. Потом делится сведениями, полученными по возвращении с юга от командующих военными округами и касающимися «планов создания концлагерей» для противников ГКЧП. Он никак не придет в себя после экзекуции, которой час назад подвергся в Верховном Совете РСФСР.

– Ты не видел? В какое положение меня там поставили! Ведь транслировали на всю страну по телевидению.

– В это время совершалась другая экзекуция – над аппаратом ЦК. Нам не разрешили взять с собой даже личные бумаги. Не в государственных интересах, партийные отложим пока в сторону, чтобы служебные документы остались бесхозными.

– Понимаю тебя. Сейчас я мало что в состоянии сделать. Подумаю. Может быть, образуется. Спасибо за звонок.

Жена интересуется, какое впечатление оставил разговор. Растерян, перегружен личными переживаниями, но, если судить по тону, говорил почти как в лучшие времена.

На следующий день из вечерней телевизионной передачи «Время» все, включая меня, узнали, что М. С. Горбачев сложил с себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС. Вскоре нас неофициально информировали, что конфискация зданий ЦК вместе с хранившейся там документацией производилась якобы с ведома Горбачева. В момент разговора со мной он будто бы уже оповестил, в частности, управляющего делами Н. Е. Кручину, что отрекается от партии. Опять играл?

Горбачев преклонял колени перед своим политическим соперником Ельциным. По форме, однако, он изображал свой акт как сведение счетов с «партией путчистов». В банальной уловке М. С. Горбачев уподоблялся монарху, что обещал царство за коня.

Тем, кто заподозрит меня в субъективности, могу сообщить следующий факт. В декабре 1991 г., на исходе последнего дня президентства М. С. Горбачева, его посетил профессор А. А. Денисов, авторитетный парламентарий из Ленинграда. Денисов ездил по поручению президента в Таджикистан и, вернувшись, хотел доложить свои наблюдения о положении в республике.

Горбачеву не до таджикского сюжета – «есть вещи поважнее». Небо на землю рушится. И неожиданное признание (в передаче А. А. Денисова и, следовательно, без передергивания):

– Наверное, я поторопился сложить с себя обязанности генерального секретаря. Сейчас партия мне даже очень пригодилась бы.

Мне больно это говорить. Слишком много я инвестировал в перестройку самого себя. И не в моих обычаях бить лежачего или издеваться над убогим. Бесконтрольная и необъятная власть испортила Горбачева, растлила политически, идейно, морально. Один из польских лидеров М. Раковский в интервью О. Фаллачи лет десять тому назад заметил:

– Даже ангел согрешит, столкнувшись с таким искушением, как власть, если за ним не присматривать.

Эпилог

С М. С. Горбачевым или без него перемены все равно наступили бы. Иные по форме и по сути, с другими результатами и, возможно, лучшими перспективами. Медлить и уклоняться от реформирования системы – комплексного, сквозного, глубокого – было далее нельзя: сталинизм вкупе с милитаризмом подточили ее устои, вычерпали жизненные соки.

Из трясины, в которую была заведена страна, имелся объективно единственный выход – разрыв с силовым мышлением. Вовне и внутри. Твердый и безоговорочный, памятуя, что пороки силовой философии не в состоянии компенсировать никакие риторические ухищрения, никакие политические выкрутасы, никакая сверхновая технология.

Поддавались ли болезни лечению? Если да – какими методами и средствами? Здесь от государственных мужей требовалось не просто искусство постижения сокровенного, но самый редкий из политических талантов – способность смотреть правде в глаза. Говорить правду себе самому и всем остальным. И не только говорить, но и жить по правде. Стало быть, действовать сообразно прежде всего фактам и всегда вовремя.

Перестройка как вынужденная уступка обстоятельствам и общественному мнению была заранее обречена. Успех могла обещать, хотя и не гарантировать, лишь целостная программа капитального переустройства советского дома. Не подновление его фасада, отдельных помещений или перестановка мебели в них, не смена вывесок или должностных инструкций. Все это мы уже проходили. При Андропове и Брежневе, Хрущеве и, пусть это не покажется парадоксальным, даже при Сталине. Итог нулевой или со знаком минус становился неотвратимым, пока выход из кризиса виделся власть имущим не в просвещении, а в мистификациях, выдававших видимость за сущее.

Никто не причинил большего урона идее социальной, национальной, человеческой справедливости, прямого, не символического народовластия, чем их «радетели» сталинской выучки. Как в свое время инквизиция и контрреформация по отношению к христианству. Пальму первенства по части антикоммунизма и антисоветизма надо отдать Сталину. Но и его преемникам есть за что держать ответ перед историей и потомками.

«Шпигель» как-то воспроизвел «самое печальное объявление года»: «Продается подвенечное платье. Надетое ненароком». Словно Марксова теория научного социализма имелась в виду.

Ленин попытался было смоделировать, сметать и примерить новую одежку на российскую стать. Но не очень преуспел, если ставить на передний план позитив. После него и вовсе сдали теорию сначала в камеру хранения, затем – в музей; занялись практикой, перенимавшей у прошлых эпох в основном их пороки и умножавшей их.

Что из этого следует? Отвечу словами Дмитрия Мережковского. Он был одним из страстных противников Ленина и бежал от Октябрьской революции в эмиграцию. «Отвергать всякий социализм, чтобы избегнуть русского (как производного от немецкого), – начертал писатель, – значит сделаться скопцом, чтобы избегнуть разврата».

В прежние эпохи, может быть, потому, что ритм событий не был таким сумасшедшим, государственные деятели чаще позволяли себе задумываться о вечном. Избранным выпадал даже жребий постигать мудрость, венчающую вход в гробницу Тамерлана: «Счастлив тот, кто покидает этот мир прежде, чем мир от него отказался».

Сегодня большинство политиков ведет себя так, как если бы у них в запасе имелась вторая жизнь. Они не верят ни во что. В собственную непогрешимость и то не верят. Извинение всему выводится ими из некоего высшего предназначения. Потому, просадив один доставшийся им капитал, подобные полагают, что «их истинное время – впереди».

Захлестнувшая страну смута уходит корнями в произвол, отрицавший и отрицающий всякие закономерности и условности. Произвол, которому страна подвергалась прежде под флагом «декапитализации», творится не менее круто под флагом «декоммунизации». Опять все разрушить до основания, чтобы насадить нечто другое, не обязательно более эффективное, не задаваясь вопросом, во что и кому сей радикализм обойдется.

Первейшей заботой каждого, кто принимает на себя ответственность за будущее страны, должна была бы быть ныне консолидация общества. Горчаковское «Россия, сосредоточивайся!» актуально как никогда. Сосредоточивать помыслы, энергию и усилия на созидании и возрождении, на примирении себя с собою. Иначе России не воспрянуть.

И не надо бы искушать судьбу – «чем хуже, тем лучше». Сколько раз мы убеждались в том, что в реальной жизни, в отличие от философии и математики, отрицание не погашает отрицание, но умножает ненависть, раздоры и конфликты. Неужто нынешних мало?

Чего дефицит, так это времени. Новой системе предстоит проявить свои достоинства, показать, чьи интересы она выражает

и обслуживает, доказать, что нынешняя демократия лучше демократии периода перестройки. Рыночной экономике надлежит без раскачек найти себя и заработать в полную силу. Для этого есть предпосылки, ибо рынок, как таковой, реально не ставится под сомнение и споры ведутся в основном вокруг вопроса, какой рынок – социальный (типа шведского или немецкого) либо «свободный» (проповедуемый чикагскими профессорами), нигде в мире себя не нашедший.

Можно ли в принципе декларировать рынок? Это зависит от характера президента или премьера. Но никакой характер не в состоянии одномоментно создать реальный рынок с его специфической логикой и противоречиями, с собственной психологией производителя и потребителя. На их становление неизбежно понадобятся годы, возможно, упорство и выдержка целого поколения. Плюс необходим элементарный порядок, покоящийся на законе – одинаково строгом и притягательном для всех и каждого без исключения.

Тупики существуют преимущественно в головах политиков и жрецов. В жизни почти каждый конец есть вместе с тем новое начало. А начало – это надежда. Она позволяет обозначить пределы даже безвременью. Если не превращать свои заботы и невзгоды в мировую скорбь, не возводить собственные пристрастия в символы веры для всех.

notes

Примечания

1

Автор книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688). *(Здесь и далее примеч. авт.)*

2

Напомню, что в заявлении содержался призыв к подтверждению верности четырех держав принципам Потсдама, беспрепятственному развитию гражданских отраслей немецкой экономики, безотлагательному подписанию германского мирного договора и восстановлению государственного единства Германии, выводу оккупационных войск с немецкой территории в течение года после заключения мирного договора, созданию «общегерманского учредительного совета» с широкими полномочиями.

3

Москва предлагала:

– Германия восстанавливается как единое, независимое, демократическое и миролюбивое государство.

– Все оккупационные войска должны быть выведены из Германии самое позднее в течение года после вступления мирного договора в силу.

– Всем лицам в сфере немецкой юрисдикции должны обеспечиваться человеческие права и основные свободы.

– Всем демократическим партиям и организациям должна быть предоставлена полная свобода деятельности.

– Организации, выступающие против демократии и мира, подлежат запрету.

– Бывшим служащим вермахта и членам НСДАП в принципе предоставляются равные гражданские и политические права.

– Германия принимает на себя обязательство не вступать ни в какие коалиции или военные союзы, направленные против любого государства, принимавшего участие своими вооруженными силами в войне против Германии.

Для целей самообороны Германии разрешалось иметь национальные вооруженные силы, а также производить необходимые для этих сил военные материалы.

Границы Германии должны быть такими, как они установлены в Потсдамском соглашении.

Не устанавливается никаких ограничений для развития мирных отраслей экономики.

4

Известной фальшивки, сработанной белоэмигрантами и использованной британскими консерваторами для разжигания психологической войны.

5

Когда-то в этой гостинице заночевал «железный канцлер» Отто фон Бисмарк и отметил, что здание отеля готово развалиться.

6

Гёте. Завещание.